

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://saltykov-shchedrin.ru/> Приятного чтения!

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

## ГЛАВА I

Бывают такие минуты затишья в истории человеческой общественности, когда человеку ничего другого не остается желать, кроме тишины и безвестности. Это минуты, когда деятельная, здоровая жизнь словно засыпает, а на ее место вступает в права жизнь призраков, миражей и трепетов, когда общество не только не заявляет ни о каких потребностях или интересах, но даже, по-видимому, утрачивает самую способность чем-либо интересоваться и что-либо желать; когда всякий думает только о себе, а в соседе своем видит ненавистника; когда подозрительность становится общим законом, управляющим человеческими действиями; когда лучшие умы обуреваются одним страстным желанием: бежать, скрыться, исчезнуть.

В такие минуты слишком выдающаяся известность может очень серьезно компрометировать. Одних – в глазах современников, других – в глазах потомства. Первое дает себя чувствовать непосредственно и отравляет жизнь неосторожно прославившегося человека в настоящем; второе хотя и не сказывается осязательно в настоящем, но нужно быть или совсем безумным, или совсем бессовестным, чтоб не понимать, что попасть в историю с нехорошим прозвищем – все-таки вещь далеко не лестная.

Примеров громкой известности первой категории я указывать не стану. Для нас покамест это еще дело новое, хотя в людях, которых жизнь представляет сплошную борьбу с квартальными надзирателями, и у нас недостатка нет. Из репутации второй категории укажу на известного английского судью Чжоффриза, который был настолько бессовестен, что совсем позабыл о существовании истории и ее суда. Однако история вспомнила о нем и заклеила его имя неувядаемым позором, в том, конечно, расчете, что пример этого чудовища послужит спасительным предостережением для воспитанников средних учебных заведений. У нас подобных блестящих репутаций до сих пор не было; тем не менее фамилия тайного советника Шешковского в свое время пользовалась настолько громкою известностью, что быть приглашенным к нему считалось честью не совсем безопасною. И что же! Даже наша скромная история, олицетворяемая «Русскою стариною» и «Русским архивом», уклоняется от выдачи похвального аттестата его громкой деятельности!

Я уверен, что если бы Шешковский мог провидеть, что на страницах «Русской старины» будут от времени до времени появляться анекдоты об его подвигах, то он от многого воздержался бы. С этой точки зрения воспитательное значение «Русской старины» не может подлежать никакому сомнению, и остается только сожалеть, что действие его возымело начало так недавно. Имей Шешковский хотя смутное представление о силе исторических обличений, он сказал бы себе: «черт возьми! у меня есть сын (этот сын, действительно, существовал, но недолге бесследно исчез), у меня могут быть внуки и правнуки – каково им будет читать в «Русской старине» рассказы о «малороссийском борще» (деликатная замена слова «розги») или об особой конструкции кресле, в которое я, для пользы службы (то есть для наказания на теле), имею обыкновение сажать своих пациентов! Ведь я думал, что все это останется шито и крыто, и вдруг... Нет! лучше практику эту оставить!» И мы ничего не знали бы ни о малороссийском борще, ни о кресле особого устройства, ни даже о самом Шешковском. Да, и о Шешковском ничего не знали бы, ибо что такое Шешковский, отрешенный от борща, кресла и других атрибутов его достославной специальности? – Это Иванов, Сидоров, Федоров, Пафнутьев – словом, одна из тех личностей, которых Грибоедов возвел в перл создания в лице Молчалины и которых и современники и потомство разумеют под темным наименованием «и другие». Настигнуть этих «и других», обличить их в чем бы то ни было – ни «Русский архив», ни «Русская старина» не в состоянии. Это люди до того безанекдотные, что упоминание имен их произвело бы на читателя то же самое действие, как, например, перепечатка ревизских сказок.

И Шешковский поступил бы, несомненно, благоразумно, если бы, не настаивая на том, чтоб быть тем знаменитым Шешковским, каким мы его знаем, прямо погрузился бы в пучину «и других». Это было бы с его стороны актом мудрой предусмотрительности, потому что, в сущности, эти «и другие», эти Молчалины, и суть «излюбленные люди» тех исторических моментов, о которых идет речь. Они полнейшие выразители современной им действительности; они деятельнейшие, хотя, быть может, и не вполне сознательные соиздатели тех сумерек, благодаря которым

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) настоящий, заправский человек не может сделать шага, чтоб не раскрыть себе лба. Они одни сохраняют среди этих сумерек остроту зрения, одни видят и различают. Что различают? – различают ту счастливую область умеренности и аккуратности, под сению которой зиждется человеческое благополучие, скромное, но прочное, не сопровождаемое трубными звуками, ни блеском апофеоз, но взамен того вполне удовлетворившееся и успокоившееся в самом себе. И что всего важнее – благополучие, до которого нет дела ни современникам, ни истории.

О, счастливые, о, стократ блаженные Молчалины! Они бесшумно, не торопясь переползают из одного периода истории в другой, никому не бросивши слова участия, но и никого не вздернувши на дыбу (то есть, быть может, кого-нибудь и вздернули, но, ей-богу, не сами собой)! Никто ими не интересуется, никто не хочет знать, делают ли они что-нибудь или просто сидят и бьют в баклуши, никто не трепещет и не благоговееет перед ними... какой прекрасный, блаженный удел! И зато они во веки веков не перестанут быть «и другими»; зато детям их нечего будет стыдиться, все равно как бы они родились без отцов; зато сами они имеют право каждодневно засыпать с сладкой уверенностью, что ни полиция современности, ни полиция будущего не предъявит к ним ни малейшего иска... И им никогда, никогда не будет надобности обращаться к помощи адвоката Легкомысленного, дабы исходатайствовать для себя у суда увеличивающих вину обстоятельств! Зачем? какой суд в целом мире найдет хотя единую вину за человеком, которому имя «и другие»?

Ужели это не блаженство? – спрашиваю я всех и каждого, кто хоть мало-мальски ревнует о целостности своей шкуры.

Я вовсе не намерен характеризовать здесь признаки тех исторических моментов, в продолжении которых умеренность и аккуратность представляют счастливейшее условие и надежнейшую ограду человеческого существования. Подобным моментам дают очень разнообразные клички, которые, однако ж, все более или менее группируются около одной, резюмирующей в выражении «переходные эпохи». Но я, с своей стороны, нахожу, что все усилия оправдать жизненный сумбур какими-то таинственными переездами из одной исторической области (известной) в другую (неизвестную) – по малой мере бесплодны. Такие оправдания могли бы быть допущены, если бы впереди предстояло непременно нечто лучшее и более утешительное; но куда же они годны, если мы вместо лучшего фаталистически осуждены встречаться лицом к лицу с пословицей «из куля в рогожу»?

Поэтому я с некоторою подозрительностью отношусь к подобным объяснениям и совершенно серьезно думаю, что они скрывают за собой великое множество ложных надежд и самых вредных успокоений. Человек любит успокаиваться в ожидании будущих благ, даже если бы последние были и не совсем для него ясны. Он слишком склонен утешать себя тем, что зло есть плод переходных порядков и что, вот погодите, не нынче, так завтра – все установится прочно на своих местах, и тогда добродетель предстанет во всем сиянии торжества. Но вот проходят годы, десятки лет, столетия; добродетель давно уже воссияла, а толку все нет. В ушах все с тою же назойливостью жужжит бесконечная, за душу тянущая песня: «вот погодите, не нынче, так завтра»... Где ручательство, что она не будет жужжать и впредь десятки и сотни лет? Нет, видно, есть в божьем мире уголки, где все времена – переходные, и где человек, одаренный практическим смыслом и имеющий попечение о своей шкуре, должен начать с того, чтоб, отказавшись от всяких запутанных объяснений, прямо сказать себе: живем хорошо, ожидаем лучше. И затем... успокоиться навсегда.

Вот в этих-то мирных уголках, где идиллия счастливым образом совпадает с правилами устава о пресечении и предупреждении проступков и преступлений, умеренность и аккуратность и представляют счастливейший удел человеческого существования. Быть Молчалиным, укрываться в серой массе «и других» – это целая эпопея блаженства! Тут все: и сертификат местного квартала о благонадежности, и свобода от приговоров истории и потомства. Квартал, нимало не сумнясь, запишет в своей истории живота: Молчалин живет на Песках (или в Москве, под Донским) – ни в чем не замечен. История, в лице «Русской старины», отметит: Молчалины многочисленное племя, рассеянное по лицу вселенной, – ни в чем не замечены. Аттестация, конечно, стоящая немногим больше ломаного гроша, но неужели она хуже следующей: Живодеров (имярек) – заклеил себя неувядаемым позором во время и т. д.

Не забывают: история не терпит послаблений в своих приговорах. Даже к Сенекам и Галилеям относится она с некоторою придирчивостью, а сообразите-ка, много ли

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)  
Галилеев найдется у нас, например, в Колтовской?

Не надобно, однако ж, думать, что Молчалины до такой степени погружены в тину безвестности, что самое существование их вследствие того делается равносильным небытию. Нет, они пользуются лишь условною безвестностью, которая отнюдь не мешает им подчиняться обычным законам, управляющим органическим миром вообще. И они ходят друг к другу в гости, ссорятся, мирятся, сплетничают, лгут, пустословят, женятся, рожают детей; и они имеют свои удачи и невзгоды, и они около чего-то копошатся и что-то создают. Мало того: некоторые из них, более терпеливые и настойчивые, даже достигают своего рода известности...

Повторяю: их безвестность неполная и условная. Полною и безусловною неизвестностью пользуется только человек лебедеи, и уж, конечно, едва ли найдется субъект достаточно наивный, чтоб назвать этот удел блаженным. Молчалины очень хорошо понимают, что бытие лучше небытия, и потому равно сторонятся и от безусловной безвестности человека лебедеи и от громкой известности какого-нибудь Галилея, которая, на их глаза, может привести лишь к неприятным столкновениям с полицией...

Начать с того, что в словах «ни в чем не замечен» уже заключается целая репутация, которая никак не позволит человеку бесследно погрузиться в пучину абсолютной безвестности. Ни в чем не замечен – это значит: послушлив, благонадежен, исполнительен и, стало быть, может быть пристроен к какому угодно делу. А коль скоро человек «пристроен к делу», коль скоро он надел на себя вещественный знак этого устройства (чиновничий вицмундир или приказчицью чуйку – это все равно), так тотчас же он сделался человеком «нужным», а следовательно, и известным. Но это именно та безобидная, тихая, почти безвестная известность, которая никого не затрагивает, никому не бьет в глаза, не прибегает к «малороссийскому борщу», но и не огорчает начальства, утверждая, что земля вертится. Одним словом, известность, которая освещает и согревает кротким своим светом только существование своего скромного обладателя, известность, не переступающая пределы той устричной скалы, к которой прикреплены раковины, скрывающие Молчалиных... Я знаю, есть люди из категории «беспокойных», которые, быть может, сочли бы себя оскорбленными, если бы им предложили такого рода известность, но думаю, что в этом случае прозорливость и благоразумие не на их стороне, а на стороне Молчалиных. Только последние вполне ясно понимают, что вместе с безвестной известностью открывается целый мир не блестящих, но прочных благополучий, которые в глазах солидного человека гораздо ценнее всяких апофеоз. Тут все: и верный кусок пирога, и благосклонная улыбка «нужного человека», и спокойный послеобеденный сон, и чувство обеспеченности от риска сломать себе шею, провалиться сквозь землю или иным образом пропасть... Чего еще надобно!

Божий мир кишит такими безвестными известностями, но даже и это служит им на пользу. Благодаря тому, что их много, на них не обращают должного внимания. Думается, что все это образы без лиц, тени, на которых достаточно дунуть, чтобы они исчезли без следа. Однако в этом взгляде на Молчалиных кроется значительное недоразумение. Вглядевшись пристальнее в жизненный круговорот, мы без труда убедимся, что все в этом круговороте создается руками именно тех «и других», от которых мы так самонадеянно отворачиваемся. Джеффризы потому бросаются в глаза, что они как-то уж слишком блестяще злы; Молчалины, напротив того, скромны и податливы и вследствие того остаются незамеченными. Но не забудем, что Джеффризы ничего не могли бы, если бы у них под руками не существовало бесчисленных легионов Молчалиных. Одного этого соображения, по мнению моему, вполне достаточно, чтоб не проходить мимо последних с тем обидным равнодушием, которое для всех Молчалиных отводит место где-то далеко, за пределами истории.

Для большей вразумительности приведу пример. Поздним вечером вы идете по улице и вдруг натываетесь на здание, сплошь горящее огнями. Это здание – храм, в котором от начала мира священнодействуют «и другие». Они день и ночь изнемогают здесь, копаясь в некоем месиве, в котором и сами ничего другого не разберут, кроме того, что тут когда-нибудь черт ногу сломит. Тем не менее, благодаря обыденности зрелища, мы так мало обращаем на него внимания, что проходим мимо, не остановив на нем даже мысли своей. И что ж! не успели вы сделать несколько шагов, как вас настигает стрела. Вы озираетесь, ищете... не трудитесь искать! Знайте вперед, что стрела пущена вам вдогонку верною и опытною рукой одного из «и других»... Что нужды, что, пуская стрелу, он и сам не сознавал неключимости своего действия, – все-таки он пустил ее, и она настигла вас!

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Я видел однажды Молчалина, который, возвратившись домой с обагрёнными бессознательным преступлением руками, преспокойно принялся этими самыми руками резать пирог с капустой.

– Алексей Степаныч! – воскликнул я в ужасе, – вспомните, ведь у вас руки...

– Я вымыл-с, – ответил он мне совсем просто, доканчивая резать пирог...

Вот каковы эти «и другие», эти чистые сердцем, эти довольствующиеся малым Молчалины, которых игнорирует история, над благодушием которых умиляются современники и которым квартал беспрепятственно выдает аттестацию: ни в чем не замечены!..

Это «я вымыл-с» – чем оно хуже знаменитого «qu’i l mourût»? [1]

Я вовсе не желаю, однако ж, чтоб читатель заключил из этого, что Молчалины люди отпетые и закоренелые; я хочу только сказать, что они совсем не тени, не призраки, а составные и притом очень деятельные части того громадного собирательного, которое, под разными формами и наименованиями, оказывает очень решительное тяготение над общим строем жизни.

Дело в том, что Молчалины не инициаторы, а только исполнители, не знающие собственных внушений. Вот что спасает их и от завистливых подыскиваний современников, и от строгостей истории. И потому их обеспеченность, солидность и уместность растут по мере того, как у малых, так сказать, истончается в них сознательность.

«Изба моя с краю, ничего не знаю» – вот девиз каждого Молчалина. И чем ярче горит этот девиз на лбу его, тем прочнее и защищеннее делается его существование. С этим девизом он благополучно проползет между всевозможными Сциллами и Харибдами и в урочный час, не раньше и не позже, придет к вожакам пристани. «Кто идет?» – кликнет его у пристани дозорщик. «Я, Молчалин!» – будет ответ. «Вали его в общую яму!»

И со временем из Молчалина выйдет бесподобное удобрение, хотя история даже и этой заслуги за ним не признает. Просто, говорит, пропадет, даже не произведя удобрения... о, стократ счастливый Молчалин!

Как достигает Молчалин своего благополучия? Достается ли оно ему задаром, как нечто врожденное, или же требуется известная сумма усилий, чтоб добраться до него, усилий, которые и в чашу блаженства примешивают значительную дозу горечи?

Казалось бы, проще всего разрешить вопрос в первом смысле, так как нет ничего законнее и естественнее, как совпадение ничтожества и безвестности. Все ратует в пользу такого совпадения: и духовное бессилие Молчалиных, и отсутствие инициативы, и забитость, и убожество обстановки; все толкает человека в самую глубь сумерек. Для него не требуется ни усилий, ни решимости потонуть: сама почва, на которой он стоит, одарена непреодолимо втягивающими свойствами. Человек сам собой неслышно погружается на дно, и там над ним постепенно происходит процесс увядания, на которое он фаталистически осужден.

Тем не менее такое решение было бы справедливо лишь в том случае, если бы речь шла о той абсолютной безвестности, которою пользуется человек лебеды и при которой, действительно, бытие равняется небытию. Но Молчалин не хочет такой безвестности и не соглашается умереть. Его претензию составляет область умеренности и аккуратности, которая не только не исключает живучести, но даже деятельным образом поддерживает ее. Понятное дело, что существование подобной претензии не может обойтись без усилий и жертв и что в этом виде задача Молчалина уже принимает размеры сложного и вовсе не шуточного предприятия.

Бессилие, забитость, приниженность и робость – плохие помощники в деле жизнестроительства, но они в замечательной степени изоцируют в человеке одну способность: исключительно, почти болезненно сосредоточиваться на мелочах своего личного я. Это маленькое, вечно ноющее я, окрепнувшее в суровой школе угнетения, делается для своего обладателя центром, к которому приурочивается жизнь целой вселенной. Пускай кровь льется потоками, пусть человечество погрязает в пучине духовной и нравственной нищеты – ни до чего нет дела этому я, до тех пор, пока

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) привычная обстановка остается неприкосновенною, пока не затронуты те интересы, которых совокупность составляет область умеренности и аккуратности. Это интересы серенькие, но необыкновенно цепкие. Дешевизна или дороговизна квартир, съестных припасов и других незатейливых жизненных удобств, возможность или невозможность оставаться при однажды принятом образе жизни и привычках – вот обыкновенная их канва. Но в них заключено все внутреннее содержание забитого человека, и потому в его глазах они представляют единственное мерило для оценки великих и малых событий, совершающихся на всемирной арене. Для защиты их неприкосновенности считаются возможными и законными все средства: унижение, злоба, предательство, месть...

Вот этим-то нющим я в высшей степени обладает Молчалин.

Я очень хорошо знаю, что подобное отношение к жизни безнравственно и что, кроме того, оно очень вредно действует на общий ход ее развития, но в данном случае оно оказывает услугу очень существенную. Оно помогает забитому человеку сглаживать те мелкие шероховатости, которыми усеян его жизненный путь; оно сообщает ему терпкость, почти жестокость, без которых он был бы не в силах ухититься и защитить свое гнездо.

Молчалин является на арену жизни безоружный, почти обнаженный. Во всем его организме нет места, которого нельзя было бы уязвить. Он – заурядный человек толпы, один из тех встречных-поперечных, которые массаами во всякое время снуют по улицам. В нем нет ничего выдающегося, самоопределяющегося, что давало бы ему право на место в жизненном пире, на что он мог бы опереться, как на исходный пункт для дальнейшего странствования. Понятно, что он должен искать этой недостающей опоры вне своего личного я.

И вот он начинает искать. Но, как человек неразвитый, идущий наугад, он, во-первых, представляет себе искомую опору не иначе, как в форме «нужного человека», а во-вторых, он ищет ее где-то в пространстве, среди таких же встречных и поперечных, как и он сам, но поставленных в более счастливые условия относительно карьеры. Вот тут-то именно и начинается страдальческая эпопея его походов.

Да, это целая эпопея, и мы, которые видим Молчалина, уже устроившегося своим домком на Песках или в Колтовской и режущего в праздничный день сбагренными преступлением руками пирог с капустою, мы, которые завидуем блаженному выражению его лица и невозмутимости его обстановки, – мы не должны забывать, что этот человек имел свой мартиролог, разоблачение которого может заставить вздрогнуть даже заправского героя.

Итак, перед нами Молчалин, безоружный, лишенный внутренней опоры, ищущий ее в безграничном пространстве, на одном из пунктов которого должен найтись «нужный субъект». Этот субъект введет его в область умеренности и аккуратности; он осветит и согреет его скромное существование; он поможет ему не пропасть от холода и голода... только не пропасть!

Где ж этот «субъект» и что надо совершить, чтоб обрести сто?

Прежде всего, даже не приступив еще к процессу искания, Молчалин уже обязан поступиться некоторыми признаками, составляющими принадлежность образа и подобия божия. Он не знает, в чью пользу он приносит эту жертву; он знает только, что встречные и поперечные, сознающие себя «нужными людьми», на этот счет очень строги. Они понимают, что в образе и подобию божием есть какой-то намек или укор, какая-то «критика», и потому безусловно не допускают его. Они подозрительно осматривают Молчалина с ног до головы, нет ли в нем чего, хоть искры какой-нибудь. Но Молчалин уже предвидел этот осмотр и успел наскоро, одним плевком, потушить всю небольшую сумму искр, которыми он обладал... Он в порядке..

Эту первую жертву Молчалин выносит, впрочем, довольно легко. Во-первых, он сам иногда не подозревает, что носит на себе образ и подобие божие; во-вторых, он смутно чувствует, что впереди ему предстоит нечто такое, в сравнении с чем пожертвование образом и подобием божием составляет сушие пустяки.

А именно, ему предстоит такая задача: среди целой массы бродяг и не помнящих родства людей наметить такого полезного и счастливого бродягу, прикосновение к которому оградило бы от хищнических вторжений в ту тихую обстановку умеренности

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) и аккуратности, под сению которой он мечтает устроить гнездо свое.

Чтоб достигнуть этого, требуется не только громадная смётка, громадный труд, но и громадная удача. Исторические эпохи, о которых идет речь, чреватые изумительными, почти необъяснимыми превращениями. С необычайною легкостью бродяги перескакивают с места на место, со ступени на ступень, то возносясь на самую вершину лестницы, то низвергаясь стремглав к ее подножию. Сколько ни вглядывайтесь в процесс этого перескакивания, вы ни под каким видом не применитесь к нему, не угадаете ни побудительных причин, ни руководящей мысли его. Перед вашими глазами масса бродяг, колеблемых ветром случайности и удачи, – и только. Никакой особой приметы у этих бродяг нет, ни малейшего отличительного признака, ни даже «печати гения на челе». Все на одно лицо, у всех только одна общая отметка: легки на ходу. Вопрос ставится трудно и круто: угадай, которому из этих бродяг удастся прежде других добежать до столба и от которого следует тебе ожидать покровительства и наибольшей суммы полезных приспособлений?

Это самый опасный камень преткновения, который встречают Молчалины на пути своих умеренно-аккуратных затей; до того опасный, что нередко на нем обрушивается главная масса этих затей, не успев ни расцвести, ни развиться. Громадное большинство Молчалиных погибает тут навсегда, и вот, быть может, почему чаще случается встречать Молчалиных, малодушно спившихся с круга, небритых, влачащих существование в вонючих, обшарпанных одеждах, нежели Молчалиных солидных, с тщательно выбритыми, лоснящимися щеками и в чистеньких вицмундирах, пиджаках и поддевах.

Я не знаю, насколько существенно может помочь в этом деле смётка, но, поможет она или не поможет, Молчалин во всяком случае должен пустить в ход всю свою сообразительность, чтоб не потратить времени по-пустому и не напасть на такого «субъекта», который ничего ему не даст, кроме паскудства и надругательства. И вот, чтоб хоть сколько-нибудь ориентироваться среди бесконечного однообразия мелькающих перед ним бродячих типов, он прежде всего приступает к рассортировке их на категории, в надежде, что этот труд окажет хоть ту пользу, что даст ему возможность сосредоточить внимание на меньшей массе предметов.

Труд утомительный, непосильный; труд, совершение которого возможно именно только при настойчивости того вечно ноющего я, которым обладает Молчалин и которое делает его нечувствительным к оскорблениям. Потребно тонкое зрение, наблюдательный ум, привычка к микроскопическому исследованию и очень большой запас небрезгливости. Долго, очень долго вглядывается и вдумывается Молчалин, пока наконец начинает различать. Но как только он уже достиг возможности различать, то ни Линней, ни Бюффон не превзойдут его в этой работе. Сначала его умственному взору представляется масса бродяг с одним родовым признаком: отсутствием содержания; но мало-помалу терпение и усидчивость открывают в этом общем родовом признаке целый мир второстепенных признаков, хотя и не изменяющих существа дела, но доказывающих, что во всяком случае у каждого бродяги имеется свое личное, ему одному принадлежащее отношение к собственной бессодержательности. Таким образом, он различит легкомысленного бродягу от упорного, веселого от угрюмого, добродушного от злого, болтливое от сосредоточенного и т. д. Но и этого недостаточно: в каждой из найденных категорий он прозрит новые оттенки (иногда очень тонкие), вследствие которых у него образуются подкатегории бродяг, семейства и, наконец, особи. Так, например, мало знать, что такой-то бродяга болтлив; необходимо, кроме того, дознаться, общая ли это болтливость или частная; ежели частная, то какой ее излюбленный предмет; натывается ли она, хотя временно, на знаки препинания, или же она совсем безвыходная, отчаянная; конфузливая ли это болтливость или наглая; изворотливая или дурацкая. Все это очень важно и требует замечательной остроты ума...

Покончив с рассортировкой, Молчалин хотя и чувствует себя значительно облегченным, но очень хорошо понимает, что до конца ему еще далеко. Теперь ему предстоит обозреть умственным оком базар житейской суеты, прислушаться к его говору и сообразить, на какой из видов бродяжнической бессодержательности существует в данную минуту наибольший запрос.

Тут главнейшая трудность заключается в том, чтоб не увлекаться теми базарными настроениями, которые иногда ставят запрос на фальшивую почву. Таковы, например, все так называемые либеральные настроения, о которых следует раз навсегда сказать себе, что это настроения скоропреходящие, не стоящие ломаного гроша.

Должно, однако ж, сознаться, что и в этом случае требуется очень большая опытность и стойкость. Иногда либеральные настроения проявляют себя с такою живостью и яркостью, что не успеет человек оглянуться, как уже по уши погряз в самую глубь либерального омута. А вслед за тем, не успев в другой раз оглянуться, как уже вытащен из омута и помещен где-то далеко, за пределами цивилизации. Истинный Молчалин обязывается провидеть все подобные перевороты. Он должен понимать, что увлечения несвойственны солидным людям, что действительную прочность в сей юдоли плача имеет только полная бессодержательность и что, следовательно, лишь между категориями сей последней должен колебаться его выбор.

Но базарные настроения, даже относительно самых несомненных категорий бессодержательности, до такой степени изменчивы, что требуется замечательное чутье, чтоб угодить в надлежашую точку. Сейчас самый бойкий запрос направлен на бессодержательность легкомысленную, забавную, а через минуту она уже летит вверх тормашками и уступает место бессодержательности угрюмой и сосредоточенной. Как тут угадать? И действительно, в точности угадывают лишь избранные, большинство же Молчалиных ограничивается тем, что в общих чертах определяет для себя так называемый средний базарный запрос, то есть старается по возможности уяснить, какой тип бродяжничества имеет шансы на успех в продолжение более значительного периода времени, хотя бы и с некоторыми перерывами. Это – самый основательный образ действий, и я, с своей стороны, могу посоветовать еще одно: по возможности избегать типов легкомысленных, болтливых, веселых и добродушных, как наиболее подходящих к либеральному (иногда они даже смешиваются с последним), и придерживаться типов сосредоточенных, упорных и угрюмых, как самых прочных. А еще лучше: найти такой средний путь, который не препятствовал бы всех и каждого «просить принять уверение в совершенном почтении и преданности» и в то же время представлял бы некоторые лазейки, в которые, при случае, можно было бы юркнуть. И, наконец, еще того лучше: выбрать разом несколько представителей базарных запросов и всем им одинаково угодить.

Как видите, это уже не просто смётка, но пронырство, предательство, почти дипломатия.

Итак, благодаря упорному труду и смётке Молчалина, мы имеем: во-первых, оконченную работу классификации типов бродячей бессодержательности и, во-вторых, не менее важную работу классификации разнообразных базарных запросов на эти типы. Другой, менее устойчивый организм изнемог бы под тяжестью этой работы, но Молчалин знает, что ему утомляться не разрешается, и потому, нимало не медля, идет далее.

Увы! он очень отчетливо понимает, что путь его еще долго будет путем скорбей и тревог, что долго еще не придется ему успокоиться на лоне умеренности и аккуратности... да и придется ли еще? Кто знает, быть может, в самом апогее его усилий, какая-нибудь шаловливая парка, курам на смех, возьмет да и порвет нитку, привязывающую его к жизни! И разлетится прахом все его многодумное предприятие, и распадется гнездо его, и никто не внемлет жалобному воплю птенцов его!

Едва успев Молчалин, при помощи сейчас названных классификаций (чаще же просто при помощи удачи), наметить себе полезного субъекта, как уже ему предстоит работа приручения обретенного субъекта.

В большей части случаев этот субъект выбирается из категории мрачных (наиболее прочный тип). Это человек норова и непредвиденных движений души. Кроме того, это человек надутый постигшим его счастьем и совершенно невежественный, что лишает его возможности рассчитать, какие последствия может иметь то или другое человеческое действие. Даже Молчалин имеет в этом случае превосходство над ним, потому что хотя он и не менее свободен от наук, но все-таки ощущал на себе известные жизненные толчки, которые оставили в нем некоторые смутные представления о размерах и свойствах вещей. Он же, человек норова, ни размеров, ни свойств не знает и знать не желает.

Остановимся же на сейчас названных свойствах субъекта и попробуем указать, что требуется, чтоб смягчить их и придать им по возможности безопасный характер. Начнем с непредвиденных движений души.

Человек, обуреваемый непредвиденными движениями души, может быть уподоблен грозной и неприступной крепости, без надобности поставленной в такой местности,

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) где царствует полная тишина и безмятежное спокойствие, где никто слыхом не слышал ни о внешних врагах и где, следовательно, необходимости в стрельбе не настоят. Но так как крепость выстроена и вооружена пушками, то весьма естественно, что она обязана выполнить свое назначение. И вот она стрельнет и опять замолчит, потом опять стрельнет и опять замолчит, и опять, и опять. Без порядка, без системы, без руководящей мысли, потому что сама крепость непутевая, построенная, так сказать, в забвении чувств, как бы для того единственно, чтоб напоминать миру, что человек смертен.

Понятно, что если подобные сооружения существуют во множестве, то совокупное их действие может иметь в результате народное бедствие. Положим, что орудие в действительности никого не убивает, но непрерывным гулом своим оно все-таки производит известное болезненное раздражение, которое тоже немало способствует умалению обывательского благополучия. Чтоб освободиться от этого раздражения, окрестным обывателям ничего другого не остается, как выбрать из своей среды излюбленного ходока (рискуя даже быть обвиненными в «скопе» и «измене»), которому поручить утруждать высшее начальство нижайшею просьбой: 1) дабы во множестве настроенные в благополучных местах крепости стреляли лишь холостыми зарядами или же пускали свои снаряды в твердь небесную, так как последняя, от такого немилостивого стреляния, ни расколется, ниже закоптится не может; и 2) а так как сие их ходатайство, всеконечно, имеет быть признано непомерным и затейливым, то распорядиться, по крайней мере, чтоб стрельба с упомянутых выше крепостей производилась в определенные часы, в продолжение которых вольно было бы обывателям избегать опасной ходьбы мимо крепостей и тем избавлять себя от безвинного и немилостивого расстреляния.

И так как начальство благодушно и просвещенно, то несомненно, что оно благоприятным оком взглянет на подобную просьбу и даже не посадит излюбленного ходока в острог. А последствием такого снисходительного мероприятия будет: а) что крепости останутся на своих местах, по-прежнему внушая страх, но уже никого не пугая; б) что в определенные часы небесная твердь будет неупустительно расстреливаема, но без малейшего для нее вреда; и в) что обывательские животы будут навсегда обеспечены от напрасной смерти или внезапного членовредительства, при твердой, однако ж, уверенности, что таковая обеспеченность во всякое время может быть обращена в необеспеченность.

Вот эту-то самую роль, которую должен бы был играть воображаемый ходок относительно воображаемых крепостей, – играет Молчалин относительно человека норова и непредвиденных движений души. А именно: он обязывается устроить так, чтоб человек этот палил в небо, а обывателям внушал лишь страх, но членовредительств не причинял.

Вопрос: как достигнуть этого?

На днях привелось мне встретиться на Невском с одним из Молчалиных, о котором я знал, что он только что наметил себе полезного субъекта и предпринял его приручение. Бледный и изнуренный, вследствие непомерных утренних трудов, брел он к себе на Пески, полный сладкой надежды, что там, в своем гнезде, за тарелкой горячих щей и куском пирога, он отдохнет наконец от треволнений затеянного предприятия.

- Ну что, как ваш субъект? – остановил я его.
- Швыряется!
- Как так «швыряется»?
- Да так: схватит, что под руку попадет, и швырнет.
- Послушайте! да ведь этак он может и убить кого-нибудь!
- До сих пор бог миловал!
- Ну, а вы собственно как?
- Ничего... оглаживаем!
- То есть как же это... оглаживаете?

– Очень просто: он швыряется, а я стою сзади и оглаживаю его. «Тпру, милый, тпру!» Оглаживаешь-оглаживаешь – ну, оно у него и отойдет маленько, только вот руку продолжает словно судорогой сводить. А иной раз и оглаживанием ничего не поделаешь – тогда уж смотри в оба! как только он этот самый камень пустит, так ты на лету его и хватай!

– И надеетесь?

– Бог милостив!

Он постоял несколько минут, вздохнул (мне показалось даже, что вздрогнул) и прибавил:

– Да, сударь, не легко на свете прожить! за тарелку щей да за кусок пирога – вот и все наши радости-то – сколько одних надругательств примешь! Смотришь, это, смотришь иной раз на него – совсем отчаянный! А ты все-таки стой и смотри, потому у тебя дети... гнездо-с!.. Только на милость божию и надеемся!

Через четверть часа, смотрю – другой Молчалин навстречу. Этот бежит, ничего не видит перед собою, весь запыхался.

– Как дела? – останавливаю я его.

Но он даже не ответил, а как-то странно взглянул на меня, словно только сейчас опомнился. И вдруг, через мгновение, лицо его исказилось и начало подергиваться.

– Дети! – вскричал он почти неестественным голосом, – ах, если бы не дети!..

И, махнув рукой, стрелой побежал от меня прочь.

Думаю, этих двух примеров вполне достаточно, чтоб получить приблизительное понятие о непосильном подвиге, который Молчалин не убоился взвалить на свои плечи. Тем не менее вы можете быть уверены, что он не только доведет этот подвиг до конца, но даже, с помощью сноровки и некоторых приемов ловкости, сделает его ежели не приятным, то вполне для себя безопасным. А там придет на помощь привычка, – и дело пойдет как по маслу. Смотришь, через неделю он жалуется меньше, через две – еще меньше, а через месяц – уже начал похваливать. Это значит, что желанный момент наступил, тот момент, когда подвиг приручения, следуя естественному ходу развития, превратился уже в подвиг оседлания...

Я сейчас упомянул вскользь о некоторых приемах сноровки и ловкости, необходимых в видах успешнейшего приручения; но предмет этот настолько интересен, что излишнее будет остановиться на нем несколько долее.

В деле непредвиденных движений души главная задача состоит совсем не в том, чтоб устранять или предугадывать (это, быть может, придет со временем, в самом конце предприятия), а в том, чтоб принять эти движения открытою грудью, как некогда грудью же принимал Раппо падающие с высоты чугунные ядра. Молчалин обязывается устроить так, чтоб все кирпичи, швыряемые «субъектом», обрушались лично на нем, не задевая никого из прохожих, так как в противном случае может произойти смертоубийство, которое строго воспрещается законом. Малейшая в этом случае оплошность приводит к уголовщине, которая, в свою очередь, влечет за собою не только гибель нужного Молчалину субъекта, но и гибель самого Молчалина, в качестве придаточного к нему лица. Понятное дело, что последний должен все способности своего ума направить к тому, чтоб изобрести такую комбинацию, которая, с одной стороны, обеспечивала бы свободу швыряния, а с другой – не попустила бы ему, Молчалину, погибнуть напрасной смертью. И вот он думает, соображает и наконец додумывается. Вы видите в некотором роде чудо: кирпичи сыплются на Молчалина градом, а он все-таки остается неуязвим. Каким образом он продельывает этот изумительный tour de force[2] – это тайна между ним и небом; но позволяю себе догадываться, что дело не обходится здесь без некоторой с его стороны стратагемы.

По-видимому, вся штука в том, что камни и кирпичи, которыми «субъект» имеет обыкновение швыряться, приговариваются не другим кем-нибудь, а все тем же Молчалиным. Он должен не только принять удар, но и все приготовить, что требуется для его выполнения.

– Я, братец, может быть, искалечить тебя захочу, – говорит ему «субъект», – так ты уж распорядись, приготовь!

Можно ли удивляться, что Молчалин воспользуется этим, чтоб устроить для себя некоторые льготы и облегчения, что он, например, сделает кирпичи по возможности легковесные, а относительно прочего вооружится броней, известной в просторечии под названием «брань на вороту не виснет»?

Я знаю, что строгие моралисты скажут: стратагема Молчалина основана на подлоге и потому не может быть названа честною; но я еще лучше знаю, что желание не быть изувеченным до того законно, что самой двусмысленной стратагеме, придуманной с этою целью, должно быть предоставлено право на широкое снисхождение.

Как бы то ни было, но плоды этой стратагемы прежде всего и непосредственно отражаются на самом «субъекте», который, благодаря ей, избавляется от уголовщины, а потом уже на Молчалине. Но и тут последний может воспользоваться ими лишь с помощью новой стратагемы, цель которой устроить так, чтоб субъект понял наконец всю трудность молчалинского подвига и приучился ценить этот подвиг. В этих видах пускаются в ход страшные рассказы о других «субъектах», тоже страдающих непредвиденными движениями души, но не имеющих под руками самоотверженных и ловких Молчалиных и потому сплошь и рядом попадающих впросак. Такой-то субъект раскроил череп, такой-то учинил членовредительство, такой-то наступил на закон. Правда, до уголовщины дело покуда не дошло, но еще один шаг в том же направлении – и вдали уже виднеется прокурор.

– А прокуроры ныне строгие, – прибавляет Молчалин для пущего устрашения.

«Субъект» относится к этим рассказам сначала с нетерпением, потом прислушивается к ним одним ухом, потом двумя, а под конец в нем уже является желание проверить их сторонними слухами. Последние, однако ж, не только подтверждают рассказы Молчалина, но еще прибавляют к ним новые подробности. Все было: и раскроение черепа, и членовредительство, и бунт против закона, и все это «со взломом», и появление прокурора... И вот в душу «субъекта» мало-помалу закрадывается сомнение, хотя он все-таки не может понять: что же тут такого? Но являются люди доброжелательные, которые удостоверяют, что опасность действительно есть.

– Берегитесь! – предостерегают они, – не следуйте по стопам такого-то и такого-то! Потому что не ровен час...

– Не беспокойтесь! – отвечает он, – я запасся на этот случай Молчалиным! Это такой Молчалин! такой Молчалин!

И с этого момента он начинает вглядываться в своего Молчалина и ценить его. В одну из добрых минут (в массе душевных непредвиденностей встречаются и такие) он даже открывается ему.

– А ведь я тебя, Алексей Степаныч, намеднишь порядком-таки огрел!

– И до сих пор печенки болят!

– Какие печенки? где печенки?

– Вот здесь. Немножко пошибче бы потрафить – и дух вон!

– Гм... а слышал ты, что NN. такой же вот «субъект», как и я... прохожего на днях разразил?

– Как не слышать! Об чем другом, а об этих-то подвигах с трубами повествуют! Да чего NN.! Если бы в ту пору я не подвернулся да на себя бы не принял, так и у нас бы хорошего мало было!

– Благодарю!

– Потому что ведь тут большая тоже сноровка нужна. Немножко не в то место попади кирпич – ну, и капут!

– Довольно. Благодарю!

– Эти кирпичи-то надо умеючи принимать!

– Молчать! Благодарю!

Молчалин стихает, но он счастлив, ибо его уже ценят. В нем видят безответное существо, на котором можно вполне безопасно срывать какую угодно дурость и которому ради этого не грех простить некоторые грубо-откровенные выходки. Мало-помалу Молчалин становится в ряды необходимой домашней челяди и делается одним из самых видных членов ее. Перед ним нет ничего заветного, постыдного и скрытного; в его глазах беззастенчиво разоблачаются все ахиллесовы пяты, все душевные убожества. Сколько нужно иметь геройства, чтоб преодолеть тошноты, возбуждаемые видом обнаженного «субъекта»! Сколько самоотверженности – чтобы быть постоянным слушателем его душевных излияний! Но Молчалин все преодолает, ибо его ни на минуту не покидает идеал умеренности и аккуратности, к которому он изначала стремится! И не только преодолает, но постепенно сроднится с своею ролью и будет смаковать ее, найдет в ней новые, непредвиденные прежде приспособления. Предаваясь процессу ежеминутного оглаживания, он со временем нащупает в оглаживаемом «субъекте» такую седлистую впадину, на которую можно, с божию помощью, очень ловко засесть. И вот он постепенно, день за днем, начинает поднимать свою ногу, выше, выше...

В одно прекрасное утро он уже там, он в седле. Он до мозга костей изучил своего «субъекта»; он дошел, относительно его, до такого ясновидения, что заранее угадывает все его норовы, все душевные непредвиденности. Теперь он может ездить на нем сколько угодно и как угодно направлять его швыряния. Но осторожно, Алексей Степаныч! – осторожно! Вы можете ездить и гарцевать, но так, чтоб не только сам «субъект» этого не почувствовал, но чтоб никто из целой массы Молчалиных, с завистью следящих за вашими успехами, не имел повода шепнуть оседланному: а славно-таки Алексей Степаныч вас обучил под седлом-то ходить!

И все это ради тарелки щей и куска пирога!

Второе свойство «субъекта» – напыщенность собственным величием.

Если непредвиденность душевных движений угрожает жизни Молчалина, то напыщенность и чванство заживо подвергают его нравственному разложению. От первой можно спастись с помощью ловкости и стратагем; от второго – спасение немислимо. Это до такой степени верно, что сам Молчалин заранее, как я уже имел случай заметить, поступает своим образом и подобием Божиим. Он понимает, что это развяжет ему руки и поможет бодрее пройти сквозь строй предстоящих унижений.

Напыщенность собственным величием вселяет идею о всемогуществе, вездесущии и всезнании, но даже не в сверхъестественном значении этих слов, а в каком-то наругательном, которому трудно подыскать сколько-нибудь подходящее толкование. «Субъект», опьяневший от постигшего его счастья, говорит: «Я бродяга – и всемогущ; я никуда не выхожу из своей норы – и вездесущ; я ничего не знаю – и всеведущ! И ты и все прочие Молчалины можете думать обо мне что угодно, но обязываетесь непрестанно взывать ко мне: о, всемогущий! о, вездесущий! о, всеведущий!» Одним словом, это не дерзкое ликование сильного существа, которому дым собственной славы отуманил голову, а бесстыдное наругательство захмелевшего холопа.

Всякий «субъект», прежде всего, выделяет себя из общей массы смертных. У него кровь – алая, кость – белая; он – солнце, освещающее и согревающее своими лучами темную и холодную низменность, в которой кишат Молчалины. И при этом ум его так жалок, сердце так дрябло, что в его отношения к низменному миру не может войти ничего, кроме презрения и нетерпимости. Тупой и жестокий, он понимает одно: что согрел и осветил Молчалину путь. И взамен того он требует неперестающего трепета и несмолкающего славословия. Получив эту дань, он обливает своего данника целым ливнем милостивого презрения.

Чтоб удержаться в подобном положении, нужно окончательно засорить в себе все человеческие чувства. Не слышать, не видеть, не обонять, не осязать. А чтоб вынести из сего полезный результат в смысле жизнестроительства, необходимо не только не представлять безумию субъекта каких-либо возражений, но, напротив того, всячески поощрять и поддерживать это безумие. Только тогда субъект делается способным смягчаться и понимать, что перед ним стоит некто, чающий

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) подачи.

Процесс этого рода оглаживания – бесконечно длинный. Чем больше поражается обоняние куревом фимиамов, тем оно больше их требует. Чем грубее сегодняшняя лесть, тем грубейшею должна быть лесть завтрашняя. Это бездонный сосуд, который может наполнить только такая неумолимо преданная изобретательность, какую обладает Молчалин.

– Красавец! – восклицает сегодня Молчалин в благоговейном исступлении.

– Будто?

– Полубог!

– Вот тебе двугривенный!

Назавтра этот разговор уже видоизменяется.

– Полубог! – восклицает Молчалин в том же исступлении благоговения.

– Будто?

– Юпитер!

– Вот тебе четвертак!

Сколько нужно двугривенных и четвертаков, чтоб из них составить обеспеченную тарелку щей и кусок пирога!

Третье качество субъекта: невежественность.

Это качество тем важно, что оно препятствует своему обладателю соображать размеры и последствия того или другого действия.

Про одного путешественника повествуют, что он требовал, чтоб его в летнее время везли зимним прямиком; про другого – что он был вне себя от гнева, узнав, что где-то в Царевококшайске имеется свой собственный меридиан, совсем другой, нежели в Петербурге...

– В Царевококшайске! – гремел он в неизреченном изумлении, – здесь, в этой чувашской дыре... свой собственный меридиан! Не может быть!

Вот обыкновенные последствия невежественности.

Молчалины обязываются выслушивать все эти требования и восклицания и даже не шелохнуться, не улыбнуться при этом. Этого мало: они должны устранять и предупреждать вредные их последствия. Единственное средство спасения в атом случае – обман. Провезти путешественника обыкновенным трактом и уверить, что это-то и есть тот зимний прямик, по которому обыкновенные смертные ни пройти, ни проехать не могут; уверить, что Царевококшайск в действительности своего меридиана не имеет, а существует лишь прискорбное по сему предмету недоразумение, допущенное, с одобрения цензуры, в географии, – вот задача, которая предстоит Молчалину. Сколько должен он претерпеть страхов, чтоб кто-нибудь нечаянно не уличил его! сколько употребить изворотливости, чтоб толковать о меридиане, не имея никакого понятия о том, что такое меридиан! Поймите: ведь он сам только сейчас узнал от другого такого же Молчалина, что существуют на свете какие-то меридианы, а этот другой Молчалин слышал об этом от третьего Молчалина; третий же Молчалин слышал, как говорили на улице...

И все это ради тарелки щей и куска пирога!

Но довольно. Я не стану рассматривать других многочисленных свойств, которыми может обладать бродячий субъект, как, например: болтливостью, веселонравием и проч. Мне кажется, что и того, что сказано выше, вполне достаточно. Затем перехожу к вопросу: каков этот кусок пирога, ради которого пускаются в ход и обман, и изворотливость, и предательство, и даже готовность принять смертный бой...

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Чтоб разрешить этот вопрос, необходимо взглянуть на Молчалина в его домашнем быту.

## ГЛАВА II

Итак, взглянем на Молчалина счастливого, на Молчалина, с честью выдержавшего свой длинный мартиролог и с помощью его завоевавшего себе: в настоящем – тепло и сытость, в будущем – безответственность перед судом истории. Познакомимся с ним в домашнем его быту, в частной беседе о предметах, доступных его пониманию, в той интимной обстановке, в которой затрогиваются не вицмундирные, а человеческие струны сердца, где он является отцом семейства, мужем, преданным другом, гостеприимным и заботливым хозяином и т. д.

Я давно знаю того Молчалина, с которым намереваюсь познакомить читателя. Когда-то мы служили с ним в одной канцелярии. В то время это был уж человек пожилой, хотя все еще занимавший незавидную должность помощника экзекутора. Сознаюсь в своем неразумии: как чиновник молодой и самонадеянный, я смотрел тогда на Молчалина довольно свысока. Я не понимал ни трагизма его положения, ни той изумительной самоотверженности, с которою он спасал нас всех от начальственного натиска, первый подставляя свою грудь под удары. Молодой, обеспеченный и жестокий, я думал, что такова уже провиденциальная роль Молчалиных, чтоб за всех трепетать и за всех принимать удары. Смешно мне было, весело.

Я помню, начальник у нас в то время был необыкновенно деятельный. Это был какой-то дервиш в вицмундире, который с утра до ночи кружился и что-то выкрикивал. Всякая входящая бумага получала в его глазах характер вопиющего преступления, которое надлежало преследовать немедленно, по горячим следам. Каждая была испещрена его надписями: «нужное», «весьма нужное», «самонужнейшее», «завтра же», «сегодня же», «сейчас же». На каждую он как бы роптал, что она попала к нему в руки сегодня, а не вчера, не месяц, не год тому назад. Это было что-то ужасное. В урочный час начиналось судорожное слоняние из угла в угол, и горе, бывало, тому чиновнику, который попадался на этом скорбном пути. Мы, молодежь, знали это и заранее забивались в одну из боковых комнат и уже оттуда прислушивались к стонам. Но Молчалину спрятаться было невозможно и некуда. Его должность именно в том и состояла, чтоб всегда находиться на самом скорбном пути и, так сказать, на лету уловлять малейшую судорогу восторженного дервиша. Красный как рак, он мелькал в пространстве, выполняя сыплющиеся дождем на его голову приказания, перелетая из комнаты в комнату, рассылая сторожей, курьеров, кого-то отыскивая, нюхая, роясь, взывая и т. д. А мы, молодежь, тупым оком взирали на эти мелькания и думали, что Молчалин даже не понимает, что может существовать иная жизнь, свободная от мельканий...

Потом обстоятельства так сложились, что я вынужден был несколько лет прожить в провинции, где познакомился с Сквозником-Дмухановским и Держимордою, Молчалина же совершенно потерял из вида. Когда я возвратился в Петербург, Алексей Степаныч служил уже в другом ведомстве, и не по экзекуторской части, а в так называемой действующей бюрократии, которая уже признается способною писать отношения, предписания и даже соображения. Очевидно, он свое выстрадал и сумел сделаться настолько необходимым, что ему, преимущественно перед другими, поручались щекотливые дела о выеденном яйце. Он уже не мелькал, как прежде, а как-то неслышно и ловко устремлялся, скользя на камергерский манер по паркету канцелярии. Ему не кричали из-за тридевять земель: Молчалин! но называли Алексеем Степанычем. В самой внешности его произошла выгодная перемена: прежде он был поджар, сутоловат и глядел понурившись; теперь – он нагулял себе изрядное брюшко и голову держал не только прямо, но почти наоборот. Даже в присутствии начальства он не сгибался в три погибели, а только почтительно вытягивал шею, как бы прислушиваясь и не желая проронить. Прежде жест у него был беспокойный, угловатый, разорванный; теперь – это был жест спокойный, плавный, круглый. Прежде он читал только афиши, и то на тот лишь случай, что, может быть, начальству угодно будет знать, что делается в балетном мире; теперь – он сам сознавался, что от времени до времени почитывает «Сын отечества». «Да-с, почитываем-таки!» – прямо говорит он.

Искушенный опытом, я, разумеется, прежде всего поспешил возобновить прерванное знакомство и был принят с тем приветливым, почти сострадательным благодушием, которое характеризует человека, выстрадавшего свое право быть сытым, и которого вы никогда не встретите у ликующего холопа, сознавшего себя силою. Тогда как прежние товарищи по школе и по службе, при встрече со мной, делали вид, как

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) будто что-то припоминают, Алексей Степаныч сразу ободрил и, так сказать, обогрел меня своим приветом.

– Ну что, опять в наши Палестины вход получил? – встретил он меня, протянув обе руки.

– Опять, Алексей Степаныч.

– То-то! Напроказничал в ту пору... вперед, чай, не будешь?

– Надо полагать, что не буду.

– Ну да, потому власть... ведь она, голубчик, от бога! Это еще покойный Павел Афанасьич[3] внушал мне... только смех с ним, бывало! Начнет, это: несть власть... а дальше – «аще» да «аще»... и не знает!

– Ну, а все-таки, Алексей Степаныч, хоть и надо полагать, что я не буду, а на всякий случай...

– Опять что-нибудь затеваешь... проказу какую-нибудь? Видно, хмель-то из тебя еще не вышибло! Ну, да уж бог с тобой! приходи в ту пору, как проштрафишься... только смотри, тихо чтоб! Никому! ни гугу!

И действительно, немного прошло времени, как до меня долетели слухи, что я опять проштрафился. Мучимый вечно присущим мне представлением о Макаре и его телятах, я, разумеется, сейчас же ударился к Молчалину.

– Так и так, Алексей Степаныч, правда ли?

Он с минуту как бы припоминал.

– Да... так точно... есть что-то! Да мне, признаться, невдомек... да! да! точно, есть... есть! И именно об тебе... да! Только я, представь себе, думал, что это просто так, пустяки... мероприятие!

– Какое к черту мероприятие! ведь ежели...

– Постой! постой! не в том штука, а надо как-нибудь этому делу помочь!.. Извини, брат, не знал! Право, думал, что мероприятие – и больше ничего! Ахти, беда какая!

– Помогите, пожалуйста.

– Не проси – сам знаю! Сам, батенька, детей имею! Нынче с детьми-то тоже напасть... смотри в оба!.. Да! да! есть что-то, есть об тебе... Ну, да мы это дело как-нибудь повернем, а ежели повернуть будет нельзя, так обстановочку придумаем... Ничего! ступай с богом! Только помни: никому! ни гугу!

Мы расстались. Целых две недели после этого свидания я стоял между страхом и надеждой, но Молчалин сдержал-таки свое слово. Он именно нашел «обстановочку», которая с виду даже не изменяла в сущности дела, но с помощью которой весь яд, предназначавшийся для меня, вдруг словно испарился. Он не сфальшивил, не учинил никакого подлога, а просто огладил и направил! И когда все это было выполнено, сам зашел ко мне сообщить о результате.

– Хорошо, что вы вовремя надоумили! – сказал он мне, – а то быть бы бычку на веревочке. Ведь уж и исполнение написано было!

– Как же вы сделали, чтоб остановить?

– Да так и сделал: выбрал час и доложил. Ведь с ним говорить можно, с Сахаром-то Медовичем нашим, только нужно час знать. Трудненько этот час подметить, а все-таки, при внимании, достичь можно... Так вот и теперь было. Заслышал я это, что он по кабинету ходит да романс насвистывает, – ну, вошел и доложил: не много ли, мол, будет? «А тебе, говорит, какая печаль?» «А та, мол, и печаль, что человек хороший, знакомый!» «Гм!.. стало быть, сам к тебе прибегал? струсил?» «Как, мол, не струсить! человек ведь... понимает!» «Ну, черт с ним, устрой какую-нибудь обстановочку, но только предупреди его, что ежели в другой раз...»

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)  
Впрочем, это уж не суть важно... Главное, что теперь-то благополучно кончилось, а напередки – что бог даст!

– Алексей Степаныч! голубчик!

– Чего «голубчик»! не благодари! сам знаю! у самого дети есть! Сын у меня старший нынче осенью в Медицинскую академию на первый курс поступил, и представь себе, как он меня на днях офрапировал. Прибегает, это, весь взволнованный и первым словом: а ведь человек-то, папаша, от обезьяны происходит! Я просто руками всплеснул! «Во-первых, говорю, это ты врешь, что человек от обезьяны происходит, а во-вторых, ну, ежели тебя, глупенького, кто-нибудь услышит!»

– Что ж он?

– Да что, сударь! Храбрость в них какая-то нынче завелась! В наше время, бывало, все потихоньку да умненько, чтоб не заметил никто, а нынче он знай себе твердит: пострадать хочу!

– Отчего же вы его по классической части не пустили? Там бы ему и в голову не пришло, что человек от обезьяны происходит!

– Знаю я и сам, что по классической лучше: сам, батюшка, классик. Да ведь и то подумал: врач будет – хлеба достанет! Не с тобой первым об этом деле разговаривать приходится... с самим Сахаром Медовичем беседу имел! И он, знаешь, как пронюхал, что я сына к медицине приспособить хочу: что, говорит, вам вздумалось? – А то, говорю, и вздумалось, ваше превосходительство, что нашему брату не гранпасьянс раскладывать, а хлеб добывать нужно!

– Однако вы, Алексей Степаныч, тово... откровенно-таки!

– Я, батенька, нынче напрямки! Потерпел-таки! поклонялся! Будет. Разумеется, час выбираешь – нельзя без того! И что ж бы вы думали? Выслушал он мой ответ – и ведь согласился-таки со мной! «Да, говорит, Алексей Степаныч, это так! вы – правы! должно, говорит, сознаться, что классическое образование – оно для «нас» хорошо! А для «вас»... медицина!»

– Помнится, у вас и дочь, Алексей Степаныч, есть?

– Как же! в гимназии, в старшем классе учится... невеста! Только тоже... Не говорит она этого прямо, а все, знаете, с братом об чем-то шушукается. Ходят, это, вдвоем по зале и смеются. Подойдешь к ним: об чем, мол? «Нет, папаша, мы так! об учителях вспомнили!» Боюсь я за них! Боюсь! Особенно с тех пор, как господин Катков эту травлю поднял! Не люблю я, батенька, этого человека – грешен. Вот и благонамеренный, а, кажется, нет его для родительского сердца постылее!

Молчалин вздохнул и смолк. С минуту длилось между нами это неловкое молчание, так что он уже начал выказывать намерение уйти, хотя, по видимостям, спешить ему было некуда.

– Посидите, Алексей Степаныч! – начал я, – побеседуем! Ведь я вам так благодарен! так благодарен!

– Что за благодарность! А вот прикажите-ка чашку кофею подать – вот и благодарность! Я, признаться, в это время (был второй час пополудни) имею привычку к Вольфу заходить, кофейком побаловаться, а нонче вот к вам поспешил! Думаю, надо ободрить человека! – ну, и не зашел к Вольфу!

Подали кофей, мы разговорились опять.

– Скажите, пожалуйста, как вы к Павлу Афанасьичу[4] попали? – спросил я.

– Очень просто: оба родом мы из Пронского города. Отец мой был мелкопоместный – и посейчас у меня там с сестрой имение есть. Пять душ временнообязанных да двадцать пять десятин земли... за наделом! Мне тринадцать четырнадцатых из этого имения приходится, а сестре-девице одна четырнадцатая часть – вот я и отписал ей: владей всем!

– Так вы, значит...

– Дворянин, сударь, как же! Только горевые мы, сударь, дворяне! Не знаю, как теперь, а в старину нас «прончатами» называли! Бывало, как время к выборам близится, ну, тузы-то, которые в предводители попасть норовят, и увиваются за «прончатами». Соберут, это, «уполномоченных», рассадят их на подводы, и – марш в губернию. А там их по постоянным дворам разберут да на свой счет и содержат: поят, кормят, по картузу купят, иному сюртук, другому полушубок соорудят. Все, значит, покуда баллотировки нет. А как кончится баллотировка, да наклали ему шаров направо – он и милости свои сейчас прекратил. Папенька-то покойный сколько раз, бывало, из Рязани в Пронск пешком прохаживал!

– Стало быть, Фамусов вашим соседом был?

– Да, у него в Пронском пятьсот душ было да в других губерниях вдвое, ежели не втрое. Ну, и взглянул он на наше убожество.

– Ну, а скажите-ка откровенно, хороший он человек был?

– Павел-то Афанасьич! такой человек! такой человек! Мухи не обидел – вот что я вам скажу! Конечно, своего не упустил – ну, да ведь наше дело сторона! А уж как обходителен был! прост! чтоб обругать, это, или оборвать – ни-ни! Чуть-чуть бы «понятия» ему прибавить – далеко бы он ушел!

– Гм... а не пристрастны ли вы, Алексей Степаныч? Помнится, ведь вы с Софьей-то Павловной...

– И ни-ни! боже вас сохрани! Софья Павловна, как была, так и осталась... во всех смыслах девица! Разумеется, я в то время на флейте игрывал – ну, Софья Павловна и приглашала меня собственно на предмет аккомпанемента... Однажды точно что, после игры, ручку извоили дать мне поцеловать; однако я так благороден на этот счет был, что тогда же им доложил, что в ихнем звании и милости следует расточать с рассуждением... Нет, уж вы, сделайте милость, и не думайте!

– А как же, однако, помните сцену после бала?.. когда она вас еще с Лизой застала?

– Тут, батенька, я сам кругом виноват был! Забылся-с. Ну, след ли мне был – в чьем доме! в вельможном! – шашни заводить! Само собой, что Софье-то Павловне обидно показалось! Барышня, можно сказать, в страхе божием воспитана была... завсегда у мадам Розье на глазах... и вдруг с ее фрейлиной и возле самых ее апартаментов – такой пассаж! тьфу!

– Скромничаете вы, Алексей Степаныч!

– Чего скромничать! Сам Александр Андреевич[5] впоследствии сознался, что погорячился немного. Ведь он таки женился на Софье-то Павловне, да и как еще доволен-то был! Даже доднесь они мне благодетельствуют, а Софья Павловна и детей у меня всех до единого от купели воспринимала. Как только жене родить срок приходит, так я сейчас и отписываю. И ни разу не случалось, чтоб проманкировала. Приедет, знаете, прифрантится, всех детей (у меня ведь, кроме старших, еще мелюзги пропасть!) перецелует, скажет: а помнишь, Алексей Степаныч, как ты на флейте игрывал? какой ты тогда чудак был! – и новорожденному крестнику непременно двадцать пять полуимпералов на зубок подарит. А я, не будь прост, сейчас к Юнкеру да внутреннего займа с выигрышами билетец-с! Может быть, когда-нибудь на наше счастье тычонок двадцать пять – об двухстах-то мы уж не думаем – и выпадет! Да, голубчик, развратили и меня с этими внутренними выигрышами! Сидишь-сидишь, да и вздумаешь: а ну как... тьфу! прости, господи!

– Как же это вы с Павлом Афанасьичем расстались?

– Да что! Как попали они в ту пору под суд...

– Так он и под судом был?

– То-то, что был. В то время к нему в канцелярию Чичиков Павел Иваныч поступил – такая ли продувная bestия! Первым делом, он Павла Афанасьича себе поработил; вторым делом, для Софьи Павловны из таможни какой-то огуречной воды для лица достал. Словом сказать, всех очаровал. Вот однажды и подсунил он Павлу

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) Афанасьичу бумажку (я в то время не мог уж советовать: в загоне был), а тот и подмахнул. Смотрим – ан через три месяца к нам ревизия, а там немного погодя и суд...

– Огорчился, чай, Павел Афанасьич?

– Только две недели и жил после того. А умер-то как! Именно только праведники так умирать могут! На последних минутах даже дар прозорливости получил: увидишь, говорит, Алексей Степаныч, что явится человек, который за меня, невинно пострадавшего, злодею Чичикову отомстит! И точно: слышим потом – Гоголь выискался! И как он его, шельму, расписал! Читали, чай?

– Читал-таки. Ну, а вы как после смерти Павла Афанасьича?

– С месяц после того я без места шатался, а затем Александр Андреич в Петербург меня перетасил. И вот тогда-то он и повинился передо мной. «Я, говорит, и невесть что про тебя, Алексей Степаныч, думал, даже целую историю из-за тебя тогда поднял, а ведь ты и в самом деле только на флейте играл... чудак!»

– Что же вы у Чацкого делали?

– В то время департамент «Государственных Умопомрачений» учрежден был, а Александр Андреич туда директором назначение получил. Ну, и меня заодно помощником экзекутора определил.

– Христос с вами, Алексей Степаныч! да разве существовал такой департамент?

– У нас, сударь, и не такие департаменты бывали! А этот департамент Александр Андреич даже сам для себя и проектировал. Ведь он, после того как из Москвы-то уехал – в историю попал, в узах года с полтора высидел, а как выпустили его потом на все четыре стороны, он этот департамент и надумал. У нас, говорит, доселе по простоте просвещали: возьмут заведут школу, дадут в руки указку – и просвещают. Толку-то и мало выходит. А я, говорит, так надумал: просвещать посредством умопомрачений. Сперва помрачить, а потом просветить.

– И успешно у него это дело шло?

– Как сказать! настоящего-то успеху пожалуй что и не достиг. Последовательности в нем не было, строгости этой. То вдруг велит науки прекратить, а молодых людей исключительно с одними сонниками знакомить, а потом, смотришь, сонники в печку полетели, а науки опять в чести сделались. Все, знаете, старинное московское вольнодумство в нем отрыгалось. Ну, и вышло, что ни просветил, ни помрачил!

– И долго у вас эта канитель тянулась?

– Нет, не долго. Всего годков с десять директором посидел. А под конец даже опустился совсем. «Опротивело!» – говорит. Придешь, это, бывало, с докладом, а он: «Ах, говорит, как все мне противно!» Или вдруг монолог: «Уйду, говорит, искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок!» И что ж бы вы думали! – на одиннадцатом году подал-таки в отставку!

– Жив он еще?

– В имении своем, в венеvском, живет. И Софья Павловна с ним. И посейчас как голубки живут. Жаль, детей у них нет – все имение Антону Антонычу Загорецкому останется. Он Чацкому-то внучатым братом приходится.

– Помилуйте! – да ведь и Чацкому теперь, поди, за семьдесят – сколько же лет Антону Антонычу?

– Ему под девяносто, да он, сударь, и до ста шутя проживет. Вы его теперь и не узнаете: нисколько в нем прежнего вертопрашества не осталось, даже лгать перестал. Донос он в ту пору неосновательный на Репетилова написал – ну, его и презрили! С тех пор остепенился, стал в карты играть, обобрал молодого Горича да и начал деньги в проценты отдавать. Гсперь деньжищ у него – страсть сколько! Поселился в старинном горичевском имении, всю округу под свою державу привел! Однако, как бы вы думали? – от доносов все-таки не отстал! Нет-нет да и пустит! Даже на Александра Андреича сколько раз доносил!

– Неужто ж Чацкий с ним после этого видится?

– Как не видется? Родня-с. У Александра Андреича, с тех пор как он в узах-то высидел, и насчет родни все понятия изменились. Прежде он и слышать не хотел об Антоне Антоныче, а теперь – не знает, где и усадить-то его!

– Ну-с, а когда Александр Андреич в отставку вышел – после как?

– А после Александр Андреич Репетилова на свое место рекомендовал. Тот тоже лет с пяток повластвовал. Не притеснял и этот – нечего сказать.

– Скажите пожалуйста! И Репетиллов начальником был! Ведь это почти сказка из «Тысячи одной ночи»!

– Все было! – да и чем Репетиллов хуже других! Еще лучше-с. Послужите с наше – будете и Репетилловых ценить!

– Позвольте однако! Я себе даже представить не могу... ну, что мог Репетиллов в департаменте делать, хотя бы и по части умопомрачений?

– А что ему делать! Пришел – и с первого же абцуга сказал нам речь: вы, говорит, меня не беспокойте, и я вас беспокоить не стану!

– Гм... а что вы думаете! – ведь это недурно!

– Прямо нужно сказать: хорошо! Потому, ежели никто никого не беспокоит – значит, всякий при своем деле находится; ни шуму, значит, ни гаму, ни светопреставления. Домашние театры он у нас в департаменте устраивал, свои собственные водевили ставил. Бывало, к нему начальник отделения с докладом придет, а он в самой середине доклада – вдруг куплетец!

– И прекрасно. Право, хорошо!

– Однако годков через пяток и он не выдержал. Не раз он и прежде проговаривался: «Слушай, говорит, Алексей Степаныч! – сам ты видишь, какой я человек! «Способностями бог меня не наградил», однако, как раздумаюсь, что и я когда-то... что у меня Удушьев приятелем был – ну, поверишь ли, так мне делается противно... так противно! так противно!»

– Ему-то отчего ж?

– А Христос его знает! Сказывают, что прежде-то он в масонах был, а тут, как нарочно, строгий приказ вышел, чтоб те, кто в масонах был – напередь об масонстве чтоб ни гугу! Ну, он подписку-то дал да с тех пор и затосковал.

– Гм... стало быть, и в нем этот дух-то был?

– Настоящего духу не было, а душок – это точно! И представь себе, странность какая! Ведь я и до сих пор не знаю, как этого Репетилова по имени и по отчеству звать. Как прежде в Москве, бывало: Репетиллов да Репетиллов, так и после... Даже в формуляре значилось: Репетиллов, действительный статский советник, а об имени и отчестве – ни гугу!

Этим заканчивалась первая половина молчалинской поэмы. Рассказывая об ней, Алексей Степаныч словно расцветал. Да и мне, слушая его, иногда казалось: что ж! – право, молчалинское житье-бытье вовсе еще не так дурно, как я полагал! Вот хоть бы Алексей Степаныч: он и на флейте играл, и у Чацких домашним человеком был, и с Репетилловым вместе водевили ставил... отлично! Конечно, образ и подобие божий у него, говоря биржевым языком, и дондесь находятся в слабом настроении, однако все лучше хоть и без образа и подобия божия, да в тепле сидеть и на флейте играть, нежели... да-с. лучше-с! Покойнее-с! Вон он, поди, тысячи две рублей жалованья получает, да дом у него на Песках свой, да у каждого ребенка по билету внутреннего с выигрышами займа... И вдруг он двести тысяч выиграет? Уйдет он оттуда или останется там?

Покуда я все это раздумывал, Алексей Степаныч пристально вглядывался в меня и словно угадывал мои мысли.

– Ты об моих выигрышных билетах, что ли, думаешь? – спросил он меня полушутя.

– Нет... с какой же стати!

– Полно, брат, не хитри! Чай, думаешь: вот, выиграет этот человек двести тысяч – что он с ними делать будет?

– А в самом деле, что бы вы сделали?

– Откровенно тебе скажу: теперь хоть озолоти меня, я все тем же Молчалиным останусь, каким до сих пор был. Потому что для меня всякая перемена – мат! Я вот сорок почти лет на службе состою, а не помню дня, чтоб когда-нибудь проманкировал. Ежели даже болен, и то, хоть перемогусь, а все-таки иду, потому что знаю: не пересиль я себя, – совсем слягу! Поверишь ли: придет, это, праздник, так день-то длинный-раздлинный кажется! И к обедне сходишь, и спать ляжешь, и у окошка сядешь, и самовар раза три поставишь велишь – и все никак 140 доконать не можешь!

– Да, привычка – большое дело. А впрочем, из того, что я до сих пор от вас слышал, право, еще нельзя заключить, чтоб нам худо жилось!

– Ну, со всячинкой тоже, а временами так и очень со всячинкой. Те времена, об которых я до сих пор рассказывал, были простые: и с нас меньше требовали, да и сами мы носов не задирали. Тогда, действительно, жить было можно. Одно только неудобство было – это встоячку жизнь проводить!

– Как так «встоячку»?

– А так, просто на своих ногах. Я ведь не по письменной, а по исполнительской части больше служил, – значит, все у начальства в глазах. Ну, а как ты, позволь тебя спросить, в виду начальника сядешь?

– Стало быть, и перед Репетиловым стояли?

– Да, и перед Репетиловым. Впрочем, в то время, батенька, это не то чтоб жестокость была, а так, в голову начальству не приходило, чтоб предложить подчиненному сесть. Эти «милости просим» да «садитесь, пожалуйста» – уж гораздо позднее и обыкновение вошли.

– И то слава богу. Лучше поздно, чем никогда.

– Бог знает, лучше ли. На словах-то он «садитесь, пожалуйста», а на деле такими иголками тебе сидение-то нашпигует, что лучше бы напрямки, без вывертов, крикнул: руки по швам!

– Ну те, рассказывайте, Алексей Степаныч, что же с вами дальше было?

– А дальше – хуже. Как вышел, это, Репетилов, остался я совсем без благодетелей. До тех пор, хоть и не больно красно жилось, а все будто в своей семье был. А тут стали поговаривать, что и департамент-то наш, за вольный дух, совсем закрыть следует. И точно, целых три месяца к нам даже и директора не назначали; с часу на час мы ждали: вот-вот распустят, – как вдруг приказ: назначается к нам директор генерал-майор Отчаянный.

– Это тот самый Отчаянный, который впоследствии департаментом «Побед и Одолений» управлял?

– Тот самый... небось помнишь, как вместе горе тяпали! Ну, да в то время, как ты-то его узнал – это что! агнец божий, в сравнении, был! Вот ты бы тогда с ним поговорил, как он с воли, прямо из полка прибежал. Страсть! того гляди, взглядом убьет! Влетел он к нам, словно озаренный; чиновник один на дороге попался – так и скосил! Собрал нас и говорит: «Вы, говорит, может быть, думаете, что я в масонах служил? – нет, говорит, я служил не в масонах, а в апшеронском полку! Или, говорит, мечтаете, что я пришел вашим развратным гнездом управлять? – нет, я развратное ваше гнездо разорить пришел! Вон – все!» Как сказал он это – у всех так и захолонуло! Не знаем, как это слово «вон!» понять: из департамента ли совсем вон бежать или только по своим местам разойтись? Решили, однако,

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) разойтись по своим местам. И пошел он нами вертеть. Сидит у себя в кабинете и все во звонок звонит. То есть, была ли минута одна, чтоб он не звонил! То того подай, то другого! то жарко, то холодно! Звон да гам! Гам да звон! Веришь ли, домой, бывало, после присутствия прибежишь – все этот звон слышишь! Бросишься, это, перед иконой богоматери: заступница!

Молчалин остановился, словно бы поперхнулся. Мне и самому совестно было, что я вызвал его на эти изумительные воспоминания. Однако через минуту он отдышался и продолжал:

– И представь себе, не успеешь дома ложку щей проглотить – смотришь: курьер! требуют! Прискачешь, это, к нему, а он: нет, теперь не надобно! А через четверть часа и опять, и опять! Так покуда эта раскассировка шла, я никуда, кроме департамента, и со двора не ходил, даже спать не раздевавшись ложился!

– И долго это тянулось?

– Да год с лишним. Наконец резолюция вышла: четверть департамента под суд отдать, половину по дальним городам разослать – сочти, много ли уцелело?

– Вы-то, однако, уцелели?

– Что я! Я в ихних вольномыслиях участия не принимал! И по экзекуторской части был! Ко мне, сударь, он даже привык. Когда его в департамент «Побед и Одолений» перевели, он и меня с собою взял... Там-то мы с вами познакомились, батенька!

Сказав это, Алексей Степаныч протянул мне руку, как бы давая этим понять, что знакомство со мною для него было не неприятно.

– А знаешь ли, – продолжал он, – ведь чиновники-то наши потом его усмирили!

– Как так?

– Да самым простым способом. Сказываться не стали. Пришел он однажды в департамент и начал звонить. Ну, покуда побежали, покуда что – он не утерпел, сам на розыски побежал. Приходит в одно отделение – и вдруг все чиновники врассыпную; приходит в другое – и тут все вон; в третье – та же история. Только я один, бедный Макар, и остался. Остановился он тут против меня, глаза большие, дух занимается, не может слова вымолвить, только рот разевает... И все нутро у него даже гудит... у-у, а-а-а...

– Что ж, и подействовало?

– Стал потише. По отделениям бродить перестал, только звонить еще больше начал!

– А страшно, я думаю, было, как он с вами в то время лицом к лицу стал, когда чиновники-то с ним эту штуку сыграли?

– Уж чего еще! Однако я тебе скажу, и во мне один раз это мужество проявилось! Говорит он мне однажды: позвать! говорит. – Кого, говорю, позвать прикажете? – Позвать! говорит. – Кого же, ваше превосходительство, позвать прикажете? – Он в третий раз: позвать! говорит. Ну тут я, признаться, не выдержал, возвысил, это, голос да как ляпну: да кого же, ваше превосходительство, позвать изволите приказать? – Да, было-таки и у меня! был и со мной такой случай!

– Ну, а он что?

– Да! почесал-таки переносицу! понял!

– Повысил ли он вас, по крайней мере, за вашу службу? наградил ли?

– Представь себе, какой ирод! Десять лет я при нем состоял, и все десять лет у нас экзекутора вакансия была – ну что бы, кажется, стоило! И как бы ты думал? – ведь так и не сделал меня экзекутором! В помощниках все десять лет тактики и выдержал!

– Как же вы оттуда выбрались?

- В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)
- Видишь ли: в пятидесятых годах, в половине, сделалось везде, в прочих местах, куда против прежнего легче. Ну, и стал я подумывать, как бы в другое место улизнуть. А тут к стати департамент «Распределения богатств» открылся, и назначили туда командиром Рудина...
  - Как, Рудина? Того, который в Дрездене...
  - Того самого. Да неужто не помнишь? Как департамент-то его открыли, помещики в то время так перетруснулись, что многие даже имения бросились продавать: Пугачев, говорят, воскрес. Ну. да ведь оно и точно... было тут намереньице... Коли по правде-то говорить, так ведь Рудина-то именно для того и выписали из Дрездена, чтоб он, значит, эти идеи применил. Вот он и переманил меня к себе: он ведь Репетилову-то родным племянником приходится.
  - Вот вы у него бы и спросили, как Репетилова-то зовут?
  - Представь себе: спрашивал – не знает! Сам даже сконфузился. Припоминал-припоминал: «Фу! – говорит, да просто зовут Репетиловым!»
  - Хорошо вам при Рудине было?
  - При нем – очень хорошо. Даже дела совсем никакого не было. Придет, бывало, в департамент, спросит: когда же мы, господа, богатства распределять начнем? посмеется, между прочим, двугривенничек у кого-нибудь займет – и след простыл!
  - Кстати: что это у него за страсть была у всех двугривенные занимать?
  - Так это по рассеянности делалось, а может быть, и просто по непонятию. Он на деньги как-то особенно глядел. Все равно как их нет. Сейчас, это, возьмет у тебя и тут же, при тебе, другому, кто у него попросит, отдаст. В этом отношении он почти что божий человек был.
  - И долго он служил?
  - Нет, скучно стало. Годика три промаячил, а потом и затосковал. «Противно», – говорит. Взял да в Дрезден опять ушел. А тут, кстати, и наш департамент переформировали: из департамента «Распределения богатств» – департамент «Предотвращений и Пресечений» сделали. Спокойнее, мол.
  - Ну, тут как?
  - Поначалу – ничего было. Старичка посадили – тоже Молчалиным по фамилии прозывался – хорошо обходился! А тут в скором времени на стариков-то мода проходить стала – его и сменили. А уж после него... вот тут-то я самую муку и принял!
  - Это при нынешнем-то? неужто хуже, чем при Отчаянном?
  - Хуже. Потому Отчаянный только звонками донимал, а этот прямо по карману бьет, кусок у тебя отнимает. Только и слов у него: в отставку извольте подавать! Ни резонов, ни разговоров... Ну, сам ты посуди! подай я теперь в отставку – что ж я завтра есть-то буду? Вот этого-то он и не понимает! Даже прямо нужно сказать: ни капли ума у него на этот счет нет!
  - Ах, Алексей Степаныч, Алексей Степаныч! хороший вы человек!
  - Стратотерпец я – вот что! Ведь ты знаешь, нынче у нас кто начальником-то? – Князь Тугоуховский... ну, сын того князя Тугоуховского, который еще к покойному Павлу Афанасьичу на балы ездил.
  - А! да! помню! помню!
  - Вот, как назначили его, я, признаться, даже обрадовался. Все, думаю, свой человек – вспомнит! И что ж, сударь! приехал он к нам в департамент, а я с дураков-то и ляпни: «Я, говорю, ваше сиятельство, от вашего родителя обласкан был, а ваше, мол, сиятельство даже на руках маленьким нашивал». – Сказал, это, да и сам не рад. Вижу, что у него даже лицо перекосило: то в меня глаза уставит, то по сторонам озирается, словно спрашивает: куда, мол, это я попал? «Ну-с?» –

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) говорит. – Извините, говорю, ежели я ваше сиятельство обидел! «Обидеть, говорит, вы меня никоим образом не можете, а на будущее время прошу вас держаться следующего правила: отвечать только на вопросы, а о посторонних вещах со мною не разговаривать!» Это на общем приеме-то так обжег! При всех!

– Фуй!

– Да, так-таки с первого раза с грязью меня и смешал! И долго после того у нас таким манером шло: он слово – и я слово, он два – и я два. Придешь к нему, по приглашению, в кабинет, а он там взад и вперед словно на выводке ходит. Слова порядком не вымолвит – все сквозь зубы... изволь понимать! Стоишь, это, да только одно в мыслях и держишь: а ну, как он в отставку подать велит! У меня же в это время детки подрастать стали – сам посуди, каково родительскому-то сердцу такую тревогу ежечасно испытывать!

– Пронесло, однако ж?

– Пронесло... разумеется! Стал я по времени за ним примечать... Придет; вижу, что фыркает, – я и к сторонке! Или внезапность какую-нибудь придумая: бумажку приятную приберегу да тут ее и подам. Смотришь, ан направление-то у него и переменялось! А иногда и сам от себя веселый придет... и это бывает! Бывает с ними... все с ними, голубчик, бывает!

– И вы пользуетесь этим, чтоб... – прервал я, желая при этом случае благодарно напомнить об услуге, которую я только что испытал на себе.

– Ну-ну, что тут! – скромно прервал он. – Конечно, добрым людям услугу не грех оказать... не велик еще подвиг! А впрочем, счастье наше, мой друг, что они дела не знают, молодые-то. А кабы знали – только бы и видела матушка-Русь православная! Да ведь и впрямь: до дела ли ему? ему, молодому, с девушками поиграть хочется, а его начальство за дело усаживает! Вот он и ходит сам не свой. Метресса ему там изменила – а он эту измену на департаменте вымещает. И рвет и мечет. «В отставку!», «Под суд!», «Куда Макара телят не гонял!» – так и сыплет! Ах! тоже ведь и с ними... и их пожалеть надо, мой друг!

– Помилуйте, Алексей Степаныч! Ему метресса изменила, а я из-за этого должен с Макаровыми телятами знакомство сводить! На что похоже!

– А как бы ты думал! в свете-то ведь и все так. Иной раз слышишь: шум, гам, светопреставление... думаешь, что случилось? – ан просто: он не той ногой с постели встал! Вот, стало быть, и нужно за ним примечать. Коли он в духе – значит, докладывай; коли не в духе – поберегись! Тогда и будет все ладно!

– Однако ж какой громадный это труд!

– Без труда, мой друг, нашему брату шагу нельзя сделать. Опять-таки говорю: наше счастье, что они, молодые-то люди, дела не знают. Ежели бы не это – нам бы совсем от них мат пришел. Давно бы они нас расточили. Реформы у них одни в голове, а дела – и звания нет. Ни рассказать, ни съютить, ни изложить... Ну вот, он попрыгает-попрыгает, да к тебе же и придет с повинной. Так-то.

– Стало быть, вам он и в отставку ни разу подавать не предлагал?

– Нет, бог миловал. Однажды, поначалу, заикнулся было: «Лучше бы, говорит, вам...» – да тут сторож записку ему от метрессы подал – он и позабыл. А недавно так даже сам со мной разговор начал: «Действительно, говорит, я теперь припоминаю: Москва... господин Фамусов... дом на Собачьей площадке... только вас вот... ну, хоть убейте, не помню!» Где, чай, припомнить!

Сказавши это, Алексей Степаныч взглянул на часы и всполошился:

– Господи, никак, я у тебя засиделся! Смотри-ка, три часа! Чай, и Сахар Медович уж в департаменте!

– Да посидите, Алексей Степаныч! Я с вами об внутренней политике поговорить хотел. Все лучше, как знаешь, чего держаться. А не зная-то, чего доброго, и опять впросак попадешь!

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)  
– А ты не попадайся! Своим умом доходи! Нынче у нас так: сказывать не сказывают, а ты все-таки старайся! Впрочем, ведь я не таков. Я, пожалуй, не прочь добрый совет дать. Только не нынче, а в другой

### ГЛАВА III

Прошел месяц, в продолжение которого я не видал Молчалина. В начале сентября, идя по Невскому, я почувствовал, что кто-то сзади прикоснулся к моему плечу. Оглядываюсь – Алексей Степаныч.

– Забыли? грешно, сударь! – молвил он, – а не худо бы проведать старого сослуживца!

– И то сколько раз собирался к вам в департамент зайти, да совестно: все думается, как бы вас от занятий не оторвать! – оправдывался я.

– Как будто только и света в окне, что департамент! чай, и квартира у нас есть. Свой дом, батюшка! На Песках, в Четвертой улице! Хорошо у нас там – тихо. И в Коломне тихо живут, да та беда – место низкое, того гляди, наводнение в гости пожалует. Пятнадцатый год домовладельцем и прихожанином в своем месте состою... ничего! ни в чем не замечен!

– Непременно! непременно! как-нибудь утром в праздник...

– Зачем утром! прямо к обеду в будущее воскресенье милости прошу! По воскресеньям мы в три часа обедаем. В прочие дни к седьмому часу вряд по службе исправиться, а в воскресенье – мой день!

– Неужели вы каждый день в департаменте до седьмого часа сидите?

– А то как же! Вот теперь половина двенадцатого, а я только еще на службу ползу, да и тут, пожалуй, разве писарька какого-нибудь заблудящего на месте застану. Это ведь прежде водилось, что чиновники в департамент с девяти часов забирались и всем, бывало, дело найдется. А нынче, велика ли птица столоначальник, а и того раньше половины первого не жди, а не то так и ровно в час. Идет, это, каблучками стучит, портфель под мышкой несет, всем корпусом вперед подался... Ну, ни дать ни взять либо сам директор, либо его курьер!

– Удивительно, как они дело делать успевают!

– Чего «удивительно»! Коли по совести-то говорить, так ежели бы он и в три часа пожаловал, хуже бы не было!

– Что так?

– Да так. Дел совсем нет. Обегать нас как-то стали. Кажется, кабы сами мы дел не придумывали, а жили бы себе полегоньку, так и в департамент совсем бы ходить незачем!

– А что вы думаете! ведь не худо бы это было!

– Чего лучше!.. небось ты первый обрадовался бы! А знаешь пословицу: бодливой корове бог рог не дает? Нельзя, сударь, этого! потому чиновнику тоже пить-есть надо! Тыобрази, сколько в Петербурге чиновников-то – и вдруг всю эту ораву, за неимением дел, упразднить! нет, пусть лучше хоть и без дела, а в департамент похаживают!

– Да для чего же?

– Бога пусть помнят, от страха не отвыкают!

– Чем же вы занимаетесь, ежели дела так мало?

– Я-то найду чем заняться. Нет дела – газету читаю, перья почию, все как следует приготовлю... А там, смотришь, бумажонка какая ни на есть наклевалась. Покуда ееобразишь да пометишь, да к исполнению передашь – ан через полчаса она и опять к тебе с исполнением воротится! Ну, и опятьобразишь, поправишь, переделай отдашь – смотришь, и к Вольфу пора кофей пить. Да я всегда дело найду, а вот молодежь, хоть бы господу столоначальники – те совсем заниматься

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) перестали!

– Что ж они делают?

– Что ему делать! Придет в первом часу – с полчаса очнуться не может: потягивается да позевывает, потом папироску закуривает, спичками чиркает; потом на стол сядет, ногами болтает; потом свистать начнет... Прежде, бывало, из «Елены Прекрасной», а нонче «Мадам Анго» откуда-то проявилась. Покуда он все это проделает, глядишь, уж четвертый час: скоро и «чадушке» время прийти. Ну, тут он действительно на часок присядет да что-нибудь и поскребет пером.

– А «чадушко» рано ли приходит?

– Неровно. Иногда в пятом в исходе, а иногда и в шестом в половине. Ну, и пойдет тут у нас беготня. Сильно он нас, стариков, этим подъедает. Верить ли, хоть и дела нет, а домой придешь весь словно изломанный! Так как же? до воскресенья, что ли?

Я дал слово, и мы расстались.

В следующее воскресенье, ровно в три часа, я уже был у Молчалина. Деревянный одноэтажный домик Алексея Степаныча снаружи казался очень приличным и поместительным.

Приветливо глядел он своими светлыми семью окнами и трехконным мезонином на улицу, словно приглашая взойти на чисто выметенное крыльцо и дернуть за ручку звонка. Сбоку, у крыльца, находились запертые ворота с неизбежною калиткой; поверх ворот виднелось пять-шесть деревьев, свидетельствовавших, что в глубине двора существует какая-то садовая затея.

Из передней я вошел прямо в зал, где уж был накрыт большой стол человек на двенадцать. Тут же находился и Алексей Степаныч, хлопотавший около стола с закуской.

– Вот и отлично! – встретил он меня, подавая обе руки, – три часа ровнехонько. Аккуратность – вежливость царей, как говаривал покойный Александр Андреич; [6] ну, а мы хоть с коронованными особами знакомства не водим, но и между своими простыми знакомыми аккуратность за лишнее не почитаем!

– Позвольте вас перебить, Алексей Степаныч. Вы сказали: «покойный Александр Андреич» – разве он скончался?

– Скончался, мой друг! Пять дней тому назад от Софьи Павловны телеграмму получил: «Отлетел наш ангел»! А сегодня по ранней машине и нарочный от нее с письмом приехал. Представь себе! и недели не прошло, а уж Загорецкий процесс против нее затевает!

– По какому случаю?

– Да просто по тому случаю, что подлец. Это настоящая причина, а обстановку он, конечно, другую отыскал. Вот видишь ли, Александр-то Андреич хоть и умный был, а тоже простыня-человек. Вся жизнь он мучился, как бы Софья Павловна, по смерти его, на бобах не осталась – ну, и распорядился так: все имение ей в пожизненное владение отдал, а уж по ее смерти оно должно в его род поступить, то есть к Антону Антонычу. Только вот в чем беда: сам-то он законов не знал, да и с адвокатами не посоветовался. Ну, и написал он в завещании-то: «а имение мое родовое предоставляю другу моему Сонечке по смерти ее»... Теперь Загорецкий-то и спрашивает: какой такой «мой друг Сонечка»?

– Гм... а ведь дело-то ее, пожалуй, плохо!

– То-то, что некрасиво. И ведь какие чудные эти господа филантропы! Вот хоть бы Александр Андреич – это Софья Павловна мне пишет, – и умирая, все твердил:

Будь, человек, благороден!

Будь сострадатель, добр! –

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru да и ей, жене-то, не переставаячи говорил: «Верь людям, друг мой Сонечка! Человек – венец созданий божиих!» С тем и умер. А самого простого дела сделать не сумел! «Другу моему Сонечке» – на что похоже? Теперь над ней самый ледащий адвокатишко – и тот измываться будет. «Так это вы, скажет, друг мой Сонечка!.. Очень приятно с вами познакомиться, друг мой Сонечка!» Каково ей будет при всей публике эти издевки-то слушать? А ведь они, адвокаты-то, нынче за деньги какие хочешь представления дают. Читал, чай, процесс игуменьи Митрофании?

– Читал-таки.

– Да, удивительное это дело, мой друг. Вот нас, чиновников, упрекают, что мы, по приказанию начальства, можем в исступление приходиться... Нет, вот ты тут подивись! Чиновнику-то начальство приказывает – так ведь оно, мой друг, и ушибить может, коли приказания его не исполнишь! А тут баба приказывает! – баба! А как он вцепился из-за нее – кажется, железом зубов-то ему не разжать. На Синай всходил! каких-то «разбитых людей вопь» поминал! Скажи ты мне на милость, как это в них делается, что он вдруг весь, за чужой счет, словно порох вспыхнет?

– Не знаю, право; одни говорят, что тут происходит психологический процесс, другие – что процесс физиологический.

– А я так, признаться, думаю, что они себя дома исподволь к этому готовят. Изнурительное что-нибудь делают. Вот я намерен в театре господина Хлестакова видел, так он тоже разжигался: то будто он директор, то будто министр! И ведь в таком азарте по сцене ходит, что никак ты не разберешь: понимает ли он, что лжет, или взаправду чертики у него в глазах ходят! Должно быть, и тут так, в адвокатском этом ремесле!

– Да; какая-нибудь тайна тут есть...

– Знаешь ли что! я бы такую штуку сделал: я бы присяжным заседателям предоставил: о подсудимом – само собой, а об обвинителях – само собой мнение высказывать. Подсудимый, мол, виновен, а обвинителя, за публичное оскорбление подсудимого, сослать в места не столь отдаленные!

– Да, это поостепенило бы!

– Еще как бы остепенило-то! А то вот мы часто присяжных заседателей обвиняем, что они явных преступников оправдывают! А как ты его обвинишь? Иной присяжный и понимает, что подсудимый кругом виноват, да как вспомнит, как его на судоговорении-то кастили – ну и скажет себе: будет с него! – невиновен. Как ты полагаешь?

– Да, недурно бы подсудимому эту льготу предоставить!

– А куда этого нет, я за Софью-то Павловну и опасаюсь. Думаю: выпустит плут Загорецкий на нее целую ораву оскорбителей, а они и начнут на ее счет почтеннейшую публику утешать.

– Что же вы предполагаете делать?

– Клин клином выбивать надо – адвоката ищу. Пишет ко мне Софья-то Павловна, со слезами просит: ради Христа, адвоката! Не знаете ли кого?

– Есть-то есть один, да чудак он...

– А как, например?

– Да так вот: придет к нему клиент – он его выслушать выслушает, а потом сейчас за звонок: «гони его в шею!»

– Ну нет, нам таких не надо! Нам дошлого нужно! Дошлых у тебя нет?

– Нет; я ведь, Алексей Степаныч, боюсь!

– Денег, верно, накопил; боишься, чтоб не отняли?

– Нет, не то, а вообще к гражданскому судопроизводству вкуса не имею. А ведь и я

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) смолоду баловался, даже диссертацию написал «О правах седьмой воды на киселе в порядке наследования по закону». Да забраковали – с тех пор я и баста. Да у вас у самих-то неужто нет знакомого из адвокатов?

– Как не быть – целых двое. Только люди-то... У одного я даже сегодня был: в десять часов утра к нему забрался, а его уж и след простыл! Ну, оставил записку, просил откушать приехать, жду вот... Да нет, не надеюсь я на него!

– Кто он таков?

– Балалайкин, а по имени и по отчеству как звать – не умею сказать. И на дверях у него просто написано: Балалайкин, адвокат. Ведь он Репетилова сын побочный; помнишь, Стешка-цыганка была – так от нее... Да не пойму я его: не то он выжига, не то пустослов!

– А может быть, и то и другое вместе?

– Нет, скорее, думаю, пустослов, потому отец его все на водевильных куплетах воспитывал. Ну, и цыганская кровь эта... хвастуны ведь они, цыгане эти! А другой адвокат – Подковырник-Клещ, Иван Павлыч, Павла Иваныча Чичикова сын.

– Побочный тоже?

– Да. Помнишь, Чичиков у Коробочки-то ночевал? Ну вот, после того она и поприпухла... А впрочем, я этого Клеща и сам боюсь. Отец – пройдоха, мать дотошница; какому уж тут плоду быть!

– Да, и по моему мнению, лучше уж Балалайкина попробовать!

– Я так и решил. А если уж на этом основаться нельзя, пойду по Надеждинской либо по переулкам, стану на окна поглядывать, не заманивает ли кто. Однако четвертого половина, а Балалайкина нет как нет. Чуюло мое сердце, что заставит он меня лишний час прождать! Что делать – надо для Софьи Павловны потерпеть! Сегодня и обед, ради него, особенный приготовил, и за вином сам к Елисееву ходил, клубничный пирог у Лабутина купил... Ведь он, пожалуй, простых кушаньев-то есть не станет!

– Разве он у вас прежде не бывал?

– Нет, бывал, да все по большим праздникам. Забежит, поцелует у Анфисы Ивановны руку – и был таков. А однажды, сударь, он меня на обед к себе зазвал, так вот, доложу вам, чудес-то я насмотрелся! В марте месяце – клянусь честью! – земляники фунтов пять скормил! Груши – по кулаку! Спаржа – наипристойнейшая! Вина! сигары! ликеры!

– Верно, большое общество было?

– Нет; я да еще двое шематонов каких-то. Наелся я, мой друг, да и наслушался же! Такие разговоры тут происходили, что, кажется, лучше бы я в сортире все время просидел! Все про конкурсы, да про дутые векселя, да про дисконты... А потом пошли про камелий... Один говорит: я двадцать пять тысяч на нее просадил, зато знаю, что она мне верна! А другой говорит: а хочешь, говорит, я тебе скажу, где у нее родимое пятнышко есть? Чувствую я, знаешь, что они врут, а остановить или уличить не могу – потому не знаю. Шестьдесят пять лет мне стукнуло, а я между ними, между молокососами, ровно младенец сижу! Однако я легонько-таки пригрозил им тут: быть, говорю, вам, господа, в местах не столь отдаленных!

– А они что?

– Смеются. Да скажи ты мне, пожалуйста, неужто и взаправду такие девушки есть, на которых в один месяц двадцать пять тысяч ухлопать можно?

– Говорят, будто есть. В театре однажды даже показывали мне.

– Я и у сына, у Павлика моего, тоже спрашивал, только он, вместо ответа: «охота, говорит, вам, папенька, к шалопаям на обеды ездить!»

Алексей Степаныч взглянул на часы: сорок минут четвертого.

– Наверное еще с полчаса проморит! – пробрюзжал он. – Да и мои куда-то запропастились: верно, в саду аппетит нагуливают перед хорошим обедом. Да, мой друг! не роскошно я устроился, а ничего – жить можно. А главное – садик есть...

Немудрящий, а для детей – полезная штука. Летом у нас здесь смехи да крики – соседям, может быть, и скучно покажется, а родительскому-то сердцу как ведь приятно! Своих у меня шестеро, да товарищей приведут – и пустятся взапуски! Сидишь, что, в сторонке, чтоб им не помешать, и думаешь: и с чего только господин Катков тревогу поднял? Молодежь как молодежь! Ну точно, есть в них... есть этот душок... вот хоть бы насчет прародителей-то наших... Так ведь не всяко же лыко в строку!

– Ну, бог милостив!

– Знаю, что велика божья милость, а все-таки не раз и не два подумаешь! Ну, как он, Павел-то Алексеич мой, что ни на есть сболтнет? Ну, как да у меня его за это отнимут? Неужто ж и плакать-то мне об нем нельзя?

Алексей Степаныч вдруг как-то съезжился и отвернулся к окну. Через минуту он, однако ж, вновь овладел собой.

– Впрочем, утро вечера мудренее, – сказал он голосом, еще не утихшим от волнения, – еще накличешь, пожалуй! Лучше пойдем-ка, я тебе, в ожидании Балалайкина, логово свое покажу, а потом и в сад пойдем, жене представлю. Только ты смотри: насчет фамусовых будь осторожен. Жена-то у меня Анфисы Ниловны Хлестовой воспитанница была – в честь ее и Анфисочкой названа, – так и до сих пор за фамусовых горой стоит. Обидела ее старуха Хлестова: обещала пять тысяч на приданое, а отъехала на двух. Однако жена зла на ней не помнит!

Мы прошлись по всем комнатам: везде было опрятно, светло, хотя несколько голо. Старинная, прочная, но не совсем удобная мебель расставлена была в симметрическом порядке и ровно в таком количестве, чтоб комнаты не казались пустыми. Полы – крашенные, с узенькой полоской дешевенького ковра вдоль всех комнат; на окнах – простые белые шторы и никакого признака драпри или портьер. Из всей анфилады так называемых парадных комнат только в кабинете Алексея Степаныча замечалось некоторое поползновение к баловству, выразившееся в виде мягкого дивана и двух таких же кресел. Главное удобство квартиры заключалось, по-видимому, в том, что у каждого члена семьи был свой угол, чему много способствовал мезонин, в котором было три комнаты. Наконец мы вошли в узенькую комнату, из которой створчатая стеклянная дверь вела в садик.

– А вот и наши! – сказал Алексей Степаныч, указывая на отворенную дверь, – в этой комнате мы обедаем запросто, а летом, в хорошую погоду, и в садик трапезовать переходим. Да милости просим! не хотите ли на мою молодежь взглянуть?

Мы сошли несколько ступенек и очутились в крошечном огороженном пространстве, не больше двадцати пяти – тридцати квадратных сажен. Две клумбы, засаженные георгинами, резедой и душистым горошком, большой куст сирени и пять-шесть тополей, ютившихся около забора, – вот все, что давало этому пространству право на наименование сада. Сентябрьская свежесть воздуха давала себя чувствовать здесь довольно сильно, потому что садик был совершенно затенен домом, а лучи солнца, казалось, никогда сюда не проникали. Но молчалинская молодежь, по-видимому, была совершенно довольна, сознавая себя на вольном воздухе, среди живой, хотя и тощей, растительности. Кроме детей Алексея Степаныча, тут было еще двое товарищей их: один – студент-медик, другой – гимназист. Лица молодежи не отличались ни красотой, ни здоровьем, но не были лишены той симпатичности, которую придает лицу присутствие мысли. На противоположной стороне садика, там, где кончалась тень, бросаема домом, и где там и сям по деревянному забору прорывались полосами робкие, словно колеблющиеся лучи солнца, сидела на зеленой скамейке Анфиса Ивановна, закутанная в старинную приданую шаль.

Последовало обычное представление.

Насколько Алексей Степаныч был сановит и внушителен, настолько же скромно и просто выглядела Анфиса Ивановна. Это была коротенькая, чистенькая пятидесятилетняя женщина с кротко светящимися голубыми глазками, с румяными

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru щеками и с бесконечно добродушным выражением в лице. Из-под приданой шали виднелась светло-лиловая тафтяная блуза с полосками, вероятно, подарок Алексея Степаныча в момент рождения его первенца; на голове был старинный чепец, из-под которого выбивались на лоб две серебряные буколки. Она смотрела мягко и душевно, говорила тихо, почти неохотно. Казалось, она совсем прижилась к этому месту и вполне удовлетворилась теми радостями, которые обрела тут. Иногда мне чудилось, как будто на лице ее нет-нет да и промелькнет: «Вот у Хлестовой, в пронском имени... ах, какой был парк!» – но ежели эта мысль и появлялась, то она мгновенно и исчезала, чтоб вновь сосредоточиться на скромной действительности, которая всецело поглощала ее сердце. Она смотрела на детей, но не вмешивалась ни в разговоры, ни в игры их, а только наслаждалась ими. Такого рода женщины неохотно видят появление посторонних лиц в их семье, но они понимают, что ни любимый муж, ни любимые дети не могут довольствоваться замкнутой жизнью, что для них необходимы связи с внешним миром, в виде друзей, нужных людей и даже посторонних посетителей. Анфиса Ивановна никого не любила, кроме семьи, но понимала, что на ней лежала обязанность не затруднять, а сглаживать существование любимых людей, и потому всегда и со всеми была приветлива. Всем одинаково она, по старинной московской привычке, подавала руку горбиком, как для поцелуя. Разумеется, я с удовольствием поспешил исполнить этот невинный обряд.

Старший сын Молчалиных, Павел (в честь Павла Афанасьевича Фамусова), был несколько бледноват и худощав. Мне показалось, что он как-то неохотно подошел к нам на голос отца, посмотрел на меня исподлобья, небрежно взял мою протянутую руку и, почти не пожав ее, сейчас же воротился к своему товарищу-студенту. Еще меньше приветливости высказала Соня (в честь Софьи Павловны Чацкой): она подбежала, сделала издали книксен и мгновенно исчезла в глубь сада, где расхаживали молодые гости ее брата.

– Неприветливы они у меня, – выразился Алексей Степаныч по поводу этого представления – бирючками смотрят. Не то что в хороших домах: придут дети, ножкой шаркнут и смотрят в глаза: не угодно ли, мол, приказать, я сейчас «Попрыгунью Стрекозу» прочту. А впрочем, и у меня ребята хорошие, только молоды очень. А в молодости, знаете, это бывает. Ни до кого человеку дела нет; самого себя ему довольно, да вот еще с товарищем он радуется, с которым у него сердце одно!

– Со всяким это, мой друг, было! – вздохнула Анфиса Ивановна, не отрывая глаз от детей.

– Знаю, что было, и не в укор это говорю. Я просто говорю: бывает это. Бывает, что молодому ни до кого и ни до чего, кроме себя и присных по духу, дела нет! Знаю тоже, что многим из стариков обидно это кажется, и за грубость почитают, что молодые люди не ищут их общества, а я говорю: никакой грубости тут нет, а просто молодое сердце играет! Не так ли, сударь?

– Конечно, так. И по моему мнению, роль стариков, в особенности же близких, именно в том и состоит, чтоб как можно осторожнее относиться к этому молодому эгоизму и не раздражать его.

– Вот это так! вот с этим я согласна! – живо отозвалась Анфиса Ивановна и так хорошо взглянула при этом на меня, что я сразу почувствовал себя в числе ее друзей.

Сильный звонок, раздавшийся в эту минуту, прервал наш разговор.

– А вот и Балалайка явилась! – воскликнул Алексей Степаныч, – ишь ведь, как нагло звонит! Ну-с, идемте обедать!

Господа молодежь! обедать милости просим! – хлопнул он в ладоши.

Действительно, Балалайкин уже расхаживал по столовой в ожидании нас. Это был молодой человек среднего роста, но уже несколько тучный, с наружностью, которая могла бы быть названа приятною, если бы ее не портило томно-самодовольное выражение лица и какая-то минодирующая женственность во всех движениях. Одет он был в легкую коричневую жакетку и в светлые панталоны; подбородок был тщательно выбрит, волосы на голове расчесаны удивительно; в одном глазу был вставлен монокль, другой – прищурился с легким оттенком презрения; ходил он с развалкою, напевая себе под нос французский куплет и поматывая головой из

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru стороны в сторону, как будто чего-то ища.

– А я к вам на минутку, многоуважаемый! – приветствовал он Алексея Степаныча.

– Как так! а обедать?

– Не могу, милейший! дело есть!

– Да ведь и у меня есть дело! Я, собственно, за этим и приглашал! Знаю, что вам, молодым, неинтересно со стариками.

– Не могу, мой ангел! Впрочем, если у вас есть до меня дело, то я имею перед собой...

Он вынул из кармана великолепный хронометр, неизвестно для чего заставил его прозвонить, затем открыл крышку, взглянул на циферблат и сказал:

– Да, именно; я имею перед собой четверть часа... да, так! четверть часа! На эти четверть часа я к вашим услугам!

– Ну, Христос с тобой! коли у тебя больше четверти часа нет свободного времени, так идем в кабинет... Эй! Кто там! скажите, чтоб погодили подавать на стол! – крикнул он в переднюю.

– Но я вас не стесняю! Пожалуйста, без церемоний; мы и во время обеда переговорить можем!

– Нет, сударь. Не люблю я при праздных свидетелях есть. Все кажется, что ты на юру сидишь и что в рот тебе смотрят.

Мы перешли в кабинет.

– Вот видишь ли, господин Балалайкин, зачем я к тебе приезжал, – начал Алексей Степаныч. – Софью Павловну Чацкую помнишь?

– Да, помню.

– Так вот с ней случился пассаж...

Молчалин в кратких словах рассказал сущность дела и вопросительно взглянул на Балалайкина. Последний некоторое время молчал и напевал себе под нос.

– Вы, конечно, желаете, милейший, чтоб я этим делом занялся? – наконец произнес он.

– Ну да, сам займись или на кого-нибудь укажи!

– И вы намерены употребить на это дело...

Балалайкин остановился и томно посмотрел в глаза Молчалину. Но тот не понимал и тарачил глаза.

– Я говорю о сумме вознаграждения за труд по ведению дела, – объяснил Балалайкин. – Извините, голубчик, что я так прямо... Time is money, [7] говорит хорошая пословица, а для адвоката – в особенности. Я уж сказал вам, что имею перед собой только четверть часа; следовательно...

Он снова вынул из кармана хронометр, опять позвонил и положил на ладони перед собой, очевидно намереваясь следить за ходом минутной стрелки.

– Да ты прежде обдумал бы, возможное ли это дело или невозможное!

– На этот счет я должен сказать вам следующее: в современной адвокатской практике выработалось такое убеждение, что невозможных дел не существует. Вот почему адвокаты редко останавливаются на соображениях этого рода, но прямо приступают к вопросу о вознаграждении.

– Ну, насчет вознаграждения она ничего не пишет... Полагаю, что не оставит...

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)  
Поймет, чай, что с твоей стороны беспокойство было...

– Гм... да... «не оставит»! А знаете ли, мой милейший, что выражения вроде «не оставит», «беспокойство» и так далее несколько запоздали для нашего просвещенного времени? Во времена крепостного права, действительно, бывали такие ходатаи, которые «беспокоились» и относительно которых можно было без риска употребить выражение: «Ты уж побеспокойся, мой друг, а я тебя не оставлю». Но мы совсем другое дело. Мы не «беспокоимся», а ведем дело в пределах законности; нас нельзя ни «оставить», ни «не оставить», потому что закон дает нам право на вознаграждение...

– Ну, извини, мой друг! я не хотел тебя обидеть! я ведь новых ваших порядков не знаю... Так как же бы ты думал насчет вознаграждения-то!

– А как велика ценность имения?

– Да тысяч на полтора, на двести будет!

– Положим, полтора. В современной адвокатской практике выработалось убеждение, что норма вознаграждения за ведение дела, без обременения для клиента, может быть определена в размере десяти процентов с цены иска.

Следовательно, в настоящем случае надлежало бы принять цифру в пятнадцать тысяч рублей, как вполне обеспечивающую интересы обеих сторон: и доверителя, и доверенного. Но, принимая во внимание, что имение отыскивается госпожою Чацкою не в собственность, но лишь в пожизненное владение, я нахожу справедливым и возможным остановиться на следующих цифрах: в случае выигрыша – восемь тысяч, в случае проигрыша – две тысячи.

– Да ты выспался ли?

– Я не только выспался, почтеннейший Алексей Степаныч, но уже в десяти местах успел быть сегодня утром. Да-с, дело адвоката – дело не легкое-с. Надобно походить около тех двадцати пяти – тридцати тысяч, которые составляют мой годовой бюджет! Их надо достать-с.

Балалайкин произнес эти слова так убедительно и глаза его блестели при этом таким холодным блеском, что я как-то инстинктивно приложил руку к левой стороне сюртука, как бы ощупывая, тут ли мой бумажник. По-видимому, подобное же чувство испытывал и Алексей Степаныч, потому что он вдруг забегал глазами по комнате, очевидно высматривая, не лежит ли что-нибудь плохо.

– Ну, да Христос с тобой, доставай, похаживай! никто тебе не препятствует, – сказал он голосом, в котором еще слышались изумление и испуг, – а все-таки не мешало бы и об том подумать, что Софья-то Павловна ведь не чужая тебе! хоть с левой стороны...

– Эти левые и правые стороны уместны в банке и в ландскнехте, а в гражданских делах они только запутывают... Однако позвольте! четверть часа, которую я имел к вашим услугам, уже истекла... Извините, милейший! ей-богу, ни одной минуты дольше оставаться не могу!

– Да бог с тобой! Уходи, сделай милость, если так уж тебе приспичило!

– Прекрасно-с. Но в заключение я хочу сказать еще одно слово. Шесть тысяч – в случае выигрыша, полторы – в случае проигрыша. *C'est à prendre ou à laisser.* [8]

– За что ж в случае проигрыша-то?

– За труд-с, почтеннейший Алексей Степаныч! за труд-с!

– Какой тут труд, сделай милость! Ты с утра до вечера рыскаешь да языком отбиваешь, так для тебя даже лучше, если за дело малость присядешь! Может, язык-то у тебя и поостепенится маленько!

– Это уж мое дело. Штука не в том, велик или мал мой труд, а в том, что на него существует требование. Я вчера два дела взял, сегодня утром одно наклюнулось; кроме того, у меня на руках два конкурса, да в десяти коммерческих домах я

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru юрисконсульту состою... стало быть, мой труд ценится-с! Однако pardon,[9] я заболтался. До обеда мне еще в пяти местах побывать нужно. Ежели надумаете – пожалуйста. Каждый день утром, кроме праздников, у меня от десяти до двенадцати прием. Au revoir.[10]

Он подал Молчалину руку ладонью вверх, почти неприметно кивнул мне головой и поплелся развальцем в переднюю. Алексей Степаныч последовал за ним, и я слышал, как на прощание он сказал ему:

– Говорил я тебе, Балалай Балалаевич, что быть тебе в местах не столь отдаленных... и будешь!

Я взглянул в окно: у подъезда стояла великолепная пара серых, запряженная в коляску. Балалайкин вскочил в экипаж, разлегся на подушках и помчался.

– Каков? – обратился ко мне Алексей Степаныч.

– Недурен. Но воля ваша, он на Репетилова не похож!

– А кто их знает, мой друг. Говорили, будто тут и Удушьев вкладчиком был... Ведь и в наше время бабочки-то слабеньки бывали! Да это еще что! Это больше по части легкомыслия! А вот ты бы на Клеца взглянул! Того я – боюсь!

– А что?

– Да то, что вот хоть бы в настоящем случае; уж он бы не уехал, как Балалайка! Он бы заставил с собой покончить!

– Как так «заставил» бы?

– Да так вот: глаза бы отвел. Тот и обедать остался бы, и у Анфисы Ивановны руку поцеловал бы, и с Павлинкой насчет «родов и видов» поговорил бы, и Леночке табакерку с музыкой подарил бы, да и насчет вознаграждения не стал бы спорить...

– Так что ж вы! – обратитесь к нему!

– То-то и есть, что он взять-то дело возьмет, да сейчас же с ним – к Загорецкому! Тот у него Софью-то Павловну и купит!

– Ах, боже мой!

– Да, мой друг, в распутное времечко пришлось нам век доживать. Ходишь, это, по белу свету ровно оплеванный. По улице идешь – к сторонке жмешься, в общество попадешь – в уголку на стульце сядешь. И смотрят на тебя все как-то дико, словно совсем ты не туда попал, где тебе быть надлежит.

А впрочем, ведь нам с тобой людей не исправить, а жаркое, пожалуй, и подгорит, коли дольше болтать будем. Обедать! – крикнул он в дверь.

Через пять минут мы уже сидели за обедом. За едой дурное впечатление, произведенное Балалайкиным, изгладилось совершенно. За столом было шумно, свободно и весело. Алексей Степаныч ел очень исправно, что не мешало ему, однако, и беседу вести; дети тоже кушали с большим аппетитом, но при этом ни одной минуты не сидели смирно: шептались друг с другом, делали друг другу таинственные знаки и громко-громко смеялись. Разговор сначала вертелся около хозяйственных вопросов, а потом мало-помалу перешел и на почву современности.

– А помните, Алексей Степаныч, вы обещались вразумить меня насчет современного направления? – напомнил я.

– Вразумить – отчего не вразумить! Только я, признаться, и сам в нынешних делах мало понимаю!

– Что ж так?

– Да так уж... Ведь ты писатель?

– Гм... что это вам вздумалось напомнить?

– А отчего бы и не напомнить! Стыда тут нет. В наше время в писателях-то даже славу отечества видели... Помнишь Грибоедова, Александра Сергеича, – ведь тоже писатель был! Конечно, не всякому Грибоедовым быть, а все-таки... Впрочем, я не к тому веду речь, чтоб тебе о твоём писательстве напомнить, а вот к чему: знаешь ты, что такое «период»?

– Конечно, знаю.

– Ну, так вот я тебе что скажу. Коли затеял ты период написать, то, конечно, так уж и пригоняешь, чтоб его как следует в конце закруглить. Начнешь, например, с «так как» – дальше у тебя непременно будет «то»; начнешь с «хотя» – дальше будет «но». Так ли, сударь?

– Кажется, что так...

– Ну, вот видишь ли! А в современном-то нынешнем направлении вот этого именно и нет. «Так как» и «хотя» – в полной силе состоят, а «то» и «но» – в умалении, а не то так и совсем в отсутствии!

Определение это, на первый взгляд, показалось мне настолько остроумным, что я и сам поддался ему. А ведь и в самом деле, и «то» и «но» в умалении! невольно подумалось мне. Однако, вникнув в дело ближе, я нашел, что в мнении Алексея Степаныча кроется известная доля односторонности, которую я и решил исправить.

– Ваше замечание очень метко, – сказал я, – но едва ли оно исчерпывает предмет вполне. Я, по крайней мере, имею основание полагать, что в некоторых случаях даже лучше, ежели периоды не имеют полной синтаксической округленности.

– Ну, уж это странный вкус у вас, сударь!

– Нет, это не личный мой вкус к синтаксической безурядице, а просто инстинкт самосохранения.

– Самосохранение-то как же тут попало?

– Очень просто. Помните, в тот раз, как мне приходилось туго и вы пришли мне на помощь – чем вы меня из беды вызволили?

– Чем, например?

– А тем именно и вызволили, что начатой период без округления оставили. Согласитесь, что если бы в ту пору Сахар Медович период-то свой округлил, – вряд ли бы мне сегодня у вас обедать!

– Да! так ты вот об чем? случай-то этот вспомнил?

– Нет, я не об одном этом случае говорю, а вообще... Вспомните-ка, Алексей Степаныч, один ли такой казус с вами был, где вы, вместо округлений, «обстановочки» разные придумывали?

– Мало ли со мной случаев было – и не перечтешь! Вот даже намердись – призывает он меня к себе и говорит: «Так как, говорит, наблюдения за современным настроением умов обнаруживают, что превратные толкования»... Да, к счастью, на самом этом месте курьер с письмом от метрески подоспел... ну, он и бросил период без округления!

– А как вы думаете, если бы не случилось этого письма, в каком бы смысле ваш Сахар Медович свой период округлил?

– Поход бы, вероятно, против обывателей объявил. Да, мой друг, есть в твоих словах правда! есть! Оно, конечно, странно начала без концов слушать, а как подумаешь...

– Не наоборот ли, Алексей Степаныч? не правильнее ли будет сказать, что нам чаще концы без начал выслушивать приходится? По крайней мере, что до меня, то мне именно сдается, что в тех «периодах», о которых мы с вами повели речь, совсем не «то» и «но» в отсутствии, а именно «так как» и «хотя».

Вместо ответа Алексей Степаныч взял меня за локоть и крепко пожал его, как бы заявляя о своем сочувствии.

– Знаете ли что! – продолжал я, поощренный этим вниманием, – вот вы прошлый раз, встретясь со мной, на молодых чиновников жаловались, что они к «делу» не прилежны, больше тем занимаются, что папиросы курят да из «Мадам Анго» мотивы насвистывают. Конечно, с точки зрения производительности труда, они поступают неправильно. Но ведь, с другой стороны, представьте себе, что вдруг, по мановению волшебного жезла, эти люди перестают курить и свистать и все разом присаживаются вплотную за дело... ведь это что ж такое будет!

– Да, да, да! Вот и сами они то же говорят! Подойдешь, это, к ним иногда: шалберничаєте, мол, вы, господа молодежь! А они: да разве лучше будет, коли мы списываться-то начнем?

– Вот видите ли! Положим, что они не серьезно это говорят, а больше лень свою оправдывают, однако и в этой лени есть что-то такое... провиденциальное!.. – Сообразите же теперь! в одном месте лень, в другом – метреска, в третьем – еще случайность какая-нибудь – смотришь, ан «периоды»-то и остаются без округления!

– Однако, не любишь ты этих «периодов»! Ну, а вы, молодые люди, какого на этот счет мнения? Ты, Павел Алексеич! как ты об этих периодах полагаешь?

Я заметил, что, покуда мы вели эту беседу, молчалинская молодежь не обращала на нас никакого внимания. Даже взрослые молодые люди, как Павел и Соня, – и те держали себя особнячком, не только не вмешиваясь в разговоры старших, но даже и не прислушиваясь к ним.

– Что такое? Об чем вы, папенька, спрашиваете? – отозвался Павел Алексеич, застигнутый врасплох.

– А ты бы, мой друг, и прислушался иногда! Ведь старшие-то не всё одни пустяки говорят!

– Ах, папенька! вы ведь знаете, что я не интересуюсь этим!

– Чем «этим»-то?

– Да вот... внутреннюю политикой этой... мероприятиями...

Павел Алексеич как-то загадочно улыбнулся и, обратясь к сестре, начал шептаться с нею, как бы возвращаясь к прерванному разговору. Алексей Степаныч укоризненно покачал на него головой.

– Вот они, молодые-то люди наши! – сказал он, – никакого в них к жизни внимания нет, все где-то витают, в эмпиреях каких-то!

– Вот уж извините! – обиделась Софья Алексеевна, – это вы в эмпиреях живете, а мы признаем только действительность, или, лучше сказать...

– Знаю я, сударыня, про какую ты действительность говоришь! А ты бы лучше сказала, как ты на нашу-то, на настоящую-то действительность смотришь? Так, мол, мистерия какая-то... представление балетное!.. Поверите ли, сударь, – обратился он ко мне, – даже об истории говорят, что совсем, мол, это не история, а затмение! Мимо идоша и се не бе! А вот оно когда-нибудь укусит тебя, «затмение»-то, так ты не то, стрекоза, заговоришь!

– Уж оставил бы ты их, Алексей Степаныч! не трогают они тебя! – вступилась Анфиса Ивановна.

– Ведь и я не в укор, сударыня, а для их же пользы говорю. Ведь им жить посреди этой мистерии-то придется!

– Проживем как-нибудь! – отозвался Павел Алексеич.

– Нет, не проживешь, мой друг. Потому, хоть оно и через пень колоду на свете идет, а все же не затмение происходит. Вот он, городской-то, на углу стоит!

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru  
Городовой, сударь, а не мистерия!

– Я очень хорошо это понимаю.

– А понимаешь ли ты, в чем состоят его права и обязанности, вот этого самого городского?

– Права его состоят в том, что он может остановить и отправить в участок всякого, кто ему под силу; обязанности – в том, чтоб делать кому следует под козырек.

– Ан вот и соврал. Таких прав у него нет, чтоб всякого хватать. А ежели он это сделал, так у него начальство есть, которому жалобу на него принести можно. Начальство, сударь!

– Нет, уж я лучше предпочитаю не ходить по той улице, где завижу городского. Покойнее.

– Да ведь таким образом тебе на тот свет уйти придется, потому что на этом-то свете нет вершка земли, на котором бы ты с городovým не встретился!

Павел Алексеич даже не возразил на это. Для меня очевидно было, что разговор этот начался не сегодня и ведется без всякого результата для обеих сторон.

– Недоумение нынче какое-то, – продолжал Алексей Степаныч, – никакого общего разговора в семействе нет. Сидим мы, бывало, при покойном батюшке за столом – и все у нас разговоры простые, для всех понятные: и для родителей, и для детей. Ну, и с Павлом Афанасьичем тоже: он, бывало, говорит – я понимаю, я говорю – он понимает. Уж на что Александр Андреич мудрен был – и того, бывало, понимаешь. Потому, хоть слова и разные, да сюжет-то один. А нынче словно на две половины раскололся: один – свое, другие – тоже свое.

– Мы, папенька, вас любим... и мы вам очень благодарны... неужто вы сомневаетесь? – отозвался Павел Алексеич.

– Знаю, мой друг, и не сомневаюсь! Вот только в мыслях у нас согласия нет!

– Да что же будет проку, ежели я, по наружности, буду соглашаться с вами, а внутренно нет?

– А ты сначала наружно согласишься, а там, может быть, и внутреннее согласие придет. А то вон хоть бы намеренно: получил я от Софьи Павловны письмо, да и угоразди меня ее благодетельницей назвать – так какой они содом из-за этого подняли!

– Какая же она благодетельница ваша? Вы в Чацких нуждались, Чацкие – в вас. Это взаимный обмен услуг. И уж, конечно, вы больше одолжений им сделали, нежели они вам!

– Молод ты! – вот что, мой друг! Взаимный обмен услуг! А знаешь ли ты, что мои-то услуги на рынке грош стоят, а ихние услуги – милостями называются! Вы как об этом думаете? – обратился Алексей Степаныч ко мне.

– Я думаю, что в ваши отношения к Чацким замешалось совершенно особенное чувство, о котором люди современного молодого поколения не имеют да и не могут иметь ясного представления. В старину жизнь сопровождалась известными осложнениями, которые в настоящее время могут иметь место только в исключительных случаях. Вспомните о крепостном праве, около которого вертелись все прочие жизненные явления. Кто из наших детей поверит, что когда-то существовал такой жизненный строй, в котором все человеческие чувства являлись до такой степени спутанными, что нельзя было даже приблизительно сказать, где кончалась преданность и где начиналась ненависть. То же должно сказать и о другом явлении того же порядка: о покровителях и благодетелях. Как бы ни почтенно было благодеяние само по себе, но оно непременно порождает в благодетельствуемых известное нравственное раздвоение, с которым может примирить человека лишь очень продолжительная привычка. Поэтому весьма естественно, что когда руководящим началом человеческих действий выступает чувство личной ответственности, то представление о «благодеяниях» как-то невольно отступает на

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)  
задний план.

Каюсь: произнося эту рацею, я преимущественно имел в виду поразить молодого Молчалина либерализмом моих взглядов. Но я горько ошибся. Молодой человек воспользовался моим вмешательством единственно для того, чтоб отделаться от вопросов отца и беспрепятственно возобновить разговор с соседями.

– Может быть! – может быть! – отвечал Алексей Степаныч в раздумье, – точно, что прежде случалось что-то похожее. Вот хоть бы эта самая Лиза – помните, что у Софьи Павловны во фрейлинах была? – сколько раз она мне говаривала: уж так мне эта барышня ненавистна! – кажется, в целом свете постылее ее человека нет! – Что ты, глупенькая! – начнешь ты ее, бывало, урезонивать, – какой еще тебе барышни лучше! Два-три раза платье наденет – и тебе отдает! – Нет, говорит, Алексей Степаныч! Верите ли, говорит, как начну я ее утром обувать – она в постели лежит, а мне ножку протянет – ну, так она мне ненавистна! – так ненавистна!.. И что ж бы вы, сударь, думали! Как объявили, этта, волю – ни она, ни Петр-буфетчик так-таки ни минуты у Чацких и не остались! И не забудьте, ему под шестьдесят, да и ей тоже под эту цифру в это время было!

– Может быть, капиталец скопили?

– Как не скопить – был капиталец! Да чего! Из Венева-то явились сюда, мелочную лавочку здесь сняли, а через год и в трубу вылетели! После уж к нам наниматься приходила; да я, признаться, побоялся нанять, а к Софье Павловне отписал: гак, мол, и так, не пожелаете ли обратно заблудшую овцу взять?

– Что ж Софья Павловна?

– Ничего. Зла, говорит, я не помню, а прощать только бог может, и я каждый день и на утренней, и на вечерней молитве его о том прошу, чтоб он сей ужасный ее грех простил.

– Однако строгонька-таки Софья Павловна!

– Человек, сударь, – слабости свои имеет. Да ведь и обработала же их меньшая братия-то! Александр-то Андреич, чай, сами знаете, всегда либералом был, а тут, как комитеты-то эти в пятьдесят восьмом году открыли, – он и еще припустил. Тогда, впрочем, везде эти либеральные лавочки завелись. И что ж бы вы думали! – как только рескрипт пришел, на другой же день у Александра Андреича ни одной души из дворни не осталось! Ну вот, он и нашелся в фальшивом положении: с одной стороны, по закону, два года имеет право безмездно услугой пользоваться, а с другой стороны – либерализм примешался...

– Как же он выпутался?

– Победствовал-таки, а после того, однако ж, задумываться стал: «хороша, говорит, свобода, но во благовремени».

В эту минуту в среде молодых людей раздался взрыв сдержанного смеха.

– Вы чему, господа, смеетесь? – любопытствовал Алексей Степаныч.

– Ах, папенька, неужто ж нам посмеяться между собой нельзя! – вскрикнула Соня.

– Отчего не посмеяться! да отцу-то отчего не открыть?

– Разве вам интересно? Ну, мы об учителях вспомнили!

– Вот она так всегда мне отвечает! С Павлом Алексеичем хоть целый день шушукаться готова, а перед отцом – молчок! И об чем только вы шушукаетесь? Верно, он и тебя нашипиговал, что человек от обезьяны происходит?

– Вы, папенька, в таком странном виде это представляете, как будто я говорю, что это вчера или третьего дня произошло, – вступился Павел Алексеич.

– Что вчера, что за шесть тысяч лет, – это все равно, мой друг! Все-таки оно неправильно. Потому сказано: Адам, Ева... и притом в шестой день... Как же ты после этого об Адаме и Еве полагаешь?

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)

– А так и полагаю, что ничего не полагаю!

– Нельзя не полагать, мой друг! велено полагать! По-твоему, и мир не в семь дней сотворен, и от сотворения мира до Рождества Христова не 5508 лет протекло, а несколько десятков тысяч столетий – так, что ли?

– Ах, папенька! вы со мной точно участковый надзиратель разговариваете!

– Для твоего добра, мой друг! Ведь ты и при посторонних людях чепуху-то эту несешь, а нынче, слава богу, гаду-то этого довольно-таки развелось! А ты умненько себя, голубчик, держи! Ты линию-то свою веди, да так, чтоб комар носу не мог подточить!

– Слушайте-ка, Алексей Степаныч! – вступился я, – а помните, что вы сами давеча насчет молодых-то людей говорили?

– Что же такое?

– А вот, что молодым людям и самих себя довольно, что не правы те старики, которые претендуют, что молодые люди не ищут их общества.

– Так-то так, да ведь родительское сердце – загадка, сударь. Ежели рассудить по справедливости, так оно и действительно так: какие же у нас с детьми общие разговоры могут быть? Баловать их, жалеть, радоваться на них – вот настоящая задача! Ну, а как коснется до дела – тут и спасуешь! Все думаешь, как бы поближе да потеснее, да как бы за свою любовь-то благодарность получить!

Сказавши это, Алексей Степаныч так нежно и любовно погладил по голове маленькую Леночку, сидевшую около него по правую руку, что та сейчас же расшалилась и опрокинула к нему все свое светящееся личико.

– Следовательно, – продолжал он, – всякому свое. И старикам, и молодым. Мы – будем об нынешнем направлении рассуждать, а молодежь – пусть сама для себя сюжеты выискивает!

Обед кончился; мы встали из-за стола и, в ожидании кофея, приютились с Алексеем Степанычем в его кабинете.

– Я такого об нынешнем направлении мнения, – начал он, – что к тому, видимо, все клонится, чтоб не рассуждать.

Совсем чтоб это оставить! И ежели ты на этой линии стоишь твердо, то никто, значит, тебя и не потревожит!

– Гм... а ведь это, Алексей Степаныч, тоже своего рода «период»... и даже довольно округленный!

– Настоящего «периода» покамест еще нет, а из отрывочков, действительно, можно это самое заключить.

– Стало быть, по вашему мнению, если хочешь прожить мирно, то стоит только не рассуждать? – резюмировал я в раздумье.

– Верно!

– Что ж! Я думаю, что так-то даже легче. Вот только в литературе... ведь она, пожалуй, одним рассуждением и живет!

– А в литературе – рассуждай о нерассуждении!

– Да? стало быть, существует особенный вид рассуждения: рассуждение о нерассуждении?

– Именно. На днях я в одной газете целую передовую статью о нерассуждении прочел – бойко написано!

– Гм... надо об этом подумать!

– И так, сударь, он, сочинитель этот, ловко эту материю обставил, что даже ни одним словом прямо не проговорился: не рассуждай, мол! А говорит: рассуждай – но в пределах!

– Да ведь в том-то и штука, Алексей Степаныч, как пределы-то эти отыскать?

– И об этом он говорит. У всякого, говорит, свой предел есть. Ты сапожник – рассуждай об сапоге; ты медик – рассуждай о пользе касторового масла, как, в какой мере и в каких случаях оно должно быть употреблено; ты адвокат – рассуждай о правах единокровных и единоутробных...

– А ежели, например, философ?

– А такого звания, кажется, у нас не полагается!

– Ну, не философ, а публицист, поэт, романист?

– Ежели публицист – пиши о нерассуждении; ежели поэт – пой:

Я лиру томно строю,  
Петь грусть, объявшу дух:  
Приди грустить со мною,  
Луна, печальных друг!

Пжели романист – пиши сказание о том, как Ванька Таньку полюбил, как родители их полагали этой любви препятствия и какая из этого вышла кутерьма! Словом сказать, все ремесла, все отрасли человеческой деятельности сочинитель этот перебрал – и везде у него вышло, что без рассуждения не только безопаснее, но даже художественнее выходит!

– Да; надобно, надобно об этом подумать, и ежели действительно есть возможность...

– Подумай, мой друг! А еще лучше, коли не думавши! Знаю я эти думанья! Сначала только думаешь, а потом, смотришь, и рассуждение пришло!

– Ну, а вы сами как, Алексей Степаныч? Пробовали ли вы без рассуждения жить?

– Я, мой друг, всю жизнь без рассуждения прожил. Мне покойный Павел Афанасьич раз навсегда сказал: «Ты, Молчалин, ежели захочется тебе рассуждать, перекрестись и прочитай трижды: да воскреснет бог и расточатся врази его! – и расточатся!» С тех пор я и не рассуждаю, или, лучше сказать, рассуждаю, но в пределах. Вот изложить что-нибудь, исполнить – это мой предел!

– Однако вы – начальник отделения. В этом качестве вы мнения высказываете, заключения сочиняете!

– И все-таки в пределах, мой друг. Коли спросят – я готов. Скромненько, потихоньку да полегоньку – ну, и выскажешься. А так, что называется, зря я с мнениями высказывать опасаясь!

– А разве, несмотря на эту осторожность, вас не тревожили?

– Кому меня тревожить! Живу, сударь. Видишь, каким домком обзавелся.

– Да, домик хорош. А генерал-майор Отчаянный? А молодой князь Тугоуховский? А эта беспрестанная боязнь, что вот-вот сейчас велят в отставку подать?

– Ну, это, мой друг, не тревога. Это уж такая жизнь!

Я ничего не сказал на это. Замечание Алексея Степаныча заставило меня задуматься. Молчалин прав, думалось мне, он не вполне сознательно, но очень метко определил положение. Действительно, тревоги нет там, где есть «такая жизнь». Он ошибается только в том, что полагает, что «такая жизнь» есть личный удел его и ему подобных. Нет, это удел очень многих, начиная с так называемого «непомнящего», ночующего в стогах сена, и кончая так называемым «деятелем», тщетно отыскивающим себе местожительство в кустах. Ежели эти люди еще не убедились, что все их существование есть не что иное, как «такая жизнь», ежели некоторые из них, кроме того, ждут и еще какой-то тревоги, ими не испытанной и

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru не предвиденной, то это означает только, что они не вполне покорились, что хотя они и говорят о тревогах, но собственно ждут от жизни не тревог, а благостынь. Вот Молчалин прямо сказал себе: для меня нет тревог! для меня существует только «такая жизнь»! – и благо ему! Это сознание дает ему силу не только перенести «такую жизнь», но даже, по силе возможности, и украсить ее. У него есть угол, есть семья; он не ночует в стогах сена и не прячется в кусты. Не благоразумнее ли было бы и со стороны всех «непомнящих» и «деятелей», если бы и они последовали примеру Молчалина? Подумайте об этом, милостивые государи! Потому что ведь ежели Алексей Степаныч и говорит, что настоящего «периода» нет, то он же присовокупляет, что и из «отрывочков» достаточно заключить можно...

Я взглянул на Алексея Степаныча: он был так светло спокоен, он с таким блаженным добродушием попыхивал свою сигару, дым которой отзывался не то печеными раками, не то паленым бараньим полушубком, что я вдруг смутился. Одну минуту мне даже показалось, что передо мной сидит своего рода эпикуреец той «такой жизни», все элементы которой так искусно сложились, что даже устранили всякое представление о «тревоге». «Да! это оно... оно самое!» – твердил я себе, совершенно явственно ощущая, как я все ниже и ниже опускаюсь на самое дно колодца. Я уже хотел перекреститься и трижды прочитать: «Да воскреснет бог и расточатся...» – как вдруг мне пришло на мысль, что есть и еще два сомнения, которые мне необходимо разъяснить.

– Прекрасно, – сказал я, – в принципе я совершенно согласен, что ежели человек не рассуждает, то тревожить его нет причины. Это великий принцип современной жизни, это ее палладиум, это безопаснейший ночлежный приют для всех «непомнящих». Но меня тревожит, во-первых, следующее соображение: ведь человек носит на себе образ и подобие божие! Вы христианин, Алексей Степаныч! Подумайте, как же с этим-то быть? как отказаться от образа и подобия божия? как не рассуждать, когда дар рассуждения есть главная характеристическая черта этого образа и подобия?

– Ну, мой друг, по нынешнему времени эти уподобления-то оставить надо!

– Как! оставить! да ведь это кощунство!

– А как бы вам сказать... Вот автор-то статьи, об которой я упоминал, совсем напротив говорит. Не тот, говорит, кощунствует, кто, не рассуждая, исполняет предначертанное, а тот, кто рассуждает – во вред. Вот, говорит, где истинное и действительное оскорбление образа и подобия божия!..

– Стало быть, вообще-то говоря, рассуждать не возбраняется, но только нужно, чтоб эта способность проявлялась, во-первых, в пределах и, во-вторых, не во вред? Так, что ли?

– Да, мой друг!

– И, стало быть, ежели не умеешь отыскать «пределов» или не можешь отличить, что вредно и что полезно, то...

– То лучше не рассуждать!

Мы на минуту умолкли и смотрели друг на друга не то в изумлении, не то как будто нам самим было совестно, что мы пришли к таким результатам. Но я решил выпить чашу до дна и первый прервал молчание.

– Прекрасно, но что вы скажете насчет следующего соображения? Вот мы имеем порох, книгопечатание, пар, железные дороги, шасспо, голубиную почву, азростаты... Мы, наконец, едим печеный хлеб, а не питаемся сырыми зернами ржи... Не правда ли, что все это приобретения очень и очень полезные? Как вы, однако ж, думаете: если бы люди не рассуждали, обладали ли бы мы всеми этими благами?

– И насчет этого в статье говорится. «Правда, говорит, что есть вещи, которых польза признана всеми и осуществление которых было бы невозможно без некоторого полета ума, но и на этот случай существует известная комбинация, при помощи которой могут быть удовлетворены все интересы. Пусть те, которые имеют склонность к умственным полетам, прибегают к оным под личною за сие ответственностью! пусть изумляют они мир величием и смелостью своих открытий и изобретений! пусть воспользуются за оные сладчайшею в мире наградою – славой! Но

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) разве это мешает нам, избегающим упомянутых полетов, ради ответственности, с ними сопрягаемой, пользоваться плодами оных? – Отнюдь!» Да, мой друг! нужно только терпение, а прочая вся приложатся! Есть и без нас кому выдумывать и мозгами шевелить! Пускай их! Ведь оно, выдуманное-то, и без того в свое время до нас дойдет – тогда мы и попользуемся!

– Следовательно, как ни кинь, а в результате все выходит: не рассуждать?

– Ежели по тому судить, что в статье говорится, то видимое дело, что оно к тому клонится.

– Попробуем, Алексей Степаныч! попробуем!

– Попробуй, мой друг!

Сказавши это, Алексей Степаныч словно оживился весь. Он даже переменял свое спокойное положение на диване и всем корпусом потянулся ко мне, чтоб еще крепче меня убедить.

– И совсем это не так трудно, как ты себе представляешь, мой друг! Нам вот, чиновникам, не только рассуждать не полагается, да еще чужие рассуждения переносить приходится – и то живы! А от тебя только одно требуется: находишься в пределах! – и то ты ропщешь!

– Не ропщу, а не знаю... пределов найти не могу, Алексей Степаныч!

– Ну, бог милостив!.. вместе как-нибудь... общими силами... найдем!!

Алексей Степаныч сказал эти слова несколько вяло. Мне показалось, что при последнем слове он даже зевнул.

– Извините, пожалуйста! – встрепенулся я, – ведь у меня совсем из головы вон, что вы, кажется, имеете привычку отдохнуть после обеда?

– Есть тот грех, мой друг!

– Ну, так вот что, Алексей Степаныч! наставления ваши я постараюсь исполнить; но только, если бы паче чаяния – ведь плоть-то немощна! – вы ведь не откажетесь все-таки в мою пользу «обстановочку» сделать?

– Сделаю, мой друг! с удовольствием сделаю!

– А ежели так, то выходит, что сегодняшний разговор привел нас к следующему результату. Три главных признака имеет современное направление: во-первых, отсутствие округленности в «периодах»; во-вторых, стремление к нерассуждению, и в-третьих, возможность «обстановочек». Воля ваша, а последний признак мне гораздо больше нравится, нежели, например, второй!

– Губа-то у тебя не дура!

– Равным образом, я ничего не могу сказать и против отсутствия округленности в «периодах» – бог с нею, с этою округленностью! Пожалуй, как округлять-то навострят, – того гляди, так округлят, что и навек болваном останешься! Вот только с нерассуждением трудненько будет сладить!

– Бог милостив!

– Да, надо будет! надо! Потому что в наши годы и вдруг...

– Что ты! еще что вздумал! Про «обстановочку»-то забыл? А мы вот тут-то ее и пустим!

С этими словами мы пожали друг другу руки и расстались.

#### ГЛАВА IV

Как я уже не раз говорил, Молчалины отнюдь не представляют исключительной особенности чиновничества. Они кишат везде, где существует забитость, приниженность, везде, где чувствуется невозможность скоротать жизнь без

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru содействия «обстановки». Русские матери (да и никакие в целом мире) не обязываются рожать героев, а потому масса сынов человеческих невольным образом придерживается в жизни той руководящей нити, которая выражается пословицей: «Лбом стены не прошибешь». И так как пословица эта, сверх того, в практической жизни подтверждается восклицанием: «В бараний рог согну!» – применение которого сопряжено с очень солидной болью, то понятно, что в известные исторические моменты Молчалины должны во всех профессиях составлять не очень яркий, но тем не менее несомненно преобладающий элемент.

По-видимому, литературе, по самому характеру ее образовательного призвания, должен бы быть чужд элемент, а между тем мы видим, что молчалинство не только проникло в нее, но и в значительной мере прижилось. В особенности же угрожающие размеры приняло развитие литературного молчалинства с тех пор, как, по условиям времени, главные роли в литературном деле заняли не литераторы, а менялы и прохвосты...

С литературным Молчалиным меня познакомил тот же самый Алексей Степаныч, о котором я уже беседовал с читателем. В одну из минут откровенности, излагая мартиролог Молчалиных-чиновников, он сказал в заключение:

– Да это еще что! мы, можно сказать, еще счастливики! А вот бы вы посмотрели на мученика, так уж подлинно – мученик! Я, например, по крайности, знаю своего преследователя, вижу его, почти руками осязаю – ну, стало быть, какова пора ни мера, и оборониться от него могу. А он, мученик-то, об котором я говорю, даже и преследователя-то своего настоящим манером назвать не может, а так, перед невидимым каким-то духом трепещет.

– Кто ж это такой?

– Да тезка мой, тоже из рода Молчалиных (так расплодился, уж так расплодился нынче наш род!) и Алексеем же Степанычем прозывается. Только я – чиновник, а он – журналист, газету «Чего изволите?» издает. Да, на беду, и газету-то либеральную. Так ведь он день и ночь словно в котле кипит: все старается, как бы ему в мысль попасть, а кому в мысль и в какую мысль – и сам того не ведает.

– Да, это не совсем ловкое положение. Что ж это, однако, за Молчалин? Я что-то не слышал о таком имени в русской литературе. Литератор он, что ли?

– Литератор не литератор, а в военно-учебном заведении воспитывался, так там вкус к правописанию получил. И в литературу недавно поступил – вот как волю-то объявили. Прежде он просто табачную лавку содержал, накопил деньжонок да и посадил их в газету. Теперь за них и боится.

– Воля ваша, а я про такого газетчика не слышал.

– Что мудреного, что не слышал! Говорю тебе: они нынче все из золотарей. Придет, яко тать в нощи, посидит месяц-другой, оберет подписку – и пропал. А иному и посчастливится, как будто даже корни пустит. Вот хоть бы мой Молчалин, например: третий год потихоньку в своей лавочке торгует – ничего, сходит с рук!

– А шибко он боится?

– Так боится, так боится, что, можно сказать, вся его жизнь – лихорадка одна. Впал он, грешным делом, в либерализм, да и сам не рад. Каждый раз, как встретит меня: уймите, говорит, моих передовиков! А что я сделать могу?

– Да, передовики, особенно наши, это – я вам скажу, народ!.. начнет об новом способе вывоза нечистот писать – того гляди, в Сибирь сошлют!

– Да если бы еще его одного сослали – куда бы ни шло. А то сколько посторонних через него попадет – вот ты что сообрази! Сообщники, да попустители, да укрыватели – сколько наименований-то есть! Ах, мой друг! не ровен час! все мы под богом ходим! Да, не хотите ли, я познакомлю вас с ним?

– Что ж, пожалуй!..

– И не бесполезно будет, я вам скажу. Может быть, грешным делом, фельетончик настрочите – он ведь за строчку-то по четыре копеечки платит! Сотню строчек шутя

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) напишете – ан на табак и будет!

Мы условились, что в следующее же воскресенье, в первом часу утра, я зайду к Алексею Степаньчу, и затем мы вместе отправимся к его тезке.

В условленный час мы были уж в квартире Молчалина 2-го.

Нас встретил пожилой господин, на лице которого действительно ничего не было написано, кроме неудержимой страсти к правописанию. Он принял нас в просторном кабинете, посередине которого стоял большой стол, весь усеянный корректурными листами. По стенам расположены были шкафы с выдвижными ящиками, на которых читались надписи: «безобразия свияжские», «безобразия красноуфимские», «безобразия малоархангельские» и проч. Ко мне Молчалин 2-й отнесся так радушно, что я без труда прочитал в его глазах: пять копеек за строчку – без обмана! – и будь мой навсегда! К Алексею Степаньчу он обратился со словами:

– Да уйми ты, сделай милость, моих передовиков!

– Бунтуют?

– Республики, братец, просят!

– А ты бы их заверил, что республики не дадут!

– Смеются. Это, говорят, – уж ваше дело. Мы, дескать, люди мысли, мы свое дело делаем, а вы – свое делайте!

– Да неужто ж им, в самом деле, республики хочется?

– Брюхом, братец! вот как!

– А я так позволяю себе думать, – вмешался я, – что они собственно только так... Знают, что вам самим эта форма правления нравится, – вот и пишут.

Молчалин 2-й приосанился.

– Ну да, конечно, – сказал он, – разумеется, я... Само собой, что, по мнению моему, республика... И в случае, например, если бы покойный Луи-Филипп... Однако согласитесь, что не при всех же обстоятельствах... Да и народы притом не все... Не все, говорю я, народы...

– Та-та-та! стой, братец, – прервал Алексей Степаньч, – сам-то ты нетвердо говоришь – вот они и не понимают. Народы да обстоятельства... Какие такие «народы»? Води их почаще на Большую Садовую гулять да указывай на Управу Благочиния: вот, мол, она!

– Так-то так, Алексей Степаньч! – счел долгом заступиться я, – да ведь нельзя редактору так просто выражаться. Редактор – ведь он гражданское мужество должен иметь. А между тем оно и без того понятно, что ежели есть «народы, которые», то очевидно, что это – те самые народы... Впрочем, я уверен, что и сотрудники газеты «Чего изволите?» очень хорошо понимают, чем тут пахнет, но только, для своего удобства, предпочитают, чтоб господин редактор сам делал в их статьях соответствующие изменения.

Молчалин 2-й горько усмехнулся.

– Да-с, предпочитают-с, – сказал он, – да сверх того, на всех перекрестках ренегатом ругают!

– Так что, с одной стороны, ругают сотрудники, а с другой – угрожает начальство? – подсмеялся Алексей Степаньч. – Да, брат, это, я тебе скажу, – положение!

Молчалин 2-й на минуту потупился, словно бы перед глазами его внезапно пронесся дурной сон.

– Такое это положение! такое положение! – наконец воскликнул он, – поверите ли, всего три года я в этой переделке нахожусь, а уж болезнь сердца нажил! Каждый день слышать ругательства и каждый же день ждать беды! Ах!

– И, как мне сказывал Алексей Степаныч, неприятность вашего положения осложняется еще тем, что вы боитесь, сами не зная кого и чего?

– И не знаю! ну, вот, ей-богу, не знаю! Еще вчера, например, писал об каком-нибудь предмете, писал бесстрашно – и ничего, сошло! Сегодня опять тот же предмет, с тем же бесстрашием тронул – хлоп! А я почему знал?

– «А я почему знал»! – передразнил Алексей Степаныч, – а нос у тебя на что? А сердце-вещун для чего? Коли ты – благонамеренный, так ведь сердце-то на всяк час должно тебя остерегать!

– Рассказывай! Тебе хорошо, ты своего проник – ну, и объездил! А вот худо, как и объездить некого! Поди угадывай, откуда гроза бежит!

– Да неужто ж нет способов? – вмешался я, – во-первых, как сказал Алексей Степаныч, у вас есть сердце-вещун, которое должно вас остерегать; а во-вторых, ведь и писать можно приноровиться... ну, аллегориями, что ли!

– То-то и есть, что на аллегории нынче мастеров нет. Были мастера, да сплыли. Нынче все пишут сплеча, периодов не округляют, даже к знакам препинания холодность какая-то видится. Да вот, позвольте, я прочту, что мне тут один передовик напутал. Кстати, вместе обсудим, да тут же и исправим. А то я уж с утра мучусь, да понимание, что ли, во мне притупилось: просто, никакой аллегории придумать не могу.

Мы согласились. Молчалин 2-й взял со стола корректурный лист и начал:

– «С.-Петербург, 24-го июля.

На этот раз мы вновь возвращаемся к вопросу, который уже не однажды занимал нас. Пусть, впрочем, читатель не сетует за частые повторения: это – вопрос животрепещущий, вопрос жизни и смерти, вопрос, от правильной постановки которого зависит честь и спокойствие всех граждан. Одним словом, это – вопрос о распространении на все селения империи прав и преимуществ, изложенных в уставе о предупреждении и пресечении преступлений, вопрос, по-видимому, скромный, но, в сущности, проникающий в сердце нашей жизни гораздо глубже, нежели можно с первого взгляда предположить...»

– Гм... кажется, это можно?

– По моему мнению, не только можно, но и... ах, боже мой! да самая мысль, что честь и спокойствие граждан зависят от распространения прав и преимуществ, изложенных в уставе о предупреждении и пресечении преступлений... Помилуйте! Я сам сколько раз порывался... сколько раз сам думал: от чего бы это, в самом деле, зависело?... и вдруг такой ясный и вполне определенный ответ! – восклицал я в восхищении.

– А по-моему, так и тут есть изъянец, – расхолодил мой восторг Алексей Степаныч, – кажется, и всего-то одно словечко подпущено: «граждан», а сообразите-ка – чем оно пахнет! Какие такие, скажут, «граждане»? Откуда такое звание взялось? У нас, батюшка, всякий – сам по себе! Ты – сам по себе, я – сам по себе! А то «граждане»! Что за новое слово такое? Да и конец, признаюсь, мне не нравится: «проникающий гораздо глубже, нежели можно с первого взгляда предположить»!.. Какой такой «первый взгляд»? И что тут еще «предполагать»? Припахивает, братец, припахивает!

– Чем же бы, ты, однако ж, заменил слово «граждан»?

– А «обыватели» на что! И для тебя спокойно, и особенно гнусного ничего нет. «Честь и спокойствие обывателей» – чем худо?

– Гм... да... вы как думаете? – обратился Молчалин 2-й ко мне.

– По-моему, «граждане» возвышеннее; но коль скоро общественная безопасность этого требует, то отчего же не припустить и «обывателей»!..

– Так уж я...

Он помуслил карандаш, поскреб им на полях корректурного листа и продолжал:

– «Что селениям нашим необходимо предоставить те же благодеяния полицейского надзора, которыми уже пользуются их старшие собратья по табели о рангах, то есть города и местечки – насчет этого наша печать единодушна. Если не ошибаемся, до сих пор еще никто и никогда не позволил себе проводить в русской печати мысль, что полиция вредна. Да и мудроно проводить что-нибудь подобное, во-первых, потому, что это противоречило бы историческому опыту всех народов, а во-вторых, и потому, что, с принципиальной точки зрения, само начальство высказалось насчет пользы, приносимой полицией, настолько твердо и решительно, что сразу поставило этот вопрос вне всяких пререканий».

– Хорошо! очень хорошо! только я бы, знаешь, усугубил: вместо «вне всяких пререканий», написал бы: «вне всяких неуместных пререканий». Вернее! – посоветовал Алексей Степаныч.

– Можно и усугубить! Ну-с, далее!

«Стало быть, если в нашей печати и существуют по этому предмету разномыслия, то они касаются не решенного уже начальством вопроса о пользе полиции, но лишь практических его применений. «Полицейское воздействие безусловно полезно и необходимо, – в один голос вопиют все органы русской литературы, – следовательно, оставим этот вопрос в стороне, а будем спорить лишь о том, в какой форме должно выразиться полицейское воздействие, дабы иметь силу действительную, а не мнимую». И действительно, спорят; спорят горячо, с увлечением, почти с жгучестью.. Так что многим приходит на мысль: уж не потому ли так шумят наши народные витии, что, за невозможностью обсуждать дело по существу, они хотят отыграться на подробностях?»

– Ничего.. это? – как-то робко спросил нас Молчалин 2-й.

– Ничего-то ничего, а ты вникни, однако, что он тут нагородил, передовик-то твой!

Молчалин 2-й вопросительно взглянул на меня, как бы призывая в свидетели своей невинности.

– Нечего, нечего лебезить.. Лиса Патрикеевна! – безжалостно оборвал его Алексей Степаныч, – словно и не понимает, в чем тут суть! Ишь ты! сначала как и путный: «нельзя, говорит, не быть согласным насчет существа», а потом и пошел «невольным образом отыгрываются» да «за невозможностью»! «За бесполезностью», сударь! «за бесполезностью»! Вот как следует говорить!

Новый вопросительный взгляд на меня со стороны Молчалина 2-го, на этот раз уже положительно требующий моего вмешательства.

– К сожалению, я и сам не могу не согласиться с Алексеем Степанычем, – поспешил откликнуться я, – конечно, ни один из обыкновенных читателей не найдет во всей прочитанной вами тираде ничего, что бы свидетельствовало о неблагоприятных поступках ее автора. Но запах – все-таки есть! И читатель необыкновенный, читатель, который следит за статьей, так сказать, с карандашом в руках.. не знаю! Право, даже угадать не могу, что он найдет и чего не найдет в указанных Алексеем Степанычем словах! Можно и ничего не найти, но можно и все найти, потому что тут есть какая-то неискренность, есть экивок. Я сам люблю экивоки, но ведь экивок – это что такое? Пройдет он – хорошо! а не пройдет – тогда что? Вот почему я полагал бы, что, с точки зрения безопасности, надежнее было бы, если бы всю фразу, начиная со слов: «так что многим» выкинуть совсем.

– И так можно! – согласился Алексей Степаныч.

– Потому что слово – серебро, а молчание – золото! – присовокупил я.

– Да, если бы можно было этим золотом на рынке расплачиваться – богат бы я был! – вздохнул Молчалин 2-й и как-то задумчиво уперся карандашом в корректуру, как бы решаясь и не решаясь исполнить мое замечание.

– Стойте! нашел! – воскликнул он наконец, – вместо того чтоб совсем выкидывать

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) фразу, я заменяю ее следующей:

«Так бывает всегда, когда печать становится лицом к лицу с настоящим, реальным делом, а не с пустою и бессодержательною идеологией»... Ладно?

– Прекрасно! прекрасно! прекрасно! – похвалил Алексей Степаныч, – похеривай и продолжай.

– «Положение наших селений исключительное. Полиция в них, можно сказать, не существует вовсе. Вотчинная полиция упразднена; мировые посредники, в обязанности которых отчасти входили атрибуты вотчинной полиции, тоже сочтены излишними; волостные правления и суды ведают лишь дела крестьян; сотские и десятские – но кто же не знает, что такое наши сотские и десятские? Мировые судьи или больны, или находятся в отпуску, занятые приискиванием других, лучших мест, и притом рассеяны по лицу земли в таких гомеопатических порциях, что бесполезно даже рассчитывать на их защиту. Так что ежели у вас пропал грош, то вам некому даже попечалиться об этом. Понятно, что такое двусмысленное положение, затрагивающее коренные основы, на которых зиждется общество, должно было встревожить нашу печать».

– Печальная картина! – вздохнул Молчалин 2-й и как-то нелепо пригорюнился.

– Смотри не заплачь! Нечего тут! Валяй! валяй дальше! – поощрил его Алексей Степаныч.

– «Но раз занявшись им, она должна была встретиться с множеством вопросов, которые существенно на него влияют и которые, следовательно, подлежало разрешить во что бы то ни стало. Что полиция не существует – это ясно; что ее следует восстановить, возродить, создать – это тоже ясно; но каким образом, из каких материалов и с помощью каких сил предстоит воздвигнуть величественное ее здание – вот что неясно и что требует неотложного разрешения. В ком, то есть в каких лицах, должна найти воплощение идея, выражаемая уставом о пресечении и предупреждении преступлений, в применении ее к селениям? Кто наиболее заинтересован как в назначении сих лиц, так и в наблюдении за правильностью их действий? В каком количестве должны быть назначаемы эти лица и каких желательно ожидать от них качеств? Какие необходимо им присвоить права как по прохождению службы, так и по мундиру и пенсии? В каких пределах должна быть заключена их власть, а равным образом в чем должны состоять их обязанности по наблюдению, дабы кутузка, сохраняя свою общедоступность, с одной стороны – не принимала характера увеселительного заведения, а с другой – не служила угрозой для выполнения прихотливых требований и не отвлекала граждан от их обычных занятий и невинных забав?

Все это, как видит читатель, – вопросы нешуточные; и потому совершенно понятно, что они волнуют в настоящее время лучшие умы в русском обществе и в русской литературе».

– Прекрасно! – продолжай, братец, продолжай! «Граждан», «граждан»-то только похерь!

– «Одним из самых рьяных противников нашей газеты по всем этим вопросам является газета «И шило бреет», которая, в одном из последних своих номеров, даже посвятила нам по этому случаю обширную статью. По своему обыкновению, почтенная газета находится в веселом расположении духа. Она заигрывает с нами, она охотно извращает наши слова и мысли и, разумеется, прибегает к отборнейшим выражениям своего полемического жаргона, чтоб выставить нас, в глазах своих неприхотливых читателей, в самом уморительном виде. Нас самих она называет «недоумками», «тупицами» и «барскими прихвостнями», а газету нашу «гнилым нарывом», в котором нашли себе последнее убежище паскудные остатки отживающего русского холопства».

– Однако, брат! – как-то испуганно воззрился Алексей Степаныч при последних словах.

– Да, братец! – подтвердительно ответил Молчалин 2-й, но, как малый уже поседелый в литературных боях, только махнул рукою и продолжал:

– «Мы не последуем за уважаемой газетой в ее полемических приемах. Мы едва ли не с большим основанием могли бы назвать ее сотрудников «паршивыми либералами», а

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) ее саму – «гниющим продуктом современного общественного разложения», но не делаем этого, ибо знаем, что с словом следует обращаться честно. И, конечно, не оголтелые казаки «Бреющего шила» заставят нас отступить от этого правила...»

– Однако, брат! – вновь изумился Алексей Степаныч.

Но Молчалин 2-й даже не ответил на этот перерыв, а только машинально отмахнулся рукой, как бы отгоняя надоедливую муху.

– «Действительно, разница между нашими воззрениями и пустопорожними разглагольствованиями «Бреющего шила» до такой степени существенна, что ничего нет удивительного, ежели почтенная газета выходит из себя и доводит свою полемику до крайних пределов неприличия. Она понимает, что в порыве прапорщичьего экстаза зашла в трущобу, и сердится на нас уже не за то, что мы расходимся с нею, а за то, что мы не подаем ей руку помощи и не делаем ни малейшей уступки, которая позволила бы ей прилично и без позора отступить от легкомысленно высказанных ею мнений. Сделай мы это – и она давно бы простерла нам свои объятия, если бы, впрочем, не воспользовалась этим обстоятельством, чтоб обвинить нас же в малодушии и непоследовательности. Но потому-то именно мы и не делаем ничего в этом смысле; мы ни в каком случае не подадим «Бреющему шилу» требуемой им руки помощи и не поступимся ни одним золотником, ни одним скрупулом из своих убеждений. Мы не сделаем этого, во-первых, потому, что ведем свое дело начистоту, а во-вторых, и потому, что поставили себе задачей во что бы то ни стало раскрыть публике глаза и выставить перед нею в надлежащем свете истинные достоинства того гнилого либерализма, которым щеголяет «Бреющее шило».

– Ничего? – остановился Молчалин 2-й.

– Ничего, братец! цапайтесь, подсиживайте друг дружку! С точки зрения благоустройства, это даже лучше!

– «Прежде всего, мы выходим из принципов диаметрально противоположных. «Бреющее шило» исходною точкой для своих разглагольствий ставит нагое единоначалие; мы же, как читателям это достаточно известно, не имея ничего против единоначалия, как принципа дисциплинирующего и дающего нашей жизни правильный устой, с своей стороны, в виде корректива, присовокупляем к нему излюбленное и вполне почтительное народосодействие. Вот это-то, с одной стороны, благосклонно-внимательное, а с другой – почтительно-любовное взаимодействие двух взаимно друг друга оплодотворяющих сил, которое, по нашему мнению, составляет основу нашей общественной жизни, вот оно-то и служит поводом для полемики. И ежели «Бреющее шило» ведет ее с нахальством и даже ненавистью, то тем хуже для него; мы же никогда до этого не унизимся, а будем на все обвинения и инсинуации отвечать с спокойствием и достоинством, полными презрения».

– Вот «единоначалие»... ужасно меня это слово беспокоит! – задумался Молчалин 2-й.

– Что ж, слово... ничего! – разуверил его Алексей Степаныч, – коли у места, так даже украшением служит! Ведь ты «против единоначалия ничего не имеешь» – ну, и Христос с тобой! А что касается до «народосодействия», так и закон, братец, не препятствует... Содействуйте, батюшки, содействуйте!

– Так-то так, а все-таки... Все как будто против единоначалия... Тогда как, видит бог, я...

– Ну-ну! ничего! не слишком уж робей! И на начальство, брат, тоже надеяться надо: поймет! Читай дальше.

– «Как ни непрерываем принцип единоначалия, какие бы заслуги он ни считал за собой в прошедшем и в настоящем, тем не менее нельзя отрицать, что, отрешенный от народосодействия, он скоро извращает свой благодетельный характер и в самом даже благоприятном случае является как бы вращающимся в пустоте. Лишенный здоровой известительной пищи, которою только народосодействие и может снабжать его, он скоро не будет знать и сам, над чем ему единоначальствовать предстоит, а так как единоначальствовать все-таки необходимо, то будет удовлетворять этой потребности, истощая свои силы в единоначальствовании над самим собою. Поручики будут без надобности угнетать корнетов, штабс-ротмистры – поручиков, ротмистры – штабс-ротмистров и т. д. Вот почему мы думаем, что единоначалие, предоставленное одним своим силам, не только ничего не достигает, но нередко приводит на край

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) гибели, да и само при сем погибает жертвою непризнания иных руководящих начал, кроме собственного критериума, ограничиваемого лишь внезапностью. Это – общее правило, которое...»

– Ого! – прервал чтение Алексей Степаныч, – ну, этого, брат, сам Мак-Магон и тот к обнародованию не одобрит!

– А! что! Я вам говорил! – почти криком крикнул Молчалин 2-й, – всегда они у меня так! начнут о бляхах городских, а сведут на единоначалие!

– Я бы, на твоём месте, всю эту тираду похерил, а вместо нее легонькую бы похвалу начальникам края пустил!

– Как так?

– Да так вот. Известно, мол, что в подобных делах многое зависит от начальников края, которые, дескать, просвещенным вниманием... А потому: обращаем взоры наши! В надежде, мол, что скромные наши заметки будут приняты не яко замечания, но яко дань... Словом сказать, замеси, защипни, помасли, положи по вкусу соли да и ставь в легкий дух, благословясь!

– И я вполне разделяю это мнение, – сказал я, – только одно бы я в редакции Алексея Степаныча изменил. Он говорит: многое зависит от начальников края, а я бы сказал: все!

– А что вы думаете! Мысль-то ведь недурна! Потому что хоть и пыхатся господа наши передовики: единоначалие да единоначалие! а чего, например, каких результатов они в пресловутой своей Франции достигли?! Тогда как у нас...

Он не договорил и быстро начал бегать карандашом по корректуре.

– Ну, слушайте, как оно у меня теперь вышло:

«Бесспорно, что принцип единоначалия непререкаем; бесспорно, что власть единоличная, коль скоро она вручена лицам просвещенным и согреваемым святою ревностью к общественному благу (а кто же, кроме бесшабашных писак «Бреющего шила», может отрицать, что именно эти качества всегда в совершенстве характеризовали наших начальников края, в особенности же тех, кои удостоились этого назначения в последнее время?), не только не приводит государств на край гибели, но даже полагает основание их несокрушимости. Но это нимало не должно охлаждать наше рвение в смысле содействовательном, ибо сам закон требует от граждан содействия и в противном случае даже угрожает карою, как за попустительство. Вот что мы имели в виду, настаивая на совместном действии принципа единоначалия с принципом любовного и почтительного народосодействия, и вот почему мы и ныне еще раз решаемся посвятить наши столбцы всестороннему обсуждению вопроса о распространении на селения империи тех прав и преимуществ полицейского надзора, которыми уже пользуются города. Мы делаем это не в видах поучения, ниже совета, а лишь в форме скромного и благопочтительного мнения, принять или не принять которое будет, конечно, зависеть от усмотрения. Примется наше мнение – мы будем польщены; не примется – мы и на это сетовать не станем!»

– Хорошо, что ли, так будет?

– Уж так-то хорошо, что даже я не ожидал, – похвалил Алексей Степаныч, – и подлости прямой нет – потому, ты никого не назвал, а между тем в нос ведь, братец, бросится!

– Ну, а вы что скажете? – обратился ко мне Молчалин 2-й.

– Хорошо, даже очень хорошо; но, признаюсь, я имею сделать небольшое замечанье, которое, по мнению моему, не лишнее будет принять к сведению. В новую редакцию вы перенесли из прежней слова: «не только не приводит государств на край гибели»... Конечно, я понимаю, что вы это сделали единственно ради того, чтоб по возможности сохранить труд наборщика; но людям, не посвященным в тайны корректуры, эта фраза может показаться сомнительною. Могут спросить себя: с чего это вдруг пришли ему на ум «государства, приводимые на край гибели»? Нет ли иронии тут какой-нибудь, – иронии, которую наружная восторженность похвалы делает еще более едкою и чувствительною?

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

– А ведь замечание-то справедливое! – согласился со мною и Алексей Степаныч.

Молчалин 2-й задумался.

– Справедливое-то справедливое, – произнес он наконец, – а жаль! Фраза-то уж больно ловка!

– Стой! Я придумал! – нашелся Алексей Степаныч, – фразу оставить можно, только дополнить ее надо. И дополнить так: «как думают некоторые распространители превратных идей» – вот и все.

– Отлично! – согласился Молчалин 2-й и тут же, сделав надлежащее исправление, продолжал:

– «Токвиль говорит: единоначальники, доводящие свое властолюбие...»

– Марай! – вскричал Алексей Степаныч, – и читать дальше не нужно! Марай!

Молчалин 2-й, даже не возражая, провел крест на корректурном листе.

– «Гнейст, подтверждая это мнение, с своей стороны, присовокупляет: «Единоначальник, который...»

– То – Гнейст, а то – русская газета «Чего изволите?»! Марай, любезный, марай!

– «Людовик XVI недаром со слезами на глазах собственноручно набирал знаменательные слова Тюрго: pauvre France! Pauvre roi!.[11] Этот добродушный самодержец инстинктивно чувствовал, что он – последний прирожденный король Франции и Наварры и что отныне имя Бурбонов всецело перейдет на главы тех русских офицеров, которые выслужились из кантонистов и сдаточных».

Молчалин 2-й умолкнул. Мы тоже молчали. Никто из нас ничего не понимал, но все мы находились под гнетом какой-то неожиданности.

– Марай! марай! марай! – первый опомнился Алексей Степаныч.

Но, к изумлению, Молчалин 2-й заупрямился.

– Позволь, однако, тезка! – сказал он, – ведь ежели все-то марать, так, пожалуй, и обстановки никакой у статьи не будет. Все эти ссылки и анекдоты, конечно, не стоят ломаного гроша; однако попробуй без них статью выпустить – голо будет!

Он вопросительно взглянул на меня.

– Если вы желаете знать мое мнение. – сказал я, – то оно резюмируется в одном слове: марайте! Конечно, анекдот об Людовике Шестнадцатом очень хорош, но ведь, собственно говоря, при тех переменах, которые вами сделаны выше, он уж как-то и не подходит.

– Гм... да, вот это так. Действительно, оно... Но согласитесь, что это тяжело. И каждый ведь день, каждый день мы должны приносить эти жертвы!

Он вздрогнул, но взял карандаш и твердою рукой начертал крест на корректурном листе. Затем он продолжал: «Все это мы припоминаем здесь с тою целью, чтоб читатель понял нашу мысль вполне. Мы – не только не противники единоначалия, но именно потому и присовокупляем к нему, в виде придатка, народосодействие, что последнее нимало не подрывает первого, а, напротив того, действуя с ним вкупе, даже подкрепляет его. Святая песнь спрашивает недаром: «се что красно, что добро?» и отвечает: «воеже жити, братие, вкупе». Этого же и мы желаем. Мы говорим обществу: остерегись! стань само на страже своих интересов! спроси себя, можешь ли ты остаться равнодушным к таким вопросам, как, например: от кого должно зависеть заготовление провианта и обмундирования для полицейских чинов в селениях? какой системы следует держаться при организации так называемых чижовок? и проч. И ежели ты ответишь на этот вопрос отрицательно, то есть отнесешься к делу хладнокровно, то пеняй уже на себя, а не на нас! пеняй на себя, ежели ты впоследствии увидишь себя под гнетом морально-полицейского давления! Пеняй на себя, если ты сам выпустишь из рук такие плодотворные статьи,

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) как, например, расходы по обмундированию нижних чинов и по содержанию в исправности чижовок!»

– Однако дались ему чижовки! – не воздержался заметить Алексей Степаныч.

– Ну, это уж я сам, – молвил Молчалин 2-й и, тут же исправив, прочитал: – «Все это... Святая песнь»... ну, и так далее, по-старому... «Мы говорим обществу: доверься, но доводи до сведения! Предоставь, но смотри в оба! Не для того, чтоб неуместною критикой произвести замешательство в единоначальственных распоряжениях, а для того, чтоб оправдать почивающие на тебе надежды и упования! Начальство воодушевлено наилучшими намерениями, но оно, ежели позволительно так выразиться, не всевидяще! И хотя известный куплет:

Il voit tout,  
Il sait tout,  
Et il fourre son nez partout![12] –

замечательно хорошо выражает положение вещей, но безусловно верен все-таки лишь последний его стих. Начальство желает всем угодить, но иногда – мы говорим это со скорбью – не угождает никому! Поэтому, о, общество! ежели ты пренебрежешь предстоящими тебе в сем случае обязанностями, то пеняй уже на себя, а не на нас! Пеняй на себя, если начальство, после тщетных ожиданий твоей известительной инициативы, наконец воскликнет: валяй по всем по трем! Пеняй на себя, ежели чижовки, в которых ты от времени до времени будешь проводить свои досуги, окажутся наполненными клопами и ежели вопрос об устранении сего недостатка будет передан на обсуждение особой комиссии, которая сочтет за нужное издать по этому поводу сто один том «трудов», дабы и затем не прийти ни к какому заключению».

– Ну, как теперь?

– Что и говорить! уж коли ты захочешь, так разутешишь.

– Вот насчет «сто одного тома трудов»... Это как?

– Ничего, с богом! Душок, правда, есть, ну, да ведь и то сказать: газета-то у тебя либеральная, нельзя же без того, чтоб немножко и тово...

Но я, я не был согласен.

– Позвольте, – сказал я, – это превосходно, нечего и говорить! И отвага есть, и горячее, от души вылившееся слово, и даже... стойкость! Но, во-первых, нужно выпустить куплет: это – *conditio sine qua non*. [13] Такой серьезный предмет – и вдруг воспоминание о «Чайном цветке»! Как хотите, а это обидно! Во-вторых, необходимо уничтожить и заменить выражение «валяй по всем по трем!» как тривиальное, а по отношению к высшему начальству даже и непочтительное. В-третьих, наконец, вы говорите: «доверься, но доводи до сведения!», «предоставь, но смотри в оба!». Но не превосходнее ли было бы, если бы вы сказали: «доводи до сведения, но – доверься! смотри в оба, но – предоставь!» Дайте-ка фразе этот оборот – и вы увидите, что тогда, действительно, не останется уж и тени недоверия к начальству, а потребность в почтительных извещениях выступит вперед с еще большею яркостью!

– Справедливо! – воскликнул Алексей Степаныч, – хоть и строгонько, но... справедливо.

Замечание мое было выполнено; Молчалин 2-й продолжал:

– «Не следует упускать из вида, что у общества имеются свои собственные органы и что эти последние существуют с надлежащего разрешения и пользуются законною организацией, а отнюдь не представляют собой сборища узурпаторов или случайно сошедшихся людей, как это инсинуируют борзописцы «Бреющего шила». Что означает существование этих органов? Оно означает потребность в них, потребность не только коренящуюся в глубинах общества, но сознаваемую и самим начальством. Органы эти созданы не для того, чтоб покоиться, но для того, чтоб действовать, то есть усматривать и делать соответствующие представления. Будут уважены эти представления – хорошо; не будут – не прогневайся! Но, во всяком случае, право представлять существует, и было бы величайшим малодушием не пользоваться им, хотя бы от сего и не предвиделось никаких последствий. Права не даются даром; даже прыщ на носу – и тот даром не вскочит, но сначала почешется. Поэтому мы не

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) имеет основания пренебрегать никаким правом, хотя бы оно, на первый взгляд, казалось нам ничтожным и даже плёвым. Сперва одно плёвое право, затем другое, тоже плёвое, но уже в меньшей степени. И так далее, в разумной постепенности, доходя до выеденного яйца. Почему наши земства представляются вялыми и действующими как бы впросонках? Почему члены управ приходят в движение лишь в конце месяца, когда предвидится получение присвоенных им окладов? А потому именно, что и земства, и их управы совершенно упускают из вида сейчас высказанную нами истину. Почему, в свою очередь, они позволяют себе подобное неряшливое отношение к своим обязанностям? А потому, что само общество, которому надлежало бы поощрять и воодушевлять удостоенных доверием его лиц, коснеет в равнодушии к своим собственным интересам. Это – круговая порука апатии и лени, в результате которой не может быть ничего иного, кроме мерзости запустения. Что скажет о нас потомство? Оно скажет: это были люди, по милости которых мы до сих пор занимаемся толчением воды, тогда как мы были бы уже в самом центре пирога, если бы предварительная работа была ими исполнена своевременно и неуклонно. Что скажут иностранцы о таком обществе и таких органах? Они скажут: вот общество, которому ничего не было дано и которое поэтому ничем и не воспользовалось. Ужели они будут правы?»

Молчалин 2-й прочел эту тираду одним духом, весело, ходко, почти шаловливо, но при последней фразе об иностранцах вдруг поперхнулся и оцепенел.

– Вот тебе раз! – невольно воскликнул я.

– Постой, брат, я окошко отворю да караул закричу! – в свою очередь, присовокупил Алексей Степаныч.

Мы сидели и все в такт покачивали головами.

– Ах-ах-ах! – вздохнул Алексей Степаныч, – правил ты, правил – и вся твоя работа втуне! уж этого-то, брат, не исправишь!

– Этого-то! – с какою-то надменной отвагой вызвался Молчалин 2-й, – а вот сейчас увидишь!

Он мгновенно воспрянул духом и бодро принялся за работу. Не прошло и несколько минут, как он уже читал нам:

– «Не следует упускать из вида, что у общества имеются свои собственные органы, которые существуют с надлежащего разрешения и пользуются законною организацией, а отнюдь не представляют собой сборища узурпаторов или случайно сошедшихся людей, как это инсинуируют борзописцы «Бреющего шила». Существование этих органов означает ежели не настоятельную в них потребность, то, по крайней мере, благосклонное отношение их благоизволению. Положим, что непосредственного и деятельного участия в управлении им не предоставлено, но начальство никогда не отказывалось и не отказывается получать от них почтительные, в надлежащих границах, представления. А это очень важно. Возможность утруждать начальство представлениями еще не есть, конечно, право, но это – больше, нежели право: это – обязанность. Во всяком случае, такая возможность существует (и притом в самых широких размерах), и было бы крайне нерасчетливо и даже бессовестно не пользоваться ею, хотя бы от сего и не предвиделось никаких последствий. Мы не имеем права увлекаться исключительно утилитарными целями; мы должны поменьше думать о правах, и побольше – об обязанностях. Терпение и самоотверженность – вот задача, которую должно преследовать современное поколение общественных деятелей, все же остальное – предоставить потомству. Наши земства это поняли. Они представляют обо всем, представляют неупустительно, хотя и без всяких последствий. Нередко начальство, в своей мудрости, оставляет их представления даже совсем без ответа, но они не обескураживаются этим и представляют вновь, и общественное мнение им несомненно в этом сочувствует. Вот каким трудным и, так сказать, широко постепенным путем достигается наш прогресс. Что скажет о нас потомство? – оно скажет: это были люди самоотверженные, которые, проводя время в ожидании разрешений, тем самым расчищали для нас пути! Что скажут иностранцы? – они скажут: вот общество, которое с благоразумием и мудрою постепенностью пользуется предоставленными ему возможностями! И потомство, и иностранцы – будут правы!»

Алексей Степаныч, не говоря ни слова, подошел к Молчалину 2-му и поцеловал его в лоб.

– Отлично! отлично! – произнес он в волнении (у старика даже слезы на глазах показались).

– Отлично, – согласился и я, – но позволю себе одно только и притом самое маленькое замечание...

– Нет уж-с! – сухо и даже несколько нахально прервал меня Молчалин 2-й, – на этот раз, любезный коллега, прошу уволить! Я знаю, что вы хотите сказать. Вам, наверное, не нравится, что я несколько раз и притом не без намерения настаиваю на том, что возможность делать представления не всегда приносит желаемые плоды. Но этим я уже поступиться не могу. Моя газета либеральная, и самим начальством признается за таковую; следовательно, в ней полное однообразие тона не только неуместно, но могло бы показаться даже предумышленным. Я не всегда глажу по шерстке, но я искренен – и в этом моя заслуга! Вообще, положение либерального органа печати я резюмирую в следующих немногих словах: «Мы готовы прийти к вам, – говорю я, – но укажите нам пути и сохраните нам нашу независимость!»

Это поучение было высказано таким твердым и даже строгим тоном, что мне оставалось только прикусить язык. Сам Алексей Степаныч – и тот не заступился за меня. В самом деле, я показал себя уж чересчур придирчивым. Как часто случается нам встречать в печати выражения прямо бунтовские, ироде: «осмеливаемся высказать» или «позволяем себе думать» – что ж! начальство не только не взыскивает, но даже положительно не видит в этом ничего, могущего подорвать его авторитет! Вероятно, тут есть какая-нибудь секретная конвенция, а может быть, и просто внутренняя политика. Что «независимые голоса» не бесполезны – это, с легкой руки Бисмарка, уже признано всеми. Даже оппозиция – и та считается не вредною, если она не вредит. Следовательно, отчего же бы и нам не воспользоваться этим общепризнанным фактом... ну, конечно, умненько? Недаром же в штатах департамента этимологии и правописания значит: «независимых голосов столько-то». Вот это-то и есть «политика». Интересно бы только знать, присвоено ли этим голосам соответствующее содержание, или же они обязываются распевать, памятуя изречение: из чести лишь одной я в доме сем служу?

Между тем как я таким образом рассуждал, Молчалин 2-й продолжал читать дальше:

– «Такова наша мысль, таково наше глубокое внутреннее убеждение. Убеждение не только интимное (conviction spontanée), [14] но и пропущенное сквозь горнило знания; убеждение, не избегающее благосклонной похвалы, но и не боящееся угроз. Как же поступило «Бреющее шило», чтоб дискредитировать нас перед публикой? – да очень просто! По своему обыкновению, оно смазурничало, то есть на место одного выражения поставило другое, не имеющее с первым ничего общего. Мы говорили о «народосодействии», а оно – заставляет нас употребить выражение «народоправство». А мы даже и не понимаем этого выражения! Но вы, читатель! понимаете ли вы, какая масса гнусного предательства заключается в этом мошенническом сопоставлении принципа единоначалия (вполне нами признаваемого и чтимого) с принципом какого-то фантастического (и притом нами непонятого) народоправства?»

Молчалин 2-й остановился и на этот раз окинул нас уже совершенно безбоязненным взглядом. Вступая на почву так называемой полемики, он, очевидно, чувствовал себя как дома. Он понимал, что здесь ему опасаться нечего, и потому даже слегка отодвинул корректуру, как бы для того, чтоб издали полюбоваться ею.

«Бреющее шило», – продолжал он, – желало одним выстрелом убить двух зайцев: и дискредитировать нашу газету в глазах читающей публики, и произвести своим доносом переполох в известных сферах. Первого, конечно, оно не добилось, второго – достигло лишь в некоторой степени. Действительно, переполох был произведен, но, к счастью для нас, он повлек за собой не осуждение, а исследование, за которым, конечно, не замедлило последовать и оправдание. Прошли те времена, когда змеинное жало доноса держало печать в постоянной тревоге; исчезла навсегда легкая возможность обвинять, не представляя вполне ясных и удовлетворительных доказательств. Да, прошел и исчез этот дурной сон. Отныне – путь клеветы усеян своего рода терниями. Нам стоило только указать на подлинные номера нашей газеты, даже не подкрепляя этого указания ссылкой на типографские корректуры, чтоб явиться сразу чистыми от всякого подозрения в сочувствии к даже непонятым нами народоправствам. И мы сделали это с тем большим удовольствием, что это дало нам случай представить новые и убедительнейшие доказательства

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru чистоты наших намерений, которую нимало не могут омрачить стойкость и колебимость наших убеждений. И таким образом «Бреющее шило», желая сделать нам вред, в действительности оказало услугу, само же, по всем вероятностям, попало на замечание».

– Ну-с?! – самодовольно обратился к нам Молчалин 2-й.

– Чего еще лучше! Слово красным яичком подарил. Такими, брат, статьями христосоваться с начальством можно! – поощрил его Алексей Степаныч.

Я, с своей стороны, не сказал ничего; я только радовался и думал: вот кабы все-то так! Молчалин 2-й продолжал:

– «Но довольно. Мы исполнили одну из самых омерзительнейших обязанностей наших перед публикой: обязанность иметь дело с противниками прямо бесчестными. Теперь же будем спокойно рассуждать о предмете, успешное и правильное развитие которого для нас, конечно, дороже, нежели те два-три подписчика, которых «Бреющее шило» изо всех сил старается переманить у нас. Ах, если бы это от нас зависело, мы уступили бы почтенной газете не один и не два десятка, а целую сотню подписчиков, лишь бы водворить мир в взволнованных душах ее редакторов и издателей! Но подписчики – люди свободные, и мы не властны распорядиться ими, как французы распорядились ниццарами, а немцы в последнее время эльзаслотарингцами. Пускай «Бреющее шило» примет это в соображение и не обвиняет нас в недостатке доброй воли помочь ему.

Итак, к делу, к делу, к делу.

В начале настоящей статьи мы высказали мысль, что полемические пререкания, выражаемые нашею печатью по вопросу об отдаче селений всех наименований под надзор полиции, главным образом касаются не принципиальной его стороны, а практических применений. И действительно, как только мы вступаем на практическую почву, так тотчас же видим себя опутанными целою сетью вопросов, вопросов и даже подвопросцев, из коих каждый, будучи сам по себе бездельным...

– Бездельным? – воскликнули мы в один голос с Алексеем Степанычем.

– Да, смотрите! так прямо и написал!

– Об чем же ты думаешь! Похеривай, братец, похеривай!

– Погоди, дай же хоть фразу-то кончить...

«...бездельным, представляется, однако ж, одним из действующих рычагов, созидающих гнетущее целое...»

– Ну, это – шалишь, брат! – произнес Молчалин 2-й и вслед за сим, нимало не затрудняясь, исправил: «из коих каждый, не будучи и сам по себе бездельным, приобретает тем большую важность, что служит на практике одним из действующих рычагов величественного целого».

– Вот этак-то лучше. Ну, а теперь и конец уж близко! Сейчас, господа, сейчас!

– «Вопросы эти, которые мы отчасти уже перечислили выше, суть следующие: 1) какое наименование необходимо присвоить местам и чинам, на коих возложено будет содержание под полицейским надзором сел и деревень Российской империи? 2) из какого сословия имеют быть преимущественно избираемы эти лица и от кого будет зависеть их назначение и увольнение? 3) в каком количестве должны быть избираемы или назначаемы эти чины и какими они обязываются обладать качествами? 4) в чем будут состоять их права и преимущества как по прохождению службы вообще, так и по мундиру и пенсии в особенности? 5) возможно ли с точностью определить как пределы их власти, так и обязанности, ежели последние признано будет не излишним возложить на них? и 6) каким образом оградить значение и достоинство кутузки, с тем чтоб она, с одной стороны, не приняла, вследствие послаблений, характера увеселительного заведения, а с другой – чтоб, вследствие чрезмерной строгости, не послужила поводом для преступных вымогательств?»

При обсуждении всех этих вопросов мы вновь встретимся с «Бреющим шилом» и надеемся, с поличным в руках, убедить читателей, что все роды и степени

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru наглости, бесстыдства и даже мошенничества равно доступны этой интересной газете и с одинаковым успехом практикуются ею.

Но так как пределы нашей статьи вышли и без того чересчур обширны, то мы отлагаем нашу беседу по сейчас исчисленным вопросам до одного из ближайших номеров».

– Вот и все; а там – еще Улита едет, когда-то будет... в «одном из ближайших-то номеров»! – закончил Молчалин 2-й.

– А любопытно было бы, очень даже любопытно знать, как он там дальше путать будет! – заметил Алексей Степаныч.

– По секрету... только вы уж, пожалуйста!.. он, брат, suffrage universal[15] для выбора сотских потребовать хочет! – таинственным шепотом сообщил нам Молчалин 2-й.

– Затеишки вы! только как же он это напечатает?

– А он, братец, обстановочку такую придумал. Во-первых, говорит, можно доказывать, что теперь все жалобы на бездействие полицейских властей относятся прямо к начальству, а тогда оно явится уже чистым от нареканий; во-вторых, говорит, остроумно и даже небезынтересно будет видеть, как, например, селение собственным движением будет отдавать само себя под надзор полиции; а в-третьих, говорит, можно перспективы разные насчет suffrage universal припустить: усилить, например, на время выборов власть станových приставов, разрешить им телесные упражнения и тому подобное. Обстановка-то ведь, коли хотите, не глупа!

– Не глупа-то не глупа и даже не безосновательна в некоторых отношениях, а все-таки...

– Ну, да это когда-то еще будет! Тогда я и опять вас созову, а теперь, господа, я попрошу у вас еще часок-другой терпения! Есть у меня статейка; эта, я вам доложу, похитрее будет!

– «С.-Петербург, 27 июля.

Материалистические учения, которые в настоящую минуту увлекают за собою современное русское молодое поколение, имеют многое, с чем, по справедливости, не согласиться нельзя. Одна материя вечна, хотя, конечно, было бы странно оспаривать и то, что вместе с материей вечно и ее содержимое. Видоизменяется материя (именно только видоизменяется, а не умирает), и вместе с нею видоизменяется и ее содержимое...»

– Нет, вы скажите, каков сюжет выбрал! – с горечью воскликнул Молчалин 2-й, – и это в виду теперешних, можно сказать, обстоятельств!

– Брось – вот и все! – прямо решил Алексей Степаныч.

– А вот, все-таки попытаемся прежде... Ну-тко, благослови, господи!

Молчалин 2-й на минуту задумался и затем вдруг порывисто начал бегать пером по корректуре. Через две-три минуты он уже читал:

– «Материалистические учения, которые увлекли в свои сети современное русское молодое поколение, начинают наконец выступать перед нами во всей своей постыдной наготе. Нам говорят: материя вечна, и доказывают это фактами, по-видимому, неотразимыми. Но разве дух не вечен? спросим и мы с своей стороны. Кто тот смельчак, который позволит себе утверждать противное? Материя вечна! Прекрасно! Но все-таки она хоть видоизменяется (этого и противники наши отвергнуть не могут), дух же – никогда! Вот в чем заключается преимущество духа и вот где следует искать причины, почему дух всегда торжествовал и будет торжествовать над материей, если только у человека есть хоть малейшая охота способствовать этому торжеству».

– Ладно?

– А ежели нет охоты способствовать – тогда что? – спросил я.

– Ну, как это нет охоты! Придирчивы вы уж очень, дорогой коллега! Тезка! по-твоему, как? ладно?

– Ладно-то ладно, а все-таки из статьи проку не будет! – упорствовал в своем скептицизме Алексей Степаныч. – Сюжет, братец, такой! От этих сюжетов, как от чумы, бегать нужно!

Но Молчалин 2-й не смутился этим замечанием и продолжал:

– «Вся наша беда в том, что человечество, несмотря ни на уроки истории, ни на свидетельства разума, не убедилось в этой истине. Отсюда – вечная и бесплодная борьба между духом и плотью, борьба, совершающаяся, впрочем, больше на бумаге, чем на деле, но тем не менее разливающая по всем венам общественного организма гангрену лицемерия. Нет того общественного органа, который не был бы заражен этой разъедающей болью, нет человека, который не метался бы на прокрустовом ложе под игом ее...»

– Брось! – повторил Алексей Степаныч решительно.

Молчалин 2-й вопросительно взглянул на меня.

– Как бы вам сказать? – поспешил ответить я, – во всяком случае, автор статьи высказал свою идею настолько ясно, что исправить ее будет довольно мудрено. Конечно, если бы покойный Памфил Юркевич мог встать из гроба или, по крайней мере, господин Струве...

– Ну, нет-с, слуга покорный! До сих пор от обскурантов бог миловал!

– То-то вот и есть! с одной стороны, вы – либерал, а с другой – боитесь: ужасно как трудно это согласить!

– Однако, как видите, мы только этим и занимаемся!

– Знаю; знаю даже, что вы достигаете некоторых результатов – вот хоть бы вроде того, которого мы сейчас достигли по передовой статье, имеющей появиться завтра. Но стоит ли хлопотать из-за таких результатов – вот в чем вопрос? Стоит ли лукавить по таким вопросам, как вопрос об отдаче селений под надзор полиции?

– Ну, нет-с, этого вы не скажите! вопрос о сотских тут только так, сбоку, а в самом-то деле статья – куда далеко метит!

– Да ведь вы то, что – «метит»-то, – исправили!

– Что ж, и исправил! Конечно, исправил, коли тут черт знает что ждет впереди! Ах, если бы публика знала! Но она нынче даже между строками читать разучилась!.. У меня, батюшка, в портфелях редакции такие диковинки есть... Да вот хоть бы эта самая статья о материализме – ведь в нос бросится, кабы напечатать! Сколько новых подписчиков прибавилось бы из-за одного того, что слово «материализм» упомянуто без аккомпанемента непечатных слов! А я должен оставить ее, должен жертвовать и интересом газеты, и собственной выгодой! Я уж чуть не в тридцатый раз набираю ее. Наберут – просмотрим и опять разобрать велим... Да-с, тяжеленька-таки наша служба публике! Тяжела-с! А награда!..

Он схватился обеими руками за голову, и мне показалось, что внутри его нечто слегка зарычало. И вдруг припомнилось мне, что именно так поступает на Александрийском театре актер Нильский, когда видит себя в интересном положении.

– Я, знаете, все его спрашиваю, – пошутил Алексей Степаныч, – а что, мол, коли ежели что – пойдешь ты на баррикады?

– Ну, тезка, не до шуток теперь! ты дело говори, а шутки оставь! – рассердился Молчалин 2-й.

– Да что же – покуда бог еще милостив! только вот о портфелях-то своих ты уж заботу оставь! Что там есть, то там и останется. Давай-ка лучше статью эту бросим, а нет ли у тебя фельетонцу послухать?

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)  
– Есть и фельетонцу; только читать ли уж?

– Разве отчаянный?

– Нет, и не отчаянный, а скука берет возиться... Каждый день! каждый день! Право, когда-нибудь возьму да и сбегу!

– А сбежишь, так и изловят; если же при сем подписные деньги невзначай с собою унесешь, то и под суд отдадут. Добро, читай-ка! Нечего жеманиться!

Молчалин 2-й отыскал корректуру и начал:

«ЗА ПРОШЛУЮ НЕДЕЛЮ»

«Сейчас должна начаться моя еженедельная обязательная беседа с тобой, благосклонный читатель. Я знаю это, я чувствую приближение роковой минуты и, увы! с ужасом сознаю, что в голове моей нет ни одной мысли!

Ни признака мысли, ни тени мысли, ни единой крупницы ее! Понимаешь ли ты, читатель, сколько трагизма заключается в этих немногих словах! Ни одной мысли! Я убит, уничтожен, подавлен, и за всем тем должен сознаться, что это – совершеннейшая истина! У меня в руках перо, передо мною лист белой бумаги; я обмакиваю перо в чернильницу, я начинаю водить им по бумаге, вожу, вожу... и чувствую, что у меня нет в голове ни одной мысли!»

– Что ж! Это ведь недурно! – похвалил Алексей Степаныч, – главное, написано легко!

– Да слушай! не прерывай!

«Но что важнее всего: не у одного меня нет мысли, а нет ее вообще нигде в целом мире! Мысль сбежала, милостивые государи, мысль оставила пределы цивилизованного мира и очутилась... где бы вы думали? У патагонцев? Как бы не так!

Вы удивляетесь? Вы думаете про себя: какой, однако ж, он городит вздор! Увы! Я и сам не знаю, дело ли я пишу или вздор горожу, но в оправдание свое могу сказать одно: у меня нет мысли!»

– Очень, очень легко! – опять похвалил Алексей Степаныч.

– Легко-то легко, – отозвался я, – а ведь и в самом деле мысли-то у него, кажется, нет! Что-то уж слишком он долго на одном месте топчется!

– Нет, мысль у него есть, – возразил Молчалин 2-й, – а это он только для шику жеманится; сейчас вот увидите, куда он загнет. Давайте-ка лучше продолжать:

«Однако надо же найти эту интересную беглянку, надо найти мысль во что бы ни стало; иначе у меня не будет фельетона, столбцы газеты останутся ненаполненными, а ты, читатель, лишишься возможности наслаждаться назидательной беседой, которую я в урочное время имею обыкновение вести с тобою. Итак, будем искать.

Начинаю искать и отыскиваю. Отыскиваю, во-первых, потому, что это – моя обязанность перед редакцией газеты, а во-вторых, и потому, что отыскать потребную для фельетона мысль вовсе уж не так трудно, как это может показаться с первого взгляда.

Читатель, пойми меня! нельзя отыскать хорошую, настоящую мысль; но та мысль, которую я имею право тебя продовольствовать, есть мысль дешевая, дрянная, валяющаяся на полу в сору. Первое попавшееся на глаза отребье, обрывок, обгрызок может послужить темой для какой угодно печатной беседы. И не только может, но иначе и не должно быть. Хороших мыслей для нас не полагается, ибо мы еще рылом для них не вышли. Да если бы у нас и были хорошие, серьезные мысли – кто же нас пустит их опубликовать?»

– Вот тебе и раз! хорошо-хорошо говорил, да вдруг и подгадил! – отозвался Алексей Степаныч, – а я было и уши развесил!

Молчалин 2-й задумался.

– Я полагаю, – сказал он, – окончание со слов: «и не только может» – следует похерить!

– Позвольте! – вступился я, – нельзя ли его чем-нибудь заменить? Например, в следующем роде: «Да это и не удивительно, потому что мы сами с вами, читатель, – не что иное, как сор, из которого, натурально, кроме сора, ничего и произойти не может. Мы ничего не знаем, хотя обо всем говорим; сегодня наша мысль раздражается в одном направлении, завтра – в другом. Мы даже, собственно говоря, и сказать-то ничего не намереваемся, а просто водим пером по бумаге, в надежде – не выйдет ли из этого чего-нибудь? И, разумеется, ничего не выходит». Кажется, этак будет хорошо?

– Хорошо-то хорошо, только как бы он не обиделся, фельетонист-то, – затруднился Молчалин 2-й.

– А что на него смотреть! Поправляй – и дело с концом! – высказался Алексей Степаныч.

Мнение мое было принято.

– «Итак, мы фаталистически...»

– «...и по собственной вине», – прервал я, – не мешает даже курсивом эти слова набрать.

«...фаталистически и по собственной вине осуждены копать в сору и ветоши и там искать предметов для наших бесед. Будем же копать и посмотрим, не найдется ли в нашем общественном навозе чего-нибудь такого, что могло бы пробудить дремлющую мысль. Ба! мысль первая: о погоде. Погода у нас, читатель, по обыкновению, была отвратительная, и дачники наши заплатили обильную дань катару и флюсам. По всей Черной речке нельзя было усмотреть ни одного чиновника, который не ходил бы с подвязанной щекой. Несмотря на это, петербургский житель все-таки упорствует думать, что у него есть лето и что это лето всего приличнее провести с флюсом на щеке. Более благоразумные, впрочем, серьезно намеревались перебраться в город, в виду дождей, холода и сырости; но чиновницы, нашившие себе летних платьев, не допустили до этого. И действительно, стоит посетить наши Лесные, Старые и Новые Деревни, Каболовки и проч., чтоб увидеть целые свиты чиновниц, храбро шлепающих по грязи и удивляющих мир непреклонностью веры в прелести петербургского климата. О, если бы все наши верования были столь же непоколебимы! Как далеко ушли бы мы вперед!»

– Вот и опять пошло легко! – отозвался Алексей Степаныч.

– «Можно себе представить после этого, какую мерзость запустения представляли нынешним летом наши минерашки и демидроны! Сырость, холод и ко всему этому безголосые певички! По-видимому, Москва серьезно вознамерилась победить Петербург. Она уже переманила у нас и незабвенную Кадуджу, и прелестную Нордэ, а в недалеком будущем, вероятно, уловит в свои гостеприимные сени и обаятельную Жюдик. Впрочем, это уж не первая победа, которую «порфиноносная вдова» одерживает над не совсем, впрочем, «юною царицей». Известно, например, что в гастрономическом отношении Москва представляет нечто сказочное и что обедам в трактирах Тестова и Лопашова позавидовал бы сам Лукулл».

– Хорошо, очень хорошо!

– «Кстати, о Лукулле: навряд ли, однако ж, в нынешнее строго классическое время его пустили бы баловаться по Тестовым и Лопашовым. Вероятнее всего, его засадили бы в Катковский лицей изучать латинскую грамматику, ибо хотя он и римлянин (был), а все-таки проэкзаменовать его по части склонений – не лишнее. Припомните, читатель, как экзаменовал «Русский вестник» профессора римского права, Никиту Крылова, по поводу «Ordo equestris»[16] и «Ordo equester».[17] Припомните, как агитировал он учащуюся молодежь, назойливо доказывая, что поучающий ее профессор аза в глаза не смыслит! Не помню, вышел ли из этой агитации какой-нибудь бунт, но ежели и не было бунта, то, очевидно, не по недостатку усилий со стороны «Русского вестника», а только потому, что бог спас. Во всяком случае, Никита Крылов вынужден был умолкнуть... сам Никита Крылов!! Что ж после этого значит какой-нибудь Лукулл, о степени грамотности которого даже

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) сведений не имеется! В ликей его, в ликей! пусть лучше над глаголами корпит, чем московскими порозьями желудок себе набивать! Конечно, он был римский вельможа; но мало ли мы знаем вельмож, которые писывали «штоп», вместо «чтоб», «абвахта», вместо – «гауптвахта»!»

– Знаете ли что! – сказал я, – на вашем бы месте я всю эту тираду выключил.

– Что так?

– Да так; не знаю и сам, а внутреннее чувство мне подсказывает... Ликей... «Русский вестник»... Катков... и эта странная агитация по поводу «Ordo equestris»... Есть, знаете, предметы, которых лучше не касаться... Оставьте!

– А ведь он, братец, прав! – поддержал меня Алексей Степаныч.

– Ну, нет, господа! – взволновался Молчалин 2-й, – уж этим я вам не поступлюсь! «Московские ведомости»! да знаете ли вы, что он на меня чуть не каждый день донос в своей паскудной газете строчит!

– Ну, а вы старайтесь делами своими отвечать! Вот, мол, мои дела – пусть всякий судит! Скрытного нет у меня ничего.

– Хорошо вам говорить: «делами»! дела тоже – делам рознь!

– Ах, не говорите этого! Ведь, в сущности, тут и дел никаких нет, а есть только так называемая полемика! Он говорит:, а вы говорите: Ordo equester – вот и все. Ну, и продолжайте эту полемику, оживляйте столбцы, употребляйте как можно больше аттической соли, ссылайтесь на Цицерона, на лексиконы, одним словом, устраивайте обстановку... Но за живое... понимаете, за живое-то не задевайте!

– Прав, братец, он! – вновь поддержал меня Алексей Степаныч.

– Нет, воля ваша, а этого господина я щадить не намерен! Помилуйте! он чуть не в глаза мне каждый день плюет!

– А вы оставьте! Вот, мол, мои дела – и кончен бал! На вашем бы месте, знаете ли, как бы я поступил? Я просто бы игнорировал – да-с. Так бы и устроил, чтоб кругом его пустое пространство образовалось. Ну, и пусть плюет на пусто, коли есть охота плевать!

– Прав он! прав, прав, прав!

Молчалин 2-й подумал с минуту, потом порывистым движением взялся за карандаш и перечеркнул инкриминированное место крест-накрест.

– Ну-с, довольны ли вы? – обратился он ко мне иронически. – Дальше-с.

«Впрочем, в том, что москвичи побеждают нас по части Кадудж и обжорства, – ничего удивительного нет. Москва есть по преимуществу город широких русских натур, которые, как известно, любят не столько наслаждаться, сколько разбрасывать божье добро зря, под стол. Нам пишут, например, что одна из таких широких натур, усмотрев в ресторане «Славянского базара» сажалки с плавающими в них стерлядями, вдруг изъявила желание выкупаться в одной из этих сажалок и за удовлетворение этого несколько дурацкого желания заплатила довольно крупную сумму. Уж эти мне широкие русские натуры! Платит человек громадные деньги за удовольствие пугать в сажалках стерлядей, а нет того, чтоб плодотворным образом эти деньги употребить! Вот хоть бы, например, на усовершенствование русского мореходства в Черном море? Ах, господа безобразники, господа безобразники! пора бы, кажется, подумать вам о том, что ведь Черное-то море с самого севастопольского погрома и до сих пор все продолжает сиротеть!..»

– Прекрасно! – воскликнул Алексей Степаныч, – но я бы весь конец, начиная со слов: «вот хоть бы, например» – выкинул! Не наше, брат, дело об этом судить.

– А в особенности подстрекать каких-то безобразников! – прибавил я.

– Позвольте, господа! дело – совсем не в безобразниках, а в том, чтоб послать кому следует косвенный укол, – объяснил Молчалин 2-й, – сегодня укол, завтра

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
укол, – ан, смотришь, газета-то и с репутацией!

– Да, но все-таки уколы должны иметь в основании своем известную степень достоверности, – возразил я, – но этого-то именно качества в настоящем случае и недостает. Ибо что же мы, в самом деле, знаем о Черном море? Вы пишете: сиротеет Черное море! – а может быть, оно и не «сиротеет»! Может быть, там и невеста что затевается!

– Гм... да... Впрочем, ведь оно и действительно... Сиротеет ли Черное море или не сиротеет – нам-то что за печаль?

– Какая же тут печаль!

– Разумеется, никакой печали нет!

– Ведь мне, собственно говоря, подписчик нужен!

– Вот-вот-вот! Следовательно...

Молчалин 2-й, махнув рукой, похерил, что следует, и продолжал:

– «У нас в Петербурге, конечно, нет безобразников, плавающих в рыбных сажалках, но взамен того мы имеем действительных статских кокодесов, которые по вечерам наполняют наши кафешантаны и в них, по-видимому, воспитывают себя для дальнейших подвигов по административной части. Это – совсем особенный сорт людей, находящихся в большой дружбе с татарами петербургских ресторанов и в большой вражде с русской литературой. Везде, где метет пол или аллею шлейф паскудной кокотки, везде, будьте в том уверены, встретите вы и трущегося около нее действительного статского кокодеса».

– Стой! это что же такое? кого же он под действительными-то статскими кокодесами разумеет? – изумился Алексей Степаныч.

– Вероятно, это – наши молодые действительные статские советники, – скромно объяснил я, – названные так ради игры слов. Молоды они, – ну и трутся в свободное от занятий время.

– Ну, брат, это нельзя! Помилуй! государственный чин – и такое вдруг поругание!  
– возмутился Алексей Степаныч.

– Я полагал бы, вместо «действительных статских кокодесов», употребить выражение «нигилисты», – предложил я.

– То есть действительные статские нигилисты?

– Нет, просто «нигилисты», потому что ежели сказать «действительные статские нигилисты», то ведь и это, пожалуй, за намек примут.

– Но как же согласить: с одной стороны «нигилисты», а с другой – «воспитывают себя для дальнейших подвигов по административной части»?

– И эти слова можно изменить. Например, сказать: «воспитывают себя для подвигов постыдного пропагандистского искусства».

– Прекрасно! исправляй и читай дальше!

– «Вы можете узнать действительного статского кокодеса по следующим характеристическим признакам: он молод, но уже слегка расслаблен; лицо у него испитое, и потому он позволяет себе подрумьяниваться; усы проведены в нитку; борода тщательно выбрита; походка переваливающаяся, свидетельствующая о бурно проведенном в казенном заведении детстве; разговора ни о чем вести не может, кроме как о милой безделице и ее свойствах; но на этой почве остроумен, находчив и неистощим. Некоторые из этих господчиков должны значительные суммы не только содержать петербургских ресторанов, но и служащим в них касимовским князьям. Нам рассказывали такой случай (за достоверность которого, впрочем, не ручаюсь), что на днях целая стая действительных статских кокодесов забралась ночью к одной известной кокотке, послала к Борелю за ужином и вином и, насладившись вполне лукулловским пиршеством, исчезла, предоставив «погибшему, но милому созданию»

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru уплатить по счету».

– А ну-ка братец, прикинь, как оно будет, ежели вместо действительных-то статских кокодесов поставить нигилистов? – спохватился Алексей Степаныч.

Молчалин 2-й вновь пробежал глазами по корректуре, пошептал про себя и воскликнул:

– Нет! не годится!

– То-то и мне показалось, что не ко двору нигилистам эти кокотки, – сказал Алексей Степаныч, – насчет чего другого, а уж насчет кокоток... кажется, этого греха за ними не водится?

– Как же тут быть? Офицеров, что ли...

– И ни-ни! и не думай! – испугался Алексей Степаныч.

Начали совещаться, чем бы заменить нигилистов, и долгое время не могли прийти ни к какому результату. Наконец меня осенила счастливая мысль.

– Послушайте! – сказал я, – да об чем же мы говорим! Поставьте «адвокаты» – будет и правдоподобно, и без риска!

– Ах, бог ты мой! А мы-то разговариваем! Ну, батюшка, исполать вам! Представьте себе: ведь я уж давно догадался, что есть тут какая-то неловкость, и все время, покуда корректуру правил, – все думал: чем бы этих нигилистов заменить? И что ж! всякие должности так и вертятся на языке: и нотариусы, и мировые судьи, и гласные городской думы, и даже члены трактирной депутации, и, наконец, офицеры, а самого-то главного, самого-то подходящего звания – так ведь и не пришло на ум! Адвокаты! Ну, они! они и есть! Теперь у нас все как по маслу пойдет!

– «Рассказывают еще другой случай: один действительный статский кокодез (то есть адвокат) явился вечером в демидрон, держа на руке какое-то шерстяное одеяние, которое все приняли за плед. По обыкновению, он уселся в обществе «этих дам» и в продолжение некоторого времени вел себя довольно прилично. Но потом вдруг развернул предполагаемый плед – и что же оказалось? – что у него, вместо пледа, очутились в руках штаны, которые он будто бы второпях захватил (о, милая, наивная находчивость в объяснениях!). Можно себе представить восторг этих дам при виде столь знакомой им принадлежности мужского туалета! Хохот и взвизгивания не умолкали в продолжение целого часа, и – что любопытнее всего – в довершение спектакля милейший *petitcrevé*[18] – по требованию погибших, но милых созданий, имел обязательность пройти по всем аллеям ликующего демидрона, держа на плечах этот новоизобретенный плед. Скандальная хроника ничего не говорит о том, делали ли во время этого оригинального шествия дежурные городские под козырек».

– А ведь это, кажется – истинное происшествие рассказано? – прервал я.

– Чего «кажется»! С нашим и было! – объяснил Алексей Степаныч, – на другой день, при докладе, сам мне расказывал! Представьте, говорит, какое недоразумение вчера со мной вышло! А я себе молчу да думаю: рассказывай «недоразумение»! чай, нарочно всю штуку проделал, чтоб своей Альфонсинке удовольствие доставить!

– Но ловко ли, в таком случае, будет предавать это происшествие гласности? – усомнился Молчалин 2-й.

– Небось! Не обидится! Еще лестно будет, как на всю-то Россию репутацию любезного молодого человека приобретет! Вот если бы ты напечатал, что он «Историю Государства Российского» сочинил – ну, тогда не знаю: может быть, и обиделся бы. Да и то по неведению. Подозрительны они нонче, мой друг! Ведь другой с самой школьной скамьи книги-то в глаза не видал, да и напуган к тому, – ну и думает, что все – прокламации!

– «Таким образом, обещание мое исполнено: «мысль» найдена, и притом не простая «мысль», но сопровождаемая анекдотами вполне современного характера. По-настоящему, следовало бы на этом и остановиться, но я с ужасом замечаю, что все до сих пор мною написанное займет отнюдь не больше шести газетных столбцов, тогда как я во что бы то ни стало должен написать таковых двенадцать. Двенадцать

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) столбцов убористой печати – это жестоко! Тяжело положение почтовой лошади, обремененной пробегать от сорока до пятидесяти верст в сутки, но в пользу ее все-таки существует смягчающее обстоятельство: она не имеет надобности выдумывать этой ежедневной порции в сорок – пятьдесят верст. Эти версты даны ей независимо от ее выбора; она – на то лошадь, то есть существо несвободное и неразумное, чтоб по первому требованию бежать куда глаза глядят. Напротив того, фельетонист по природе своей предполагается одаренным свободой выбора и не рожденным для ремесла почтовой лошади. Но в том-то и дело, что природа – сама по себе, а условия жизни – сами по себе. Эти последние большею частью так горько складываются, что человек собственным умом доходит до убеждения, что он – не человек, а лошадь. И, раз придя к этому убеждению, он свободно избирает себе ремесло фельетониста, то есть обязывается раз или два в неделю (смотря по требованиям аппетита) пробегать, в виду читателя, известное число верст. Но и этого еще мало: он обязывается населить эти версты призраками своей фантазии, и не такими, какие ему по душе, а такими, которые по душе другим и притом благовременны. И когда он вздумает пожаловаться читателям на безнадежность этой карьеры, ему говорят: сам виноват! сам выбрал себе ремесло – ну, и скажи, куда глаза глядят!

Итак, вперед. Оседлаю я коня быстролетного, запрягу я его в саночки-самокаточки и поведу к нему такую речь: конь мой, конь ретивой! сослужи ты мне службу верную, понеси меня через доли, через горы, через поля и луга, понеси за моря-окияны, за синюю даль, в один миг облети степи-поля неохватные, леса-долины неоглядные! Пусть прольется передо мной море бездонное, немереное, море горького русского гореваньица, море бесконечно льющихся русских слез! Одним словом, помоги мне написать фельетон, в котором было бы ровно двенадцать столбцов и который одинаково понравился бы и читателям, и цензурному ведомству.

Но стоит мой конь как вкопанный; стоит ретивой – не шелохнется, стоит – не бежит, ушами прядет, копытами землю роет. Га! или зачуял ты зверя лютого, зверя лютого-ненасытного?»

Молчалин 2-й прочитал эти строки скандуя и с большим чувством. Я тоже, признаться, был тронут.

– Это – подражание «Слову о полку Игореве», – сказал он, – и я должен сознаться, что мой фельетонист имеет на этот счет особенное какое-то чутье.

Но Алексей Степаныч самым добродушным образом расхолодил наши восторги.

– То-то вот и есть! – сказал он, – нас, чиновников, пустозвонами зовут; говорят, якобы мы из пустого в порожнее переливаем, а попробуй я, например, в докладе сряду и оседлать коня, и запрячь его в саночки-самокаточки, – ведь директор-то, поди, в отставку велит мне подать!

– Чудак ты, братец! ведь это уж размер старинных русских песен таков! – попробовал выгородить своего сотрудника Молчалин 2-й.

– Все же, мой друг! Конечно, не всякое лыко в строку, а все-таки поостеречись не мешает. Ну, да ведь нецензурного тут нет – стало быть, продолжай! Посмотрим, какого еще там зверя лютого конь твоего фельетониста зачуял? Господи! и коня-то никакого у него нет, на извозчике, чай, как и мы, грешные, ездит – а тоже: конь мой, конь ретивой!.. Проказники вы, господа литераторы!

– «Ах, зачуял ты того зверя ненасытного, что сосет-грызет нашу нужду народную, горьким горем по земле русской порскает, над мужицкою беднотою посмеиваючись, мужицкими слезами упиваючись! В деревню тот зверь зайдет – огнем-попымом деревня загорается; в поле заглянет – засыхают злаки добрые; в стадо прибежит – падают-мрут бедные коровушки!»

Молчалин 2-й не выдержал и заплакал.

– Ты чего, спрошу тебя, рюмишь? – обратился к нему Алексей Степаныч.

– Так, братец! взгрустнулось! невеселую ведь картину представляет наша бедная Русь православная!

Он закручинился, склонил голову набок и как-то нелепо запел:

Тихие долины,  
Плоские равнины,  
Барские руины,  
Гнусные картины!..

– Вона! вон что загородил! – засмеялся Алексей Степаныч, – то-то сейчас видно, что давно ты предостережений не получал. Небось мужичка жалко стало! Сидишь ты здесь в тепле да в холе, а вот запели перед тобой Лазаря – ты и раскис! Уж не думаешь ли ты, что фельетониста твоего похвалят за причитание-то?

– Что ж? кажется, тут ничего такого...

– Знаете ли что? – перебил я, – коли сказать по правде, так я и сам думаю, что эта тирада не совсем удобна для опубликования. Слишком уж горько; краски густы; светотеней нет... Поэтому я вот что придумал: похеримте-ка «зверя лютого» да и заменим его «светлым ангелом»!

– Вот это дельно! – воскликнул Алексей Степаныч.

– Помилуйте! да каким же образом? – смутился Молчалин 2-й.

– Очень просто. В предыдущей тираде, вместо: «Га! или зачуял ты зверя лютого, зверя лютого-ненасытного?» – скажем: «или зачуял ты ангела светлого, ангела светлого-богоданного?»

– Ну, а дальше?

– И дальше тем же порядком: «Ах, зачуял ты того ангела светлого, нашу нужду народную крылом своим осеняющего, утешеньцем по земле русской тихо летающего, в беленькую рубашечку русского мужичка одевающего! Уж как тот ли светлый ангел на пожар прилетит – вырастают кругом его трубы пожарные, со бочками, со баграми, со крючьями! Уж как тот ли светлый ангел про бескормицу услышит – вырастают кругом его закромы полные, выдают из них хлеб члены земских управушек! Уж как тот ли светлый ангел на коровий падеж взглянет-поглядит – вырастают кругом его врачи ветеринарные!»

– Ведь, в сущности, это все одно, – прибавил я, – и пожары, и бескормица, и падежи – все ведь остается; только закон о светотенях соблюден.

– Верно! – поддерживал меня и Алексей Степаныч, – ну, брат, нечего кобениться! Исправляй да и читай дальше!

На этот раз Молчалин 2-й взялся за карандаш с видимым усилием: ясно было, что ему жаль первоначальной редакции. Тем не менее он исправил и продолжал:

– «Нет, кроме шуток, известия из губерний очень непривлекательны: пожар в Моршанске, пожар в Брянске, пожар в Пултуске. Это – крупные, отдавшие в жертву пламени десятки миллионов рублей. А сколько погибло в пламени неизвестных Загибаловок, Заманиловок, Таракановок, Клоповок, в которых живет население, настолько беззащитное против угроз стихий, что если бы мы не знали, что эти люди все-таки ходят в рубищах, а не нагишом, и едят хлеб из ржаных отрубей пополам с древесной корой, а не божией росой насыщаются (и Христос их знает, как они ухитряются устроить это!), то имели бы полное право сказать: зачем искать золотого века позади нас? Он здесь, он у нас перед глазами, – вот в этих самых Клоповках, Таракановках, где люди с таким блаженным равнодушием относятся и к жилищам, и к одежде, и к питанию. Жилища и одежды истреблены пожарами, а пища... Но стоит только прочитать газетные корреспонденции, чтоб сказать себе, что отныне вся наша надежда на пресловутое: «бог подаст!»

– Не уйти ли нам за добро-ума отсюда? – безжалостно обратился ко мне Алексей Степаныч, – видно, здесь чем дальше в лес, тем больше дров.

Молчалин 2-й сидел понуриив голову, словно чувствовал себя кругом виноватым.

– Извините, господа, – сказал он, – я и сам уж вижу, что только по-пустому задерживаю вас...

– Нет, эдак нельзя! – вступился я с горячностью, – уж если мы взялись помогать,

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) так уходить не следует; надо выполнить нашу задачу до конца! Послушайте, господин редактор! Теперь вы сами видите, что издавать русскую газету несколько труднее, нежели вы предполагали, сгорая в кадетском корпусе страстью к правописанию. Тем не менее ваше дело далеко еще не безнадежно. Я думаю, что даже сейчас вами прочитанное – и то может быть оставлено в первобытном виде... да, оставлено в первобытном виде – я утверждаю это!.. но с одним непременным условием...

Молчалин 2-й почтительно воззрился на меня.

– А именно: зачерните конец от слов: «но стоит только прочитать газетные корреспонденции» и до слов; «бог подаст» включительно, а вместо них прикажите набрать следующее: «А всему виною наша славянская распущенность, наша непростительная и легкомысленная неряшливость, наше чересчур развязное отношение к своим собственным интересам. Спросите у любого русского мужичка: есть ли у него в деревне приличный пожарный обоз? – ведь он рот разинет от удивления, словно бы вы говорили с ним на тарабарском языке! А вопрос об ирригации полей? а вопрос о прививании скоту чумы? О, земство, русское земство! Что сделало ты в течение целого десятилетия! Увы! все тяготы самоуправления по-прежнему продолжают тяжелым бременем лежать на начальстве! Оно одно простирает нам руку помощи, оно одно не остается равнодушным зрителем постигающих нас бедствий! Оно же, разумеется, явилось благодетельным посредником и в данных случаях. По крайней мере, мы из достоверных источников можем сообщить, что все надлежащие по сему предмету распоряжения уже сделаны».

– Ну, тезка, как? – обратился Молчалин 2-й к Алексею Степанычу.

– Не знаю, братец! признаться, у меня уж и голова кругом пошла! Вот он посвежее – стало быть, ему и книги в руки.

Молчалин 2-й покорно взял в руки карандаш и принялся за корректуру.

– Ну-с, дальше, – сказал он, – продолжение все той же материи. «В южных губерниях засуха истребила...» «В Пензенской губернии необыкновенного вида червь...» «В Ярославской губернии, вследствие продолжительных холодов...» «Из Починков (Нижегородской губернии) пишут, что на скоте появилась какая-то особенная болезнь, которую никто не может определить...» «В Кирилловском уезде (Новгородской губернии) сибирская язва, по-видимому, обещает акклиматизироваться навсегда...» «В Изюме (Харьковской губернии), в подгородной слободе, не осталось ни одной овцы... Сначала некоторое время чихают, потом начинают чесаться, потом паршивеют и наконец...» И так далее, и так далее. Так уж, с вашего позволения, я все это оставлю в неприкосновенности да в конце и присовокуплю: соответствующие по сему предмету распоряжения сделаны?

– Да, непременно, непременно присовокупите. Да вот еще, чтоб уж совсем оттенить, я и еще одну штучку придумал. Пропечатавши все, что вы сейчас прочитали, возьмите да и хватите в заключение: «Не следует, мол, однако, забывать, что это – только одна сторона медали, которая отнюдь не должна подавать нам повода отчаиваться насчет будущего; ибо ежели есть местности, посещенные бескормией, пожарами и скотскими падежами, то ведь есть и другие местности, в которых не было ни пожаров, ни неурожаев, ни скотских эпидемий. Конечно, будущее и относительно этих других местностей – в руке божией, но все-таки покамест существование их не подлежит сомнению. Вот об чем слишком охотно забывают наши господа радикалы и об чем мы считаем своим долгом во всеуслышание напомнить им».

– Вот это прекрасно! Bravo, друг мой, bravo! – воскликнул Алексей Степаныч, – кажется, и всего три-четыре строки, а каков, с божьею помощью, оборот!

Молчалин 2-й вздохнул, словно гора свалилась у него с плеч. Похвала Алексея Степаныча до того ободрила его, что он, так сказать, уж не правил корректуру, но весело шалил по ней карандашом.

– Да, прекрасно, прекрасно, прекрасно! – продолжал между тем Алексей Степаныч, – а вот вы, оглашенные либералы, сидите да пыжитесь; там пожар, там голод, там эпидемия, а вот мы взяли да и поправили: сколько, мол, таких мест есть, в которых нет ни пожаров, ни эпидемий, ни голода! Ведь и читателю-то лестнее слышать, что у него везде, куда ни оглянись, – везде тишь да гладь да божья благодать! Ну-тко ты, либерал прожженный! Много ли до конца-то еще осталось?

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

- Сейчас. Дальше пойдет уж заключение: штандарт скачет, андроны едут, дважды два
- стеариновая свечка и прочее. Словом сказать, все двенадцать столбцов в исправности налицо. Это уже я сам.
- А больше ничего нет?
- Есть корреспонденции, да те, кажется, и так пустить можно.
- Ой ли?
- Да вот, например: «Норовчат. Мы думали, что безобразия нашего земства уже в прошлом году достигли своего апогея, но оказывается, что в нынешнем году оно решилось превзойти самого себя...»
- С богом! Спускай на машину! И читать дальше не нужно!
- А вот и еще: «Краснослободск. Давно уже было замечено нами, что наши суды присяжных далеко не удовлетворяют своему назначению...»
- С богом!
- Пожалуй, есть и еще: «Пенза. Хотя и пишут об нас похвалы в газетах, что мы якобы собственным движением приговоры об уничтожении кабаков составляем, но пьянство не только...»
- Стой! – прервал Алексей Степаныч, – вот тут-то и закорючка! Ты знаешь ли, кто эти «пишут»-то?
- Полагаю, что в газетах...
- То-то «полагаю»! а ты не полагай, а достоверно разузнай! Ни-ни! говорю тебе, и боже тебя сохрани! Брось, чтоб и духу у тебя этой корреспонденции не пахло!
- Зачем же бросать? – вступился я, – поставьте вместо Пензы Алапаевск – вот и все.
- И отлично. Ну, а теперь только выкройки из разных газет остались. Спасибо вам, господа! Ободрили вы меня! вот какое вам за это спасибо!

Молчалин 2-й встал и поклонился нам, коснувшись рукою до земли.

- Что ты! что ты! – сконфузился Алексей Степаныч, – мы и сами рады, что на что-нибудь пригодились. Только ты уж, брат, помни. Коли газета твоя «Чего изволите?» называется, так ты уж тово... так эту линию и веди!

Был уже час четвертый в исходе, когда мы вышли из редакции газеты «Чего изволите?». Я был значительно утомлен, но все-таки шел бодро и даже весело. Мне было лестно и радостно, что я, во-первых, успел оказать услугу человеку в затруднении, а во-вторых, и себя при этом сумел показать в выгодном свете. Какое-то внутреннее чувство нашептывало мне: способный ты! способный! способный! Я возобновлял в своей памяти все подробности этого утра, припоминал, какие пустяки заставляли иногда задумываться Молчалина 2-го, как я легко и сразу их разрешал, как он радовался моей находчивости, как весело при этом карандаш его попрыгивал по корректурным листам, как он однажды даже запел... При этих воспоминаниях я сам начинал семенить ногами по тротуару и напевать, а тайный голос все пуще и пуще твердил: способный! способный! способный!

И вдруг эти праздничные мечты изменились. В самом разгаре ликований польщенного самолюбия мой слух был внезапно поражен словами простого прохожего, который, идя нам навстречу, говорил:

- Преспособная, братец, бестия! Помани его только пальцем...

При этом возгласе я словно проснулся. Тоскливо мне сделалось, почти тошно. Какую, в самом деле, я роль сыграл в это паскудное утро? Я, человек солидный, почти старик – что такое я делал?! Мне даже показалось, что воздух наполняется

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru миазмами и что какой-то особенно отвратительный запах начинает специально преследовать меня. Долгое время я не мог разобраться, что это за запах, но наконец понял.

– А знаете ли что? – сказал я Алексею Степаньчу, – ведь мне все кажется, словно я эти два-три часа в помойной яме просидел!

Но Алексей Степаньч с обычным своим добродушием поспешил разуверить меня.

– С непривычки это, мой друг! Такие ли помойные ямы бывают! Вот я бы тебе помойные ямы показал, так те уже полтора-два года лет чистят, да и еще, пожалуй, на полтора-два года лет чистить осталось!

#### ГЛАВА V

Когда я по временам раздумываю о моих отношениях к Алексею Степаньчу Молчалину, то невольно прихожу к заключению, что в них есть что-то ненормальное, и это довольно больно щекотит мою совесть. Или, выражаясь точнее, я должен сознаться перед самим собой, что отношения эти ставят меня в какой-то нелепый тупик, род порочного круга, из которого, по-видимому, нет ничего легче вывернуться, да вот поди-ка, вывернись.

Профессия Алексея Степаньча не внушает мне особенной симпатии, но в то же время личное его добродушие является для меня фактом, стоящим вне всякого сомнения. По-видимому, два существования – казенное и свое собственное – идут рядом в этом человеке; но идут особняком, не сливаясь, а ежели по временам и влияют друг на друга, то скорее в ущерб первому, нежели последнему. Вот это-то хроническое двоегласие жизни и сбивает с толку, делая возможными самые невозможные отношения.

Я знал одну не очень знаменитую, но все-таки пользовавшуюся хорошей репутацией танцовщицу, женщину уже пожилую, совершенно добродетельную (она была вдова какого-то экзекутора, за которого ее высватал директор департамента, и оставалась неизменно верною памяти своего покойного мужа) и отличную мать семейства. День она всецело посвящала семье и воспитанию детей в страхе божием (разве на какой-нибудь час запиралась в спальне перед зеркалом и упражнялась в стоянии на носках ног и в биении ножкой об ножку), вечером – уезжала в театр и проделывала там антраша. Даже звалась она не Земфирой и не Аспичьей, а просто Ариной Ивановной. Она не отказывалась от антраша, во-первых, потому что они составляли профессию, с которой она сжилась, и, во-вторых, потому что при помощи этих антраша она доставала обеспеченный кусок ее семейству. Тем не менее, когда она вечером надевала трико и принималась, стоя на одной ноге и подняв другую до уровня плеч, выделять перед почтеннейшей публикой круги, – ей было не совсем ловко. Поэтому она пуще всего боялась, чтоб кто-нибудь из ее детей не зашел в театр и не увидел ее (может быть, это-то и было причиной, почему она так усиленно старалась о внушении им «страха божьего»). Но вот, в один прекрасный вечер, сын ее, гимназист, соблазненный запретным плодом, урвался тайком в театр, и когда взвился занавес, то увидел следующее: какая-то роскошная женщина, впереди всех, на самом юру, покрытая, вместо платья, прозрачной тряпочкой, совсем-совсем нагая, стоит на одной ноге, а другую, протянутую до уровня плеча, медленно-медленно выделяет круг. Затем, взглядываясь в эту женщину пристально, он узнал в ней свою мать...

Вот наглядный пример того, что двоегласие в жизни несколько не препятствует правильному ее течению, даже с таким аккомпанементом, как периодически-обязательное переодевание в трико. И не примешайся тут неуместное любопытство юного гимназиста, приведшее его в театр, Арина Ивановна и дондесь, в кругу своего семейства, продолжала бы пользоваться наименованием маменьки Арины Ивановны, причем никто бы и не подозревал, что с этим именем связывается понятие о какой-то Аспичьей.

Положение Алексея Степаньча сходно с положением этой женщины в том отношении, что оба они устраивают свою личную жизнь по возможности независимо от профессии. Но во всех других отношениях Молчалин поставлен даже выгоднее. Во-первых, Арине Ивановне все-таки приходилось надевать трико, а Алексей Степаньч трико не надевает, всенародно своих атуров не показывает и антраша не выделяет; во-вторых, Молчалин свободен и от опасения (и тоже опять потому, что место трико у него занимает вицмундир), что дети его узнают об его профессии и устыдятся ее. Конечно, может быть, настанет время, когда и он поймет и дети его поймут, что,

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) собственно говоря, и вицмундир и трико... Тогда положение его, разумеется, значительно усложнится; но ведь когда-то еще это время настанет, а покуда...

Покуда Алексей Степаныч – только «нужный человек», сношения с которым в значительной степени облегчаются его благодушием, а еще в большей степени упрощаются таким же двоегласием, которому не чуждо и существование лиц, имеющих до него дело.

Бывают совершенно безумные условия, при которых жизнь складывается тревожно, тоскливо, унизительно, – такие условия, когда человек, под гнетом смутного ожидания чего-то непредвиденного, приходит к сознанию, что существование его не имеет ничего ясного, определенного, что оно только терпимо, но и то лишь под условием бесперывных, ничем не мотивированных оглядок.

Подобные неясные существования встречаются на свете чаще, нежели можно предполагать, и, говоря по совести, они мучительнее самой суровой ясности. Насколько ответствен в этом тот или другой человек персонально – этот вопрос всегда казался для меня сомнительным; но, во всяком случае, нельзя объяснить его одною приверженностью интересам собственного мамона или чересчур исключительным преобладанием чувства самосохранения. Которое всего тут кроется целая тина мелочей, очень цепких, которая извращает все мотивы человеческой деятельности, да и самой потребности самозащиты сообщает характер изнурительной изворотливости.

Барахтаясь в этой тине, гонимый угрозой чего-то, ежели не подлинно страшного, то непредвиденного и застающего врасплох, я тем охотнее обращаюсь к Алексею Степанычу, что сквозь наносную кору молчаливства мне удается угадывать в нем черты подлинного человеческого образа. При этом я, конечно, сознаю, что наша связь основана на недоразумении, и что не будь этого последнего, то и самому Алексею Степанычу вряд ли пришло бы в голову поддерживать эту связь последовательно и по собственному интимному влечению; в то же время – не скрою этого – я очень рад, если успеваю додуматься до чего-нибудь вроде апофеоза молчаливства, лишь бы обойти недоразумения и оправдать себя в своих собственных глазах.

По временам эта связь формулируется для меня в виде следующего вопроса: ежели общественное значение Алексея Степаныча исчерпывается носимой им фамилией Молчалиных, то твою, человеке, роль в сношениях с ним – каким именем следует ее характеризовать?

Неприятны и щекотливы подобные вопросы – этого отрицать нельзя. До того щекотливы, что при упорном преследовании могут победить самое упорное чувство самосохранения. Но щекотливость эту в значительной мере охлаждает и развлекает безалаберная и неклеяная суতোлка жизненной обстановки. Покуда человек щекотится и раздумывает над собой, на него со всех сторон с такой быстротой надвигаются волны всевозможных жизненных мелочей, что в одно мгновение захлестывают и его самого, и все его вопросы. Счастье это или несчастье – судить не берусь; но могу засвидетельствовать, что те же самые мелочи, которые возбуждают мысль, они же и притупляют ее или, лучше сказать, представляют ей всегда готовое мерзкое ложе для успокоения. Повторяю: это – порочный круг, где один и тот же мотив служит поводом для бесконечно-блудной игры, в которой раздражение и успокоение сменяют друг друга без всякой надежды на просвет.

На днях я получил от Алексея Степаныча записку, которая порядком-таки взбудоражила меня. Записка гласила следующее:

«Любезный тезка! (Алексей Степаныч любит, при случае, подразнить меня «тезкою»: вы, дескать, хоть и рядитесь в костюм Чацких, а копни-ка вас – такими же Молчалиными, как и мы, грешные, окажетесь). Получил я от одного человека, служащего в департаменте «Возмездий и Воздаяний», цидулу, в которой идет речь об вас. Пишет, что вы, мой друг, проштрафились, и, должно полагать, штраф предстоит с вас немалый, потому что дело об ваших провинностях передано в отделение «Воздаяний по Преимуществу». А туда поступают лишь такие казусы, по которым следует ожидать, по малой мере, повреждения. Да и то, говорит, только по нынешнему снисходительному времени, а прежде – строже бывало. Однако вы не очень-то унывайте, потому что «человек» тут же присовокупляет: «так пусть приятель твой постарается сию неприятную для него будущность предотвратить; мы же, для времени продолжения, заведем по сему предмету со всеми местами

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) Российской империи переписку». Следовательно, вы так и поступите; не откладывая дела в долгий ящик, отправляйтесь-ка около полден в департамент, подайте вид, как будто имеете дело к самому директору, и в ожидании заведите с молодыми чиновниками разговор, не предвидится ли, мол, новых реформ каких. Они – народ ветреный, очень охотно о сем говорят да, слово за словом, и об той реформе объявят, которая и для вас прописана. Тогда вы прямо и просите, чтоб вам пути указали, каким образом ту реформу устранить».

Прочитавши это известие, я призадумался. Что Алексей Степаныч не с ветру предупреждает меня о предстоящем членовредительстве – в этом я ни на минуту не сомневался. Но я так давно не был в департаменте «Возмездий и Воздаяний» (более двадцати лет), что становилось жутко при одной мысли о предстоящем путешествии, хотя мне и сказывали, что, благодаря либеральным веяниям, департамент этот в последнее время сделался почти что департаментом «Утех». Сверх того, мне показалась несколько досадною та чрезмерная уклончивость, с которою было высказано обязательное предостережение Молчалина. Извещения о повреждении имеют слишком острый характер, чтоб не действовать на человека возбуждающим образом. Они не только порождают в его уме целую свиту вопросов, вроде: за что? в какой форме проектировано возмещаемое повреждение? и т. д., но и заставляют искать немедленного их разрешения. А записка об этом-то именно и умалчивала. Я согласен, что это – вопросы не особенно лестные для человеческого самолюбия и что в известном возрасте (доживши до седых волос) даже несколько конфузно предлагать их себе, но ежели жизнь так складывается, что обмен мыслей представляется возможным только на почве «виноват» и «помилуйте!», то, как ни гоните от себя нелестные вопросы, они все-таки вторгнутся в ваше существование и не дадут покоя, пока вы не сыщете для них разрешения, хотя бы даже мнимого.

Но, независимо от всего этого, разрешение упомянутых вопросов необходимо было и потому, что относительно повреждений практика выработала целую систему или, лучше сказать, философию, обходить которую – тоже дело рискованное.

Мне нужно знать: за что? – совсем не ради праздного уяснения себе состава и характера содеянного преступления, а для того, чтобы составить план кампании и определить со всею точностью, какие я обязываюсь приносить оправдания. С тех пор, как я живу на свете, мне так часто приводилось выслушивать восклицания (даже от людей положительно мне благожелательных), вроде: «ах, да как это вы!» или: «подумайте, что вас ожидает за это!» – что я и сам уж пришел к убеждению, что вся моя жизнь есть не что иное, как непрерывная цепь чего-то неключимого, и что, стало быть, я не в том, так в другом – виноват. Но дело не в том, что я виноват, а в том, что, несмотря на «темную свиту преступлений» – я все-таки жив. Жив бог и жива душа моя! благодарно восклицаю я, и, как мне кажется, восклицаю именно благодаря довольно сложной и отлично соображенной системе оправданий, которую я успел себе выработать. В оправданиях этих я, конечно, уже понаторел, но все-таки, прежде нежели приносить их, я должен сообразить их размеры с размерами содеянного преступления. Быть может, я виноват только в том, что, идя по улице, ввел в соблазн городского, – в таком случае я могу отделаться только искренним раскаянием. Но ежели, введя в соблазн городского, я еще позволил себе «рассуждать» – тогда вина моя уже сильнее, и, вместе с искренним раскаянием, я должен представить еще ручательство в непрременном, на будущее время, «нерассуждении». Наконец, ежели бы я... но нет! со мною этого случиться не может!.. Однако ж, паче чаяния, если бы даже я и не сделал этого, но так показалось бы... о, тогда! представьте себе сами, каковы должны быть тогда размеры моего оправдания!

Что же касается до вопроса о форме предстоящего повреждения, то и его разрешение необходимо совсем не ради удовлетворения праздного любопытства, а для того, чтоб не выказать неуместной щепетильности, не зарекомендовать себя беспокойным человеком, не утруждать по пустякам. Конечно, начальство вообще снисходительно выслушивает оправдания; но мы, в качестве подсудимых, все-таки должны пользоваться этой прерогативой с осмотрительностью, то есть утруждать только в виду повреждений несомненно тяжких. Повреждения же средние принимать с доверием и безропотно.

Такова, милостивые государи, теория оправданий, сама собой выработавшаяся на почве «виноват».

Поэтому едва ли покажется удивительным, что, прежде нежели выполнить совет Алексея Степаныча буквально, я решился заявить ему о возникших во мне сомнениях.

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru  
Но, к удивлению, он выслушал мои заявления не только без обычного ему благодушия, но даже почти рассердился на меня.

– Очень уж вы набалованы, мой друг, – сказал он, – оттого вам и думается, что тут диалог какой-то произойдет: вы вопросы будете предлагать, а вам будут ответы давать. Ничего не будет – вот что! Да и какая, скажите, корысть для вас знать: за что? Ведь ежели не в том, так в другом – все-таки вы виноваты. Следовательно, что уж тут! А между тем начальство не любит вопросов, закоренелость в них видит, неспособность к исправлению. Вместо того чтоб искренно, благородно: виноват, ваше превосходительство! – а вы все с азартом да наступя на горло!

– Помилуйте, Алексей Степаныч! человек хлопочет только об том, чтоб как-нибудь поумнее предстоящее ему повреждение устранить, а вы какие-то азарты да «наступи на горло» тут припутываете!

– Ну, положим... ну, не так я выразился! А все-таки... Прежде всего, я и сам ничего не могу на ваши вопросы ответить, кроме: «не знаю!» Знаю, что нехорошо пахнет – вот и все, и будет с вас! Да и у тех, которым доподлинно известно, что и как, – и у них осведомляться вам не советую. Пользы нет – вот в чем главное. Во-первых, на ваш вопрос вы рискуете получить в ответ: здорово живешь! – будете ли вы этим удовлетворены? Во-вторых, если даже и снизойдут к вашей немоги – лучше ли вам будет, если свиток-то этот перед вами развернут, в котором, как в требнике, против всех заповедей все грехопадения записаны, да скажут: читай! Да каяться велят да приговаривать станут: ежели не действием, так словом, а не словом – так помышлением? Да в заключение спросят: а теперь, мол, сказывайте сами, какому вы за сие возмездие подлежать должны?

– Полноте! этого нынче уж не бывает! ведь ежели и вас по требнику экзаменовать начать, так и для вас, пожалуй, на каторге места не найдется!

– Так-то так: кто богу не грешен, царю не виноват, а все-таки и эту случайность предусмотреть не мешает. Не бывает, не бывает, а вдруг и вот он-он! Прихоти-то, мой друг, оставить нужно да проще на дело смотреть!

– Так, по-вашему, лучше не любопытствовать?

– Не любопытствуй, мой друг!

– Ну, хорошо. Стало быть, и вопрос о форме повреждения тоже праздный... прекрасно! Но согласитесь, что с моей стороны все-таки никакого «наступя на горло» в этом случае не было, и что в тех условиях, в которых я нахожусь, не только позволительно, но и вполне естественно...

– В том-то и дело, голубчик, что об естественности-то об этой забыть надо. Все естественно знать: и за что, и что за сие ожидает? да сдерживать себя надо, потому что естественность-то наша строптивостью называется. А вы просто, без естественности... доверьтесь! К тому же, вы сами видите, что и начало «обстановочки» уж сделано: со всеми местами Российской империи переписка заведена. Покуда справки да ответы идут, а потом пойдут выборки да соображения – смотришь, человек-то и жив! Может, и оправданий совсем приносить не придется – так, измором все дело кончится, а вы себя загодя сомнениями да вопросами изнуряете!

– Хорошо; но как же все-таки сделать? ведь я ни одного знакомого лица в департаменте «Возмездий и Воздаяний» не имею – с какого повода, как и к кому я туда явлюсь?

– А это уж и совсем просто. Нынче, мой друг, везде свободно: всякий может прийти, даже просто с прогулки. Прийти, выкурить папиросу и уйти. Вы, как придете, спросите у сторожа, скоро ли директор будет – этого и довольно. Затем, хотите – в приемной сидите, хотите – по коридору ходите; папироску закурите – сторож и спичку даст. Покуда вы курите, около вас молодежь тамошняя соберется – сейчас и разговор промеж вас пойдет. Сколько, мол, реформ мы уже видели, а сколько таковых еще под сукном состоит! Слово за слово – и сами не заметите, как вам и об вашей реформе объявят. Да кстати и уму-разуму научат; и не просите – научат!

Советы Алексея Степаныча были настолько ясны и определительны, что на этот раз я  
Страница 66

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) решил последовать им слепо. На другой же день, часов около одиннадцати утра, я забрался под арку к площади и стал ожидать чиновничьего хода. Передо мною расстилалась неоглядная пустыня, обрамленная всякого рода присутственными местами, которые как-то хмуро, почти свирепо глядели на меня зияющими отверстиями своих бесчисленных окон, дверей и ворот. При взгляде на эти черные пятна, похожие на выколотые глаза, в душе невольно рождалось ощущение какой-то упраздненности. Казалось, что тут витают не люди, а только тени людей. Да и те не постоянно прижились, а налетают урывками: появятся, произведут какой-то таинственный шелест, помечутся в бесцельной тоске и опять исчезнут, предоставив упраздненное место в жертву оргии архивных крыс, экзекуторов и сторожей.

Чиновничий ход начался только через полчаса. Сперва повалили гольцы, пискари и плотва, повалили такую плотную массой, что улица, дотоле казавшаяся пустою, вдруг ожила. Гольцы и пискари шли резво, играючи; плотва брела сонно, словно уверенная, что крючка ей не миновать. Потом движение перемежилось, и уже в одиночку потянулись головли, караси, лини и прочая чиновничья бель. Воображение мое было так возбуждено, что я намеренно вглядывался в эти физиономии, думая уловить в них какие-либо неизгладимые черты, свидетельствующие о страсти к увреждениям. Но, к удивлению, я встретил только самую обыкновенную затасканность, сквозь которую едва-едва просачивалось озабоченное праздномыслие. Точно передо мной прошел ряд швабр, которыми уж так давно трут полы, что они утратили даже характер швабр и получили форму тощих и совершенно нецелесообразных мочалок.

Когда для меня сделалось ясным, что административная машина пущена в ход, я тоже юркнул в одну из зияющих дверей серого здания – и пропал. Но и тут воображение обмануло меня. Я думал, что и стены, и лестница, и передняя – все будет «вопить». Ничуть не бывало! На лестнице чувствовался сильный запах упраздненности – и только; в департаментской передней пахло отчасти сторожами, отчасти бумажной червоточиной, острый запах которой проникал сюда из канцелярии.

Сторожа приняли меня как родного. Их было двое, и, по-видимому, жилось им тут отлично. Не только предупредительно, но почти с ликованием бросились они снимать с меня пальто, и глаза их смотрели при этом так ясно, как будто говорили: сейчас-с! пожалуйста! будьте знакомы! Пока я освобождался от верхнего платья, мимо меня бойко проследовал курьер его превосходительства, молодой малый, который тоже смотрел отлично. Он отнюдь не давил высокомерным сознанием своей высокопоставленности, но весело поигрывал серебряной цепочкой, пропущенной сквозь пуговицы его темно-зеленого казакина, и с какою-то чрезвычайно милою загадочностью, казалось, говорил: сегодня его превосходительство изволили утром меня спрашивать – угадайте, об чем?

– Его превосходительство... – начал было я, но один из сторожей, помоложе, даже не дал мне продолжать.

– Пожалуйста! сейчас-с! сейчас они будут! – заторопился он, словно боялся упустить меня, – уж и курьер с портфелем приехал. Полчаса, много час... А покуда не угодно ли посидеть, – продолжал он, широко растворяя передо мной дверь в приемную, – вот здесь, на диванчике... здесь покойно будет!

Новое разочарование! Я думал, что на меня со всех сторон налетят сбиры, как в «Лукреции Борджиа», а меня принимал в свои объятия добродушный русский солдатик, который даже шпицрутеноем хлестнуть не может без того, чтоб не произнести предварительно: «господи-владычица! Успленья-матушка!»

Я встал у окна и от нечего делать начал смотреть на площадь. Налево от меня была затворенная дверь, ведущая в кабинет его превосходительства, направо – отворенная дверь, через которую виднелась обширная анфилада комнат, занимаемых канцелярией. Кабинет сурово безмолвствовал, словно боялся выдать тайну; напротив, из канцелярии доносился до меня непрерывный шум – вестник начинавшейся, но еще не установившейся канцелярской деятельности. Слышалось шарканье, хлопанье дверьми, шелканье замков, выдвигание ящиков, чирканье спичками; в нескольких местах раздавалось имя Надежды Ивановны (я вспомнил, что накануне Надежды были именинницы). Словом сказать, происходило все то, что обыкновенно происходит во всех публичных местах, вроде кофеен, трактиров, кафешантанов и проч. в те неясные минуты дня, когда «деятели» уж проснулись и принялись за чистку, но настоящая торговля еще не началась. Но ни малейшего

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru намека ни на то, что «здесь стригут, бреют и кровь отворяют», ни на «бараний рог», ни на «Макара, телят не гонящего» – ничего! Тихо, мило, благородно. Площадь из окна четвертого этажа представлялась какою-то нелепою пустынею, на поверхности которой там и сям двигались, словно на одном месте топтались, крохотные черные точки; по ту сторону площади, на подоконниках казенного здания, токовала несметная масса голубей, как будто понимали умные пернатые, что нужно же какое-нибудь развлечение этому стаду праздномыслящих людей, тоскливо выглядывающих из окон всех четырех этажей.

– Покурить не желаете ли? – спросил меня тот самый сторож, который отворил мне дверь в приемную.

– А можно?

– Даже мы курим... сторожа! Может, у вас огоньку нет? И огоньку достать можно (он чиркнул спичкой об обшлаг своего рукава и дал мне закурить). Курите с богом. А через час, много через полтора, и «они» будут... это беспрерывно. Вы просить об чем-нибудь?

– Да, придется, может быть...

– Так вы, когда они приедут, в канцелярию схоронитесь. Я вам в то время шепну... можно ли, значит...

Сделавши это наставление и снабдив меня на всякий случай еще двумя спичками (он даже показал, как нужно чиркать ими о подоконник), сторож оставил меня. Я сел у окна, взяв со стола старый лист газеты, и, в ожидании событий, начал читать. В газете описывалось открытие сезона в театре Берга, причем выражалось мнение, что, пригласив г-жу Бекка («а не Бека, как пишут в некоторых газетах»), г. Берг тем самым доказал, что относится к своей задаче серьезно. Через минуту в дверях канцелярии показался один чиновник, разлетелся до половины комнаты, потом вдруг встал как вкопанный, словно об чем-то вспомнил, искоса взглянул на меня и возвратился вспять. Вслед за ним разлетелся другой чиновник и повторил тот же маневр. Наконец появился третий чиновник, который неслышными шагами, как будто у него сапоги на суконных подошвах были, проскользнул уже прямо в кабинет. Впрочем, он пробыл там лишь несколько секунд, пошуршал бумагами и, возвращаясь через приемную, остановился против меня. Я было думал, что он вынесет из кабинета, по крайней мере, хоть одно оторванное ухо, но и тут действительность не оправдала моих ожиданий.

– Вы – по делу? – услышал я обращенный ко мне вопрос.

Передо мной стоял небольшого роста человек, еще не старый, но уже поблекший и как будто надорванный. Голос у него был мягкий, слегка надтреснутый, грудь почти совсем пропала, большие карие глаза отливали какою-то грустной ласковостью. Болезненная потребность «послушания» виднелась в них – потребность, не обусловленная никаким корыстным побуждением и не отступающая даже перед загнанностью. Наверное, этот человек и побежит куда следует, и дело в одну минуту разыщет, и в отсутствие других делопроизводителей бумажку (разумеется, не очень сложную) напишет. Его и из-за обеда внезапно вытащить можно, и ночью разбудить, и он никогда даже внутренне не поропщет. Это – тоже Молчалин, но Молчалин-аскет, Молчалин, окончательно освободившийся и от всяких расчетов преднамеренной угодливости и пламенеющий наголо и беззаветно. Казалось, в нем где-то далеко теплится какое-то очень отвлеченное убеждение, не имеющее ничего общего с его ежедневною деятельностью, но дающее ему силу усмирять в себе всякий позыв на протест. Убеждение вроде того, например, что земля есть юдоль скорбей, в которой люди должны «терпеть». Оно подкралось к нему, по-видимому, очень давно, когда еще он не понимал себя, и оттого не получило даже ясной формулы, а просто являлось естественным законом его жизни. Такие личности всего чаще встречаются в монастырях, но попадают и в чиновничьем быту, где спрос на загнанность и беззаветность еще далеко не перестал существовать. Они неслышно, как тени, спуют по всем направлениям укрепленного лагеря, в котором им предназначено бодрствовать, разговаривают с мирянами ласково, но почти с состраданием, и глядят как-то чудно, словно взор их глаз уходит дальше видимого предмета, стоящего перед ними. Игумены-начальники дорожат подобными подчиненными, но не дают им сильного хода, а отделяются так называемыми знаками доверия. Не потому, что они были неспособны, а потому, что нет в них ни настоящей чиновничьей цепкости, ни той веселонравной готовности во всякое время

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) сочинять проекты о всеобщем обездолении, которая в многообещающих личностях уже с молодых лет позволяет провидеть будущую «способнейшую бестию».

– Да, по делу и, кажется, довольно неприятному, – ответил я.

– Все дела не особенно приятны, – вздохнул он с видимым сочувствием ко мне, – но не следует отчаиваться. Так вы уж потрудитесь подождать: через час они будут. Папироску, может быть, желаете выкурить... от скуки? – прибавил он, как бы желая побаловать меня.

– Благодарю вас, я сейчас курил.

– А еще? посидите, покурите. Или вот газету... Пишут, Беку какую-то привезли (лицо его осветилось при этом улыбкой, вероятно, ради доставления мне удовольствия мирским разговором)... Так потрудитесь уж подождать, – прибавил он, поощряя меня ласковым взглядом и делая движение, чтоб удалиться.

Но я вспомнил совет Алексея Степаныча, что нужно об реформах завести разговор, и решил остановить ласкового чиновника.

– А у вас, кажется, довольно-таки дела? – приступил я стороною.

– Нельзя сказать. Вот у его превосходительства – точно что много дела. Ведь от них все исходит и к ним же опять все возвращается. Ну, а у нас... нынче начальство у нас снисходительное: сверх сил не требует!

– Однако ж все-таки... Помилуйте! сколько реформ мы уж видели, а скольких еще не видали... то есть несомненно увидим в ближайшем будущем!

– Теперь – мы отдыхаем; внутрь обратились. Внутри разбираемся, – сказал он, вовсе, по-видимому, не стыдясь и не желая делать тайны из временной приостановки реформаторской деятельности. – Так вы уж будьте так добры, подождите!

Высказавши это, маленький человек тою же неслышною поступью удалился от меня. Начиналась таинственность. Вот я и об реформах заговорил, думалось мне, а он даже внимания не обратил! – видно, не так-то легко в этом месте завязываются разговоры об реформах, как предсказывал мне Алексей Степаныч. Что ж я, однако ж, буду делать? Неужто ж так-таки прямо и попаду во чрево кита? А ну, как он (не этот, а уж настоящий он, он самый), вместо того чтоб входить со мной в объяснения, прямо огорошит меня вопросом: а позвольте, скажет, узнать, каким образом вы об этом проведали? Что я отвечу ему? Отвечу ли, что самая совесть моя подсказала мне, что я заслужил, или же, просто-напросто, запутаюсь в противоречивых разъяснениях? И я с беспокойством следил глазами, как маленький человечек скользил по анфиладе, постепенно умаяясь в пространстве, и наконец совсем исчез, смешавшись с другими черными точками, мелькавшими в отдалении.

– Это – экзекутор! – сказал мне, вновь появляясь, прежний сторож, покуда я таким образом размышлял.

– Кто? вот этот чиновник, который сейчас со мной говорил?

– Да; генерал их страсть как любят!

И сторож опять исчез, оставив меня одного с газетою. «Г-жа Бекка, – читал я в газете, – внесла совершенно новый элемент в исполнение французских шансонеток. Она не поет их, а передает говорком, сопровождая эту передачу гримасами, не лишеными своеобразной грации...» Но в эту самую минуту, когда я вместе с автором приступил к сравнительной оценке достоинств г-ж Бекка и Жюдик, в передней послышалось движение, и вслед за тем в приемной комнате появилось новое лицо. Это был Молчалин-жуир, мужчина замечательно большого роста, утробистый, сильный, с веселым и крупным лицом и с раскатыстым голосом, валившим из него, как из протодьякона. Совершенно круглые и чересчур выпуклые глаза показывали, что он не чуждается даров Вакха, но что последним не легко достается победа над ним. Одним словом, это была одна из тех замечательных и ныне уж исчезающих личностей, которые когда-то проводили дни за делами, а ночи в беспробудных кутежах и о которых во времена оны складывались в канцелярском мире целые легенды, переходившие от одного поколения коллежских регистраторов к другому. Проходя мимо, он, как мне показалось, внимательно взглянул на меня и остановился.

– К директору? – спросил он у меня.

– По делу... тут дело есть у меня.

– На цугундер потянули... ха-ха!

– То-то, что не знаю...

– И знать не нужно. Знаете, как Кузькину мать зовут – и довольно с вас! – ха-ха!

– Однако ж все-таки...

– Ступайте в курительную комнату – там видно будет! А здесь вам дожидаться нечего. Вы от Алексея Степаныча?

– Да, я знаю его.

– Так ступайте в курительную – теперь некогда. Сейчас наше зелье приедет, так с докладом еще разобрататься надо... Стойте! А ну, как я возьму да и доложу ваше дело теперь же... ха-ха!

– А вы не докладываете!

– Не докладывать... ха-ха! Бедокуры вы, господа! Начуделесите там, а для вас обстановочки придумывай... ха-ха! Ну, с богом!

Напутствовав меня таким образом, он сделал быстрый полуоборот и, грузно ступая, направился к анфиладе, на всем протяжении которой, покуда он шел, раздавался шум отодвигаемых стульев.

– Да у вас где дело-то, у кого в отделении? – раздалось над самым моим ухом.

Я обернулся: около меня стоял тот же сторож, который, по-видимому, решил быть моим ангелом-хранителем.

– В отделении «Воздаяний по Преимуществу», кажется...

– Так это они самые и есть.

– Кто «они»?

– Иван Семеныч. У них ваше дело.

– Гм... он мне в курительную советовал идти.

– Так что же... и с богом! в курительной, позвольте вам сказать, даже поваднее будет. Там и прочие просители собрались... пожалуйста!

Курительная кишела народом. Это была небольшая и до крайности неопрятная комната, с закоптелыми стенами и потолками, с заплеванным и усеянным папиросными окурками полом, сверху донизу наполненная густым облаком дыма, сквозь которое трудно было различать предметы. Когда я очутился там, мне показалось, что меня втолкнули в арестантскую, и мне вдруг сделалось до крайности неловко всех этих незнакомых людей. Мне казалось, что ко мне подойдут и спросят: вы что украли? и что я тоже, когда «обойдусь», то буду предлагать такие же вопросы. Разумеется, это были предположения совершенно безалаберные и неосновательные; тем не менее впечатление, производимое обстановкою комнаты, было именно арестантское. Мебели в комнате было чрезвычайно мало: четыре-пять стульев сомнительной прочности, разбросанных там и сям, и диван, на котором наверное отдыхали сторожа – до такой степени он был замаслен, оборван и скомкан. Человек с десять в вицмундирах стояло отдельной группой посредине; остальные курильщики размещались на диване и по углам. Посторонних посетителей было трое, и все они принадлежали к числу своих. Во-первых, дама, которая держала себя до того уже просто, что ее скорее можно было счесть за приятную собеседницу, нежели за просительницу (после оказалось, что это была сама вчерашняя именинница, Надежда Ивановна, имя которой не раз доходило до моих ушей, покуда я сидел в приемной). Во-вторых, господин в военной форме, что-то вроде приехавшего из провинции капитан-исправника, который

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) уже отклонялся по начальству, но еще оставался в Петербурге и продолжал посещать департамент не ради дела, а для того, чтобы проникнуться духом и направлением учреждения. В-третьих, статский господин, с совершенно распутной физиономией, имеющий все наружные формы ростовщика или содержателя увеселительного заведения, который, по-видимому, был уже окончательно «решен», но все еще изворачивался, как бы уклониться от этого решения. Словом сказать: и чиновники и просители составляли одну семью, что в наших присутственных местах случается нередко. Бывают просители (особенно из провинциалов), которые до того сживаются с своей ролью просителей, что даже не очень настаивают на течении своих дел. Они приходят в подлежащее место почти ежедневно, как в клуб, и нередко ни одним словом не напоминают об официальном предмете своих посещений, а курят, балагурят, разузнают о похождениях начальников, разговаривают о совершенно посторонних предметах и даже о своих семейных делах. Некоторые из них, начав знакомство с чиновниками в качестве просителей, продолжают его уже в качестве друзей, то есть втираются в чиновничьи дома и у себя устраивают для чиновников вечеринки и пироги.

То же арестантское чувство, которое испытал я при входе в курительную, по-видимому, ощутили, при моем появлении, и прочие бывшие тут. Как старые арестанты, давно обжившиеся за железными запорами и решетками, обглядывают новичка и, покуда он конфузливо обдергивается, спрашивают себя: какую-то новую струю внесет этот новый субъект в их старое, уже сложившееся сожительство? – так точно обглядели здесь и меня. Даже разговор моментально стих, точно перерезался, и только спустя минуту или две возобновился опять.

– Да ты икру-то ел ли? (разговор шел, очевидно, о вчерашних именинах), – спрашивала Надежда Ивановна одного из трех кавалеров, составлявших ее компанию.

Это была довольно красивая женщина, хотя уже не первой молодости и значительно подержанная. Одета она была по-домашнему, в блузу, и сидела на диване, тоже совсем по-домашнему, несколько сгорбившись и положив ногу на ногу, причем курила папироску за папироской.

– Ел... как же! удивительная, бесподобная икра! Уж у вас, Надежда Ивановна, коли захотите угостить...

– Будет удивительная, как два с полтинкой за фунтик заплатишь! – жеманилась Надежда Ивановна, – сама в Чернышевом покупала, а у Елисеевых да у Эрберов этих меньше трех рубликов к такой икре – и не подступайся!

– Что говорить! и кулебяка и икра – одним словом – все...

– Нет, нет, нет! Икра сама по себе – об ней после, – прервал другой кавалер, которого, по-видимому, интересовали вопросы совсем иного свойства, – а вы скажите-ка нам, барыня, в силу каких данных вы утверждаете, что все мужчины – подлецы?

– Всех вас, пакостников, на одной осине повесить надо! – бойко пошутила в ответ Надежда Ивановна, пуская кольца дыма.

– Стало быть, в жизни вашей бывали такие случаи, вследствие которых вы убедились, что на мужчин надежда плоха?

– Бывали-таки со мной случаи... много! Как в Бессарабии мы с полком стояли, так молдаване эти... вот мерзавцы-то! Турки, я тебе скажу, – и те лучше! Совестьнее!

– Гм... однако ж! должно быть, строго поступали с вами господа молдаване!

– Оттого-то я и говорю, что всех вас на одной осине повесить надо! А тебе, Лодырь Семеныч, небось завидно? Да ты что меня за коленки-то хватаешь? Отстань, говорю! Ну, а ты, Петр Петрович, отчего вчера до ужина убежал? Я смотрю, где он, а он уж и лыжи наострил!

– Признаться сказать, не мог... Во-первых, своя именинница дома была, а во-вторых... Надежда Ивановна! голубушка! расскажите, что такое молдаване... что они такое могли... ну, одним словом...

– «Одним словом» – и будет с тебя! Ну вас! и не рада, что с вами связалась!

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)  
Кабы, кажется, не дело мое, давно бы я вас, распостылых...

В углу, около печки, шел другого рода разговор: молодой и очень шустрый чиновник прижал к стене штатского человека с распутной физиономией и допрашивал его:

– Ты зачем, позволь тебя, господин Расплюев, спросить, к нам шляешься? подслушивать? а?

– Помилуйте, Иван Павлыч, побойтесь бога! Этакое дело... в двадцать четыре часа... Как же тут не хлопотать!

– Тебя не только в двадцать четыре часа, тебя на свет родиться не следовало допускать! Скажите пожалуйста!.. в двадцать четыре часа! И он удивляется! Это он-то, он-то удивляется! Да ты смотрелся ли в зеркало-то когда-нибудь? видел ли, что за монумент у тебя на плечах-то болтается! В двадцать четыре часа! это он говорит! Он!!

– За всем тем, Иван Павлыч, позвольте вам доложить...

– Нечего «позвольте вам доложить»! Ты мне скажи, сколько времени эти двадцать четыре часа для тебя продолжаются? а? Тебе срок указан, а ты не только существуешь, да еще сюда свою рожу непотребную показывать смеешь! Брысь!

– Так уж я, Иван Павлыч, буду в надежде-с!..

– Брысь, говорят! И если ты еще раз... В двадцать четыре часа! Это ему не нравится – скажите, нежный какой! Вот покажись-ка ты у меня еще раз сюда – узнаешь, как без прогонов в три шеи с четвертого этажа летают! Брысь!

В другом углу приезжий военный человек выслушивал наставления теоретического свойства.

– Цель нашего учреждения, – ораторствовал солидный молодой человек, – заключается не столько в пресечении, сколько в предупреждении. Никого не утесняя, всех ограждать – вот наш девиз! или, лучше сказать, никому не давая чувствовать, вести дело так, чтоб тем не менее все почувствовали! Поэтому и вы должны таким же образом поступать!

Военный человек, вместо ответа, закатил глаза в знак того, что понял и намерен следовать неуклонно.

– Итак, повторяю: мы не жертв ищем! – продолжал чиновник. – Жертвы – они принадлежат ведомству департамента Вздохов, в пределы действий которого мы вторгаться не имеем права! А мы – мы должны сосредоточить все внимание, всю деятельность нашу только на том, чтоб подлежащие лица не оставались без воздаяний! Понимаете! не оставались без воздаяний!

В средней и самой многочисленной группе предметом разговора опять служила пресловутая Надежда Ивановна и вчерашний именной фестиваль.

– В три часа пирог подали, потом ростбиф, рыбу, жареную индейку, – словом, полный обед. Потом сели мы за зеленое поле да так до трех часов утра и пропутались!

– Ай да Надежда Ивановна! Ура Надежде Ивановне! Господа! давайте покачаемте Надежду Ивановну на руках!

Во время этого панегирика Надежда Ивановна, сидя на диване, блаженно вскидывала глазами на говорящих, постукивая в такт ногою, и жеманно приговаривала:

– Ну уж! нашли что! эка невидаль!

– Так и Иван Семеныч, вы говорите, был?

– Еще бы! да и как еще удивил всех! Ну, вы меня знаете? Ну, люблю, кажется, я в картишки поиграть? Так он и меня за пояс заткнул! В третьем уж часу – мне даже спину всю разломило – а он: сыграем да сыграем еще одну пулечку! Ну, потешили старика, сыграли, да на двадцать целковеньких он нас и наказал! Это – в

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru  
шестьдесят-то пять лет!

– Крепкий старик!

– И заметьте: играет, а около него бутылка хересу стоит. По рюмочке да по рюмочке – никак, бутылки с три он в течение вечера переменял! И хоть бы в одном глазе!

– Н-да; вчера в ночь три бутылки хересу, кроме прочих напитков, выкушал, а нынче – на службе! Поди, догадайся, как он ночь провел!

– И докладывает!

– Не только докладывает, а всех нас, молодых, передоложит! С ним, я вам скажу, такой случай однажды был. Заложил он с вечера, да, должно быть, уж так достаточно, что встал утром да ничего и не помнит, только спрашивает себя: есмь аз или не есмь? Однако, по привычке, побежал в департамент, подошел к своему столу, да так и ахнул. На столе – вот этакая грудка бумаг, да все нужные, все к докладу. И доклад-то – сейчас. Что ж бы, вы думали, он сделал? Видит, что читать бумаги уж некогда, присел за стол да в четверть часа и навалаял! Приходит, это, к директору: вы говорит, вашество, изволили приказать написать доклад о том, какие чувства надлежит признавать в обывателе добрыми и что от таковых чувств для блага отечества ожидать предстоит? Ну, тот хоть и не приказывал ничего, а тут сделал вид, что вспомнил: читайте, говорит. И начал он читать. И по писаному-то читает, и от себя тут же импровизирует... словом сказать, генерал не вытерпел: встал и тут же его в лоб поцеловал! Прекрасно, говорит, это именно моя мысль была! Велите, говорит, поскорее циркуляр заготовить да прикажите всем департаментским чиновникам этот доклад наизусть выучить, дабы они могли во всякое время и на всяком месте на вопрос: что такое добрые чувства? – надлежащий ответ дать! А прочие дела мы до завтра отложим!

– Ай да Иван Семеныч!

И вдруг вся курительная, словно под влиянием волшебного мания, загудела:

«Добрые чувства суть те, кои, будучи при рождении самим богом в нас вложены и впоследствии воспитанием в казенных заведениях развиваемы и утверждаемы» и т. д.

– И бог его знает, как он это делает! И дела у него кипят, и за галстук он закладывает успеваешь, и стихи пишет! Читали ли вы последнюю его вещь, как он «Спаси, господи» в стихи переложил?

– Превосходно! Бесподобно!

– Спаси, говорит, нас и от того и от того: и от непрошенных советчиков, и от материалистов, и от нигилистов, и от стриженных девок, и от лекций Сеченова... Да, перечисливши-то все, вдруг как выпалит: «По-бе-е-ды!!!»

– И это – после трех-то бутылок хересу!

– Пьет херес – и пишет! потом коньяку, для разнообразия, спросит – и опять стихи пишет!

Наконец, уже совсем подле меня, двое чиновников беседовали:

– Да воротился. Мы-то думали, что ему совсем капут, а он еще прочнее прежнего засел!

– Тсс... а помните, как за границу-то он отправлялся?

– Да, многие в то время... Михал Михалыч даже проводить его за нужное не счел, а теперь и тужит!

– Так вы говорите, что прием хороший был?

– Помилуйте! чего лучше! – Идите, говорит, и действуйте!

– Н-да; так Михал Михалыч... пожалуй, что Михал Михалыч-то и прогадал!..

– Чего хуже! и неблагодарность и недалёковидность – все выказал! Ну, как было не предвидеть! Ну, кем его заменить? Где у нас люди-то? люди-то у нас где?

– Главное – неблагодарность! Ведь он его из грязи вытащил! Тогда он, садясь в вагон, даже со слезами это высказал! Из грязи, говорит, я его вытащил... ммерзавца! Зато теперь он ему это выпоет! Все, скажет, можно простить, но неблагодарности – никогда!

– Вы думаете, значит, Михал Михалычу вчистую придется подать?

– Нет, до этого, вероятно, не дойдет, потому что ведь и Михаил Михалыч также... ну, кем его заменить? Где у нас люди-то? люди-то у нас где?

Словом сказать, сколько я ни прислушивался к происходившим кругом меня разговорам, ничего членовредительного уловить не мог. Это были обыкновенные житейские разговоры, характеризовавшие людей, быть может, не особенно умных, но и отнюдь не злых. Замечательнее всего, что мне не удалось услышать ни одного анекдота из сферы Воздаяний, ни малейшего примера сколько-нибудь оригинального Возмездия! Как будто все эти анекдоты и примеры были раз навсегда погребены в каком-то «Полном собрании анекдотов», и нет никому до них дела, и останутся они в забвении до тех пор, пока М. И. Семевский (лет через сотню) не откроет их и не украсит ими страниц «Русской старины».

Однако на меня все-таки никто не обращал внимания, и я уже начинал опасаться, что предполагаемого разговора о реформах так-таки и не удастся мне завести, как вдруг неожиданное обстоятельство вывело меня из затруднения. Покуда я сокрушался и роптал, в комнате появилось новое лицо. Я взглянул на вошедшего – и сердце у меня так и захолонуло: это был... Тугаринов! Тугаринов, мой товарищ по школе, с которым я, правда, никогда не был особенно близок, а лет двадцать тому назад даже совсем потерял из вида, но которого все-таки я никак не ожидал встретить здесь, в эту минуту! Несмотря на то что самые черты этого человека почти изгладились в моей памяти, мне сделалось почти жутко, когда я увидел его. С своей стороны, и он узнал меня, и ему тоже, по-видимому, сделалось жутко. Он влетел в комнату, с разбега, бойко и весело, даже кому-то крикнул: Петр Егорыч! а что же дело о... и вдруг осекся! Лицо его покрылось красными пятнами, руки уставились врозь, папироска, которую он намеревался сейчас закурить, не дрожала, а как-то плясала между указательным и третьим пальцами.

– Тугаринов! – начал я первый, – вы... ты...

– Ах, да! ведь ты у нас тут еще не бывал? – откликнулся он как-то ни к селу ни к городу, совсем смешавшись.

– Да, то есть лет двадцать пять тому назад...

– Ах, так ты теперь совсем-совсем нашего департамента не узнаешь, – заторопился он, – пойдем, пойдем ко мне в отделение, я тебе покажу!

Он как-то неуклюже, почти насильно взял меня под руку и повел вон из курительной комнаты.

– Ты совсем нашего департамента не узнаешь! – взволнованно и спеша объяснял он мне, покуда мы пробирались рядом комнат до его отделения, – теперь, брат, у нас совсем не то, что было двадцать пять лет назад! теперь наша служба, благодаря богу, получила совсем-совсем другое направление!

Он пододвинул мне кресло, усадил меня и сам сел.

– Ну, как тебе жилось? Говори! рассказывай... сстарррый товарищ! – начал он, взяв меня за руку и крепко сжимая ее.

Он опять покраснел и как-то нелепо стиснул зубы, как бы сдерживая сладкое волнение, произведенное свиданием со мной.

– Да нечего, признаться, рассказывать. Главное, вероятно, тебе известно, а затем едва ли стоит говорить об частностях.

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
– Как же! как же! знаю! читал, мой друг! читал! Почитываем мы тебя... почитываем!  
Резконько, голубчик! очень даже резконько!

– То-то вот! одни говорят: резконько, другие – мяконь-ко... как тут быть! Одно могу сказать с уверенностью: ни ты, ни другой не найдете у меня и следа злоумышления!

– Что ты! что ты! кто же об этом даже в мыслях держать может! Напротив, все – это я с уверенностью могу сказать – все отдают тебе в этом отношении справедливость! И все-таки, голубчик, резконько! Тени слишком густы, свету нет! Немножко бы... чуточку! А впрочем, что ж я! Я-то об чем хлопочу! Напротив, я не только с удовольствием, но даже с наслаждением... Особливо последнее... как бишь! Так так-то, брат! Пописываешь? – прибавил он, дружески похлопывая меня по коленке.

– Да, пишу... что ж!

– Помилуй! да ты, никак, думаешь, что я... да сохрани меня бог! Ты к нам по делу, вероятно? Пустяки! я тебе в одну минуту все обхлопочу! У кого твое дело?

– Говорили, что в отделении «Воздаяний по Преимуществу», а, впрочем, достоверно не знаю.

– Это у Ивана Семеныча! ну, стало быть, твое дело – в добрых руках! Это, брат, – человек! Мы все здесь – его ученики! Это – человек убежденный и в то же время не односторонний! Нет, не односторонний!

– То есть как же не односторонний? мне кажется, что самое дело, которое он делает, довольно односторонне... Ведь он только исполнитель...

– Да, это – одна точка зрения. Но ведь служба, мой друг, не исчерпывается одним исполнением служебного долга... напротив! Мы, конечно, прежде всего сознаем свои обязанности перед службой, но это не освобождает нас и от другой, высшей обязанности: обязанности быть человеческими и относиться к заблуждению с снисходительностью и без озлобления! О, в этом отношении очень-очень много в последнее время сделано, и ты не узнаешь нашего департамента, когда ближе познакомишься с ним!

Затем он рассказал мне, какой Иван Семеныч – прекрасный сын, как он любит и холит свою старушку-мать, как много помогает родным и ближним. А сверх того, он – музыкант и поэт.

– Да, и поэт. У него литературные вечера бывают. На днях он нам переложение тропаря «Спаси, господи» прочитал... н-да-а, с кваском-с! не всех по шерстке погладил! многим даже и очень не по вкусу пришлось! Сатира, да еще и какая... разумеется, в благонамеренном тоне!

– Какие же литераторы у него на вечерах бывают?

– Свои, мой друг, департаментские да вот из департамента Вздохов еще... Иногда, впрочем, тень Булгарина заходит... Иван Семеныч даже журнал хочет свой основать... у него для первого номера трагедия Баркова в портфелях хранится – вот, кабы ты знал! только вряд ли цензура... Ах, душа моя! ведь и за нами в тысячу глаз смотрят! да еще как смотрят!

Он вздохнул, помолчал с минуту, но так как я, с своей стороны, ничего не говорил, то начал опять:

– Да! давненько! давненько-таки! Много с тех пор воды утекло! Вот и у нас в департаменте... Конечно, существует предубеждение... но, право, ежели посмотреть на дело свободно...

Он взглянул на меня, как бы прося, чтоб я хоть на минуту «взглянул свободно», в видах рассеяния предубеждения.

– Да, свобода взгляда – это... на что уж свободнее! – ответил я, сдаваясь на его немую просьбу.

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru – Ну, вот видишь, ты сам это говоришь! – и мы то же самое утверждаем! Прежде – это так! Прежде чиновничество стояло как-то особняком, взаперти, и, разумеется, не могло внушать к себе доверия, но нынче... Если сообразить, что сделано в этом смысле в последнее время – так даже страшно, именно страшно становится! На последнем литературном вечере один приезжий исправник читал нам статью «Двадцать лет реформ», так это даже удивительно, как мы все это выдержали! Ведь это только так кажется, что немного, а ты только подумай! А вы, господа, все недовольны! то есть не ты собственно, а вообще...

– Помилуй! я даже очень доволен! – поспешил я выгородить себя.

– Ты – я знаю; а другие?.. А между тем начать хоть с нашего департамента... Сравни-ка нынешнюю процедуру с той, которая существовала двадцать, двадцать пять лет назад... голова, мой друг, закружится!

– Да, с этой точки... разумеется, прогресс несомненный! Революции... то бишь реформы... – путался я, стараясь придать моему лицу благодарное и даже умиленное выражение. Но он, к счастью, уже закусил удила и не слушал меня.

– Всеобщая апатия – вот главное и неисправимое зло нашей общественной жизни! вот наша рана! вот что разъедает нас! Никто ни о чем не думает, а следовательно, никто не может и оценить... А возьмем между тем хоть настоящий случай – с тобою! Ты имеешь до нас дело... положим, даже неприятное... но какая, однако ж, разница между тем, как пошло бы это дело при прежних порядках и как оно идет теперь! Во-первых, в прежнее время объект воздаяний не выслушивался, не приносил оправданий, чаще всего даже не знал, что об нем идет речь. Он разрабатывался исключительно с отвлеченной точки зрения. Дело начиналось, созревало и округлялось само собой, независимо от объекта и без всякого внимания к тому, что он должен был ощущать вследствие этого созревания и округления. Наблюдалось, чтоб все ответы были получены, все справки собраны, и когда являлась уверенность, что надлежащее округление достигнуто... фюить!.. Все происходило, как в сонном видении... не так ли? правду ли я говорю, что все это именно было... и, к счастью нашему – прошло?

– Правда, – согласился я, – все это именно так было, как ты говоришь!

– Теперь будем продолжать. Если таковы были отношения «объекта» к вопросу о предстоящем ему воздаянии, – продолжал Тугаринов, – то не меньшую фантастичностью отличались и отношения самих делопроизводителей к принятым ими на себя обязанностям по сему предмету. Они исполняли эти обязанности без всякой руководящей нити, почти автоматически. Они не понимали, что может быть и очень больно, и умеренно больно, и просто больно; что хотя все это – стадии одного и того же принципа воздаяния, но стадии, находящиеся в значительном друг от друга отдалении и потому требующие очень осторожного, очень тонкого применения. Они не различали бытия от небытия, и потому с неуместною расточительностью прописывали небытие даже в тех случаях, когда достаточно было удовлетвориться лишь более или менее легким ограничением бытия. Прописать небытие казалось легче, проще – вот они и прописывали. Словом сказать: их отношение к делу было столь же неосмысленно, как и отношение самого объекта. И первый и последний являлись орудиями и жертвой мрачного канцелярского фатума, который несся, как смерч, одинаково давя на пути своем и орудия и жертву. Не так ли? ведь правда? правду я говорю?

– Да, но ты забываешь, что орудия все-таки получали присвоенное им штатами содержание, тогда как «объект» пользовался только правами и преимуществами, проистекающими из слова «фюить»!

– Об этом – когда-нибудь после. Когда-нибудь на свободе мы поговорим с тобою, и ты убедишься, что пользование присвоенными окладами не всегда представляет усладу... но об этом после, после! Теперь же будем продолжать. Итак, объяснив, какой процедуре подверглось бы твое дело при существовании прежних порядков, обратимся к тому, в каком положении оно находится ныне. Я, конечно, не буду утверждать, что теперь ты уже полный распорядитель своего дела, – нет, этого еще нет! (Но это будет и притом в самом непродолжительном времени – в этом тебе я ручаюсь... я! – прибавил он в скобках и при этом ударил ладонью по столу, как бы говоря: вот она тут, в этом самом ящике... рррефорррма!!) Однако ж разница все-таки несомненная и громадная! Во-первых, ты уже извещен! Правда, ты извещен негласным и, так сказать, не вполне легальным путем, но ведь легальность, мой

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) друг, бывает двойкая: легальность официальная и легальность, хотя и неофициальная, но допускаемая, и тебе, я полагаю, все равно, от той или от другой ты вкушаешь плоды... Согласись, что это – уже победа, благодаря которой перед тобой освещается целый путь. И вот ты идешь по этому пути, идешь не в потемках, не ощупью, а по прямому направлению к самому источнику. Ты приходишь к нам, не заходя ни в департамент Преуспеваний и Препон, ни в департамент Устранения и Порождения Недоразумений, хотя последние, вероятно, тоже ведут обширную переписку об тебе и – кто знает? – переписку, быть может, даже близкую к окончанию!

При этом неожиданном откровении я даже привскочил на месте от удивления.

– Как! – вскрикнул я, – так, стало быть, и еще в двух департаментах могут находиться в производстве дела обо мне... А может быть, и еще в трех-четырёх?

– Я не утверждаю этого наверное, но не могу утверждать и противоположного. Я должен сознаться, что относительно распределения занятий у нас остается желать еще очень многого, и я первый сознаю, что, например, департамент Преуспеваний и Препон мог бы быть присоединен к нашему без особых затруднений. Есть, конечно, черты очень существенные, касающиеся круга действий, пределов власти и тому подобное; но, по моему мнению, в видах доставления публике удобств, не мешает иногда жертвовать и существенным. Почему, например, абонемент на итальянскую оперу объявляется иногда в дирекции императорских театров, а иногда в кассе императорского двора? Конечно, и тут, вероятно, есть основания, и даже очень веские; но, повторяю, в видах удобств публики, лучше было бы остановиться на театральной дирекции, как находящейся в центральном месте столицы и притом помещенной в первом этаже, а не под крышей. Утешаюсь, однако ж, тем, что это – вопрос времени, точно так же как вопрос времени – окончательная смерть «больного человека».

– Да, но, в ожидании этого времени, у болгар...

– Успокойся, мой друг, у нас еще до этого не дошло. А чтоб помочь тебе окончательно выяснить твое положение, я обещаю тебе во всех департаментах навести справки (он взял карандаш и для памяти черкнул несколько слов на листе бумаги). Черт возьми! надо помогать друг другу, особенно после стольких лет, проведенных рядом на школьной скамье... сстарый товарищ!

Он опять стиснул губы, в знак сдерживаемого волнения, и протянул мне руку, которую я и пожал.

– Итак, ты приходишь к нам, – продолжал он, – и с первого же шага убеждаешься, что мы, с своей стороны, принимаем тебя с распростертыми объятиями. У нас – ты совершенно свободен. Ты можешь и в приемной сидеть, и ходить по коридору, и зайти в курительную – делай, как хочешь! Захотелось тебе покурить – кури! Захотелось почитать – к услугам твоим листок газеты! Затем, если тебя интересует знать, имеется ли в производстве дело об тебе, – ты обращаешься к подлежащему чиновнику, и он тебе прямо и без утайки говорит: есть. Мало того, он скажет тебе, в каком периоде оно находится: в периоде ли округления или уже приближается к созреванию. Сообразно с этим ты получаешь возможность делать соответствующие распоряжения. Конечно, если ты захочешь знать, за что? и что именно тебя ждет? – этого тебе покуда не откроют, но и это опять-таки вопрос времени. Принципиально неудобства канцелярской тайны уже осуждены, и ты увидишь, что не пройдет и двадцати лет, как от нее не останется и следа.

– Однако... двадцать лет! – изумился я.

– Что делать, мой друг! человечество идет к совершенству медленными, но зато верными шагами, и мы можем только содействовать ему на пути развития, но отнюдь не побуждать к тому насильственными мерами. Я понимаю, что соблюдение канцелярской тайны может возбудить досаду, но людям нетерпеливым могу сказать одно: господа! имейте терпение! вы видите, что делается все, что можно! Сравните прежнюю процедуру с теперешней – и сознайтесь, что разница громадная! Не просите! не просите! Все будет сделано – в свое время! Но теперь – нельзя-с!

Покуда он говорил, я смотрел на него. В нем уже не оставалось и тени того стыда, который он выказал при встрече со мною. Лицо его уже не отливало багровыми пятнами, но было прилично бледно и смотрело солидно и отчасти сурово. Голос не

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) колебался, но звучал ровно и твердо. Речь не путалась, но лилась плавно, словно была выхвачена целиком из докладной записки об историческом развитии форм воздаяний и возмездий, которую, быть может, еще недавно он щегольнул перед начальством. А так как мне никогда не приходило на ум рассматривать вопрос о воздаяниях и возмездиях в пространстве и во времени, ибо для меня совершенно достаточно и тех воздаяний, которые уготованы для меня теперь, то, признаюсь, мне делалось даже неловко выслушивать эту плавно-пустопорожнюю речь, стремившуюся заставить меня восчувствовать, что в доисторические времена формы воздаяний были не в пример солиднее, нежели в наше время, когда... В первый раз с той минуты, как я вступил под сень департамента, на меня пахло скрытым членовредительством. В первый раз я почувствовал, что хотя теория и смягчается практикой, но она все-таки не изгибла и, в случае надобности, может быть выдвинута вперед без малейших затруднений.

– Как бы то ни было, – продолжал он, – а сделано все, чтоб устранить испуг и возбудить в объекте воздаяний надежду на более светлое будущее. Как хочешь, а это – значительный шаг вперед, особенно если взять его в связи с теми предположениями, которые уже стоят на очереди и отчасти уже приняты в принципе, отчасти же, по несвоевременности, хотя и отвергнуты, но именно только по несвоевременности! Но этого мало: некоторые из этих предположений практикуются уже и теперь, благодаря системе негласных ходатайств, которой хотя и не присвоено еще характера строгой, действительной легальности, но которая, вследствие несомненного смягчения начальственных нравов, уже пользуется всеми правами легальной допускаемости. А это прямо приводит меня к рассмотрению другой стороны вопроса, а именно...

– Извини, сделай милость, что я на минуту тебя перерву. Ты сказал сейчас, что существует система негласных ходатайств, которая хотя и не вполне легальна, но уже пользуется допускаемостью... Так нельзя ли как-нибудь применить эту систему...

– В том деле, которое привело тебя сюда? Конечно, мой друг! о, без сомнения! без сомнения! Но извини меня и ты в свою очередь! позволь мне развить до конца начатый мною очерк современного направления нашего департамента. Признаюсь тебе, у меня так много накопилось на душе, и мне так отрадно было бы сообщить все это тебе... сстаррый товарищ!

Новое выражение едва сдерживаемых чувств и новое пожатие руки.

– До сих пор я объяснил тебе только ту перемену, которая произошла в объекте воздаяний. Но веяние времени коснулось не его одного; оно коснулось и нас, скромных служителей принципа воздаяния. Оно морализировало нас, оно раскрыло наши сердца и просветило наши умы. Прежде чиновник был угрюм, теперь – он общителен; прежде чиновник хранил канцелярскую тайну, быть может, отчасти и потому, что не понимал ее, теперь – он относится к этой тайне критически и готов, при удобном случае, щегольнуть ею даже в трактирном заведении. Это, конечно, уже крайность, увлечение, но увлечение – знаменательное! С тех пор, как начались реформы, а особенно с тех пор, как разрешено в департаментах курение табаку, – чиновник сделался неузнаваем. В прежние времена твое появление в нашем департаменте было бы невысказано иначе, как в «сопровождении». Ты стоял бы, как зачумленный, где-нибудь в углу, и никто не подумал бы приблизиться к тебе. Теперь ты приходишь сам, и не только никто не отвращается от тебя, но всякий наперерыв спешит подать тебе руку. Ты перестал быть «объектом», ты сделался – человеком! И ежели это в значительной мере развязывает тебе руки, то это же самое делает величайшую честь тем, которые успели настолько поднять свой уровень, чтобы сделать себя доступными человечности! Это – прогресс, это – победа, это – почти переворот! Это до такой степени переворот, что, случись он в другой стране, например в Англии или во Франции, – в нос бы бросилось, друг мой! А у нас – кого тронул у нас этот переворот? Кто обратил на него внимание?

Он поник головой, как бы подавленный неблагодарностью, а может быть, и неразвитостью сограждан. Минуты с две мы молчали: он – потому, что собирался с мыслями, я – потому, что чувствовал себя в положении человека, посаженного в крапиву.

– Говорят, что Россия есть страна переворотов мирных, – продолжал он, – что у нас мероприятия возбуждают не эфемерный энтузиазм, но более прочное повиновение. Может быть, что это и так! Может быть, может быть... может быть! Но согласись, что это горько! что от этого «повиновения» веет холодом! что есть минуты, когда

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) чувствует потребность, когда к сердцу подступает... одним словом... ну, да что об этом! Так-то вот, ты и у нас, в нашем департаменте... сстаррый, добррый товарищ!

Он наклонился ко мне, и я уже видел минуту, что он поцелует меня. Но вместо того чтоб облобызать меня, он вдруг покраснел, откинулся на спинку кресла и зажмурил глаза. Очевидно, ему показалось, что я отнесся к нему слишком уж сдержанно. А так как в мои расчеты вовсе не входило производить такого рода впечатления, то я, в свою очередь, встревожился.

– Послушай, – начал я, – так как же? собственно о моем-то деле... как же ты полагаешь?

Он вновь открыл глаза и на этот раз посмотрел на меня, как мне показалось, довольно иронически.

– Н-да? ты хочешь, конечно, чтоб я тебя с Иваном Семенычем свел? – сказал он, – охотно, мой друг! с величайшим удовольствием! Но подожди минутку: я сейчас велю узнать, воротился ли он от доклада!

Он взялся за звонок; но Иван Семеныч был легок на помине, и едва успели мы произнести его имя, как он персонально явился перед нами.

– А! писатель! – вскричал он, – я его ищу, а он вот где! Что, батюшка! к Иисусу потянули? трясутся поджилки-то? ха-ха!

– Нет, не поджилки, а вообще...

– Во всем, значит, теле трясение... ха-ха! Знаю, батюшка! знаю! Сам, грешным делом, пописываю... знаю! ха-ха!

– Вот и я говорил, что вы литературой занимаетесь, – молвил Тугаринов, – и что по пятницам...

– То есть я, собственно, не литературой, а поэзией... ха-ха! Бряцаю при случае... ха-ха!

– Мы ведь с ним, Иван Семеныч, – товарищи! – пояснил Тугаринов, – как же! в школе... рядом... Старый товарищ!

Тугаринов протянул мне руку, примеру его последовал и Иван Семеныч, сказав:

– Очень рад! очень рад! а что касается до пятниц, так милости просим! милости просим... ежели не побрезгуете... ха-ха!

– У Ивана Семеныча, мой друг, очень многие бывают, а между прочим и такие люди, с которыми тебе очень и очень не мешало бы познакомиться!

– Бывают, бывают... ха-ха! Фаддей иногда с Волкова заходит... к закуске... ха-ха! Впрочем, с Волкова ли? не со Смоленского ли?.. нынче ведь могил-то этих не помнят... ха-ха! Я и сам, признаться, забыл... В ту пору мы с Кукольниковом на похоронах-то были... или то бишь не с Булгариным ли мы у Кукольника на похоронах были... ха-ха!

– А может быть, и у Греча? – пошутил Тугаринов.

– А что вы думаете – и в самом деле у Греча! ха-ха! Да, все перемерли... литераторы! То есть, хоть и остались еще литераторы – только не те... ха-ха!

– А знаешь ли ты, что на последнем вечере у Ивана Семеныча и твою вещь читали? Как бишь ее?

– Как же! читали... ха-ха! И как только вас земля носит... ха-ха! Да, почитываем мы вас... ха-ха!

– Так знаешь ли, как мы сделаем, – обратился ко мне Тугаринов, – в следующую пятницу я заеду за тобой – мы вместе и отправимся к Ивану Семенычу... без церемоний!

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)  
– Какие церемонии... ха-ха! Очень рад, очень рад! Да вы не опасайтесь: мы не одною департаментскою поэзией вас угостим! мы не только читаем, но и вкушаем... ха-ха!

– Да еще как вкушаем-то!

И Тугаринов, и Иван Семеныч посмотрели на меня такими радостными глазами, точно им удалось «обрящить».

– А ведь я к вам по делу, Иван Семеныч! – рискнул напомнить я.

– Есть и дельце... ха-ха! вот в пятницу пожалуй... тогда и рассмотрим вкупе... ха-ха!

– Нельзя ли теперь?

– Загорелось... ха-ха! Да просто залучить вас сюда хотел, посмотреть на вас – ну, и написал Алексею Степанычу цидулу! вот вам и дельце... ха-ха!

– Нет! вы шутите!

– А впрочем, есть и дельце, коли хотите, да не стоит об нем говорить! Слово там одно... ха-ха! Не бойтесь, мы его кругом пальца обвернем, дельце ваше! Сам, батюшка, литератор... хотя и не нынешний, а знаю... ха-ха!

– Но в чем же, однако, дело? – настаивал я.

– Говорю вам: не стоит тратить слов... залучить вас хотелось, и успел в том... ха-ха!

Мне вдруг сделалось ужасно неловко, почти стыдно. Я и сам не мог дать себе отчета, почему стыдно; но какое-то непреодолимое желание «уйти» охватило все мое существо.

– Так, стало быть, к генералу... не надо? – лепетал я, не понимая, что я говорю.

– К какому генералу? Вот в пятницу приедете – и генерала увидите... ха-ха! Он будет даже рад... Почитываем мы вас, батюшка, почитываем... ха-ха! Познакомьтесь, поговорите, а между тем и дельце ваше... ха-ха!

Затем я просидел еще с пять минут, и уже не помню, что происходило со мной. Помню только, что и я пожимал руки, и мне пожимали руки, и что когда наконец, почти шатаясь, я направился через анфиладу к выходу, то во всех комнатах меня сторожили любопытные, в глазах которых я явственно читал:

«Почитываем мы вас! да, почитываем!»

## ГЛАВА VI

Таким образом, благодаря «уступочкам» – с одной стороны, и «обстановочкам» – с другой, молчалинская жизнь кое-как налаживается. Жизнь смурая, спутанная, сама себе не дающая отчета в том, почему она называет себя жизнью, а не смертью.

Среди этих сумерек Молчалин, их главный устроитель, чувствует себя вполне хорошо. Он не только счастлив сам лично, но убежден, что и другие должны быть счастливы; что сумерки именно и представляют ту идеальную норму человеческого существования, которая должна всех удовлетворять и за пределами которой начинается уже прихоть. Ухитивши свое гнездо, завоевав себе: в настоящем – тепло и сытость, в будущем – завидную историческую безответственность, он с истинно молчалинским благодушием предает забвению свой недавний мартиролог, окончательно успокоивается, разнеживается и даже позволяет себе слегка помечтать.

Мечты его имеют тот же детски-непритязательный характер, которым отличается и вся его жизнь. Он видит себя в отставке, почившим от дел, сытым, благодаря получаемой пенсии, благодарным, свободным от угрызений совести, почтенным от соседей и начальства и ни в чем не замеченным. А главное, он видит себя окруженным взрослыми Молчалиными-детьми, прямо и без особенных усилий утвердившимися на той же молчалинской колее, которую он с таким неслыханным самоотвержением для них проложил.

Но тут-то именно и надвигается на Молчалина из-за угла совершенно новый и притом отнюдь не предвиденный им мартиролог.

Истинно больное место существования Молчалиных – совсем не там, где они сами его видят, совсем не в их прошлом, хотя это прошлое и до краев переполнено лишениями, обидами и унижениями. Не назад, а впереди ждет их настоящая казнь, которая будет тем жесточе, что ее предстоит принять беспрекословно, не вдаваясь, даже втихомолку, в разыскание законности или незаконности поводов, обусловивших ее появление. И эту казнь им принесут Молчалины-дети.

Эта новая казнь заставит наново перечувствовать все казни прошлого и к старым обостренным истязаниям прибавит новое, неслыханно жгучее истязание.

Как отнесутся Молчалины-дети к деятельности Молчалиных-отцов? Отвернутся ли от нее с суровой неумолимостью бесповоротного убеждения или же, более мягкосердечные, подарят ей смягчающие обстоятельства... только смягчающие обстоятельства? В том или другом случае разве это не казнь?

Но и помимо этой неизбежной казни, предвидится еще другая, не менее неизбежная. Дети... ах, эти дети! Хорошо, как они по наторенной молчалинской дорожке пойдут, а вдруг очутятся совсем не там? Как их старческими-то руками удержать? как старческими думами уследить за ними? как старческими словами урезонить их?

– А ну, как Павел-то Алексеич мой как ни на есть недоглядит за собой? – сказал мне однажды Алексей Степаныч, и, по моему мнению, в этих немногих словах он очертил целый трагический сценарий.

Современность приучила нас к целому ряду явлений, которые мы легко угадываем с первого же намека. Домашний очаг потух; семья или разорвалась, или сделалась ареной какой-то сплошной трагедии, разъяснения которой мы можем отыскивать по временам лишь в стенографических отчетах судебных заседаний. Но стенографические отчеты обстоятельны только по наружности; полного же внутреннего смысла развивающихся трагедий они уже по тому одному не могут передать, что очень компактная масса действующих лиц остается совершенно вне пределов их кругозора. Эту компактную массу составляют Молчалины – отцы и матери. Они изнывают, мечутся, истекают слезами и кровью и тем с большею болью отзываются на удары судьбы, что последние падают на организмы, уже обессиленные прежними жизненными ударами.

Да, я не раз задумывался над финалом, которым должно разрешиться молчалинское существование, и, признаюсь, невольно бледнел при мысли об ожидающих его жгучих болях. Что бы ни произошло: отвернется ли Молчалин-сын от Молчалина-отца, или же он попросту, как выразился Алексей Степаныч, «недоглядит за собою» – результат для Молчалина-отца во всяком случае будет один. Больно везде: мозг горит, сердце колотится в груди, спину переломило. Надо куда-то бежать, о чем-то взывать, надо шаг за шагом перебрать свою прежнюю жизнь, надо каяться, отрицать самого себя, просить, умолять... И все это в такие минуты, когда рассудок отказывается действовать, когда колеблющиеся ноги не могут выносить тяжести вдруг осевшего тела, когда с каждым шагом так и кажется, что сейчас провалишься в бездну, когда ничего не понимаешь, ничего не сознаешь, когда и «в мыслях», и на языке одно только слово: «Дети! Дети!»

Вот «больное место» беззащитного, беспомощного молчалинства. По мнению моему, оно представляет поистине неистощимый родник для размышлений, да и для художественного воспроизведения в нем чуеться весьма небезынттересная канва. Я даже думаю, что тут, именно тут и таится зерно той заправской русской драмы, которой дондесь никак не могла выродить из себя русская жизнь... Итак, настоящая, захватывающая дух драма найдена!

Но кто же воспроизведет ее? и когда?

#### ОТГОЛОСКИ

I. ДЕНЬ ПРОШЕЛ – И СЛАВА БОГУ!

Это было утром; я сидел за чаем и читал только что принесенную газету. Ужас, что там было: мужчинам режут носы, уши, живых сжигают, сажают на кол, женщин насилюют и стадами продают в гаремы, детей бросают вверх и принимают на штыки... Это в газетах так, а какова должна быть действительность! Каково тут быть,

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru видеть! Представьте только себе, летит с высоты ребенок и падает на подставленные штыки...

Я закрыл глаза – как будто это ужасное зрелище, произошло передо мной въяве. Я видел этого ребенка, я чувствовал себя отцом его. Все внутренности во мне жгло и рвало. Мой ребенок... в моих глазах... Тот самый, на которого я не знал, как налюбоваться, не знал, как его приголубить... он!! Тот самый, который, с минуты своего рождения, взял у меня сердце, внутренности – все... Нет! это – безумие! Еще момент – и я готов был метаться. Бессильно, безнадежно, как мечутся люди в предсмертной тоске.

Не знаю, каким образом разрешился бы для меня этот неслыханный кошмар, если бы, к моему облегчению, в эту минуту не раздавался в передней звонок.

Мы, люди культурного слоя, возбуждаемся очень легко. Художественные инстинкты до такой степени в нас развиты и выхолены, что самые чудовищные образы воспроизводятся нами мгновенно и во всех подробностях. Мы поражаемся быстро, сильно и даже искренно, но увы! как-то уж чересчур беззаветно. Как будто не понимаем и не хотим понимать, что и для инстинктов художественности нужно какое-нибудь практическое разрешение. К каким практическим результатам мог бы привести меня мой порыв? – я решительно ничего не могу ответить на этот вопрос. Быть может, у меня заболела бы голова, я был бы вынужден лечь в постель, и затем все прошло бы сном. Быть может, в том же роде исход представила бы мне какая-нибудь другая, чисто внешняя случайность: пришел бы портной примерить платье или «бедная кузина» вытурила бы из квартиры хлопотать об месте для ее мужа... Достоверно известно одно: что подобные порывы не отличаются особой устойчивостью и что как бы ни богата была сила художественной производительности, но она, слава богу, редко кого из культурных людей доводила до коренных решений.

По силе удара звонка я догадался, что пришел друг мой Глумов – и это был действительно он. Покуда он снимал в передней пальто, я уже чувствовал, что мой кошмар мало-помалу тает; тем не менее первым моим движением, при его появлении, было наскочить на него и воскликнуть:

– Ну, на! ну, читай! читай вот... читай!

Но он даже не взглянул прямо, а как-то искоса посмотрел на мои ноги, как будто хотел сказать: эк тебя подмывает! и при этом легонько отвел меня от себя рукой.

– Читал, – ответил он сквозь зубы.

– Ну, и что ж?

– Читал, – вот и все, – повторил он с возрастающе загадочностью.

Но для меня этого было недостаточно. Хотя художественная картина № 1-й, изображавшая обугленных людей и детей, принимаемых на штыки, уже в значительной мере побледнела, но при виде Глумова, с его загадочностью, нервы мои вновь поднялись, и новый мотив вдруг переполнил все мое существо. Сейчас же вынырнула художественная картина № 2-й: позор! позор! позор!

– Но ведь это – позор! – опять наскочил я на Глумова, – пойми наконец: позор! позор! позор!

– А тебе что? – процедил он, бросая на меня косой, почти злобный взгляд.

– Как «что»? Но понимаешь ли... ведь это наконец – ужас! Целый ад там... сатана там... понимаешь ли: сатана!

Я задыхался; картина № 1-й, совсем было исчезнувшая, опять засветилась; сатана, с его немыслимым, искони потухшим взором, так и надвигался на меня из глубины...

– Кому – «ужас», а ты – живи в свое удовольствие! – угрюмо проговорил Глумов, делая рукой нетерпеливое движение.

Ясно, что с его стороны было что-то преднамеренное. Не то чтобы он не интересовался этим, но он не хотел почему-то говорить, и именно со мной не хотел

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) говорить. Картина № 2-й исчезла в свою очередь; на ее месте явилась картина № 3-й с надписью: «Оскорбленное самолюбие».

– Ты это что говоришь?

– Говорю: живи в свое удовольствие!

– Ты это, конечно, затем говоришь, что для меня и такого разрешения достаточно?

– Не для тебя одного, а вообще... Живите, говорю, в свое удовольствие – вот и все!

Я вспыхнул.

– Тут совсем жить нельзя, а он об какой-то жизни в свое удовольствие твердит! – воскликнул я, – нельзя жить, нельзя! Мерзко! противно! подло!

– А коли тебя так мутит, так пошли в «дамский кружок» три целковых – может, и полегчит!

Старинная товарищеская привязанность к Глумову в значительной степени помогает мне выносить его выходки, несмотря на то что по временам они бывают обидны. Но на этот раз поведение его показалось мне даже не обидным, а просто нелепым.

– А знаешь ли, – сказал я, – с твоей стороны, это даже глупо!

– Что же особенно глупого?

– А все, весь твой разговор. Глядишь ты глубокомысленно; слово скажешь – словно рублем подарить хочешь... Ну, сообрази в самом деле: что такое ты сейчас нагородил?

– Изволь, я и другое что-нибудь скажу. Например: познай самого себя!

– Ну-с, дальше-с!

– А дальше: и сообразно с сим распорядись. То есть опять-таки: вынимай три целковых и отправляй их в «дамский кружок»!

Сердце во мне так и кипело. Но меня в особенности поразило, что он двукратно и, конечно, не без намерения указал на «дамский кружок». Как будто бы я...

– Ха-ха! но почему же именно в «дамский кружок»?

– А потому, что ты – художник, ну, а там дамочки... Помнишь, как у Толстого в «Анне Карениной»: дамочки, бутылочки, рюмочки...

И он точно так же вкусно потянул в себя воздух, как и Стива (в «Анне Карениной»), проснувшись на другой день после грехопадения.

– А ведь ты, Глумов, и сам... художник! – не удержался, сказал я.

– Знаю.

– И что ж?

– Я и себе давным-давно сказал: познай самого себя, то есть неси три целковых, и понимай, что это – единственный подвиг, который довлеет тебе.

– Но ведь это – срам!

– Срам и есть.

– И ничего дальше?

– Дальше опять то же: отправивши, куда следует, три целковых – живи в свое удовольствие!

Обида была несколько смягчена. Своим признанием Глумов ставил себя на один

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru уровень со мною – это все-таки был уже выигрыш... Но я не удовольствовался смирением, косвенно высказанным Глумовым, и продолжал:

– Однако неужто ты и в самом деле считаешь... ну, например, хотя меня или себя... неужто мы не способны ни на какую другую жертву, кроме трех целковых?

– Нет, мы и добровольцами можем быть... Хотя... какой же, например, ты доброволец!

Я инстинктивно взглянул на себя в зеркало и должен был убедиться, что, действительно, добровольцем быть не могу. Затем разговор наш как-то круто оборвался. Глумов, тяжело ступая и смотря в землю, ходил по комнате; по временам он что-то напевал, но как-то капризно, своеобразно: то тихо, словно про себя, мурлычит, то вдруг выкатит колено по-протодьяконски и при этом даже кулак покажет. Я молча следовал за ним, словно выжидал, не явится ли на выручку художественная картина № 4-й, вместо исчезнувших трех.

И действительно, вдруг словно облако остановилось у меня перед глазами. Сначала оно было темное, тусклое, но по мере того, как я в него вглядывался, оно постепенно бледнело, таяло и наконец сделалось совсем прозрачным. И вот – картина!

– А помнишь ли, Глумов, самарский голод? – спросил я, причем начало вопроса вышло у меня как-то нерешительно, но зато конец звучал уже почти восторженно.

– Помню.

– Что ж, и тогда... разве и тогда ты относился к народному бедствию с таким же безучастием, можно даже сказать, бессердечием, как относишься теперь к страданиям наших собратий по крови?

Глумов как-то гадливо сморщился при этом вопросе; ему показалась до крайности назойливой моя претензия во что бы то ни стало запустить ему иглу в живое мясо.

– Надоел ты, – начал было он, но, впрочем, сдержался и продолжал: – Гм... да... так ты о самарцах спрашиваешь? Что ж! я и тогда говорил: живи в свое удовольствие!

– Но ведь это безнравственно!

– Разумеется, безнравственно.

– Как же это, однако ж! Ты говоришь: «безнравственно», и в то же время сам...

– Это я тебе частным образом говорю: безнравственно. Может быть, что я даже и признаю это... тоже частным образом. Но ведь из моего личного сознания шубы не сошьешь, если оно никаких обязанностей на меня не налагает, – вот что!

– Как так?

– Не хотелось мне об этом говорить, да и шел я к тебе совсем не с тем... Ну, да уж если ты настаиваешь, – давай, будем разговаривать. Только поскорей. Вот, изволишь ли видеть, правильно ли, нет ли, а я думаю так: покуда шкура на мне толста и прочна (может быть, она и не так уж прочна, как я полагаю, да ведь поди-ка убеди меня в противном!) – до тех пор я все буду сидеть в ней, словно в крепости. Сидеть и приговаривать: живи в свое удовольствие!

– Но ведь есть же сознание безнравственности, бесчестности такого сидения в собственной шкуре! Что же ты с этим сознанием-то сделаешь?

– Посмакую это сознание, может быть, даже умилюсь над ним. А матерью всех моих сознаний все-таки останется сознание толстоты собственной шкуры. Пока оно сидит во мне прочно – все прочие сознания или стушуются перед ним, или явятся в виде предмета умственной гастрономии. Начитавшись газет или книжек, я, смотря по обстоятельствам, или умилюсь, или вознегодую, но в конце концов все-таки скажу: а ведь хорошо, что шкура-то у меня толста!

– Воля твоя, а это – паскудство! совесть ведь вопиет! стыд!

– Бестолковый ты человек! Говорю тебе, что я лично, коли хочешь, уж давным-давно

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) со стыда пропадая, да толку-то в этом нет! Не в том дело, что я стыжусь, а в том, что эта способность стыдиться есть мое личное, ни до кого не относящееся качество! Я стыжусь – хорошо! но если бы я не стыдился – от этого я был бы только цветнее и крупчатее. Самарцы голодали – эка штука! ведь отголодали же как-нибудь! Так точно и теперь с болгарами, сербами и прочее. Когда же нибудь и как-нибудь и эта кончится, а я между тем буду жить в свое удовольствие!

– Что ж это за рецепт такой: живи в свое удовольствие?

– Ну, жри! Надоест жрать – пей! Надоест пить – дамочки есть!

– Хорошо, коли кто вместить такую доктрину может! А другого, пожалуй, и стошнит с нее.

– Небось не стошнит! Вот мы с тобой – художники; стало быть, всякую штуку живьем себе представить можем; да и то, пойдем сейчас к Борелю завтракать, да разве по случаю пищеварения вздохнем об герцеговинцах... А представь себе, у кого и художественности-то этой нет – ведь этакому-то субъекту, будь хоть рассамарцы, хоть разболгаре – во всякое время не жизнь, а масленица.

Картина № 5-й. Просторная комната у Бореля, с накрытым посредине столом. Белоснежная скатерть, фарфор, хрусталь, серебро – все так и блестит. Татары суетятся около закуски; метрдотель глубокомысленно и обстоятельно обсуждает меню; соммелье застыл у дверей, с картой в руках, в выжидающей позе... Все они тут: и Петька, и Сережа, и Левушка, и Володя. Желудки томятся и сладко ноют в ожидании чего-то прелестного. Из соседней комнаты доносятся женские голоса. Там – тоже свои Петька, Сережа, Левушка, Володя... И во всех комнатах одна и та же неизбежная девица Сюзетта... А в кухне, на плите, что-то пыхтит и подрумянивается, а в погребе, из мрака, затканного паутиной, бережно, словно новорожденный младенец, выносятся на божий свет таинственная бутылка... Ах, что-то на дне у нее, у этой бутылки?

Нет, Глумов не прав. Не толста шкура у тех, которые с такой ясностью могут вырабатывать в один момент какие угодно художественные картины! захотят – неистовства турок в Болгарии воспроизведут, захотят – неистовства русских «гарсонов» в ресторане Бореля изобразят!

– Что ж, едем, что ли? – круто прервал Глумов мои сладкие размышления.

– Куда?

– Разумеется, к Борелю. Славяне – славянами, а завтракать надо. Тюрбо, братец, привезли... *saucе portande*[19] – это что ж такое! Наши будут, Левушку Коленцова сегодня поздравляют: верную надежду, говорит, получил.

– Левушка! Куда же? в провинцию? Не может быть!

– Верное слово, хвалится. Говорит: в газетах на днях увидите. Законы, говорит, сочинять буду... хохочет – веселый такой!

Картина № 6-й. Левушка – в Семиозерске; сидит в своем кабинете и обдумывает, какой бы ему закон сочинить. Он весел и здоров. Тело у него крупчатое, щеки розовые, уста алые, подернутые улыбкой, лоб гладкий, плечи жирные, грудь колесом, брюшко круглое, посадка женская, ящичком. Он беспримерно, «до сих пор», счастлив. Счастлив и тем, что местный клуб втрое больше против прежнего посещается, – значит, развивается общественность! и тем, что на углу Дворянской и Московской улиц купец фурсиков открыл новый бакалейный магазин, – значит, развивается промышленность; и тем, что содержатель гостиницы «Синоп» выписал из Москвы хор цыган, – значит, зарождается вкус к изяществу; и тем, что купец Лапотников отлил новый колокол для приходской церкви, – значит, и благочестие не оскудевает. Словом сказать, счастлив.

– Что я им буду писать? – мысленно спрашивает он себя, – зачем?

В его уме пробегают всевозможные: «воспрещается» и «разрешается», но прежде нежели мысль успеет выработать, что именно воспрещается или разрешается, является вопрос: зачем? – и сразу подрывает крепотливые усилия мысли.

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru – Напишу что-нибудь легонькое! – наконец решается он. Перо его с минуту играючи бегаёт по листу бумаги. Выходит:

«Дозволяется, при встречах с начальством, вежливыми и почтительными телодвижениями выразить испытываемое при сем удовольствие».

– «При сем»... гм... что такое: «при сем»?.. – шепчет Левушка, как бы сам удивляясь вылившейся из-под его пера неуклюжей фразе. – Нет, лучше уж я так сделаю: пойду сегодня в клуб и спрошу их: какой, господа, хотите, чтоб я вам закон написал? я с нашим удовольствием... ха-ха!

Левушка с минуту хохочет, сам не подозревая, как он в эту минуту добр и разумен; потом на мгновение задумывается; наконец решительным движением руки схватывает лист, по которому только что играючи резвилась его рука, и разрывает его на мелкие клочки.

– А ведь Левушка... славный! – обратился я к Глумову, очевидно, под впечатлением только что воспроизведенной мною картины.

– Чего лучше! парень – первый сорт! настоящий «правитель»! Идем, что ли?

Говоря по совести, мне очень хотелось идти. Черт возьми! не Зеноны мы, в самом деле, чтобы ради политических каких-то невзгод забывать о требованиях жизни! Славяне! Ведь отголодали же самарцы – и ничего, как с гуся вода! И хлеб, поди, теперь едят, и подати платят! Главное – подати, а прочая вся приложатся! Ну, и тут как-нибудь со славянами... Помаленьку да полегоньку, да с божьею помощью... Пройдет время, – обрезанные носы и уши заживут; на месте живьем обугленных и посаженных на кол поколений народятся другие... Ах, эти поколения! Как ни стараются об их истреблении, а они, словно вино из «неистощимой бутылки», льются да льются на божью ниву: вот, мол, и еще материал для обугливания... орудуйте!

Картина № 7-й. Славяне, умиротворенные, успокоенные, мирно предаются невинным занятиям, под сенью «административной автономии». Веселое солнце желтыми лучами обливает и кипящие млеком и медом села, и возделанные нивы, и тучные стада, и храброго добровольца Живновского, за неимением средств к возвращению на родину застрявшего в Сербии. Живновский остепенился и уже не употребляет очищенной; голова его побелела; лицо, правда, несколько осунулось, но зато смотрит сдержанно, даже почтенно; он скромно сидит в углу хаты и качает на руках сербского ребенка, между тем как красавица сербинка, мать ребенка, вынимает из печки горячие хлебы. «Эх, ущипнул бы я тебя!» – думает Живновский, взглядывая на стройные, словно вычеканенные формы молодой женщины; но так как у него нет под рукой очищенного, которое некогда возбуждало в нем предприимчивость, то он мысленно прибавляет: «Ущипнул бы – да не теперь!! теперь, брат, – ау!» И в довершение картины, где-то вдали (может быть, в Петербурге, на Минерашках) хор господина Славянского отхватывает: «иде домув муй...»

Самое теперь время ехать к Борелю завтракать! Ах, Левушка, Левушка! Каков-то он теперь? Чай, светлый, сияющий, бодрый, весь с ног до головы ликующий! Вот ему только еще пообещали, а уж из всех пор его так и прыщет: хочешь, сейчас устав сочинию! А на лице в это время играет вызванная избытком ликования разuverительная улыбка, которая говорит: что! испугался! ничего, голубчик! это я пошутил! живи... без уставов!

Стало быть, ехать – так ехать. Но, с другой стороны, после тех обид, которыми, ни дай, ни вынеси за что, наградил меня Глумов, мне было как-то неловко уступить так просто: взял шляпу да и поехал. Как у всякого культурного человека, у меня есть самолюбие, которое заставляет меня сначала слегка покобениться, а потом уж ринуться туда, куда зовут меня мои собственные, излюбленные инстинкты.

– Знаешь, брат! – сказал я, – вот я, как за границей был, так мне там говорили: мы вас, казаков, за Волгу оттесним! в Саратов, говорят, туда, где «véritable Astrakhan» [20] выделяют!

– Ну, так что ж?

– Как что! – обидно, душа моя! Признаюсь, немало-таки это отравляло мне мое путешествие! Всем хорошо: и дешево, и удобно, и тепло, а вот как начнут об Саратове да об «véritable Astrakhan» говорить – так вот и закипит все внутри.

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)

– А тебе бы сказать: нам и в Саратове хорошо будет!

– Ну, нет, любезный! это уж – аттанде! Порохом, братец, запахнет, порохом!

Картина № 8-й: сражение под Саратовом...

– Что так? Ведь итальянскую-то оперу и в Саратов переведут; Жюдик – тоже в Саратов придет... Поляков, Варшавский, Кронеберг, Малкиель... Гляди, и Борель с своими татарами живо следом за нами сберется... А икра там какая! При тебе, в твоих глазах, живому осетру брюхо распорют – сливки!

– Ах, Глумов, Глумов! Балагуришь ты, голубчик мой! всего ты балагуришь!

– Известно, балагурю! – а то – что же?

– Знаешь ли ты, однако, что ведь и для балагурства есть мера и что без этого условия балагурство... может раздражать?

– А коли раздражает, так не трогай меня! Не трогай меня... слышишь! Не разговаривай со мной о вещах, которые... тоже раздражают! Баста. Идем к Борелю или нет? Гжели не идешь, так прощай: я отправлюсь один.

Я покорился этому ультиматуму довольно охотно. Повторяю: меня самого уже тяготил затеянный разговор, а в особенности то множество разнообразных художественных картин, которые, по мере его развития, как-то сами собой зарождались в моем воображении.

Когда мы вышли на Невский, Глумов угрюмо шепнул мне:

– Уж сделай ты для меня милость: придержи язык за зубами! Теперь ведь многие около славян-то прохаживаются! Скажешь слово не по шерсти – разорвут!

Невский кипел пешеходами и экипажами. Магазины и рестораны, по обыкновению, весело, лучезарно выглядывали на улицу своими цельными окнами; банкирские конторы поминутно распахивали настежь свои гостеприимные двери, как бы поддразнивая человеческую алчность дешевизною своих продуктов; только книжные лавки смотрели уныло, почти выморочно: очевидно, что публика, обрадованная, что славянский вопрос освобождает ее от обязанности читать что-либо, кроме газет, позабыла даже дорогу к ним... Зато у Пассажа целая толпа собралась около газетных разносчиков и требовала газет. Один из газетчиков добродушно выхвалял свой товар:

– Измена фельетониста Тряпичкина описывается... купите, господин!

Мы уже почти достигли цели, то есть Большой Морской, как из ресторана Доминика, словно привидение, вынырнул поручик Живновский и остановился наверху лестницы. Слегка пошатываясь и расставив граблевидные руки, с явным намерением разорвать пополам, он медленно поводил зрачками своих глаз и вдруг уперся ими в меня.

– Га! писатель! либер-ралл! – гаркнул он зычным голосом в упор мне.

Я инстинктивно бросился к извозчику, увлекая за собой и Глумова, но тут нас ожидало такое зрелище, к которому мы уж совсем не были приготовлены. На пути нашего отступления бесшумно скользило по тротуару что-то ослизлое, студенистое, разлагающееся, но все еще живое. То был Булгарин! В руках его дрожал листок газеты, который он, очевидно, торопился положить на могилу Шешковского вместо цветов. Смесь запаха живого извещения с запахом извещения, задохшегося в могиле, шла за ним по пятам и заражала атмосферу...

– Пришел порадоваться на потомков своих! – донесся до моих ушей таинственный шепот...

Насилу мы уехали.

– Вот, – говорил мне дорогой Глумов, – ты, грешным делом, статейки в журналах пописываешь; так я и в этом отношении хотел тебя предупредить: помалчивай, друг! Спокойнее!

– Помилуй, душа моя! ведь я же сочувствую!

– Сочувствуешь–то ты сочувствуешь, даже сны наяву видишь – знаю я это! Да время нехорошо для печатного изображения чувств. Одно слово переложил, другого не доложил – сейчас: измена! Старые–то литературные предания и без того не в авантаже обретались, а нынче, ввиду несомненного заполучения подписчика, да ежели при сем и продажа распивочно и навынос успешно идет... Так уж ты сделай милость, голубчик, поостерегись!

У Бореля все обстояло так, как я уже заранее нарисовал в картине № 5–й. Посредине просторной комнаты был накрыт стол: белоснежная скатерть, фарфор, хрусталь, серебро – все блестело. Татары во фраках шныряли взад и вперед, принося и расставляя всевозможные водки и закуски; метрдотель почтительно, но с достоинством принимал из уст самого Левушки заказ; соммелье, с картою вин в руках, выжидал своей очереди. Сережа Преженцов, Володя Культяпкин и Петька Долгоухов, в ожидании земных благ, расхаживали взад и вперед и весело делились друг с другом впечатлениями, в которых покамест не было ничего «славянского».

Нас приняли с распростертыми объятиями; даже Левушка поспешил с последними приказаниями насчет меню, чтоб приветствовать нас.

– Читал? – обратился он ко мне, – ах, меггзавцы! (Левушка слегка грессейировал, что очень к нему шло.)

Меня так и ожгло. Я не знаю, поймет ли меня читатель, но мне показалось, что неожиданно распахнулись двери дома терпимости и вынеслось оттуда слово, о котором там совсем и в помине не должно бы быть. Давно ли я говорил, в сущности, то же самое, что сейчас сказал Коленцов, и негодовал на Глумова за то, что он встал ко мне по этому поводу в учительные отношения, – и вот не прошло и часа, как я уже и сам был готов разыграть ту же нелепо–учительную роль. Да, неслыханные вещи творятся на белом свете, говорил я себе, но какое же до всего этого дело Левушке? Зачем он оторвался от соммелье... чтоб произнести слово «меггзавцы»? Ах, это слово!

– Да, да, – поспешил я вильнуть в кусты, – так что же мы будем есть?

– Все уж условлено и заказано. Но скажи: ведь ты читал? не правда ли, какие меггзавцы? *N'est-ce pas?*[21]

Вопрос был поставлен двукратно, и не было никакого ручательства, что он не будет предложен и в третий раз. К счастью, Глумов выручил меня.

– Мерзавцы, – сказал он кротко.

– Этот ребенок... *parole d'honneur, j'en ai rêvé toute la nuit!*[22] и эти штыки... Этот «штык–молодец», *comme le disait le grand Souvoroff...*[23] употребляемый – для чего? *Les coquins!*[24]

Все сгруппировались вокруг Коленцова, и все искренно заявляли о своем сочувствии. Даже Петька Долгоухов, малый отнюдь не сентиментальный, и тот нервно вздрагивал, искоса, впрочем, поглядывая на жирную, совсем оранжевую семгу, пластом лежавшую на металлическом блюде.

– Ну, а теперь можно, кажется, поздравить тебя?.. – начал было я.

– Благодарю тебя, но позволь еще одну минуту. Господа! прежде нежели приступить к нашему дружескому завтраку, ознаменуемте эту торжественную минуту добрым... патриотическим делом!

Левушка взял тарелку и обошел с нею присутствующих, говоря:

– Во имя братьев! Пусть каждый даст, что может! А потом мы отошлем нашу посильную лепту... в «дамский кружок»!

Все руки разом заторопились, и через мгновение на тарелке лежало пять зелененьких. Петька Долгоухов (шестая зелененькая) обратился к одному из татар и сказал:

– Поди за буфет, вели записать на меня три целковых и принеси сюда!

Затем Левушка вложил собранные деньги в конверт, сделал надпись: «от счастливых, за бокалом вина» – и отправил по принадлежности.

– А теперь, господа, приступим! – весело сказал он, – не знаю, как вам, а у меня как-то теплее, покойнее на сердце становится, когда я сознаю, что выполнил долг. А ведь это – священный долг... это наш долг, господа! N'est-ce pas?[25]

– Еще бы! *à qui le dis-tu?*[26] – раздалось со всех сторон.

– Собственно говоря, это даже – не долг, а душевное дело... Это, так сказать, – наша подоплека!

– Браво! – вырвалось у Глумова.

– Браво, браво! – захлопали в ладоши остальные.

– Ну-с, так приступим. Завтрак я заказал умеренный; вина тоже не много будет – предупреждаю вас. Я нахожу, что бывают обстоятельства, при которых умеренность становится обязательной. А чтоб испытать вас, я даже не открою вам содержание моего меню. Будем довольны, чем бог послал!

Как истинные герои, мы поспешили согласиться. Один Долгоухов казался огорченным. В качестве истинного *rique-assiette'a*[27] он любил не только сладко поесть, но и заранее предрасположить себя к предстоящим вкушениям.

Тем не менее завтрак удался как нельзя больше. Было шумно и весело. Поздравляли Левушку, подшучивали над Долгоуховым, сочиняли циркуляры. Один декламировал «указ о печении пирогов»; другой импровизировал «правила о переводе в разряд полезных животных тех из волков, кои добрыми нравами и примерным поведением признаны будут заслуживающими сего отличия». Каждая импровизация сопровождалась громкими «браво!» и обращениями к Левушке, который сквозь зубы ворчал: «Шуты!» и в то же время благосклонно улыбался. Словом сказать, все очутились в обычной атмосфере, из которой никто и никогда не чувствовал ни малейшей потребности выходить. Как вдруг дверь дома терпимости распахнулась опять.

– Да, господа, я оставляю вас... оставляю! – сказал Левушка, обращаясь к нам, – в принципе, мой отъезд в Семиозерск уже решен. Надежды, которые вы все возлагаете на меня – я уверен, что оправдаю их. Я – ваш товарищ, и это одно налагает на меня святые обязанности. Я буду тверд, но без непреклонности; буду снисходителен, но без потворства. Преступных страстей – не потерплю! Но не скрою от вас, как не скрываю и от самого себя, что предстоящая мне задача, и без того трудная, в значительной степени усложняется современным политическим положением. Эти славяне, с обрезаемыми носами и ушами, эти обугленные трупы сожженных живьем людей, наконец этот ребенок, которого сначала бросают вверх и потом принимают на штыки, – все это не выходит у меня из головы и, конечно, войдет в программу моих будущих действий. Надо положить предел этому. Господа! я предлагаю тост за освобождение славян!! и не только на Балканском полуострове, но и... Я никого не называю по имени, но каждый из вас, конечно, уже назвал страну, которая в годину наших испытаний удивила мир своею неблагодарностью!

Этот тонкий намек на коварную Австрию привел нас в восторг. С криками «ура!», «живио!» мы бросились обнимать Левушку, который, и с своей стороны, весь сиял восторгом и решимостью.

– А теперь, господа, выпьем за здоровье княгини Наталии! – как нельзя более кстати воскликнул Сережа Преженцов.

– Королевы, *mon cher*, [28] королевы! В глазах дипломатии она – княгиня, но в наших в «русских» глазах – королева! – наставительно поправил Левушка.

Выпили за королеву Наталию, но не забыли и княгиню Милену. Потом вынули еще по три целковых, вложили в конверт, с надписью: от счастливых, за третьей здравицей, и опять послали в «дамский кружок».

Здравницы следовали за здравицами, так что под конец произошло уже нечто вроде

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru пронунасиаменто. Милана сменили и на место его провозгласили генерала Черняева королем Сербии и соединенной с ней Болгарии. Генералу Новоселову приискали местечко в Боснии. Герцеговину присоединили к Черногории, «гирла» оставили за собой; княгине Наталии, яко «дамочке», назначили пенсию в миллион дукатов. Наконец, в половине четвертого, под мотив долетавшей из соседнего кабинета (где тоже, вероятно, происходило своего рода пронунасиаменто) песенки:

A Provins,  
Trou-la-la,  
L'on recolte roses  
Et du jasmin,  
Trou-la-la,  
Et beaucoup d'autres choses...[29] –  
вышли на улицу и разбрелись в разные стороны.

– Кто бы подумал, – сказал Глумов, усаживаясь вместе со мною в извозчицьи сани, – что в этом паскудном трактире сейчас произошло великое таинство проявления русско-культурного патриотизма.

Я ничего не ответил на эту выходку и, говоря по совести, даже не совсем сознавал, что происходило во мне. Одно только было для меня вполне ясно: что Глумов стесняет меня! Гадливость, которую я часа полтора тому назад ощутил при слове «мерзавцы», вылетевшем из уст Левушки Коленцова, именно была плодом моей утренней беседы с этим человеком. Не будь его, я легко и свободно отдался бы веселым впечатлениям товарищеской беседы и изящно сервированного завтрака, а в то же время не упустил бы и поскорбеть. Между прочим вздохнул бы о славянах, между прочим выпил бы за здоровье королевы Наталии, между прочим вынул бы из кармана три целковых и с удовольствием увидел бы, что они отосланы.. в «дамский кружок». Но мысль, что Глумов все это провидел заранее и даже снабдил не совсем лестными комментариями, заставляла меня ощущать некоторую неловкость. В самом деле, эти три целковых.. Неужели, думалось мне, русская культура не выработала из себя никакого жизненного факта, кроме бесшабашного гвалта, на дне которого лежат три целковых, никакого жизненного требования, кроме дикой потребности пользоваться всяким удобным случаем, чтоб кому-то зажать рот, перервать горло, согнуть в бараний рог?

Я гнал эту мысль от себя, потому что она положительно мне мешала. Я говорил себе: если даже все это и правда, то для чего мне эта правда, ежели я не могу изменить в ней ни одной йоты? Мы так беспомощны, так безнадежны, что сознание правды не вперед нас толкает, а заставляет только опускать руки. Покуда мы бесшабашны, хоть наши целковые играют какую-то роль, а отнимите у нас это качество – что останется? Останется бесцельное шатание по белу свету, останется скука, апатия и блудливые погони за каким-то несознанным делом, которое, дразня нас в перспективе – на практике самым обидным образом оставляет на бобах.

Да наконец и сам Глумов – лучше ли он других? Надевать на себя маску ментора, подсмеиваться над бесшабашностью русской культуры, указывать на три целковых, как на единственный ясный результат общекультурного возбуждения, и в то же время самому по уши погрязать в той же бесшабашности и, хихикая исподтишка, вынимать такие же три целковых для отправления в «дамский кружок» – разве это тоже не своего рода русско-культурная черта? О, Глумов, с каким презрением ты говорил давеча: «Жри, а не хочешь жрать – пей!» – и с каким наслаждением ты выполнил эту программу, вслед за тем, на практике. Да, и ты не больше, как продукт той же культуры! и даже не простой, а сугубый продукт! И ты – раб с головы до ног, раб, выполняющий свое рабское дело с безупречной исправностью и в то же время старающийся, с помощью целой системы показываемых в кармане кукишей, обратить свое рабство в шутку!

Мне большого труда стоило, чтоб воздержаться и не бросить этих соображений в лицо Глумову. Однако я понял, что всякий дальнейший разговор на тему о современном общественном возбуждении был бы праздным переливанием из пустого в порожнее. Тут чувствовалась какая-то путаница, в которой в одно и то же время сквозила и насмешка над тремя целковыми, и косвенное поощрение нести их в общую кассу. В чем же, однако ж, тут дело? Ежели только в том, чтоб, вынимая свою зелененькую, не кричать, не галдеть, а сохранять чувство собственного достоинства, так ведь это – задача далеко не лестная да и не легкая, господ! Помилуйте! я – живой человек, я хочу, я чувствую потребность шуметь и кричать! Я столько времени молчал и столько горького, почти свирепого, накопилось внутри

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) меня за время этой молчанки, что я с жадностью цепляюсь за первый попавшийся повод, чтоб облегчить свою грудь. И ежели у меня нет личного дела, по случаю которого я мог бы свободно поведать миру о своей живучести, то я хватаюсь за дело чужое, чтоб хоть на время, хотя в своих собственных глазах, восстановить свое право на жизненную отзывчивость!

– Куда же мы едем? – обратился я наконец к Глумову.

– А кто ж его знает? Куда-нибудь! Не заехать ли, например, к Поликсене Ивановне? там бы кстати и отобедали! Извозчик! в Разъезжую!

Поликсена Ивановна – очень добрая и милая особа, у которой я бываю довольно часто. Муж ее, Павел Ермолаич Положилов, наш общий товарищ по школе, считался в молодости передовым и крайним, и в свое время даже потерпел за свои мнения. Потерпел он не особенно много, но испугался настолько, что и донныне вздрагивает и оглядывается, когда в его присутствии произносится какая-нибудь резкость. С тех пор он женился и повел жизнь совершенно уединенную, как будто на совесть его легло нечто такое, что мешает открытому общению с людьми. В настоящее время он занимает довольно солидное место в одном из министерств и души не чаёт в Поликсене Ивановне, которая, с своей стороны, инстинктом преданного женского сердца поняла, что Павлу Ермолаичу ничего не требуется, кроме покоя, и сообразно с этим устроила для него домашнюю обстановку. Обстановка эта – строго старозаветная. Утром Павел Ермолаич уезжает в департамент, а Поликсена Ивановна сидит дома и заботится, чтоб Павлу Ермолаичу, по возвращении из департамента, было хорошо. По вечерам оба сидят дома, любят на детей, в гости совсем не выезжают, но всегда очень рады, когда кто-нибудь из ограниченного числа друзей посетит их. Даже квартира у них старозаветная: в каменном доме с толстейшими стенами, без швейцара, с крашеными полами вместо паркета. Кроме казенного жалованья, составляющего фундамент, на котором зиждется благосостояние семьи (у Положиловых шесть человек детей), у Павла Ермолаича есть еще усадьбица в Лугском уезде. Туда семья укрывается на лето и оттуда получает на зиму запасы, в виде живности, отварных рыжиков и всевозможных сортов варений. Эта скромная деревенская субсидия помогает Положиловым жить настолько гостеприимно, что за столом их никогда не бывает недостатка в лишнем куске для приятеля. Вообще, несмотря на явный диссонанс с общим тоном петербургской жизни, дом Положиловых был бы очень приятен, если бы в нем на каждом шагу (особливо в присутствии Павла Ермолаича) не чувствовалась боязнь сказать лишнее слово, которое должно об чем-то напомнить и нечто разбередить. На этом основании никаких «резкостей» на дружеских беседах не допускается, а ежели таковые и прорываются случайно, то Поликсена Ивановна с изумительным мастерством умеет их сглаживать и заминать. Разговоры ведутся чинно, смиренно, держась по преимуществу около фактов, допуская «справедливую критику» их, но не вдаваясь ни в утопии, ни в радикализм. Тем не менее уже и то одно производит хорошее впечатление, что никто в этом доме не грозит очами воображаемым внутренним врагам, не предается дешевому глумлению «над стриженными девками» и не кричит, что авторитеты попрыганы и собственность потрясена.

– А в газетах-то... ужаси! – были первые слова Поликсены Ивановны после краткого взаимного приветствия.

– Вот и он тоже... тревожится! – с легкой иронией цыркнул Глумов, указывая на меня.

– Да как же не тревожиться! Ведь читаешь – даже кровь холодеет! Павел Ермолаич чуть давеча болен не сделался – так это его расстроило!

– Пользы мало от этих тревог, Поликсена Ивановна!

– Какая польза – ведь это природное! Польза пользой, а и чувство тоже девать некуда. Для пользы Павел Ермолаич два процента из жалованья жертвует, а кроме того, и чувствует. Неужто же, по-вашему, не так выходит?

– Не знаю, Поликсена Ивановна. Все так спуталось, что иногда даже самому себе отчет хочешь дать – и ничего не выходит. Чувствуешь, что нужно бы слово какое-то сказать, пробуешь его вымолвить – и не вымолвишь!

– А по-моему, так совсем ничего не спуталось. Помогать надо – вот и все. Гляди на прочих, и мы у себя кружку завели, не официально, а так... Может быть, кто из

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) знакомых и пожелает... по силе возможности.

Это было косвенное приглашение к пожертвованию, на которое мы и поспешили, конечно, ответить.

– Вот видите, – продолжала Поликсена Ивановна, – вы положили, другой, третий положит – смотришь, а в результате и помощь будет. Что же тут такого... спутанного?

– В этом-то, разумеется, ничего спутанного нет. А Павел Ермолаич где? по обыкновению, в департаменте?

– Да, уехал. Генерал ихний из-за границы воротился, так представиться поехал. Да вы не отлынивайте! скажите: в чем, по-вашему, путаница?

– Да начать хоть с того, что никто не знает, из-за чего он хлопочет.

– Ах, боже мой! да просто из-за того, чтоб помочь!

– То есть сотворить милостыню? а дальше что?

– И дальше – то же. Неужто это худо?

– Что худого! Вот я давеча утром к нему пришел – тоже чуть не в слезах застал... И с первого же слова посоветовал: вынимай, говорю, три целковых, посылай в «дамский кружок», – все болести как рукою снимет!

Поликсена Ивановна недоумело взглянула на своего собеседника. Не любила она глумовских подтруниваний, боялась, как бы они не напомнили чего Павлу Ермолаичу, не «расстроили» его.

– Не понимаю я что-то, – сказала она несколько сухо, – да и вообще... не понимаю! Вот Павел Ермолаич – тот иногда любит эти иносказания, особенно когда ему по службе свободно... А по мне...

– А по-вашему, так Глумов хоть бы и совсем уволил ваш дом от посещений? так, что ли?

– Нет, не то... какой вы, однако ж, занозистый! всякое слово ребром ставите... Не понимаю я, именно не понимаю! Не то вы смеетесь, не то правду хотите сказать!

– Это у него манера такая выработалась... езоповская, – отозвался я, – он статейки инкогнито в журналах тискает, так все цензуру объехать хочет!

– Да, так вот как! А нуте-ка серьезно: скажите-ка, что же делать-то нам?

– То самое и делайте, что делаете. Вот Павел Ермолаич два процента из жалованья жертвует; вы – кружку завели, в которую тоже, поди, процентик-другой из столовых денег откладываете. Отлично. Ведь и я, с час тому назад, вместе с прочими, своих кровных две зелененьких на блюде положил. Тоже от других не отстанем.

– Нет, это – не то. Не то вы говорите, что думаете. Вот и Павел Ермолаич, когда я ему о своем намерении завести кружку открылась: ничего, говорит, займись! я сам два процента из жалованья жертвовать буду! И так-то ласково да мило, по наружности, сказал, а как вдумаешься, так настоящая-то у него мысль такая: забавляйся, мол, коли это тебе удовольствие может доставить!

– У Павла Ермолаича с Глумовым насчет этого «идеи» особенные есть, – попытался я уязвить.

– А ты думаешь, что так, без идей, – с одними художественными инстинктами лучше? – огрызнулся на меня Глумов.

– Нет, я не насчет идей, – вступилась Поликсена Ивановна, – идеи – что же! Это даже хорошо! Резкостей допускать не надо – это вот действительно... Но опять и то сказать: не всякий их понимает... идеи-то эти, а помочь между тем хочется. Сколько на свете маленьких людей есть, у которых просто, без идей, сердце болит – так неужто ж вся их роль в том только и состоять должна, чтоб сложа руки сидеть или

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru  
фыркать?

Поликсена Ивановна умилилась. В ней, действительно, было это естественное предрасположение к сердечной боли, о которой она сейчас упомянула и которая в некоторых личностях является чертой настолько характеристичною, что составляет содержание всего их существования. Объяснять причины, обуславливающие эту боль, стараться отыскивать, сколько в ней есть сознательности или бессознательности, – было бы совершенно напрасно. Довольно и того, что она существует вполне ясно и несомненно и что, исходя из нее одной и ею одной сильный, человек, сознательно или бессознательно, находит в себе энергию практически отзываться на все жизненные явления, в незримой глубине которых лежит недуг или немощь. Очень часто эта своеобразная сила достигает далеко не тех результатов, которые были в ее намерениях, а еще чаще растрачивается совсем задаром, но, во всяком случае, она – потому уже благо, что ввиду ее обыкновенное культурное фырканье представляется чем-то мизерным, почти непозволительным.

– А ведь, по-вашему, это почти что так выходит, – кончила Поликсена Ивановна, обращаясь к Глумову.

– Нет, не так.

– А то как же? Смеетесь вы над простотой, явное дело, смеетесь!

– Смех, это – форма, а в сущности, я вникнуть прошу. Хорошо и благородно – болеть сердцем, как вы болеете, да ведь и способность рассуждать не бог знает как провинилась, чтоб ее в ссылку ссылать. Не станете же вы, подобно вашему духовнику, отцу Арсению, утверждать: чувство – первое всего, а ум, яко слуга, и на запятках постоять может!

– Это вы насчет «идей», что ли? зачем их в ссылку ссылать – божьи ведь и они! Только не ко двору они у нас – это я верное слово говорю. Не бодрость они придают, а еще пуще в уныние вводят. Пример-то у меня на глазах: нет-нет да и заскучает мой Павел Ермолаич. Нелюбо с идеями-то в департамент ходить, а приходится.

– Приходится – вот это так, это правильно вы сказали. Я и сам нынче этой веры стал, хоть все еще от старой привычки отделаться не могу. Не от практики старой, которой у нас не бывало, а от лучей-то этих, которые смолоду, еще со школьной скамьи, бог весть откуда заползли в голову. Хоть и не так уж спят эти лучи, как в былые годы, а все-таки нет-нет да и приведут в изумление. Идешь иногда, даже ходко идешь, в то самое место, «куда приходится», и вдруг словно скосит тебя. По какому, мол, человеку, случаю ты в путь-дорогу собрался? с чем собрался? Скажите, что я ответить на эти вопросы могу?

– Собрался – потому что сердечное влечение есть; с чем собрался? – с чем бог послал!

– Поэзия это, Поликсена Ивановна! А вы мне лучше вот что скажите: почему у нас всякое бедствие словно шабаш какой-то в российских сердцах производит? Вся мразь, все отпетое вдруг оживает и, пользуясь сим случаем, принимается старые счета сводить. Об здравом смысле, о свободе суждения – нет и в помине. На всех языках – угроза, во всех взглядах – намерение горло перекусить. Вон давеча поручик Живновский встретился, так и тот, чего уж отпетее: «Писат-тель! кричит, либерра-ал!» Булгарин из гроба встал: на потомков, говорит, полюбоваться пришел! Как вы полагаете: не позорно при этом «воскресении мертвых» присутствовать?

– Да не преувеличиваете ли вы?

– Не только не преувеличиваю, а говорю прямо: всякое бедствие застает наши лучшие силы врасплох и делается поводом для возбуждения каких-то непонятных старых счетов. И что всего ужаснее: люди вполне хорошие до того теряются при этом, что сами себя головой выдать готовы. Иной прямо говорит: виноваты! другой – подлейшим образом вторит в тон господам ташкентцам или хоронится. Вот вы, и ничего не видя (сидите вы в Разъезжей, за семью замками, и видеть-то ничего вам нельзя), сердцем болеете, а кабы вы настоящую-то вакханалию видели – так ли бы у вас оно заболело! Да-с, не вымерли еще господа ташкентцы и долго не вымрут! Если мне не верите – у Павла Ермолаича спросите: он подтвердит!

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) Поликсена Ивановна ничего не сказала на это. При ссылке на Павла Ермолаича она как-то съежилась и даже слегка побледнела. Вероятно, не в первый раз ей приходилось эти речи выслушивать: недаром же она упомянула, что нелюбо с «идеями» в департамент ходить. Как ни скромнен Павел Ермолаич, а невозможно, чтоб он не проговорился.

– Вот вы давеча сказали: резкостей допускать не надо, – продолжал Глумов, не унимаясь, – а ведь в переводе на обыкновенный язык это значит: держи язык за зубами! За что же, помилуйте! За что я должен вечно смотреть на себя, как на...

– Ах, оставьте это... не говорите! – не выдержала, наконец, Поликсена Ивановна.

На этом разговор оборвался. Очень вероятно, нам пришлось бы безвременно покинуть мирный приют в Разъезжей улице, если бы в эту минуту не раздался звонок, возвещавший появление хозяина.

– Это – Павла Ермолаича звонок, – шепнула Поликсена Ивановна, – пожалуйста! прошу вас! не возобновляйте этого разговора при нем!

Вопреки обыкновению, Павел Ермолаич предстал перед нами ясный и лучезарный. Лицо его, выбритое до зеркальности, сияло удовольствием; глаза блестели; даже в ямочке, украшавшей его бороду, замечалась радостная игра.

– Сегодня у нас, по случаю приема, заседание кончилось раньше обыкновенного, – сказал он, целуя Поликсену Ивановну и затем подавая нам руки.

– Ну что, принял? – спросила Поликсена Ивановна, которая, видя сияние на лице мужа, тоже воссияла.

– Принял.

– Здоров?

– Совершенно.

– Расспрашивал?

– И расспрашивал.

– Ах, какой ты! ты сядь, расскажи, как и что... по порядку.

– Ну, вот, собрались мы, ждем... Так я стою, так Петр Иваныч, а так Николай Павлыч... – начал Павел Ермолаич свое повествование, но начало это, видимо, не удовлетворило Поликсену Ивановну.

– Ты все шутишь, – сказала она, – а ведь мне интересно! Впрочем, я уж и тем довольна, что ты-то весел!

– Чего «шутишь»? Знаю я, что тебе хочется! хочется, чтоб я сказал, что генерал меня поцеловал – так не могу солгать: не поцеловал! Вот Николай Павлович – тот, после общего представления, особенно в кабинет ходил и весь оттуда в слезах вышел: поцеловал, говорит! А курьер сказывает: нахлобучку задал!

Через полчаса мы сидели за обедом. Поликсена Ивановна, окруженная всех возрастов малолетками, – на одном конце, мы по обе стороны хозяина – на другом. Павел Ермолаич сначала новости из служебной сферы рассказывал; но так как и они в настоящую минуту вертелись по преимуществу около славянского движения, то весьма естественно, что последнее не замедлило сделаться главной темой разговора.

– И у нас что-то затевается, – сказал Положиллов.

– А что?

– Есть что-то. Сегодня на приеме его превосходительство... не то чтоб прямо, а стороной... Сначала об делах говорил, а в заключение и дал понять, что русское воинство всегда было победоносно, а потому и впредь ожидать следует...

– И мне тоже сдается, – отозвался Глумов, – вчера ко мне совсем неожиданно с

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) «нашей стороны» Иван Парамоныч пожаловал – купец такой есть, сапожным товаром торгует – наведаться, значит, в Петербург приехал. А это – верный признак, потому что у этих шакалов насчет «кровопролитиев» особенное чутье есть. Разузнавать я от него ничего не разузнавал, а стороной, грешный человек, поддразнил: а что, говорю, Иван Парамоныч, кабы тебе поставку сапогов для армии и флотов предоставили, угобзил бы ты, чай, солдатиков? Так у него даже нутро заколыхалось в ответ: вот как перед истинным! говорит.

– Да, теперь ихний черед наступил! только вот что неладно: покуда эти Парамонычи, вкупе с Шмулями да с Лейбами, армии и флоты угобжают, а ты сиди да смотри на них!

– Что так? разве строгие времена пришли?

– Да не без того... Не всяко касаться можно, особливо ежели в связи-с...

Положилов случайно взглянул на Поликсену Ивановну и прочитал в ее глазах неодобрение.

– А впрочем, не наше это дело, – сказал он. – Поликсена Ивановна это лучше знает – вон как грозно на меня посмотрела.

– Совсем не грозно, говори, коли хочешь! А вообще я... Сверху виднее, мой друг! а мы – что мы можем в таких делах видеть?

– Разумеется, разумеется! с нас и наших личных маленьких дел довольно! Вот, например, солонину мы едим – это я могу... Ишь она, солонина какая – масло!

– Да, брат, это... со-лло-ни-на! – восторженно отозвался Глумов. – А он вот обижается, что за границей, за табльдотами, немцы болтают: вас, мол, казаков, за Волгу надо, в Саратов! А по мне – так и в Саратове солонина от нас не уйдет!

– А насчет икры так даже лучше!

– Ах, господа, господа! – укоризненно промолвила Поликсена Ивановна, покачивая головой.

– Ну, баста! Не наше дело. А для того чтоб уж совсем все в порядке было, чтоб даже разговаривать некогда было – знаете, господа, что мы сделаем? Засядемте-ка после обеда в сибирку с болваном!

– И отлично!

– Я нынче все в сибирку упражняюсь. Ни для ума, ни для сердца – ничего! А между тем алчность является – смотришь, время-то и без внутренних вопросов летит!

Так мы и сделали. С шести часов до одиннадцати проиграли в сибирку, причем Положилов обоих нас обыграл на три рубля (и не удивительно, потому что подле него, для счастья, с левой стороны сидела Поликсена Ивановна) и сейчас же положил их в копилку, в «пользу страждущих братьев». Затем подали закусить опять ту же солонину, но уже холодную, причем Положилов совершенно основательно заметил, что этот кусок – от огузка, а потому в холодном виде много теряет, а вот край или филей, так тот в холодном виде, пожалуй, даже лучше, нежели в горячем. Поликсена же Ивановна, с своей стороны, присовокупила, что, когда она с маменькой в Вятке жила (отец ее на службе там был), так там учили в кадочку солонины языков говяжьих с пяток припустить – вот это так солонина бывает!

В первом часу ночи мы вышли от Положиловых. Дорогой я начал припоминать проведенный день, и – клянусь – мне сделалось стыдно.

– Как странно, однако ж, мы проводим наши дни! – сказал я, обращаясь к Глумову.

– Что же тут странного?

– Помилуй! утро в кабаке провели, вечер – в сибирку играли, об солонине разговаривали... ведь это, наконец, неприлично!

– А по-моему, так мы именно самым приличным образом по-русски время провели.

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru  
Наелись, напились, наигрались – чего больше! А теперь вот придем домой, ляжем спать и скажем себе: день прошел – и слава богу!

## II. НА ДОСУГЕ

### I

Наконец тучи скопились. В обычное течение жизни врывается несомненно чуждый элемент, который заметным образом спутывает и замедляет его; вся деятельность ума и чувства стягивается исключительно к одному предмету, к которому с судорожным напряжением устремлены помыслы всех. Тоскливо до боли. Чувствуется, что эти тревожные минуты не пройдут даром, что они и на дальнейшее существование человека положат неизгладимые отметки. Нет личных утрат, нет личных опасений, ничего такого, что заставляло бы страшиться лично за себя, но есть суеверное предчувствие какой-то громадной угрозы, которую даже не можешь назвать по имени. Точно стоишь перед необъятной ставкой, и эта ставка вот-вот унесет все дорогое, все любезное сердцу – все.

И в то же время слышишь, как кругом раздаются возгласы, ликования. Ликут посетители ресторанов и трактиров, ликуют гранители мостовых, ликуют досужие русские барыни. Газетчики, наперерыв друг перед другом, стараются показать, до каких геркулесовых столбов может дойти всероссийское долгоязычие. Одни ликуют с умыслом, другие сами не понимая, что заставляет их ликовать. Так принято – вот и все. Гуляющий человек убежден, что он выкажет отсутствие патриотизма, ежели не воспользуется случаем, чтоб дать волю долгоязычию.

Я не принадлежу к породе людей ликующих, но понимаю, что в ликовании толпы заключается своего рода обаяние. Когда передо мною мечется и плещет руками толпа, я знаю, что она находится под тяготением могущественного инстинкта, который даст ей силу нечто совершить. Очень возможно, что это – инстинкт неясный и даже неверный, но он может заключать в себе зерно самоотверженности, может развиваться в подвиг, и этого одного достаточно, чтоб не относиться к нему легко. Толпа имеет право даже заблуждаться в своих увлечениях, потому что она же несет на своих плечах и все последствия этих увлечений.

Совсем другое дело – ликование культурное. В культурных сферах источником побуждающей силы предполагаются уже не инстинкты, не смутные чаяния, а ясное сознание цели и средств к ее достижению. Это в значительной степени осложняет поводы для ликования и, во всяком случае, отнимает у последнего тот характер искренности и непосредственности, который в сущности и составляет всю ценность его. Сверх того, есть и еще причина для воздержания: культурный слой стоит в стороне от русла народной жизни и, следовательно, лишь в слабой степени чувствует на себе отражение ее трудностей и невзгод. Чтоб получить право ликовать в виду предстоящего подвига, необходимо сознавать себя материально привлеченным к его выполнению и материально же обязанным нести на себе все его последствия. А это для большинства культурных людей почти недоступно.

Поэтому, когда посетители ресторанов, гранители мостовых, газетчики и проч. начинают ликовать, то невольно возникает вопрос: справедливо ли поступают эти люди, принимая деятельное участие в легчайшей части подвига, то есть в ликовании по его поводу, и не созная себя в то же время материально ответственными за его последствия? Не знаю, ошибаюсь ли я, но думаю, что самого слабого проблеска совести достаточно, чтоб ответить на этот вопрос отрицательно.

Что касается до меня лично, то я знаю одно: я не имею той непосредственности и свежести чувства, которое давало бы мне повод возбуждаться неясными чаяниями, волнующими толпу, но в то же время нет у меня и той развязности, которая позволяла бы сказать: да, я ликую, потому что заранее могу определить ход и результат событий. Поэтому, в такие исторические минуты, когда затрагиваются самые дорогие и самые существенные струны народной жизни, я считаю воздержанность более нежели когда-либо для себя обязательною. Более нежели когда-либо я сознаю в себе присутствие той совестливости, которая подкашивает, что в данном случае мои подстрекательства или сдерживания не только не необходимы, но и не совсем уместны, и что вот эта самая ликующая толпа имеет полное право остановить мою назойливость словами: седи в своем углу и втихомолку радуйся или скорби в виду имеющих развиваться событий.

Я не один в своем роде. Прошлое завещало довольно большое количество людей, которых единственное занятие (а быть может, и единственная заслуга) заключается в том, что они сторонятся от деятельного участия в жизни. Занятие

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) непроизводительное и даже, можно сказать, тунеядное, но ведь надо же наконец понять, что мы – дети того времени, когда прикасаться к жизни можно было лишь при посредстве самых непривлекательных, почти отвратительных ее сторон, и что вследствие этого устранение от жизненных торжеств (опять-таки повторяю: в то время) составляло своего рода заслугу...

Я помню очень многое, и между прочим 1853–1855 годы. Помню ликующих жуликов, помню людей, одолеваемых простым долготычием, и людей, пользовавшихся долготычием, как подходящим средством, чтоб запускать руку в карман ближнего или казны. Мало того: я помню, что этих людей называли тогда благонамеренными, несмотря на то что их лганье было шито белыми нитками. И что всего ужаснее: не только не представлялось возможности обличить их, но даже устранившись, уйти от них было нельзя. Надо было выслушивать их, соглашаться, вторить им, лгать...

С тех пор, правда, многое изменилось, и изменилось, конечно, к лучшему. Признание относительной свободы мнений настолько умалило страх, внушаемый подыскивающимся долготычием, что человек, высказывающий, в учтивой и богобоязненной форме, свое суждение о тех или других явлениях современности, уже может, до известной степени, считать себя от следствия и суда свободным. Вследствие этого у многих даже блеснула мысль, будто Булгарин, Шешковский и проч. исчезли, не оставив потомства... И вот одного серьезного момента достаточно, чтоб ветхий культурный человек всплыл на поверхность во всеоружии. Да! он все тот же! с одной стороны – долготычный, наянливо примазывающийся к чужому ликованию, с другой – робкий и устранившийся. Я знаю, что оба эти отношения к вещам современности одинаково неестественны, но так как первое из них, сверх того, отмечено явною печатью нахальства, то понятно, что люди, успевшие сохранить некоторую стыдливость – а я имею слабость считать себя в числе этих людей, – предпочитают держать себя в стороне.

Независимо от этого, есть у меня и еще один очень веский довод в пользу воздержания: я с детских лет воспитывался в системе строжайшего нейтралитета и вдобавок совершенно невооруженного. Весь кодекс деятельной поры моей жизни исчерпывался словами: ни порицания, ни похвалы, так как в то время и то и другое одинаково рассматривалось, как позыв к непрошеному вмешательству. Жить с таким кодексом в руках было чрезвычайно легко и, коли хотите, даже приятно, но все-таки нельзя сказать, чтоб такое житье представлялось хорошей школой для общественной или иной деятельности. Между тем годы шли; жизнь мало-помалу изменялась и пополнялась, и, наконец, двери в область ликования отворились настезь... Но увы! – я уже оробел! Ярмо старой дисциплины настолько придавило меня, что хоть я и понимаю, что отныне ликовать никому не воспрещается, но все-таки не могу отделаться от преследующей меня мысли: а что, если мое ликование вдруг возымеет вид вмешательства?

Да и действительно ведь это – вмешательство. Даже беспутное газетное ликование – и то имеет побудительный характер.

Каждое утро, покуда я сижу за чаем, в ушах моих раздается один и тот же неизменный вопль: а нуте, голубчики! еще немножко, и Константинополь – наш! На что похоже! Во-первых, быть может, это не в намерениях мудрой политики, а во-вторых, ежели вам непременно нужно, чтоб константинополь был наш – идите и берите его! Что же касается до меня, то я решительно никого понуждать не берусь! Помилуйте! я пью чай и кофе, не торопясь обедаю, завтракаю, сплю на мягкой постели, занимаюсь своими будничными делами, пишу статейки по стольку-то копеек за строчку, словом, живу себе помаленьку, как всегда жил, – к лицу ли, при таком-то житье, понуждать людей, которые и без того глядят в лицо смерти! Нет, лучше я вспомню старую дисциплину и останусь в своем углу. С меня достаточно и того, что я верю в силу и жизненность русского народа и верю в испытанную самоотверженность русского солдата. Зачем я буду кричать: молодцы! не выдавай! – когда и без моих подстрекательств все исполнено сознания своего долга? Какое значение может иметь моя безответственная, хотя бы и восторженная болтовня, в виду трудностей предстоящего подвига! Подумайте: ведь это наконец – назойливость, которая не только претит нравственно, но и материально мешает, разбивая на мелочи силу в тот самый момент, когда она требует наибольшей сосредоточенности. Ведь это назойливость, о которой каждый из этих людей, так серьезно и просто смотрящих в лицо подвигу, имеет полное и законное основание отмахнуться, как от чего-то не только бесполезного, но и совсем несносного...

Вот причины, по которым я держусь в стороне и удерживаюсь от всяких неуместных

Страница 97

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) заявлений. Смутная тревога да того овладела моим существом, что ни мысль, ни чувства не могут отыскать для себя вполне ясного выражения. Кажется, будто завеса упала, и вся природа наполнилась стоном и хаосом. Я боюсь радоваться успеху, потому что в самом успехе представляется столько выстраданного и притом неверного, невыясненного, что в невольном страхе закрываешь глаза, чтоб отогнать от себя выдвигающуюся на заднем плане картину, которую торжествующая смерть сверху донизу наполнила бесконечную свитой жертв. Я боюсь отчаиваться и роптать, потому что самый неуспех сопровождается здесь таким очевидным искуплением, перед которым должны умолкнуть и праздный ропот, и бесплодное отчаяние.

Все праздну, все бесплодно! Одна бесконечная сердечная боль заявляет себя настолько живуче, что лишь благодаря ей чувствуешь себя живым свидетелем чего-то не имеющего определенных очертаний, но полного загадочных угроз...

Прошло лето, проведенное мною на благословенных берегах Карповки, среди дождей, ветров и других буйств природы. В конце августа я не вытерпел и перекочевал в город. Как человек совершенно досужий, то есть не обязанный службой, я, разумеется, бросился разузнавать, кто из знакомых воротился на зимние квартиры, и с удовольствием удостоверился, что Положилковы уже в Петербурге.

По воскресеньям я, предпочтительно перед другими днями, посещаю Положилковых. Во-первых, в этой гостеприимной семье еще не утратилась старинная традиция обязательности воскресного пирога, а во-вторых, у Павла Ермолаича почти наверно встретишь на этот день «гостя», который не откажется после обеда засесть за табельку или в сибирку. Таким образом, день проходит сытно, занятно и непродосудительно, что для людей, устраняющих себя от политических и стратегических соображений, очень удобно.

На этот раз я как-то особенно ходко шел по направлению к Разъезжей. Утром я наглотался в газетах столько пыли, что в горле першило. Иронизировали насчет англичанина и без церемоний называли его торгашом; пускались в тонкие соображения по вопросу о проливах и обращались к начальству с просьбой обратить на этот предмет серьезное внимание; полемизировали со своими литературными и политическими противниками и укоряли друг друга в неимении надлежащей теплоты чувств; взывали к пожертвованиям и тут же кстати обличали такую-то думу или такое-то земство в своекорыстии, отсутствии патриотизма, узости взглядов и т. д. Одним словом, из каждого листка выглядывала зияющая пасть, которая кого-то неведомо в чем обличала и в то же время вопрошала читателя: а ну-тко, сказывай – во сколько рублей ты оцениваешь свой патриотизм?

Было пять часов, когда я вошел в гостиную Положилковых. Обыкновенно я никогда не задерживался в этой комнате, да и сами хозяева, по-видимому, не особенно жаловали ее. Расположена и меблирована она была по-старинному: неудобно, парадно-симметрично, то есть именно так, как следует для «дорогих гостей», которых нелишнее через четверть часа спровадить. У стены, против входа, стоял вальяжный красного дерева диван, обитый синим штофом, с вырезными ручками в виде французских эссов и с прямой спинкой, верх которой был увенчан накладной резьбой; против дивана находился осьмиугольный стол с поставленным на нем карселем, который издавал дребезжащий звук всякий раз, как около стола происходило движение; по обе стороны стола, от дивана по направлению к входной двери, тянулось два ряда кресел (тоже с ручками в форме эссов), по три в каждом, один против другого, так что когда в них сидели гости, то они обязывались смотреть своему визави в лицо и косить глазами, когда нужно было обратиться к сидящим на диване. Остальная мебель, в виде стульев с деревянными спинками, тоже увенчанная резьбой, расставлена была ранжиром по стенам и около окон. Вообще в этой гостиной как-то не сиделось и не говорилось, а иногда даже казалось, что она не топлена, хотя Положилковы, как люди старозаветные, любили жить тепло. И я заметил, что когда прислуга возвещала, что приехал такой-то, а Павел Ермолаич приказывал «просить в гостиную», то это наверно означало, что пожаловал гость, которому предстояло устроить времяпровождение по возможности неудобное и скоропреходящее.

На этот раз, однако, мне пришлось расположиться именно в гостиной, потому что у Положилковых были «гости». На диване сидела, впрочем, не Поликсена Ивановна, как обыкновенно бывало в таких парадных случаях, а какая-то посторонняя гостья, по-видимому, очень уж важная, потому что хозяйка примостилась около нее на ближайшем боковом кресле, а визави с Поликсеной Ивановной, из-за лампы, выглядывал Павел Ермолаич. Кроме этих лиц, в гостиной было еще двое. Рядом с

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Поликсеной Ивановной ютился Simon Рогаткин, подчиненный Положилова, весьма прилично одетый и очень почтительный молодой человек, на лице которого было написано, что он несомненно оправдает доверие начальства. Несколько наискосок, через кресло от хозяина, держась обеими руками за ручки кресла, помещался Терентий Галактионыч Дрыгалов, земляк Павла Ермолаича, к-ский купец, который, очевидно, только на днях прибыл в столицу из «своего места», потому что дорожный загар не успел еще слететь с его лица.

При входе моем Положилов поспешил ко мне навстречу и и шепнул на ухо:

– Генеральша... сама!

Затем последовало представление. Генеральша приятно изумилась, узнав, что я – литератор (очевидно, ей именно меня, то есть литератора, и недоставало в эту минуту), и очень благосклонно произнесла:

– А от вас, господа литераторы, мы ждем очень, очень большой услуги: вам предстоит поддерживать в обществе тот святой пламень, который в настоящее время согревает все сердца! N'est-ce pas, chère[30] Поликсена Ивановна?

Поликсена Ивановна помяла в ответ губами; я же поспешил ответить глубоким поклоном в знак совершенной готовности выполнить приказание ее превосходительства, вполне, впрочем, согласное и с настроением моих собственных чувств.

Вообще «дорогая гостья» держала себя благосклонно, хотя и с достоинством. Это была дамочка лет двадцати пяти, с весьма красивой головкой, хорошенькой грудкой и прелестными ручками. Темно-лиловое шелковое платье сидело на ней обворожительно, а на голову было кинута какое-то je ne sais qu'o, [31] до такой степени легкое и изящное, что можно было только изумиться совместимости этого легкого и изящного с вопросом о проливах и гирлах. Тем не менее вопрос этот, очевидно, ее озабочивал, потому что прелестные глазки ее смотрели устало, а розы на щеках сменились лилиями. Говорила она мягко и плавно, причем в одно и то же время выказывала и рассудительность, почерпнутую из «Leçons de morale et de littérature», [32] и резвость, почерпнутую из вчерашней causerie [33] с изящными молодыми людьми. Она с откровенностью, достойной лучшей участи, развивала перед нами свои планы, знакомила нас с ходом и с сущностью своих занятий, а иногда даже спрашивала нашего мнения, но так, что всякий чувствовал, что все уже у нее заранее решено и что нам ничего другого не остается, как с удовольствием согласиться. Сперва расскажет, как все это «у нас» устроено, а потом обратится с вопросом: не правда ли, хорошо?

– Теперь, – говорила она, возобновляя начатый разговор, – нам необходимо содействие всех патриотов, потому что – вы понимаете? – без этого что же мы можем? О должностных лицах (взгляд в сторону Павла Ермолаича, у которого лицо моментально покрывается глянцем удовольствия) я уже не говорю – это само собой! но и другие все... Молодые люди (взгляд в сторону Рогаткина) могут исполнять поручения, устраивать спектакли, собирать пожертвования; господа литераторы (взгляд в мою сторону) – поддерживать святой огонь патриотизма; messieurs les négociants [34] (взгляд почти умильный на Дрыгалова) – уделять от избытков... Mais n'est-ce pas, chère [35] Поликсена Ивановна?

– Уж это само собой! при таких обстоятельствах, ежели даже жизнь потребуется, то и ею стыдно дорожить! – ответила Поликсена Ивановна.

– Для нас, ваше превосходительство, нужно только, чтоб вы почин взяли, а затем только свистнуть извольте – у нас ящичек всегда налицо! Ключиком отпереть – и вся хитрость тут! – сочувственно отозвался и купец Дрыгалов.

Хотя выражение «свистнуть», в применении к ее превосходительству, было несколько рискованно (Павел Ермолаич даже повернул лицо к Дрыгалову с немым укором: экой ты, братец, какой), тем не менее генеральша сумела скрыть свое изумление под благосклонной улыбкой.

– Ну да, мы и не сомневаемся, что почтенное наше купечество... – сказала она солидно, – Минины, Погребовы, Королевы – ces noms appartiennent à l'histoire. [36] Et Овсянников dons. [37] Но и мы, женщины, с своей стороны, должны... Я, например, до сих пор ботинки у Aurore заказывала, а теперь, вы

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) понимаете, уж нельзя! Пришлось обратиться к Дорохову... Только от милой Andriëux отказать никак не могу, потому что все эти Розановы, Маришины, Соловьевы... Так вот и выходит... о чем, однако ж, я говорить начала?... ах да! Так я говорю: мужчины пускай воюют, распоряжаются, ведут переговоры, а мы должны поддерживать в них этот дух, и в то же время содействовать... Именно содействовать – c'est le mot![38] Есть множество подробностей – n'est-ce pas? – в которых мужчины теряются и в которых женщина является доброю и заботливою хозяйкою... La charpie, les onguents, les draps delit...[39] тысячи маленьких вещей, которые могут понадобиться и которых мужчины не могут предусмотреть! Не правда ли, вы разделяете мое мнение, добрейшая Поликсена Ивановна?

Поликсена Ивановна рассудительно покачала головой, как бы говоря: чего ж еще лучше!

– Вы только представьте себе, как будет приятно храброму воину, после жаркого дела, отдохнуть на чистой постели, покрытой свежим бельем! Конечно, мы не можем обещать, что у всякого будет свой эдредон,[40] mais enfin... à la guerre comme à la guerre![41] ведь и в мирное время ça laisse à désirer – n'est-ce pas?[42]

Поликсена Ивановна продолжала сочувственно покачивать головой, как бы избавляя себя этим от необходимости соглашаться или возражать; но купец Дрыгалов даже глаза закатил, покуда генеральша рассказывала об удовольствиях, предстоящих храброму воину, успокоившемуся после жаркого дела в чистой постели.

– Вот, по-моему, где истинное назначение женщины в настоящее трудное время! – заключила генеральша, вздохнув тем детским всхлипывающим вздохом, каким вздыхает человек, чувствующий, что у него гора с плеч сползла.

Все даже руками развели, как бы удивляясь, как это им никому в голову не пришла такая простая мысль. Но Положилов на этот раз счел долгом предложить поправку к мнению ее превосходительства.

– А мне так кажется, что ваше превосходительство слишком уж умаляете роль женщины в сфере общественной деятельности, – спридворничал он (при этом у него даже ямочка на бороде радостно заиграла), – по-моему, главное назначение женщины состоит не в одних мелочах, – впрочем, бесспорно полезных и необходимых, – о которых вы сейчас изволили упомянуть, а в том, и даже преимущественно в том, чтоб служить одухотворяющим началом общественной деятельности и в то же время соединяющим звеном. И ваше превосходительство собственным примером изволите несомненно доказывать...

– Ну да, это само собой... Конечно, я стараюсь... Устроить какой-нибудь комитет, собрать, соединить... enfin organiser quelque-chose...[43] Вот мы хотим на днях базар устроить... Это – так! Я в четырех комитетах участвую, в одном даже председательницей – и, право, нахожу, что это совсем не так тяжело! Le gros du travail appartient certainement aux messieurs,[44] а мы... наше дело – дать идею, организовать... и, разумеется, содействовать! А знаете ли вы, Поликсена Ивановна, что ваш муж очень, очень помогает нам в наших заботах?

– И это тем приятнее слышать, что Павел Ермолаич, действительно, не только с готовностью, но и с радостью исполняет приказания вашего превосходительства! – поспешила ответить Поликсена Ивановна, желая закрепить за своим мужем репутацию усердного исполнителя предначертаний.

– Да, он даже балует нас. Ваш муж – это именно, как говорится, – un coeur d'or.[45] И надобно удивляться, как он находит время для всего этого. Мы с мужем – а вы знаете, как Грегуар взыскателен относительно своих подчиненных! – иначе не называем его, как l'homme au coeur d'or[46] Об службе уж нечего и говорить. Грегуар прямо выражается: это – моя правая рука. Но, кроме службы, сколько комитетов, комиссий, советов – право, даже голова кружится! Я всего в четырех комитетах участвую, и то иногда... je n'en reux plus.[47] А он... в скольких комитетах вы участвуете, Павел Ермолаич?

– В семи-с, – ответил Положилов скромно, но, очевидно, уже под влиянием яда лести, – в трех состою делопроизводителем, в четырех – просто членом...

– Ну, да, «просто членом»... nous en savons quelque-chose![48] То есть, на вас же лежит все главное! Нет, вы представьте себе, Поликсена Ивановна! вот хоть бы в

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) том комитете, где я служу председательницей: что бы я ни спросила у Павла Ермолаича... ну, там статистику, цифру какую-нибудь... *les onguents, la charpie*...[49] всегда, всегда сейчас же готов ответ! Просто невероятно. Сколько раз мы убеждали его: Павел Ермолаич, возьмите себе помощника! Потому что это наконец невозможно! – не правда ли, ведь это положительно невозможно? – и слышать не хочет! Я даже себя предлагала – ведь я, вы знаете, в Смольном с шифром вышла – и мне отказал! Такой нелюбезный!

– Это не нелюбезность, – поспешила Поликсена Ивановна оправдать своего мужа, – а, вероятно, он бережет здоровье вашего превосходительства, не желает, чтобы вы утруждали себя из-за него!

– *Au reste*, [50] это немножко правда! все эти бумаги, счета – я ничего в них не понимаю. Еще маленькие счета – это я могу; но у них, представьте, счета в четыре столбца! А он – у него все это сейчас как на ладони! И даже деньги – да! я сама ревизовала... внезапно, вдруг! Сговорились мы с Петром Ивановичем и Анной Константиновной – и нагрянули! и представьте, – все, все как есть, все налицо! *la charpie, les onguents* – все до последнего золотника! И даже деньги все налицо – а вы знаете, как это трудно! И все нам сейчас показал!

– Но ведь это – его долг, ваше превосходительство! – сентенциозно проговорила Поликсена Ивановна, – этим даже хвалиться нельзя!

– Вы говорите: долг? ах, *chère* [51] Поликсена Ивановна! Но разве многие из нас серьезно относятся к своему долгу? Вы знаете Грегуара – уже если есть человек *à cheval sur son devoir*, [52] так это именно он! – ну-с, так даже он на днях мне сказал: долг, мой друг, есть тот прекрасный на вид плод, который пользуется в начальственных сферах очень солидной репутацией, но вкушение от которого предоставляется, по преимуществу, нижним чинам, да и те вкушают оный лишь под страхом отрешения от должности! Вот что такое наш долг!

Безнадежность этого своеобразного толкования на минуту огорчила присутствующих; но все опять вострепнулись (а купец Дрыгалов даже лукаво подмигнул по направлению к ее превосходительству), когда Положилов возразил:

– Но ваше превосходительство своим примером, собственно, так сказать, особою доказываете...

– Что я! Это уж моя роль такая, мое назначение! Я не могу не исполнить моего долга – *et me voilà lancée*! [53] Но даже и я иногда тягочусь! Очень, очень! Я знаю, что это нехорошо, что в настоящее время это – наша святая обязанность, *mais que voulez-vous?* [54] иногда это невольно! И опять-таки повторяю, если бы у меня не было такой прелестной помощницы, как Анна Константиновна, и такого казначея, как Павел Ермолаич, – я не знаю... Право, мне кажется, я бы взбунтовалась! Представьте себе: в четыре столбца! Иногда мне и хотелось бы понять, и я стараюсь... Но вы знаете наше воспитание... нас воспитывали, чтоб из нас вышли *des bonnes épouses, d'excellentes mères de famille*, [55] чтоб мы умели себя держать прилично в обществе, могли занять гостей, поддержать разговор! но счета, бухгалтерия... кто же мог предвидеть, что это когда-нибудь понадобится?..

– Не извольте огорчаться! Бог даст, ваше превосходительство со временем и эту науку произойдете... А покудова потрудитесь только приказать – для вас Павел Ермолаич всякие счета сведут! – счел долгом утешить разогорченную генеральшу купец Дрыгалов.

При этих словах глазки генеральши выразили почти беспокойство; очевидно, в ее уме блеснула мысль: а что, если этот негоциант встанет и, в знак своего расположения, погладит ее по головке? Павел Ермолаич тоже сконфузился и вопросительно глядел на Дрыгалова, словно выжидая, не скажет ли он чего-нибудь еще? Даже Симон Рогаткин – и тот застыдился. Естественно, Поликсена Ивановна поспешила прекратить общее недоумение.

– Как это, однако, приятно видеть, что ваше превосходительство, молодые такие, а об одном только и беспокоитесь, как бы ближнему на помощь прийти да на общепольное дело потрудиться! Вот хоть бы теперь: весело даже посмотреть, какая вы заботливая, деятельная...

– А главное, дельная! – присовокупил, с своей стороны, Павел Ермолаич, –

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) хлопотать можно всячески; но дельно хлопотать, так, чтоб через эти хлопоты достигалась благая цель, – это доступно не всякому!

Одним словом, благодаря находчивости хозяев, дело приняло такой оборот, что «дорогая гостья» не только оправилась от беспокойства, но даже грудка ее слегка заволновалась от похвал.

– Ах, нет... ну, да, то есть, коли хотите, я, конечно... вот только счета эти... И еще, сознаюсь вам по секрету: вопрос о проливах... никак не могу я ориентироваться в нем... То есть, вот видите, мне-то кажется, что они должны принадлежать нам... Не правда ли, ведь это так? Они должны принадлежать – нам? да?

– Но какое же может быть в этом сомнение, ваше превосходительство! – даже изумился в ответ Положилов.

– Ну, вот видите! И Анна Константиновна, и Ольга Павловна, et tous les messieurs de notre comité[56] – все так говорят; а вот Грегуар... Представьте себе, на днях он мне прямо сказал: желания ваши насчет проливов, как патриот, я, конечно, вполне одобряю, но опасаясь одного: едва ли вопрос сей получит то решение, которое вполне удовлетворит Анну Константиновну!

– Но, может быть, это не насчет проливов, а насчет гирл его превосходительство изволил так выразиться? – робко попробовал Положилов устроить лазейку.

– Нет, именно насчет проливов! Гирла, – сказал он, – это само по себе. Но... и проливы!..

Ввиду столь ясно выраженного мнения высшего начальства, и Павел Ермолаич и Поликсена Ивановна, очевидно, затруднились, какой бы придумать компромисс, который бы обе стороны обелил. Павел Ермолаич даже уж начал: «Конечно, ваше превосходительство, с одной стороны...» Но Дрыгалов дал делу совершенно неожиданный оборот, воскликнув:

– Бог милостив, ваше превосходительство! может, и в нашу пользу решат! А нет, так ведь мы и подождать можем!

Этот исход всех примирил. Поликсена Ивановна сочувственно подмигнула, Павел Ермолаич почесал у себя за ухом, Simon Рогаткин сложил губы сердечком, а генеральша даже вздохнула, словно бремя свалилось у нее с души.

– Да, но все-таки... – сказала она весело, – впрочем, только это одно и затрудняет нас... А во всем остальном... право, вовсе это не так трудно, как казалось, когда мы приступали к делу. Знаете ли что? Я замечаю, что это даже для здоровья моего хорошо... Прежде, покуда меня это не занимало, я чувствовала, что начинаю толстеть. И лень какая-то явилась: в два, три магазина съездишь – и домой! А теперь, при этом постоянном движении, я такая проворная сделалась, что могу десять – пятнадцать визитов в утро сделать – и ничего. А вечером опять!

Все сочувственно покачали головой, как бы дивясь божьему произволению, укрепляющему скудельный сосуд сей.

– А все-таки до Павла Ермолаича мне далеко, – продолжала генеральша, – Павел Ермолаич, это – такой человек! такой человек! это именно, как говорит Грегуар, – un coeur d'or![57] Представьте себе: les onguents, la charpie, les draps de lit...[58] все, все у него на руках! И... деньги! Ах, это очень, очень трудно!

– Ваше превосходительство слишком уж милостивы к нему!

– Нет, как хотите! Я когда была в Смольном, то и тогда уже кастелянше удивлялась, как это она целый день все считает и не потеряется, а теперь... это даже поразительно! И отчего вы не возьмете себе помощника, Павел Ермолаич? ведь вы устали? ведь да? Посмотрите на него, Поликсена Ивановна! ведь он устал... да?

Павел Ермолаич только кланялся в знак признательности; но видно было, что ему уж начинает подступать к горлу.

– Устал и не хочет, чтоб ему помогли! – продолжала упорствовать «дорогая гостья», – я этого, как хотите, не понимаю! По-моему, это – уж упрямство! Знаете

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru ли, ведь и Грегуар в вас это заметил! Не далее как вчера была об вас речь, и он сказал: Положилов – золотой человек, но в нем есть один недостаток: упрямство! Не правда ли, он упрям, Поликсена Ивановна?

Отзыв Грегуара, как непосредственного начальника, несколько огорчил Поликсену Ивановну, но, делать нечего, она все-таки постаралась улыбнуться в ответ.

– Да, есть-таки грешок! – сказала она.

– И как еще есть! Скажите, Павел Ермолаич, вы всегда были упрямы? Мсье! вы его товарищ – скажите, он всегда был упрям? – обратилась генеральша ко мне и, не выждав ответа, продолжала: – Устал – и не хочет, чтоб ему помогли! Отчего вы не хотите нам удовольствие сделать... отчего? Мы вас просим: возьмите помощника! – скажите, отчего вы не хотите исполнить нашу просьбу?

Наконец к Павлу Ермолаичу подступило.

– Коли угодно, вот Семен Николаич охотится. – сказал он, указывая на Рогаткина.

– Вот и прекрасно! и незачем это дело откладывать! Так вы, мсье... мсье... мсье...

Генеральша затруднилась; Simon поспешил подсказать:

– Рогаткин-с.

– Так вы, мсье... ah, pardon![59] Так вот что, мсье... Вы завтра утром, около часу, пожалуйста ко мне, и я посвящу вас во все наши дела... я вам все расскажу...tout... tout! Les onguents, la charpie...[60] все, все! Вы, кажется, тоже у Грегуара служите в ведомстве?

Simon слегка отделился от кресла, но был так еще неопытен в сношениях с дамами высшего полета, что недоумевал – следует ли ему встать или продолжать сидеть.

– Он у меня, в нашем же ведомстве, – выручил его Павел Ермолаич.

– И отлично. Значит, мы будем en famille.[61] Ну, а вы, мсье? – вдруг обратилась она ко мне, – как товарищ мсье Положилова, вы, может быть, тоже пожелали бы...

Это было так неожиданно, что я с первого раза не понял и осмотрелся по сторонам, ища, не вошел ли еще кто-нибудь, к кому бы мог быть обращен вопрос ее превосходительства. К счастью, Положилов поспешил ко мне на помощь.

– Нет, уж его вы, ваше превосходительство, не тревожьте! – сказал он, – он – человек больной... да притом же, как вы сами изволили выразиться, и пламень этот должен поддерживать.

– Да, да, это тоже необходимо... ведь я и забыла, что вы литератор! ведь вы – литератор... да? Как же! как же! Грегуар еще на днях об вас говорил: этот литератор...

Но тут она вдруг как бы вспомнила что-то и не договорила... Даже лилии сменились на ее щеках розами, и она как-то тоскливо взглянула по сторонам, словно ожидая, не выручит ли ее кто-нибудь. Но так как на этот раз никто не нашелся, то она взглянула на часы и заторопилась.

– Уж половина шестого! – воскликнула она, шумно поднимаясь с дивана, – скажите, как я у вас засиделась! Так, стало быть, с'est convenu:[62] с завтрашнего дня, chère[63] Поликсена Ивановна, вы – наша?

Она взяла Поликсену Ивановну за обе руки и с минуту смотрела ей в глаза так любовно, как будто ее участь была в руках этой милой женщины. С своей стороны, и Поликсена Ивановна умышленно медлила ответом, как будто, с одной стороны, ее пугала трудность подвига, а с другой – не было той жертвы, которой бы она не принесла в пользу «дорогой гостьи».

– Ваша! – выговорила наконец Поликсена Ивановна твердо.

– Ну, так до свидания! Завтра вечером у нас первое заседание... увидимся! И,

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) право, у нас совсем не так скучно! On cause, on rit...[64] а между тем и дело... До свидания, Павел Ермолаич! вот вы и с помощником... очень, очень рада за вас, а еще больше за себя, потому что я не хочу – слышите, не хочу! – чтоб вы уставали!

Через секунду от нее осталась только благоухающая струя.

Я стоял и потягивался, точно бремя с души у меня спало. Дрыгалов закрыл глаза, очевидно стараясь воспроизвести и навсегда запечатлеть мелькнувшее перед ним видение. Симон Рогаткин, в устремленной позе, приковал взоры к двери передней, куда скрылась его очаровательная начальница.

И вдруг меня словно ударило: Грегуар сказал: «этот литератор...» Ну-с, а дальше? Что такое он дальше сказал? Отчего она не договорила и зарумянилась? «Этот литератор...» разве это определение? Дальше-то, дальше-то что он сказал? А может быть, он и действительно ничего не сказал, а только ковырнул пальцем в воздухе... Любопытно! очень бы любопытно узнать, в каком смысле совершилось это ковыряние! Означает ли оно: читал с удовольствием или напротив... «Гм... этот литератор...» О, черт побери!

Удивительно это, однако ж. Если бы мне сказали, что Дрыгалов или Рогаткин, или даже сам Положилов, разговаривая обо мне, ковырнули пальцем в воздухе, я решительно нимало не озаботился бы этим. А вот Грегуар ковырнул, и у меня моментально кошки на сердце заскребли! Поймите: ведь это тот самый Грегуар, которого даже богобоязненный Положилов, в минуты откровенности, называет «сивым меринком», и вот он, в один момент, какого переполоху во всех моих внутренностях наделал! Ковырнул пальцем... да, наверное, он ковырнул! Что ж такое случилось? Какие такие поступки я совершил, чтоб заслужить это ковырянье? и что мне за это будет? Потому, что ведь этот сивый мерин... то бишь, этот Грегуар – ведь он...

Эти странные мысли точно сверлом сверлили меня, покада Положилов раскланивался с «дорогой гостьей». Я уж начал помаленьку перебирать в уме свое прошлое, с целью сначала уразуметь и внимательно обсудить свои «вины», а потом уже перейти и к определению мер взыскания, как говор в передней утих, и Павел Ермолаич почти вприпрыжку подбежал ко мне.

– Вот оно, братец! – воскликнул он, беря меня за обе руки и, весь красный, смотря мне в глаза.

Как ни приятно было благоухание, распространяемое дорожкой гостьей, однако с отъездом ее сделалось заметно легче. Даже у осторожной Поликсены Ивановны появилась на лице улыбка освобождения, и только купец Дрыгалов счел долгом воздать должное отъехавшей, воскликнув: «Вот так дамочка! отдай все, да и мало!»

Подобные ощущения внезапного облегчения случаются нередко, особенно когда имеешь дело с дамочками. Посмотреть на нее – только, кажется, дунь, и вся она, со всем кружевным и шелковым скарбом, рассеется, как дым; а посиди да поговори с нею – тяжелее мономаховой шапки скажется. Голова заболит от одного учтливового напряжения что-нибудь уловить в бесконечном журчании слов. Это журчание, несмотря на свои ласкающие формы, представляет, в сущности, очень страшное орудие, с помощью которого маленькое, слабенькое, почти прозрачное существо может в короткое время не только осилить самого солидного человека, но и свести его с ума, подвинуть на множество глупых и бесчестных дел, заставить метаться и проч. Мало того: с помощью словесного журчания дамочка может поставить в тупик целое общество здравомыслящих людей, в один момент смоев все их умственные построения, порвет всякую связь между мыслями и взамен заключения заставит выпучить глаза.

Известно, однако ж, что существует целый общественный слой, в котором подобные журчания представляют единственное орудие для обмена мыслей и в котором, за всем тем, никто не ощущает ни головных болей, ни поползновения метаться. По-видимому, люди этого мира, отбросив всякую мысль о необходимости понимать друг друга, довольствуются во взаимных сношениях тем, что одному журчанию противопоставляют равносильное встречное журчание. И хотя в результате, разумеется, оказывается путаница, но, к удивлению, жизнь не только не терпит ущерба от нее, но даже приобретает известную внешнюю пестроту. Благодаря этой последней завязываются между действующими лицами отношения, столкновения, даже целые романы, с довольно сложными перипетиями, являясь проблески радости, горя, отчаяния и проч. Одним словом, с внешней стороны все происходит совсем так, как бы и в настоящем человеческом обществе, вследствие чего некоторые не особенно прозорливые

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) наблюдатели (например, романисты) легко впадают в ошибку и, изображая эту призрачную жизнь, в которой нет ни одного ясного мотива, кроме амуров, щегольства и гастрономических увлечений, выдают ее за человеческую...

Да, много еще тайн хранит природа в недрах своих, и что всего замечательнее: чем дряннее тайна, тем труднее распутать те бесконечные паутинные наслоения, которыми она закутывает себя со всех сторон.

Итак, мы повеселели. К тому же явилась и еще приятная неожиданность, которая окончательно возвратила нам хорошее расположение духа. Едва Положилов успел посетовать, что между нами нет Глумова, как в столовой раздался его голос. Разумеется, мы сейчас же устремились туда и застали нашего друга совместно с Поликсеной Ивановной сетующим, что бог огурцов прошлым летом совсем не уродил.

– Этакая снедь прекраснейшая, а мы, яко христиане, даже роптать не смеем, что на целый год ее лишены! – жаловался он.

– И грибы только уж к сентябрю пошли. Полакомиться ими – полакомились, а впрок заготовить не успели! – вторила ему Поликсена Ивановна.

– И на это роптать не смеем. Каждый год у нас чего-нибудь либо мало, либо совсем нет; каждый год с весны мы надеемся, а осенью видим наши надежды разрушенными; но и за всем тем не ропщем, потому что вновь впредь надеемся. Вот хоть бы по части огурцов... если бы не помешали военные обстоятельства, непременно вышло бы какое-нибудь мероприятие, дабы, с одной стороны, предотвратить непомерные урожаи, вследствие которых возделывание сего полезного продукта представляется не токмо безвыгодным, но и убыточным, а с другой...

На этом месте разговор был прерван нашим появлением. Последовали взаимные горячие объятия, вопросы: какими судьбами? откуда? когда?

– Сегодня утром из деревни и уж с полчаса сижу в кабинете. Вижу, что у подъезда карета стоит, спрашиваю: кто? говорят: международная дамочка в гостях сидит... Ну, я и притаился. А занятая дамочка! я, признаться, в щелку заглянул, как она проходила: грудочка, плечики... именно все, что для утешения рода человеческого нужно – все налицо! На букет, что ли, для поднесения пленным туркам, с подпиской приезжала?

Собственно, нас с Положиловым вопрос этот нимало не удивил, так как мы достаточно знали страсть Глумова озадачивать людей неожиданными предположениями, однако, видя, что Поликсена Ивановна поморщилась, мы сочли своим долгом по мере сил вступить за дорогую гостью.

– Ну, любезный, ты этого говорить не моги! – сказал Положилов, – во-первых, эта дама – супруга моего начальника, во-вторых... что, бишь, во-вторых?.. да! вот и насчет патриотизма... Не только к туркам пристрастия не имеет, но даже о проливах заботится... Очень, очень старается, чтоб проливы за нами остались...

– И, бог даст, старания ее увенчаются успехом, – присовокупил и я с своей стороны, – хотя, к сожалению, Грегуар и сомневается в том.

К удивлению, однако ж, Поликсена Ивановна не только не утешилась этими похвалами, но, напротив того, покачивала головой и приговаривала:

– Ах, господа, господа!

Наконец сели обедать, и, разумеется, беседа началась с вопроса, обращенного к Глумову: как в «своем месте» нашел?

– Как везде, так и у нас в Соломенном Городище. У всех и на уме и на языке одно: война!

– Что говорят? как относятся?

– Да как сказать... прилично! Интеллигенция, то есть... ей-богу, очень даже прилично! Молебны, панихиды – всегда полон собор мундиров. Предводители – те так-таки прямо говорят: «Доколе ненавистное имя Турции существует на карте Европы, дотоле не положим оружия!» Так что губернатор, на всякий случай, даже

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru вынуждается деликатным образом сдерживать их. А разговоры какие в клубах происходят – просто хоть куда!

– Чай, и дамы в движении участие принимают?

– Как же, и дамы... Генеральши сами корпию щиплют, пикники, лотереи-аллегри в пользу раненых воинов устраивают... Намедни поезд с ранеными на станцию приехал, так все соломенные дамочки туда устремились и все, как на подбор, прехорошенькие! Одна генеральша раны перевязывает, другая чаем с блюдечка поит, третья со слов солдатиков письма в деревню пишет... А грации да прекрасных манер сколько было по этому случаю в одночасье выказано, так, уверяю, в Александринке с самого ее основания не было столько потрачено!

– Не все же, чай, грация да прекрасные манеры; вероятно, что-нибудь и другое найдется!

– По временам и скандалы бывают. Прислали, например, к нам на жительство майорину турецкого; только видят: жрать майорина без бутылки шампанского за стол не садится! Стали разузнавать – и что ж оказалось! – что это наши соломенные интернациональные дамочки ему в складчину каждый день по бутылке посылают! А он, в благодарность, русским скверным словам выучился – все гуртом так и чешет! Это уж наши соломенные интернациональные жён-жаны научили.

– Неужели все это правда? неужто и теперь подобные факты случаться могут? – удивилась Поликсена Ивановна, прискорбно покачивая головой.

– Не лгу-с.

– И ничего? так-таки о сю пору и хлещет турка шампанское?

– Нет, сторонкой дали дамочкам знать, что нехорошо, мол, врага религии ублажать, ну, перестали. Теперь майорина при одном сквернословии остался.

– Гм... так вот ты какие вести привез! пикники, мундиры, грация и, для оттенения картины, майорина, пьющий шампанское, приобретаемое иждивением русских дам! *Si non é vero é ben trovato!*[65] – усомнился Положилов.

– А если не веришь, так и не верь!

– Нет, это даже очень возможно-с! – вступился за Глумова Дрыгалов. – У нас, доложу вам, Павел Ермолаич, в тысяча восемьсот пятьдесят четвертом году какой случай был. Прислали, этта, одного пленного англичанина к нам на житье – ну, одна дамочка, промежду танцев, и скажи ему: «Сколь много мы были бы довольны, ежели бы господа англичане до нашего города дошли!» Так один господин услышал эти слова да плюю ей и закатил!

– Так-таки и закатил?

– Вот как перед истинным. И супруг ейный видел и не вступился: полностью, говорит, заслужила!

– Какие, однако ж, странные и отчасти прискорбные факты вы приводите, господа! – сентиментально воскликнул Положилов, тут же, впрочем, спохватившись, что выразился слишком уж по-бумажному.

– А ты... каким ты странным и отчасти прискорбным языком говоришь! – передразнил его Глумов, – точно отношение от равного к равному пишешь! Милый ты человек! ведь не в том дело, что мы прискорбные факты передаем, а в том, что этих фактов отрицать нельзя. Существуют они.

– Положим. И грация, и скандалы – все это подмечено верно. Но, во-первых, глупые и пошлые личности возможны во всяком обществе, а во-вторых...

– Во-вторых, не все, мол, таковы?.. разумеется, не все! Я с того ведь и начал, что в общем все очень прилично. При молебствиях присутствуют, благословениями напутствуют – чего еще надо? Есть, братец, даже и такие личности, которые всякого за горло готовы ухватить не только при сомнении насчет будущих успехов, но и при малейшем упоминании о неудачах прошедших... Так разве это что-нибудь

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) доказывает?

– Доказывает, что люди везде люди и что каждый из них выражает свое отношение к делу, как может. Ты вот в смешном виде грацию представляешь; но, во-первых, дамочек-то пора бы и в стороне оставить, потому что не в них дело, а во-вторых, что ж им делать, этим несчастным, когда они с колыбели грацией исковерканы?

– А между тем и им свое сочувствие чем-нибудь выразить хочется! – поддержала мужа Поликсена Ивановна.

– Я разве запрещаю? Я говорю только: смотреть противно!

– Намеднись, доложу вам, я, вместе с прочими, на вокзале при приемке раненых был, – отозвался Дрыгалов, – так одна барынька к служивенькому привязалась: где у тебя, воин, болит? – Не могу сказать, ваше благородие! говорит. – Нет, ты скажи! теперь такое время, что мы все можем знать! – Не могу, говорит, сказать, нехорошо у меня болит! Нет-таки, не отстает: скажи да скажи! Ну, он и сказал.

– Да неужто же вы не понимаете, господа, что все это анекдоты одни? – слегка рассердился Положилов, – положим, Дрыгалов спроста анекдоты рассказывает, ну, а ты, Глумов... подумай, нет ли у тебя предвзятого предубеждения в этом случае? Помнится, ты когда-то говаривал, что для нашей интеллигенции все равно, если нас, русских, и за Волгу загонят...

– Ну, да, то есть доходы получать – конечно, все равно. Я нашу так называемую интеллигенцию даже и сравнить ни с чем другим не умею, кроме как с ветхой печкой, у которой нутро выгорело. Хоть целый лес там спали – ничем ты ее не разожжешь!

– Почему же нибудь, однако, она живет и даже заявляет о своем существовании?

– Живет – на остатки от выкупных свидетельств; заявляет о своем существовании – тем, что превратные идеи разыскивает да строчки в книжках подчеркивает. Даже и теперь – кажется, время не шуточное! – эти занятия на первом плане. Сосед у меня по деревне, штатский генерал, есть, так приезжаю я на днях к нему: так и так, говорю, мои две коровы в овсах у вашего превосходительства пойманы, так прикажите штраф получить, а скотину отпустить... Ну, разумеется, вознегодовал. Помилуйте, говорит, такое ли теперь время чтоб пустяками заниматься... Эй, сейчас же отпустить коров господина Глумова да сказать там, чтоб впредь подобных глупостей не допускали! А мы, говорит, с вами об нынешних делах побеседуем! И начал, и начал... И сердце-то у него изболело, и не раз-то он предсказывал, что война до добра не доведет, и проливов-то ему хочется, и Константинополь... Отчего, говорит, они прямо туда не идут? По-моему, говорит, сначала на Филиппополь, потом на Адрианополь, а оттуда – уж рукой подать! Только беседовал это, беседовал да вдруг как брякнет: а знаете ли, говорит, все-таки настоящая язва наша не здесь! внешних-то врагов мы, с божьей помощью, рано или поздно победим, а вот внутренние враги... о!!

– И это опять-таки анекдот!

– Ах, любезный, да ежели вся жизнь из анекдотов состоит? На выдумки, что ли, пускаться прикажешь, чтоб тебя не огорчать?

– Выдумывать, конечно, незачем, а воздерживаться – пожалуй, не лишнее!

– То есть рапортовать, что все сословия, в одном общем чувстве умиления, воссылали теплые мольбы... так, что ли?

– Нет, и не так. Скажу тебе откровенно: и сам даже не знаю как; но знаю наверное, что от всех этих анекдотов фальшью отдает. И еще знаю, что и в среде интеллигенции найдется довольно людей, которые совсем не так легкомысленно относятся к делу... ты, например?

Вопрос был поставлен не без ехидства, и я, признаюсь, ожидал, что Глумов смутится или, по малой мере, прибежит к одному из множества истрепанных оправданий, вроде: «я – человек искалеченный», или: «моя песня спета» и т. д. Но он, по-видимому, решил не смущаться ни перед какими вопросами.

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
– Я-то! – воскликнул он совершенно просто, – а ты почему думаешь, что я к чему бы то ни было и как бы то ни было относиться должен?

– Однако!

– Разве я что-нибудь знаю? разве я когда-нибудь за свой счет думал? разве мне не твердили с пеленок, что я – ничего более, как пятое колесо в колеснице? Нет, государь мой, от «отношений» к чему бы то ни было прошу меня раз навсегда уволить! Не мое дело – вот единственный ответ, который я могу на все вопросы дать и за который наверное получу полный балл у своего соломенского исправника. И все, к чему я сознаю себя нравственно обязанным, это – не кобениться, не глубокомысленничать насчет проливов и не науськивать. А по прочему по всему я такой же культурный человек, как и все.

Возражать на этот новый глумовский парадокс было, конечно, не мудро (у меня даже целый ряд живых картин по этому случаю в голове мелькнул); но скользко было следовать за ним по этому пути, и потому мы благоразумно смолчали.

– Ну, хорошо, – начал опять Положилов, – оставим интеллигенцию в стороне. В народе что говорят?

– В народе, любезный друг, не хвастаются, не долготязычничают и даже ничего не знают о проливах, а просто несут свои головы. Только вою очень уж много.

– Гм... да?

– Да, есть-таки. Ехал я нынче из деревни до железной дороги, так и до сих пор в ушах звенит. Все двадцать верст, как нарочно, партии ратников тянулись, а за ними толпами бабы... всю жизнь этих звуков не позабыть!

Глумов умолк на минуту, словно почувствовал неловкость.

– Мы этих картин не видим, – продолжал он, – а потому даже лучшие из нас представляют себе народ в виде громадного и упругого кокона, от которого отскакивают всякие бедствия или, по крайней мере, не так мучительно вонзаются. Так это неправда. Никакого кокона нет, а есть мириады отдельных единиц, из которых каждая за свой собственный счет страдает и стонет. И даже больше, нежели, например, мы, потому что ей, этой безвестной единице, приходится прямо кровь проливать и голову нести, а не морально только изнывать. Да, господа, коли издали слушать, так и стон в общей массе не поразителен, даже гармонию своеобразную представляет, а вот как выхватить из этой массы отдельный вопль... ужасно! ужасно! ужасно!

– Позвольте вам, сударь, доложить, что вой этот собственно... – попробовал было вмешаться Дрыгалов, но Глумов даже не обратил внимания на его перерыв.

– Да, – продолжал он, – народ и теперь, как всегда, ведет себя сдержанно и степенно. Он всякую тяжесть выдержит на своих плечах, из всякой беды грудью вынесет! Теперь мы и сами готовы признать, что народ, в самом деле, есть нечто, имеющее собственную физиономию, а не просто объект для экономических и административных построений; а давно ли...

– Позвольте, однако, вам доложить, что собственно бабы эти... – опять рискнул Дрыгалов, но Глумов и на этот раз не дал ему высказаться.

– Знаю, Терентий Галактионыч, что ты хочешь сказать, и заранее говорю: умолкни! Умолкни, потому что, если ты выскажешь то, что у тебя на языке вертится, – тебе же стыдно будет! Да, господа, стыдно! Стыдно разговаривать, стыдно проводить время... даже жить в иные минуты чувствуется неловко!

– А жить все-таки нужно! – задумчиво отозвалась Поликсена Ивановна.

– Жить нужно для сродственников, для знакомых... вообще для всех нужно жить! – сентенциозно поддержал ее Дрыгалов. – Иван Николаич люди одинокие – вот им и сподручно панафиды-то эти петь!

– Панихиды, а не панафиды, – поправил его Глумов, – который год ты первую гильдию платишь, а по-благородному все-таки говорить не умеешь! А впрочем, ты

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) прав: именно панафида – весь этот разговор наш. И охота тебе, Павел Ермолаич, об таких материях речь заводить! Сидели бы да зубами щелкали – право, с нашего брата предостаточно.

– Ничего, сударь, в канпании отчего ж и не поговорить! – рассудил Дрыгалов, – кабы за нами дело какое стояло – ну, тогда точно что не до разговоров! а то делов никаких нет, время праздничное – никто не забранит, ежели, между прочим, и слово перекинем.

– Так ты и перекидывай, ежели у тебя язык чешется!

– Нет уж, сделайте ваше одолжение, извольте продолжать! всех вы отрекомендовали, так уж и нам, купечеству, аттестат пожалуйте!

– Посмотри на свое пузо – вот тебе и аттестат!

– Пузо, сударь, от пищи, а пища от бога. Нет, вы нам вот что доложите: неужто в нашем купечестве этого духу мало?

– Какого духу?

– А вот хоть бы насчет этих самых обстоятельств.

– А кто от ратничества всеми правдами и неправдами откупается?

– Так ведь это по человечеству-с. Нешто приятно теперича, в самое, можно сказать, горячее время, свой интерес бросать? Или, например, нешто приятно отцу воображать, как над его дитёй свиное ухо надругательство будет делать?

– Дальше!

– А вы насчет пожертвованьев Павлу Ермолаичу доложите. Пожертвования откуда идут?

– Откуда? – из ящичка!

– Да, да, да! – вспомнил и Положилов, – и ты ведь, Терентий Галактионыч, давеча об «ящичке» поминал... Сказывай, что за штука такая?

– Просто общественные деньги, земские, городские – вот они ими и жертвуют, – пояснил за Дрыгалова Глумов.

– Так что ж что общественные! чай, и наших частичка тут есть!

– Ни шелега. Частичку, об которой ты говоришь, совсем не на этот предмет ты внес. Не пожертвовал, а именно внес, потому, что если бы ты по окладному листу не уплатил, так у тебя имущества на соответствующую сумму описали бы. Понимаешь?

– Понимаю, и все-таки...

– Гм... так вот оно что! – молвил Положилов, – а я было на тебя, степенный гражданин, по части одеяльцев для нашего комитета надежды возлагал!

– На этот счет будьте спокойны, Павел Ермолаич. Всем достанет! ежели даже целую армию пожелаете прикрыть – предоставим в лучшем виде!

– Из ящичка?

– Уж там из ящичка ли, из своих ли – будет доставлено!

– То-то, ты у меня смотри: я уж и генеральше пообещал. Ну, и она не прочь походатайствовать за тебя... Только вот не знаю, не испортил ли ты дела тем, что снежничал давеча.

– Помилуйте! что же я такое сделал? – испугался Дрыгалов.

– А помнишь: «только свистните, ваше превосходительство»? а? Разве с высокопоставленными дамами так разговаривают?

– Да, друг, проштрафился ты! «только свистните»! – шутка сказать! – поддразнил и Глумов. – Ты на какой ленте-то ожидал?

– Все бы хоша с черными полосками...

– А теперь и с белыми полосками за глаза довольно. Ах! господа, господа! так вот вы какими средствами патриотические-то огни поддерживаете!

Восклицание это заставило Положилова на минуту смешаться, но он сейчас же, впрочем, поправился.

– Любезный друг, – сказал он, – в настоящее время надо практических результатов достигать, а не миндальничать. Задача предстоит такая: раненым необходимы одеяла – не был ли бы комитет чересчур уж наивен, если бы дождался, пока одеяла с неба спадут?

– Да, да, одеяла... понятно, это – вещь полезная, – согласился Глумов. – Так уж ты вот что, Терентий Галактионич! как будешь одеяла-то готовить, так помни твердо, что солдатик – святой человек, и сделай милость, уж не сфальшивь! Пожертвуй настоящие одеяла, а не то чтоб звание одно. А впрочем, знаешь ли, что я тебе скажу? – вдруг прибавил он, по обыкновению, совсем неожиданно, – ежели действительно тебя почести взманили, так обкорми ты армии и флоты гнилыми сухарями – по гроб жизни счастлив будешь!

– Ах, это ужасно! – нервно откликнулась Поликсена Ивановна.

– За этакое дела, чай, нашего брата не похвалят! – скромно оговорился и Дрыгалов,

– Попробуй! Сказано: солдатик – святой человек, а святые люди разве обижаются? Нынче как на этот предмет глядят? – Святой человек – глупый человек! вот какой нынче разговор просвещенные люди имеют! Всякие злодейства за злодейства признаются: и убийства, и истязания, и грабежи... только вот о промышленных злодействах что-то не слышать... Следовательно... Ах, да давайте же, господа, об чем-нибудь другом говорить! – вдруг крикнул он надтреснутым, болезненным криком, – ну, об чем? об чем, например? Ведь говаривали же мы об чем-нибудь до войны?

Но мы молчали. Я рылся в воспоминаниях и спрашивал себя: о чем, в самом деле, мы до войны говорили? Говорили о короле Луи-Филиппе, о процессах, ознаменовавших его царствование, о Гизо, Тьере; говорили о том, что такое tiers-état,<sup>[66]</sup> и переходили к Мирабо, Робеспьеру, Дантону и к декларации прав человека. Но больше всего говорили о самих себе, о каких-то надеждах, разлетевшихся в прах и оставивших нас между двух стульев. Бесспорно, это были темы очень благодарные, но для того, чтобы развивать их не торопясь, необходимо, чтоб окрест царствовал глубокий мир, чтоб процветала промышленность, чтоб курс на Париж был не ниже 360 сантимов, и чтоб «превратные идеи» появлялись лишь в умеренном количестве, единственно как материал для подновления слишком истрепавшейся разговорной канвы. В настоящую же минуту сюжеты эти оказывались решительно непригодными. Мысль была всецело поглощена одною, специальною темою и решительно отказывалась работать на общечеловеческой почве.

– Вот и Тьер умер! – рискнул наконец кто-то.

– Да, да, да! жил-жил старичина – и помер!

– Теперь у них, пожалуй, на чистоту Мак-Магония пойдет!

– Мак-Магония... Тьер... да! Много старичина в свою жизнь непотребств совершил, а вот какое жестокое время пришло, что и об нем приходится слезы лить!

И опять все смолкли.

– Вот вам, Иван Николаич, известно, – буркнул вдруг Дрыгалов, обращаясь к Глумову, – господин Мак-Магон и господин Базин – одно ли и то же это лицо?

– Ну да; то есть почти... Только один убежал, а другой – остался...

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) – Так-с. А у нас в городе непреходящий заседатель в полицейском управлении есть, Базиным прозывается, так он рассказывает, что этому самому Базину двоюродным племянником приходится... чай, хвастает?

Но вопрос Дрыгалова так и остался без ответа. Увы! даже смерть Тьера не выгорела! Сколько бы в другое время мы по ее поводу разговоров наговорили! а теперь вот сказали два-три слова – и словно законопатили! Чудятся: Плевна, Ловча, Шипкинский проход; слышатся выстрелы, лязг штыков, бряцание сабель и стоны, стоны без конца! Мрет русский мужик, мужик, одевшийся в солдатскую форму, мрет поилец-кормилец русской земли! Не долговязичничает, сидя на печи, не критикует, не побуждает, а прямо несет свою голову навстречу смерти!

Можно ли «разговаривать», когда сердце истекает кровью? Да и об чем? Разве мы что-нибудь знаем? разве мы что-нибудь можем? какую связь мы имеем с этой беспримерной трагедией, которая длится, длится без конца? Откуда вдруг налетел шквал? каким образом составилась сценарий трагедии? что его питает и долго ли будет питать? разве мы что-нибудь знаем?

Как знать, может быть, в ту самую минуту, когда мы на досуге судачим, где-нибудь там, под Казанлыком, под Ени-Загрой, разыгрывается... ах, страшно даже представить себе, что такое там разыгрывается! когда занавес остается бессмысленно поднятым, когда со сцены ни на мгновение не сходит единственное действующее лицо – смерть, можно ли мыслить, можно ли даже ощущать что-нибудь иное, кроме щемящей боли, пронизывающей все существо, убивающей мысль, сдавливающей в горле вопль, готовый вылететь из груди?

– Вот и Гамбетта на три месяца в кутузку засажен... – опять было начал кто-то.

И все окончательно смолкло.

К счастью, обед приходил к концу: атмосфера столовой слишком уж обострилась; ощущалась настоятельная потребность переменить ее.

Но и в кабинете Положилова, куда мы перешли, чувствовалось не легче. Мы расселись по углам и молчали, словно какая-то тупая враждебность овладела всеми. Только Рогаткин и Дрыгалов – первый в качестве будущего исполнителя предначертаний, второй в качестве жертвователя – вполголоса толковали о том, какие должны быть одеяла.

– Я думаю, аршина два длины достаточно будет? – робко выпытывал Дрыгалов, в надежде, что молодой человек, по неопытности, не заметил его жертвовательской проделки.

– Непременно еще пол-аршина прикинь! – крикнул ему Глузов и, обратись к Рогаткину, прибавил: – Вы, молодой человек, шаг за шагом за ним следите, а то как раз...

Дольше оставаться было незачем.

Таким образом, обычная воскресная программа осталась невыполненной, и, что всего прискорбнее, трудно было и в будущем предвидеть какие-либо отрядные улучшения в этом смысле. Карты не радовали, разговоры пресеклись. В таком сером настроении пройдет, вероятно, целая длинная зима. На дворе уже становится жутко от холода, с шести часов начинаются сумерки, дождь льет с утра до вечера – как будем мы коротать бесконечные осенние вечера? Придется ходить из угла в угол и думать... об чем думать? об том, что нам и думать-то не об чем! Какая, однако ж, странная, почти страшная вещь!

Да, Глузов так-таки и утверждает, что нам думать и незачем, и не об чем. Он уверяет, что ни сочувствие, ни несочувствие наше, ни критики, ни панегирики – ничто не идет в счет, что все наши суждения и речи – кимвал бряцающий, что мы не можем быть ни искренними, ни правдивыми, что всякая наша попытка отнестись критически к злобе дня отзывается или самохвальством, или ложью, что, наконец, у нас нутро выгорело, как у старой печки, отслужившей свой век... Положим, что он, по обыкновению своему, преувеличивает; но ежели есть даже частичка правды в его словах – разве это не ужасно? Разве не ужасно уже и то, что человеку может казаться подобная безотрадная картина?

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
А частичка правды наверное есть. В самом деле, кому нужны не только мнения наши, но даже сочувствие и панегирики? Ни силы не слышится в них, ни опоры они никому не могут дать – какая же надобность видеть в них что-нибудь иное, кроме назойливого желания подслужиться или, много-много, оградить себя от каких-то загадочных угроз? Никто наших сочувствий не ищет, никто не утешается ими; что же касается до наших критик, то всему миру известно, что мы такую особенную манеру протестовать и критиковать выработали, которая бросается в нос крепче всякого панегирика.

Празднословие, праздношатательство, амуры и погоня за наживой – вот единственные жизненные основы, которые завещаны нам прошлым и которые мы можем назвать вполне своими, вполне конкретными. Спрашивается: прочны ли они? Очень возможно, что если бы они могли длиться без конца, то мы сочли бы себя вполне удовлетворенными; но в том-то и дело, что на бесконечность срывания цветов удовольствия даже самые легкомысленные из нас нынче уж не рассчитывают... Поэтому, хотя люди и продолжают следовать по завещанной колее, но делают это поневоле, потому что идти больше некуда, и в то же время отлично сознают, что это – жизнь, висящая на волоске, и что пользоваться подобным существованием, жуировать, может только тот, кто упорно закрывает глаза всякий раз, как промелькнет перед ним призрак будущего. А призрак этот начинает мелькать как-то особенно назойливо.

С каждым днем, все больше и больше погружаясь в пучину отчужденности, мы мало-помалу доходим до положения эмигрантов, у которых нет ничего, кроме местожительства да ревнивого полицейского надзора. Нет у нас ни белого, ни черного труда, нет ничего побуждающего к деятельности, напоминающего о кровном, своем деле... Есть только интересы мелких удобств, да и те не от нас зависят, а от разных учреждений и лиц, с которыми мы ничем внутренне не связаны. Ничего нет, кроме массы праздного времени. А жить между тем надобно. Ужели только «для сродственников и знакомых», как объяснял давеча купец Дрыгалов?

Такова, как мне кажется, внутренняя сущность давешних глумовских речей. Говоря по совести, лично я даже не имею ни малейшего основания что-либо возражать против них. В самом деле, что такое вся моя собственная жизнь, как не приличное прозябание, с обязательным аккомпанементом систематического воздержания от жизни? Всегда мы шли с Глумовым об руку по одной и той же колее, с унынием относясь к прошлому, с брезгливостью – к настоящему, с недоумением – к будущему. Что нами руководило при этом совершенно искреннее сознание полнейшей безнадежности каких бы то ни было усилий, что мы не рисовались, не кобенились – в этом может служить порукою хоть бы то, что мы, после долгого странствования по прозябательному рецепту, все-таки пришли к тому самому пункту, из которого и отправились, то есть к унынию. Да, не весело-таки нам живется, господа! право, не весело!

Итак, с личной точки зрения, мы правы, и даже, может быть, и не с личной только, но и с точки зрения действительного положения вещей. Но правы ли мы, обобщая заключения, вынесенные нами из жизненных наблюдений? правы ли мы, выводя из этих наблюдений такие практические применения, которые даже самому упорному индифферентизму вынести не в силах и которые, стало быть, и практически в строгом смысле, названы быть не могут? По обыкновению, я и на этот вопрос не мог ответить категорическим да или нет, но, под влиянием впечатлений дня, что-то хоть смутно, но подсказывало мне: нет, мы не правы...

Как ни забит человек, как ни ясно для него самого, что он и бесполезен, и бессилён, и беззащитен, все-таки остается еще убедить его, что самая приличная для него форма существования – это прозябание. Но тут-то именно и окажутся бессильными все логические доказательства. Никакая забитость, никакое сознание собственного бессилия не убедит человека, что он должен отказаться от прирожденного ему права быть судьей среды, в которой он живет, и дел, которые совершаются перед его глазами. Допустим, что в данном случае отказ и действительно был бы очень приличен, но что же такое вопрос о приличиях там, где решающее слово принадлежит самой природе человека?

Да, и в тюрьме есть доступ в область общечеловеческой мысли и в область общечеловеческого чувства! и в тюрьме трепещет мысль, горит сердце, кипит кровь! Даже там, где в силу всевозможных уставов и правил жизнь уже прекращает свое действие, где, по-видимому, уже нет ничего своего, оно все-таки есть, это свое, и никакие запреты не сильны сказать ему: остановись! не иди дальше этой двери! Это свое неотступно идет за человеком, куда бы ни бросила его неумолимая судьба;

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) оно разделяет с ним и узы, и заключение, оно освещает для него смрадный каменный мешок, в котором он осужден нести иго жизни...

Сознавать свое существование лишним, видеть себя навсегда осужденным, стоять перед замкнутой дверью – конечно, ужасно; но и это не исключает ни законности, ни возможности волнений негодования и любви. Что нужды, что порывы мысли и чувства бесследно пропадут в какой-то бессмысленной пропасти, – человек все-таки будет негодовать и любить ради самого себя, ради того, что этого требует сама природа его. Есть много простых и честных натур, которых судьба с жестокою последовательностью отменяет от жизни и которые, несмотря на бесчисленные удары, все-таки льнут к ней. И льнут не во имя благ, которыми она так обильна, а во имя страданий, которых у нее тоже непочатый край. И кто же знает – быть может, когда-нибудь они и прильнут?.. Как требовать от этих людей какой-то приличной сдержанности, какого-то благородного прозябания, во имя того только, что эта сдержанность и прозябание заключают в себе косвенный протест против неправильностей жизни?

Даже и мы, теоретики приличного прозябания, разве мы не волнуемся, не негодуем, не любим, несмотря на теории, несмотря даже на неопровержимые свидетельства фактов?

Таковы были мысли, которые невольно шевелились во мне, покуда я шел вместе с Глумовым от Положиловых. Несмотря на сравнительно ранний час, Разъезжая была совсем пустынна, так что если бы судить по ней, то можно было бы думать, что город совсем брошен. Масса серых облаков, казалось, висела над самыми крышами домов и без перерыва сеяла мелкий дождь. Бесконечное ненастье давило; глаза искали просвета и не находили. Везде все заперто, заколочено, как и в этой постылой жизни, в которой, как ни стучись, как ни зови, нигде ни до чего не достучишься и не дозовешься...

– А ты не совсем-таки прав! – сказал я наконец Глумову после довольно продолжительного молчания.

– Не только не совсем, а даже и совсем не прав, – ответил он мне.

– Ты не принял в соображение многих обстоятельств. Так, например...

– И примеры знаю.

– Нельзя рекомендовать людям прозябание, как приличнейшую форму существования, даже в тех случаях, когда они и подлинно сознают, что всякий деятельный порыв с их стороны бесполезен?

– Нельзя.

– Нельзя сказать человеку: не негодуй, не люби, когда сама природа вырывает из его груди слова негодования и любви?

– Нельзя.

– Что же сей сон значит?

– А то и значит, что мы живем среди четырех глухих стен, в которых нет ни двери, чтоб выйти, ни окна, чтоб выброситься на мостовую. В этом тесном пространстве всякий прав и всякий не прав... за собственный счет. Как можно требовать от мысли, чтоб она работала правильно, когда кругом царит кромешная тьма? Когда нельзя отличить надежды от отчаяния, лекарства от отравы? Я знаю, что заставить человека не мыслить, не волноваться, не негодовать, не любить – нельзя; но я знаю также, что рядом с этим «нельзя» стоит отравка, гласящая: бесплодно! Стоя между этими двумя одинаково конкретными фактами, как я могу быть правым или неправым?

– Но ведь если ты хочешь, чтоб общество развивалось, то уж, конечно, не с помощью теории приличного прозябания ты достигнешь...

– Знаю и это. Но слушай! будь друг! прекратим этот разговор! До крови больно – человек ведь и я! Я соглашусь, что всякий имеет право волноваться, любить, негодовать и вообще поступать по-человечески... Но трудно это, голубчик, ах, как

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) трудно! Ведь по-человечески-то поступать только за свой счет можно, а много ли таких храбрецов! Большинство-то ведь только кобенится да грацию показывает – ужели и это тоже «право»? Или же двоедушничает – вот как наш друг Павел Ермолаич. Я ведь до сих пор думал, что душа-то у него человеческая, а она, выходит, куриная. Беден он, семейством угнетен – пусть так; но неужто же нельзя вести себя прилично, неужто нельзя без семи комитетов обойтись? Баста! с нынешнего дня я ни об чем другом не говорю, кроме как о Гамбетте. Как ты думаешь, будет во Франции переворот?

Вопрос этот был сделан при повороте на Вознесенский проспект, как вдруг из-за угла на нас что-то стремительно наскочило. Вглядываемся: сам Балалайкин собственной персоной!

– Куда? Зачем?

– На войну, господа, еду!

Я, признаюсь, хотел было поздравить его с таким благородным решением, думая, что вот и Балалайку, стало быть, за живое зацепило, коль скоро кровь проливать идет; но Глумов оказался и тут пронизательнее меня.

– Гешефт нашел? – спросил он кратко.

– Наши там... сухари... галеты... по сту тысяч в сутки зарабатывают... зовут!

– То-то ты так и запыхался – бежишь... курицын сын!

Но Балалайкин не слышал, или притворился, что не слышал этой апострофы, и продолжал бормотать:

– Сухари... галеты... а притом и народ мрет... Наследства открываются: по закону, по завещанию... всех сортов... Опять же и долговые обязательства... охранение имущества... пропасть дела, пропасть! Только поспевай!

## II

Едва еще было девять часов утра, как я был пробужден сильным звонком, раздавшимся в передней. Вслед за тем до слуха моего донеслись переговоры и пререкания, а через минуту я уже знал, что господин Балалайкин настоятельно требует видеть меня по крайне нужному делу.

– Свободные деньги есть? – так-таки прямо и оборвал он меня, как только я вошел в кабинет.

Он расположился у меня как свой человек, то есть забрался на кушетку с ногами и с невыразимую наглостью покуривал сигару, осыпая пеплом ковер и обивку мебели.

Вопрос о деньгах, признаюсь, несколько смутил меня. Капитал у меня хоть и небольшой, но есть. Как истинно культурный русский человек, я давно понял, что всякие недвижимости, до которых, под прикрытием крепостного права, так падки были наши отцы, могут, на будущее время, служить лишь к обременению, и потому довольно ходко совершил ликвидацию суходолов и мокрых мест, составлявших совокупность полученного мною отцовского наследия. Результатом этой ликвидации был капитал, часть которого я, в свою очередь, тоже ликвидировал в увеселительных заведениях обеих столиц, но, на мое счастье, нашлись добрые люди, которые вовремя остановили меня от дальнейшей ликвидации. С тех пор я окончательно сосчитался с собой, спрятал остатки капитала в надежное место и... ожесточился. Вздрагиваю всякий раз, когда кто-нибудь при мне начинает разговаривать об отсутствии в русских духа предприимчивости, и невольно бледнею при мысли: а что, ежели явится оболъститель и отнимет у меня мои деньги?

Да и денег-то ведь немного... ах, как немного! именно в обрез, столько, сколько нужно, чтоб обеспечить человеку возможность жить, раскладывая гранпасьянс и не трепеща от ужаса при мысли о завтрашнем дне. Все у меня рассчитано заранее: сколько можно истратить в день на извозчика, на еду, на папиросы, на прачку и проч. Следовательно, унеси у меня сегодня кто-нибудь тысячу рублей, то я немедленно завтра же почувствую, что в моем годовом бюджете последовала убыль в пятьдесят – шестьдесят рублей. А как только унеси тысячу, то за нею непременно последует другая, третья, четвертая – это уж я знаю по опыту. Стоит только раз

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru сойти со стези непреклонности, а затем – пиши пропало! Поэтому я даже другу моему, Глумову, никогда о капиталах моих не говорю – все думаю: а вдруг попросит! И он мне о своих капиталах не говорит, – тоже, конечно, думает: а вдруг попросит! Молчок – святое дело. Ибо ежели, с одной стороны, в человеке нет решимости сделаться червонным валетом, а с другой стороны – не предвидится и иных путей для «получений», то понятное дело, что вся его мысль исключительно поглощается одним предметом: охранением тайны существования наследственных четвертаков и пятиалтынных от нескромной любознательности посторонних лиц. Подумайте! ведь на этих пятиалтынных зиждется все благополучие современного культурного русского человека! ведь человек этот все еще не утратил вкуса к жизни, хотя и не может дать себе отчета, чего ему от нее надобно.

– Деньги? какие же могут быть у меня деньги? – отвечал я, усиливаясь придать моему голосу тон непринужденности, но в то же время чувствуя, что внутри у меня все дрожит.

– Рассказывайте! живете же чем-нибудь!

– Конечно, живу... Какой вы, однако, наглый, Балалайкин! Вам недостаточно знать, что человек живет – нет, вы непременно хотите доискаться, на чей счет он живет, сколько тратит, делает ли долги или, напротив, откладывает сбережения для приобретения бумаг, дающих небольшой, но зато верный доход.

– Совсем я этого знать не желаю; я просто спрашиваю: есть ли у вас свободные деньги, потому что мне нужно.

– Нужно! – а это разве не наглость! Вам – нужно, а мне, может, совсем не нужно, чтоб вы знали. Нет, это уж такая привычка у вас пошлая: не можете вы мимо человека пройти, чтоб не заглянуть, что у него в кармане! Нужно, извольте видеть, ему знать... нужно!

– Да уверяю вас: нужно!

Настойчивость эта рассердила меня еще пуще. Не говоря ни слова, я присел к письменному столу с твердою решимостью оставаться глухим к каким бы то ни было обольщениям.

– А я бы хороший процент дал! – продолжал Балалайкин, располагаясь на кушетке как можно комфортабельнее и даже потягиваясь.

Я молчу.

– Например, два процента в месяц... и с гарантией, что в этом размере течение процентов будет продолжаться не менее года.

Прежнее молчание с моей стороны – и выжидательный зевок со стороны Балалайкина.

– А возможно и так: половина всех прибылей предприятия с гарантией минимума, например, в размере двадцати четырех процентов.

В таком вкусе делятся краткие монологи минут десять. Приносят два стакана чаю: для меня и для Балалайкина. Я беру свой стакан и отсылаю другой, говоря, что Балалайкин может и без чаю остаться. Но он и этим не понимается.

– А я бы стакан выпил, – говорит он, – впрочем... Так вот что, голубчик: три процента в месяц с учетом вперед за целый год. *C'est à prendre ou à laisser!* [67]

– Слушайте, Балалайкин! – не выдерживаю я, – ежели вы не прекратите этого разговора – клянусь, я пошлю за городовым!

– Что же, и городовой всякий скажет, что мое предприятие верное. И не только верное, но и... патриотическое... да!

– Вы – патриот! – вскрикиваю я вне себя от гнева и боли, – вы, Балалайкин... вы! Вы – побочный сын не то Репетилова, не то Удушьева... Вы – поставщик самых достоверных лжесвидетелей... ах!

– И все-таки я повторяю: предприятие мое не только верное, но и патриотическое...

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) да! А обстоятельство, что я – побочный сын, не имеет к делу никакого отношения, и я даже удивляюсь, что человек образованный и в некотором роде даже либерал... Впрочем, я не желаю оставаться на почве инкриминаций, а повторяю: мое предприятие верное и патриотическое... да! И я охотно предложил бы на выбор: или принять непосредственное участие в деле, или ссудить меня деньгами за хороший процент!

Я смотрел и не верил глазам. Поток брани, который я в горячах вылил на него (я даже сам упрекал себя: с какой стати я об Репетилове и Удушьеве напомнил), не только не заставил его покраснеть или поколебаться, но, по-видимому, даже оказал на него как бы укрепляющее действие.

– Я уже был по этому делу сегодня с визитом у господина Глумова, – продолжал он совершенно спокойно.

– Врете вы! уж одно то, что только теперь бьет девять часов, доказывает...

– Был-с. И даже входил в соглашение...

– Которое, конечно, кончилось тем, что Глумов предложил вам оставить его квартиру...

– Нет-с, господин Глумов обещал подумать...

Я в волнении ходил по комнате.

Вот тварь, – думалось мне, – которая впилась в мое существование и от которой я ни под каким видом отцепиться не могу! Какой-то фатализм тяготеет надо мной относительно Балалайкина – фатализм, воспринявший начало еще в то время, когда я верил в искренность и либерализм Ипполита Маркельча Удушьева. Я помню: это было лет двадцать тому назад. Я сгорал жадной подвига, который, по тогдашнему времени, заключался в том, чтоб такую статейку тиснуть, в которой бы не только цензура, но и сам черт ногу переломил. Но прежде нежели приступить к выполнению подвига, нужно было, чтоб кто-нибудь из старых воробьев благословил на него. В то время всех благословлял Удушьев. Его только что откуда-то возвратили, и Москва, в которой он поселился, с благоговейным вниманием прислушивалась к его речениям. Я нарочно поехал в Москву из Петербурга и не без труда добился доступа к Удушьеву. Он принял меня важно: в халате и полулежа в длинном кресле. Это был старик бодрый, громадного роста, несколько тучный и румяный; масса седых кудрей венчала его словно ореолом. В его глазах беспрерывно вспыхивал огонь («я старый крамольник, – говорил он, – хотя сознаюсь, что в настоящее время для крамольничества нет пищи!»), а говорил он плавно, размеренно, начав собеседование важным дактилем и незаметно перейдя в игривый анапест. Часто ссылался на свой «Взгляд и нечто» и, чтоб сделать эти ссылки более доступными, подкреплял их цитатами из водевилей Репетилова. Теперь я понимаю, что в речах его ничего не было, кроме смеси самого обыкновенного риторического лганья с водевильным легкомыслием; но тогда казалось, что это именно и есть язык, приличествующий глубокому убеждению, смягченному привычками благовоспитанности. Странная вещь! этот человек довольно-таки вытерпел, многое видел в жизни, многое мог лично наблюдать – и за всем тем был до того полон отрывками из «Взгляда и нечто», что десятки лет, казалось, прошли мимо, не изменивши ни одной строки в этом загадочном *profession de foi*. [68] По-видимому, он интересовался и новой русской литературой, но преимущественно театром, причем – такова жизненность репетиловских преданий! – одобрял Ленского и Кони и сдержанно относился к Островскому.

– Островский интересен! – отозвался он, – да... это несомненно: он интересен! но мой почтеннейший друг Михайло Семенович (актер Щепкин) недаром говорит, что со времени его появления русская сцена пропахла овчинным полушубком!

Одною из особенностей этого свидания было то, что покуда Удушьев на тысячу ладов перефразировал передо мной свой «Взгляд и нечто», в комнате наявливо копошился не совсем опрятный, но вороватый мальчишка, который делал мне тысячи надоедливых пакостей: с разбегу кидался мне в ноги, карабкался на спинку кресла, в котором я сидел, теребил меня сзади за волосы и проч. И вот, когда началось «благословение», Удушьев, возложив обе руки на мою голову, подозвал к себе и вороватого мальчишку.

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru – Балалайкин! преклони колена! – сказал он, торжественно указывая на меня, – запомни черты этого многообещающего юноши, ибо он – мой продолжатель! А вы, – продолжал он, обращаясь ко мне, – рукоположите, в свою очередь, этого отрока. Он будет – вашим продолжателем!

Затем он слегка приподнялся в кресле, дрожащим голосом пропел куплет из «Стряпчего под столом» – и церемониал был выполнен. Но когда я откланивался, то на прощание он счел долгом вновь напомнить мне о Балалайкине.

– Поберегите его! – сказал он мне, – бог знает, долго ли я проживу, а между тем... Балалайкин – это последний отпрыск единственного человека, который в совершенстве понимал меня! Он – побочный сын Репетилова и Стешки... знаменитой Стешки... ах, бестия, как она заливалась в «Настасье»! Ее голос – покрывал весь хор!

Разумеется, я должен был обещать, и вот с этих-то пор Балалайкин впился в мое существование. Изгнанный из лица Каткова за крамольно-легкомысленное отношение к латинской грамматике, он явился в Петербург юношей полным надежд и самым бесцеремонным образом потребовал, чтоб я его поддержал. Я отнесся к нему очень приветливо и тотчас же определил в департамент «Напрасных Тревог»; а когда ему там не понравилось, то в течение одного года последовательно переводил его в четыре другие департамента, из коих последним был департамент «Возбуждения вопросов и Оставления таковых без разрешения». Но он нигде не уживался, ленился, манкировал, не мог путно двух строк написать и, что всего важнее, однажды, во время доклада, во всеуслышание пропел «La chose» [69] и тем произвел волнение среди департаментских чиновников, которые, с вице-директором во главе, бросив занятия, начали ему подпевать. С тех пор он окончательно повис у меня на шее, и сколько двугривенных и четвертаков передавал я ему – так и теперь встают дыбом волосы, когда я вспоминаю об этом! Я не говорю, чтоб я смиренно переносил его нахальство – нет: очень часто я даже объяснялся с ним на самом чистейшем русском диалекте, но он не только не смущался этим, но даже с каждым подобным объяснением как бы усугублял свою привязанность ко мне. Придет, бывало, дернет во всю мочь за звонок, устранил слугу, ежели последний вздумает попрепятствовать ему войти в переднюю, и ворвется.

– Прикажете-ка, папенька-крестный, – скажет, – извозчику за меня заплатить, да кстати уж каминчик бы затопить, да котлеточку... Иззяб и проголодался... смерть!

Только тогда я вздохнул свободно, когда был объявлен скорый и правый суд. Найдя в нем приют в качестве адвоката, Балалайкин, с свойственной легкомыслию неблагодарностью, тотчас прекратил свои посещения ко мне, чем я, впрочем, не только не опечалился, но даже втайне ласкал себя надеждой, что теперь-то уж непременно сошлют его на поселение, ибо в противном случае какое же значение имел бы милостивый суд?

И вдруг этот человек снова становится на моем пути и требует у меня – чего? – уж не просто двугривенного или пятиалтынного, чтоб заплатить за извозчика, а... капитала!!

– Все-то вы врете! – сказал я, – никогда Глумов не обещал, да и не мог обещать вам подумать. На вас достаточно взглянуть, чтоб сейчас же дать ответ на всякий вопрос, который вы предложите!

– Будто уж у меня такая открытая физиономия?

– У вас физиономия... у вас, я вам скажу, такая физиономия...

– Не продолжайте. И все-таки я вам говорю правду: господин Глумов не только обещал подумать, но даже прямо выразился: «предприятие ваше несомненно выгодное, но прежде все-таки надо сообразить, какого сорта вознаграждения следует за него ожидать».

– Ну, да... конечно, так! то есть, дивиденда или трéпки!

– А я, напротив, уверен, что господин Глумов хотел сказать совсем другое, а именно: так как предприятие хотя и несомненно выгодно, но все-таки сопряжено с риском, то сообразно с этим должно быть определено и вознаграждение. Как человек осмотрительный, он не бросился в предприятие сразу, но пожелал предварительно

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) сообразить размер процента, основательно взвесивши все шансы pro и contra...[70]

Ответ этот заставил меня несколько поколебаться. Конечно, я понимал, что Балалайкин лжет, но ссылка на осмотрительность и сообразительность Глумова все-таки заключала в себе некоторое правдоподобие. Действительно, я и Глумов (а может быть, и большинство наших сверстников вообще) не имеем недостатка ни в осмотрительности, ни в сообразительности, чему наглядным доказательством служит уже одно то, что мы, несмотря на крамольный дух, находимся только на замечании, но живота не лишены. Конечно, мы кассы гласных ссуд не откроем, но что касается до того, чтоб получить хороший процент, и ежели притом благородно и для всех безобидно...

– Да что ж это за предприятие наконец? – спросил я, значительно смягчаясь.

– Отбивать не будете?

– Балалайкин! вы сошли с ума!

– Хорошо, я вам верю. Итак, вот что: на днях я очень дешево присмотрел партию килек...

Он пристально взглянул на меня, словно наслаждаясь чувством недоумения, которое выразило мое лицо.

– Кильки ревелъские, настоящие, – продолжал он, – с запашком, правда – ну, да ведь *à la guerre comme à la guerre*. [71]

– Ну?

– Присмотрел я партию в сто тысяч банок. Мы покупаем здесь, в лавках, банку по восьмидесяти копеек, а мне один из моих клиентов уступает банку по пятнадцати копеек, то есть, собственно говоря, возвращает себе лишь ценность стекла.

– Черт знает, что вы городите!

– Делает он такую значительную уступку, разумеется, преимущественно потому, что, как я уже сказал, кильки выдержаны, с запашком. Но, во-первых, ежели продавать кильки в банках, то и в мирное время этот недостаток будет замечен лишь по откупорке, а, во-вторых, на поле битвы, когда люди едят урывками, воин, конечно...

– Ах, да уйдите вы от меня, Христа ради!

– Выслушайте, прошу вас, до конца. Когда мне было сделано предложение о покупке упомянутой партии килек, то у меня, натурально, сейчас же блеснула в голове мысль, что килька должна сыграть на Дунае большую роль. В настоящее время, как это подтверждают корреспонденты всех русских газет, в нашей армии ни в чем не ощущается такого существенного недостатка, как в закусках. Подметив этот факт, я прежде всего остановил свой взор на сардинке; но куда я входил в сношения по этому предмету, всю свободную сардинку уже скупил Новосельский, который уже недреманным оком следил за газетными корреспонденциями. Затем я долгое время блуждал между икрой, балыком и сыром, куда счастливая случайность не натолкнула меня на кильку. Как вы думаете, сколько килек заключается в каждой банке?

– Не считал, не знаю.

– А я считал: ровно сто шестьдесят три. Тогда как в коробке сардинок, стоящей столько же, сколько и целая банка килек, помещается не больше пятнадцати рыбок. Теперь резюмируем нашу мысль. Получив единственный в своем роде случай приобрести за ничто громадную партию килек, мы имеем возможность не только конкурировать с сардиной Новосельского, но и положительнейшим образом убить ее. Как ни велик патриотизм Новосельского, но он, как ни вертись, не может отпустить свою сардину дешевле, как по шести копеек за штуку, тогда как мы, даже принимая за норму цены, существующие на кильку в петербургских лавках, имеем полную возможность за копейку предложить потребителю две штуки отличнейшей в мире закуски! Ясно, что нашу закуску с удовольствием купит даже солдат, тогда как над закуской Новосельского по временам задумается и армейский офицер. Но я иду дальше; рядом неопровержимых доводов я докажу вам, что нашу закуску,

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) преимущественно перед закуской Новосельского, приобретет не только недостаточный чин армии и флотов, но и баловень фортуны, гвардейский офицер. И не потому только, что она дешевле, а потому, что она лучше. Делая в течение десяти дней самые тщательные опыты над сардинкой и килькой, как с точки зрения вкусового ощущения, доставляемого этими рыбами, так и со стороны сравнительного влияния их на физический и духовный организм человека, я пришел к следующим неопровержимым выводам. Сардинка, будучи приготовлена на масле, имеет вкус пресный и потому скоро приедается, тогда как килька, сдобренная перцем и лавровым листом, – никогда! В военное время это очень важно! На войне, господа судьи (Балалайкин вдруг встал и простер руки, вообразив, что он произносит на суде защитительную речь), разнообразие закусок – вещь очень желательная, но достижимая ли – это еще вопрос. Это – идеал, к которому будут вечно устремляться все помыслы заботливых военачальников, но идеал, которому, смело могу сказать, никогда не суждено осуществиться. Под градом пуль и гранат, в виду устремляющейся со всех сторон смерти, не столько важно разнообразие закуски, сколько неприедаемость ее. На этой незыблемой основе покоится изобретение гороховой колбасы, и этим же свойством в высшей степени обладает – килька!! Она имеет ту же манность, как и сардинка, но вместе с тем обладает задержкою, в виде продольной кости, которая положительно препятствует переходу манности в приторность. Мало того: килька не притупляет вкусовых органов, как сардинка, но действует на них возбуждающим и, так сказать, развивающим образом. Съешьте одну сардинку – и с вас достаточно; съешьте кильку – и вам захочется съесть еще пять, десять, сто, тысячу килек! Таковы, милостивые государи, результаты моих наблюдений с точки зрения непосредственно вкусовой. Что же касается до сравнительного влияния сардинки и кильки на физический и духовный организм человека, то наблюдения мои могут быть выражены в следующих немногих, но решительных выводах: 1) сардинка, даже при умеренном употреблении, производит отяжеление в желудке, тогда как килька подстрекает желудок к новой и новой деятельности; 2) производя отяжеление физическое, сардинка сообщает вялость и умственным отправлениям человека, вливает яд сомнения и нерешительности в его действия, тогда как килька – веселит и одушевляет человека жаждою славы и подвигов... Вот, милостивые государи, не фантастические, но вполне осязательные основания, которые заставляют меня прозревать в недалеком будущем несомненную победу кильки над сардинкой, несмотря на патриотические усилия г. Новосельского сделать последнюю обязательною закуской русских воинов на все время достославной борьбы за независимость единовременных и единокровных нам славян. Представьте же себе теперь...

Он вдруг поперхнулся и выпучил глаза. Ни судей, ни присяжных, ни публики – никого перед ним не было. Несколько минут он стоял в изумлении, припоминая, каким образом он очутился в моей квартире и что собственно заставило его произнести вдохновенную речь в защиту кильки. Наконец он припомнил.

– Я, кажется, увлекся, – сказал он, – но все равно. Высказанные мной сейчас основания настолько верны, что едва ли вы найдете возможным опровергнуть их. Теперь остается доказать самое существенное: то есть определить ожидаемую от предприятия прибыль. По-моему, это очень просто. Употребивши на приобретение ста тысяч банок килек пятнадцать тысяч рублей, предприятие, в каких-нибудь два-три месяца, учетверяет свой капитал... где, спрашиваю я вас, в какой стране возможно столь быстрое и притом ни с чем несообразное накопление богатств?

Он обратил на меня взор, полный легкомысленной уверенности, что нарисованная им перспектива заставит меня немедленно вынуть из кармана ключ. Но увы! я уже охладел...

– Быть может, вам недостаточно этих соображений, и вы ожидаете от меня дальнейших, – вновь начал он, – извольте, есть и дальнейшие. Во-первых, не следует упускать из вида, что в настоящий момент на Дунае все расплаты производятся не кредитными рублями, а на звонкую монету. Следовательно, покупая банку килек за восемь гривенников, воин, собственно говоря, уплатит нам не восемь гривенников, а рубль двадцать копеек, что делает будущность, ожидающую предприятие, еще более блестящею. Во-вторых, учетверив в течение двух-трех месяцев свой первоначальный фонд, предприятие может продолжать операцию дальше, то есть не только наводнить килькою поля битв, но и накормить ею болгар, герцеговинцев, черногорцев и вообще всех борющихся за святое дело свободы и независимости. В-третьих, предприятие, независимо от громадных материальных выгод, наверно будет пользоваться в глазах начальства и патриотического окраской. Конечно, мы приобретаем кильку почти задаром, но ведь это известно только нам; в глазах же целого мира будет стоять тот непререкаемый факт, что мы

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) банку килек, стоящую в Петербурге (то есть почти в самом месте ее производства) восемьдесят копеек, за те же восемьдесят копеек продаем на Дунае! И пространство, и время, и даже законные проценты на затраченный капитал – все принесено нами на алтарь любви к отечеству! Ужели это не величественное зрелище! И заметьте: мы ничего не просим; мы не выговариваем в свою пользу даже тех десяти процентов, которые получают Коган, Горвиц, Греггер и компания; мы потребуем только одного: дайте простор нашей кильке, не стесняйте естественное распространение ее в среде русских воинов! Разумеется, если Новосельский примет явно насильственные меры, чтоб подчинить нашу вкусную и вполне приспособленную к военным обстоятельствам закуску своей нецелесообразной и вредно действующей на дух войск сардинке – тогда... ну, тогда окажите нам защиту... но только защиту! Ужели и этого много?

Он вновь обратил ко мне молящие взоры; но я продолжал оставаться безучастным и холодным. Мало того: я решился сразу и окончательно высказаться.

– Послушайте, Балалайкин, – сказал я, – я одному удивляюсь, как это вам не приходит в голову: а что, если меня за такие проекты возьмут да повесят?

– Этот вопрос уже был мне предложен господином Глумовым, – ответил он, – да, впрочем, я и сам имел его в виду, когда обсуждал шансы предприятия.

– Вот видите! стало быть, вы уж и сами догадывались, что предприятие ваше совсем не такое патриотическое, каким вы его хотите представить теперь.

– Нет, я не догадывался, а просто рассчитывал и соображал. Так как в военное время возможны всякого рода недоразумения, то весьма естественно, что я принимал во внимание и шанс быть повешенным.

– И, разумеется, по строгом размышлении, пришли к убеждению...

– Что вешать решительно не за что. Вот если бы я распространял превратные идеи – ну, тогда не спорю... Но килька и притом по такой дешевой цене...

– Балалайкин! вы слишком снисходительны к себе! Подумайте, ведь вы сами только что выразились – и, по-моему, чересчур даже деликатно, – что ваши кильки с запашком, а на деле – то они должны быть просто – на просто протухлые. Я не спорю, ваш проект основан на такой мизерной частности, что назвать его злодейством, в строгом смысле, нельзя; но ежели вы и не заслуживаете названия злодея, то совсем не потому, чтобы у вас не было доброй воли сделаться им, а потому, что на изобретение настоящего злодейства у вас не хватит ни смелости, ни воображения. Переступите одну черту, только одну черту – и вы единогласно приговорены! Ведь вы уж примирились с мыслью, что воины «второпях» могут гнилые кильки глотать (на этой «мысли» вертится весь наш проект): отчего же не примириться и с тем, например, что те же воины «второпях» могут гнилыми сухарями довольствоваться? Вы скажете, быть может, что эта мысль уже предвосхищена и по мере возможности приводится в исполнение. Прекрасно! На это я могу ответить вам следующее: изобретатели гнилых сухарей, конечно, в более или менее близком будущем не избежат должного возмездия – по крайней мере, вся образованная Россия с надеждой ожидает этого, – но и вам, злодею мелкому, все-таки следует отнестись к себе строже и спросить себя: не будет ли виселица лишь слабым вознаграждением за вашу прожектерскую деятельность?

Балалайкин на минуту задумался и даже инстинктивно потер рукою шею, словно ощущая на ней присутствие веревки. Но сейчас же вслед за этим он уже смотрел по-прежнему бодро.

– Итак, вы возбуждаете вопрос об уголовном возмездии...

– Я, собственно, ничего не возбуждаю; но думаю, что вопрос этот возникает сам собою, силою вещей, как возникло, например, дело московского учетного банка.

– И кончилось тем, что Струсберг препровожден за границу, а Ландау сам туда бежал... Моралист! – пошутил он уж совсем весело.

– Моралист – пожалуй. И даже неудачный – согласен и на это. Но вот в чем дело. Давеча у меня сорвалось с языка напоминание о том, что вы – сын Репетилова. Что я поступил и этом случае более нежели опрометчиво – в этом я сознаюсь вполне

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) искренно. Но теперь я даже вдвойне сознаю свою опрометчивость, потому что Репетилов – ведь это что же такое? Репетилов, это – идеал душевной опрятности; Репетилов, это – человек без упрека... разумеется, говоря не абсолютно, а| сравнительно. Репетилов легкомыслен, назойлив и даже, пожалуй, противен, но все-таки вряд ли кому-либо из его сверстников могло прийти на мысль сказать при взгляде на него: вот человек, которого действительно нужно повесить. Подобный приговор был бы и жесток и несправедлив, потому что преступления, совершаемые Репетиловыми, таковы, что щелчок в нос служит вполне достаточной для них оценкой. Теперь сравните же... но нет! Ах, Балалайкины! если бы вы могли сделаться Репетиловым вполне – как бы это было хорошо, и как бы я был счастлив за вас!

Покуда я отчеканивал эту проповедь, Балалайкины смотрели на меня пристально, но совершенно безучастно. Вряд ли даже он слышал что-нибудь из высказанного мною; скорее всего, в его голове копошились в это время новые промышленные проекты, потому что, как только утих мой голос, он сейчас же, как ни в чем не бывало, опять возвратился к своему предмету.

– Итак, мое предприятие с килькой кажется вам недостаточно выгодным? – спросил он меня совершенно спокойно.

– Нет, не невыгодным, а... Ах, Балалайкины, Балалайкины! какой вы наглый человек! именно наглый, наглый, наглый! Совсем не невыгодным нахожу я ваше предприятие, а именно...

– Позвольте. Допустим, что только невыгодным – зачем искать других определений? Ведь не бог же знает, какое блаженство вы ощутите, ежели замените эпитет «невыгодный» каким-нибудь бурмицким зерном из словаря Полторацкого кабака. Итак, мое предприятие кажется вам невыгодным... хотя... В два-три месяца возможность учетверить капитал – желал бы я знать, какое предприятие, кроме, разумеется, горвицевского, может принести такой дивиденд? И где же, наконец, предел человеческим желаниям?

– Оставимте этот разговор, Балалайкины! вы – наглый! вас не урезонишь! оставимте!

– Прекрасно. Забудем о кильках. Но в таком случае у меня имеется к вашим услугам другая, ежели не более, то отнюдь не менее выгодная операция.

И, заметив на моем лице испуг, он, чтоб не дать мне возможности возражать, поспешно продолжал:

– Вот в чем дело, голубчик. На днях мне предложили приобрести партию махорки по баснословно дешевой цене... что-то вроде шести гривен за пуд...

– Это еще что?

– Махорка – это табак, род опиума самого скверного сорта. Мы с вами, конечно, не будем его курить, ну и господа офицеры... Но для солдат это – лучшее лакомство и вместе с тем прекраснейшее возбуждающее средство, какого только можно желать!

– И, конечно, ваша махорка будет тоже гнилая?

– Гнилая – нет, подмоченная – да. Но я уж имею в виду средство: стоит только подмоченные листья вновь подмочить – и они будут опять совсем как свежие.

– Ну да, на вид, а в сущности все-таки гнилые?

– Моралист! но разве в пылу битв есть возможность отличить свежий табак от... подмоченного?

Это было ужасно. Битых два часа он неуставаячи мучил меня, и я до того отупел под гнетом его приставаний, что даже утратил всякую изобретательную энергию. Несколько раз спрашивал я себя: как бы поступил на моем месте, например, француз, немец, англичанин? но нет, там подобного случая даже быть не может! Там всякий свое место знает: Балалайкины – между собою разговоры водят, Глумовы – между собою. Явился Балалайкины-немец к Глумову-немец с предложением о кильке – Глумов повернулся к нему спиной, – и дело с концом. А у нас, словно на дне запущенного пруда, сплелось что-то до такой степени дивное, что хоть железный лом в ход пускай – и тем не раздерешь. Пришел Балалайкины «посидеть» – и будет

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) сидеть, сколько ему бог на душу положит. Ни за городом послать, ни отвернуться от него – даже в голову не придет. А почему так? – да потому именно, что тут есть невообразимое сплетение. Сзади есть Удушьев, есть Репетилов – все люди, которые и из могил кричат: плоть от плоти! кость от костей! И кричат не только Балалайкину, но и мне, и Глумову, и всем.

– Эх вы! – продолжал между тем Балалайкин, – и капитал у вас есть, и даже хороший – это я достоверно знаю, – а вы сидите на нем да по пяти копеечек с рубля получаете! Подумайте! время-то ведь летит! Ведь нынче человек, у которого нет денег – это что такое? ведь это – презренный, это больше чем презренный, это – каналья, которая наверное ворует и которая, следовательно, рано или поздно непременно попадет на скамью подсудимых! Какую вы себе старость готовите!!

Ужасно, ужасно, ужасно! Я сидел как на угольях и безнадежно смотрел на часы. Мне казалось: вот-вот сейчас раздастся звонок, и Глумов освободит меня от этого распутного юноши.

– Вы всю жизнь спустя рукава прожили, всю жизнь по верхам глазели! – гудел в моих ушах голос Балалайкина, – так хоть один-то раз взгляните на дело серьезно! Ведь я кому пользы желаю – все вам же! Потому что я сам... мне зачем? с меня и практики моей адвокатской по горло будет! Вот я, не дальше как вчера, одну дамочку с мужем разлучил... штучка, я вам доложу... пальчики оближешь! Десять тысяч чистоганчиком за хлопоты вручила, да приложение... у Огюста в отдельном кабинете! Всю ночь до поздних петухов мы с ней прохороводились – я потом татарам двадцать пять рублей на водку дал! А какой ужин! фрукты какие! вино! Я было заплатить хотел – не допустила! Сама за все рассчиталась, а татарам, с своей стороны, радужную выкинула! Так вот какую я жизнь веду! А вы... об чем, бишь, впрочем, я говорить начал?... да, об махорке! Слушайте: ведь это – какой проект! ведь я не на офицеров рассчитываю, а на солдат, на массы – понимаете? Махорку всякий курит, без махорки воину обойтись нельзя! Он на редут лезет, а трубка у него в зубах! А ежели и этого вам мало, так можно нашу махорку и обязательно сделать... у меня и насчет этого ходы есть... По рукам, что ли?

Но я продолжал молчать и не сводил глаз с часов.

– Но вам, может быть, и то не нравится, что я насчет ходов упомянул... моралист? так я вам доложу, что без этого нашему брату – мат. Конечно, можно дураком и перед открытою дверью стоять, да ведь дураки потому и называются дураками, что они рот разевают, а умные в это время куски глотают. Нет, вот как я тут позолочу да там посеребряю, а ежели и это не помогает, так где ползком, а где и на задних лапках... так-то, папенька-крестный!

Говоря это, он дружески хлопал меня по коленке, и увы! я не оказал никакого противодействия его ласкам! Я только старался окаменеть в ожидании чуда. Вдруг звонок! Я бросился навстречу к Глумову и, буквально дрожа всем телом, крикнул:

– Ах, как он мне надоел! как надоел!

– Так я и знал! предвидел я, братец, что он к тебе пойдет! Ах, Балалайка бесструнная! Мало тебе того, что я тебя с лестницы спустил?

– Помилуй, он хвастается, что ты выслушал его проекты и обещал подумать, – сосплетничал я.

– я тебе обещал? я?

Голос Глумова звучал так сурово, вид его был так грозен, что Балалайкин невольно смутился.

– Молись богу! твой час наступил! Я тебя предупреждал давеча, что добром тебе не кончить! – продолжал Глумов и прекраснейшим *basso profundo*[72] пропел:

Твой сме-ертный час! Твой гро-озный час!

– Душа моя, надо его повесить! – обратился он ко мне, – он, впрочем, уж знает об этом, я и веревку с собой захватил.

Действительно, Глумов вынул из кармана совсем новую веревку и поднес ее к носу

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) Балалайкина. Балалайкин старался улыбнуться, но от наблюдательности моей не укрылось, что физиономия его заметно поблекла, в виду решимости, с которою Глумов произнес свой приговор.

– А вот и гвоздь – молись, Балалайкин! Мало того, что ты людей до истерики своими приставаниями доводишь – ты, заодно с турками, возмечтал русскую армию истребить! Знаешь ли, чем это пахнет? Молись и снимай галстук!

Балалайкин, желая обратить дело в шутку, охотно развязал галстук, расстегнул воротник рубашки и даже шею подставил; я, с своей стороны, в качестве любителя юмористических представлений, не менее охотно помогал Глумову надевать петлю. И вдруг Глумов схватил Балалайкина в охапку и самым серьезным образом потащил его к гвоздю.

– Послушайте! это наконец уж выходит из пределов шутки! – протестовал на ходу Балалайкин.

Я тоже порядочно испугался.

– Что ты делаешь, душа моя! – взмолился я, – ведь нас за это... Не лучше ли отправить его в участок?

– Чтоб его оттуда выпустили... Оставь меня! я знаю, что делаю! Так ты, Балалайка, думал, что с тобой шутки шутят... а? Нет, мой друг! ты меня так огорчил, так огорчил... даже до глубины души! Государственную измену затеял... а?! Полежай, полежай! барахтаться нечего!

И он в один момент его вздернул, до такой степени вздернул, что Балалайкин сейчас же и язык высунул.

– Теперь пойдем к Палкину завтракать! – обратился ко мне Глумов, – а он покуда пускай повисит!

– Помилуй! да ведь он, того гляди, умрет!

– Не умрет – не бойся! Ты думаешь, он язык-то высунул – это он лжет! Лжешь, Балалайка?

Балалайкин не ответил, а только еще больше высунул язык.

– Вот и прекрасно. Повиси тут, а мы пойдем!

Я должен сказать, что Глумов увлек меня к Палкину почти насильно. Я шел за ним, подчиняясь его авторитету, но в то же время беспрестанно оглядываясь назад, как будто Балалайкин с высунутым языком гнался за мной по пятам. Глумов с обычной ласковостью успокаивал меня.

– Я – человек не жестокий, – говорил он, – но думаю, что в настоящее время спасительный намек необходим. Так уж эти негодяи нынче расходились и столько их развелось... Помилуй! кровь пьют, обворовывают, а наконец и начисто морить собрались!.. Надо же намек сделать, чтоб хоть немножко поостепенились, мерзавцы!

– Действительно, это нелишнее; но все-таки прошу тебя иметь в виду, что Балалайкин уж язык высунул. Дай мне слово, что пробудешь у Палкина недолго.

– Пробуду столько, сколько требуется, чтоб аппетит удовлетворить. Говорю тебе, что он лжет и, по всем вероятностям, в эту минуту уж лыжи наострил и бежит сломя голову еще кого-нибудь своими проектами соблазнять. Но ежели он и поколеет – неужто же суд не поймет, что иначе в данном случае нельзя было поступить? И неужто ты-то не благодарен мне, что я тебя выручил? Оставим, мой друг, этот разговор.

И точно: Глумов, не торопясь, съел котлетку, выпил бутылку пива и вступил со мною в душевную беседу.

– Столько нынче по городу анекдотов про этих хриstopродавцев ходит, – говорил он, – что другой, наслушавшись, невольно скажет: какая, однако ж, распутная страна!

– Да, голубчик! даже уж и говорят!

– Завелась эта шайка проходимцев да девиц международного поведения, впились, сосут... Осыпала сетью наши Заманиловки, Погореловки, Проплёванные; бьются там люди, словно рыба в мотне, ничего не понимают, только чувствуют, что их сейчас жрать будут... Бьются – и только! как будто в этом одном и состоит их провиденциальное назначение. Кто отомстит-то за это – вот ты мне что скажи!

– История после все разберет.

– Нет, не разберет, потому что история только верхоглядничает. Ей даже и узнать неоткуда, что в Заманиловках честные люди живут. Струсберги, да Овсянниковы, да жидовствующая братия – вот материал, который она разрабатывает. Блеск ей нужен, герои нужны!

– Что ж, ведь, с одной стороны, это и не худо. По крайней мере, от компрометирующей солидарности заманиловцы ускользнут.

– Вряд ли. Это в прежнее время бывало, что заладит историк: Мстислав да Ростислав, а из партикулярных людей Добрыня да Блуд. А нынче историк вороват сделался: хоть и те же Добрыни да Блуды у него под руками, а он так-таки и нахальничает: я, говорит, знать не хочу, что на Васильевском острове да на Английской набережной происходило; я, говорит, народ имею в виду, народ призываю к суду истории! Вот и потянут проплёвановцев на цугундер...

– Но какой же может быть суд, ежели о них, как ты сам сейчас выразился, и сказать-то нечего?

– То-то что солжет что-нибудь. А впрочем, голубчик, если бы и удалось заманиловцам от солидарности ускользнуть, так ведь и тут барыш не велик. Солидарности-то не будет, да, пожалуй, и совсем ничего не будет – вот что нелестно! жили, мол, да были не помнящие родства – хорошо разве этак-то?

– Однако мы видим, что даже в кратких учебниках и там заманиловцев не помнящими родства не называют, а, напротив, аттестаты даже выдают.

– Ну, да; отличаются, мол, твердостью в бедствиях и доблестным очищением окладных листов; так нынче ведь и этого человек с совестью сказать не может. Твердость в бедствиях кабаки пошатнули, а что касается до окладных листов... ах, не радуются, мой друг, сердца начальников, глядя на них!

– Неужто?

– Да, любезный! а впрочем, ты не подумай... ни-ни! Просто ничего не поделаешь! «Ничего не поделаешь» – вот клич, который нынче несется из края в край по всей Руси! А тут между тем шайка международных негодяев мрежи неуставаючи плетет!

Глумов вздохнул и спросил рюмку водки (после завтрака!), что означало, что он находится в ожесточении.

– Так ты думаешь, что Балалайкин, например, попадет в историю?

– Нет, Балалайкин-имярек, Балалайкин, которого мы сейчас повесили, – тот не попадет. С него достаточно и того, что он где-нибудь в конце тома, в ученых примечаниях, фигурировать будет. Но Балалайкины вообще, Балалайкины, их же имена ты, господи, веши! – те краеугольный камень составят. А от них пойдет мораль и на заманиловцев, проплёвановцев, погорелковцев. Потому что кто же виноват, что о них никаких свидетельств нет, кроме ревизских сказок? Вот и скажет историк: на основании таких-то и таких-то данных – я имею полное право заключить, что сия эпоха была эпохой распутства – всеобщего! Все, значит, без исключения... Что ж! коли хочешь, оно ведь и правильно!

– Почему же правильно?

– А потому: не хлопай глазами! Одно из двух: или ты человек, или вол подъяремный. Ежели ты человек, и за всем тем у тебя под носом Балалайкины историю народа российского созидают – стало быть, ты сам потатчик и попуститель;

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru ежели ты – только вол подъяремный, стало быть, нечего об тебе и говорить. Мало ли на земном шаре земноводных обитает? мычат, блеют, мяукают, каркают, свищут, квакают – разве история обязывается принимать их в расчет?

Приговор был решительный, и меня, признаюсь, даже не раз передернуло, покуда Глумов высказывал его. Но так как я знал наверное, что он говорит таким образом совсем не по убеждению, а единственно под влиянием ожесточения, то ограничился тем, что возразил ему:

– Ты этого не думаешь, а говоришь под влиянием хотя и законного, но все-таки не вполне разумного ожесточения.

– Уж не против Балалайкина ли?

– Нет, Балалайкина мы уж повесили – будет с него. Но сделай транспортировку Балалайкиных, переложи их несколькими тонами выше – гамма-то ведь бесконечна! – усложни его ребяческие проекты, прибавь к ним гнилые сухари, толченый уголь вместо пороха (разумеется, если только можно такое злодейство себе представить!), и поводы для ожесточения получатся до такой степени полные, что в виду их невольного притупится самое живое чувство справедливости. Не в Балалайкине, а в совокупности Балалайкиных, в их общедоступности и общепризнанности, в разлитости балалайкинского эфира в воздухе – вот где настоящая причина негодования!

– Что же, однако, в моих словах несправедливого?

– Все несправедливо. Во-первых, тут совсем не «хлопают глазами», как ты говоришь, а совершенно серьезно истекают кровью, и никакой историк не увольняется от обязанности знать это. Во-вторых, дела о «претерпении» настолько сложны, что такими дилеммами, как: или ты – человек, или ты – вол подъяремный, их ни под каким видом не разрешишь. Есть, любезный друг, еще третий субъект, коли ты хочешь, тоже подъяремный, но не вол, а человек, мечущийся из стороны в сторону под игом мысли, что его, как ты сам сейчас выразился, немедленно жрать будут. Этот субъект не мычит, а песни о своих болях слагает; не потворствует и не потакает, а просто не знает. Положение трагическое и запутанное, но в материалах для изучения его недостатка все-таки нет. Ведь Балалайкинские-то проекты на ком отражаются? – на нем, исключительно на этом мечущемся человеке! Стало быть, историку, ежели он не безумный, стоит только разобраться в этих проектах и сопоставить их... Впрочем, ты ведь и сам все это лучше меня знаешь, а только так, в минуту жизни трудную, пофрондировать вздумал.

. . . .

Глумов хотя и возражал, но не искренно, а скорее из упрямства, чтоб сохранить за собой последнее слово. Впрочем, я тоже поспешил переменить разговор, потому что заметил, что сидевший за соседним столом посетитель начал что-то уж чересчур симпатично прислушиваться к нашим речам.

– А Балалайкин-то ведь все висит! – сказал я.

– И пускай висит.

– Однако, знаешь ли что? конечно, проекты его гнусны, но ежели их с финансовой точки зрения разобрать... право, они совсем не глупы!

– Еще как не глупы-то!

– Ведь это только так кажется, что килька или махорка – не стоящие внимания предметы! а взгляни-ка на дело поглубже, особливо на махорку...

– И числа процентам не будет!

– И знаешь ли еще что? не только осуществление этих проектов вполне практично, но даже и характер им можно придать... именно патриотический... да!

– Еще бы, восемь гривенников на месте производства и те же восемь гривенников за две тысячи верст – это хоть кому угодно в нос бросится!

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)  
– Так что ежели бы, например...

– Постой! заключим лучше наш разговор так: но по этим-то именно соображениям и надлежало Балалайкина повесить! Правильно?

Я должен был согласиться, что правильно, и сделал это тем охотнее, что вопрос о том: что-то происходит теперь у меня дома? – все-таки ни на минуту не оставлял меня. Без особенного сожаления оставили мы палкинские салоны, и, признаюсь, я не без тревоги позвонил у дверей моей квартиры. К счастью, проницательность Глумова на этот раз не изменила ему: Балалайкина и след простыл. Каким образом он ухитрился на весу высвободиться из петли, это – его тайна; но на письменном столе моем лежала записка, гласившая так:

«Я мог бы претендовать на вас; но, понимая шутку, первый готов посмеяться, ежели она остроумна. Поэтому я считаю наши переговоры по известному делу не конченными, а только временно прерванными. Когда голос страстей умолкнет и рассудок вновь вступит в права свои, то телеграфируйте мне: фонарный переулок, дом бывший Зондермана. Я во всякое время к вашим услугам.

Балалайкин».

Прошло два месяца, в продолжение которых я не следил за Балалайкиным, хотя случайными путями и получал об нем отрывочные сведения. Но последние были до такой степени ни с чем несообразны, что трудно было дать им какую-нибудь веру. Одни говорили, что Балалайкин вступил в товарищество с известным евреем Зельманом и принял Моисеев закон, чтобы получить больше свободы в движениях по махорочной операции; другие рассказывали, что он потурчился и поступил адъютантом к Осману-Паше; наконец третьи утверждали, что он сделался приближенным Мак-Магона и ездил от последнего к римскому папе за испрошением благословения на совершение государственного переворота. Не потому трудно было поверить этим слухам, чтоб Балалайкин неспособен был совершить все эти метаморфозы, но потому, что невольно представлялся вопрос: на кой черт мог понадобиться наш Балалайкин Зельману, Осману-Паше и Мак-Магону, когда у них под руками тьмы тем своих собственных Балалайкиных, всегда готовых на всякие услуги?

На днях, утром, передо мной, по обыкновению, лежал мой любимый листок: «Чего изволите?», газета ежедневно-либеральная. Простудировав известия с театра войны, я обратился к «внутренним делам» (прежде эта рубрика носила название «внутренних безобразий», но так как со времени войны безобразий у нас уже не совершается, то взамен их явились «внутренние дела»), и вдруг взор мой упал на корреспонденцию из Махорска:

«Нам пишут из губернского города Махорска: На днях в нашем городе, по распоряжению административных властей (?), подвергнут наказанию на теле розгами один из проходимцев, порожденных современными военными обстоятельствами. Это – некто Балалайкин, довольно еще молодой человек, содержавший, до начала войны, в Петербурге адвокатскую контору, которая преимущественно принимала на себя ведение бракоразводных дел и подыскивание лжесвидетелей. Преступление, за которое он ныне понес заслуженную кару, заключалось в том, что он, прибыв к нам под предлогом заготовления махорки для находящихся на Дунае русских войск, имел от Османа-Паши тайное поручение следить за распоряжениями здешнего губернского начальства. Употребив в дело подкуп, он постепенно переслал в Плевну, в копиях, все журналы здешнего губернского правления, и, между прочим, один очень важный, в котором обсуждались меры для приведения Российской империи в состояние неуязвимости, причем главною и самую действительную мерою предполагалось немедленное и совершенное во всех местах прекращение книгопечатания, с оставлением лишь небольшого числа литер для опубликования театральных афиш и начальственных циркуляров. Получив этот журнал, Осман-Паша, конечно, сообразил, что ежели прописанная в нем мера будет принята, то неуязвимость будет достигнута неизбежно, и притом в самое короткое время, и тогда борьба с северным колоссом сделается совершенно немыслимою. И вот, под влиянием этой мысли, турецкий главнокомандующий решился сделать целый ряд отчаянных попыток, чтоб хоть в последний раз потешить сердце повелителя правоверных, и результатом этого решения было, как известно, несколько эфемерных успехов, одержанных турками. Долгое время, однако, виновники измены укрывались от взоров правосудия, но на днях интрига разъяснилась, благодаря деятельным розыскам, предпринятым частным приставом Х., и Балалайкин, ввиду жестокости собранных против него улик, вынужден

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) был во всем сознаться, причем сильно компрометировал Османа и Реуфа пашей.

Рассказывают, что первоначально было предположено повесить Балалайкина, но, по ходатайству дам махорского международного beau monde'a, [73] наказание это было заменено более легким – розгами. Обряд был совершен публично на главной городской площади, причем, конечно, присутствовал и весь наш beau monde. Балалайкин – мужчина очень пропорционально сложенный. Он прибыл на место экзекуции в коляске и очень любезно раскланивался с знакомыми, а в особенности с дамами; затем бодро выскочил из экипажа, взбежал на устроенное возвышение и сам сделал необходимый для совершения обряда туалет. Криков во время сечения с его стороны не было, а потому в народе ходил слух, что секуторы подкуплены. По окончании обряда, покуда Балалайкин, по обычаю, благодарил секуторов за науку, дамы махали платками. В этот день Балалайкин был приглашен в десяти домах на обед, но гостеприимные хозяева с горечью узнали, что интересной жертве махорского правосудия уже не суждено обедать в Махорске. Через два часа по совершении обряда проходимец в сопровождении двоих прохвостов уже следовал по назначению для принятия на теле административных распоряжений и в прочих городах Российской империи».

Разумеется, я сейчас же поспешил к Глумову, чтоб поделиться с ним вестью, и застал его за чтением «Красы Демидрона», в которой о том же предмете писалось совершенно другое. А именно:

«Никто, в течение столь короткого времени, не был жертвою такого множества ложных слухов и клевет, как уважаемый наш сотрудник Балалайкин, автор статьи: «При ходатайстве – и закону премена бывает». Чего-чего не распускали об нем: и жидовство-то он принял, и Осману-Паше передал будто бы важную государственную тайну, а вчера даже очень серьезные люди за верное выдавали, что он высечен в губернском городе Махорске, где в последнее время находился центр его полезной деятельности по заготовлению махорки для войск действующей на Дунае армии! Из всех этих известий похоже на правду одно: действительно, Балалайкин имел свидание с Османом-Пашой, но совсем не для сообщения государственной тайны, а с дипломатической миссией от Грегера, Когана, Горвица и всех вообще евреев, обитающих в России и поручивших Балалайкину убедить талантливую турецкого полководца, что усилия его приведут лишь к напрасной трате пороха. Все же остальное – чистейшая выдумка и самая наглая ложь. Будучи близко знакомы с Балалайкиным, мы, от лица всех его друзей и почитателей, можем удостовериться, что патриотические операции, предпринятые им по случаю настоящей войны, все до одной увенчались успехом, и что он сам, обремененный добычею, прибывает в Петербург не далее, как завтра, то есть 12-го сего октября. Все приготовления к приему его кончены, а именно: 1) в доме Мурузи, на Литейной, занят под его помещение весь бельэтаж, причем особый обширный зал отделен для игры в чехарду; 2) на Хреновском заводе приобретена, за баснословно дороговую цену, четверня породистых орловских лошадей, выезженных в упряжи à la Daumont; [74] 3) у Неллиса, Тацки и Вагнера заказано до двадцати великолепных экипажей, а в Москве у Арбатского – бесчисленное множество дрожек, саней и прочей экипажной мелочи. Затем нам остается прибавить только одно: Балалайкин почтен от начальства единственным в своем роде отличием: правом носить на спине изображение бубнового туза. Надеемся, что отныне ни зависть, ни клевета уже не достигнут его. Sapientisat». [75]

– Двенадцатое октября – да ведь это сегодня! стало быть, он уже здесь! – воскликнули мы в один голос и решили тотчас же на месте, в доме Мурузи, удостовериться, которая из двух газет имеет более верные известия с театра войны.

Литейная была оживлена более обыкновенного; местами виднелись кучки любопытных, которые, по мере приближения нашего к Пантелеймонской улице, встречались все чаще и чаще. Около дома Мурузи мы нашли уже целую толпу. У одного из подъездов красовалось новенькое с иголки открытое ландо, запряженное четверкой великолепных белых лошадей; за ландо тянулся ряд дрожек. Мы хотели было войти в дверь подъезда, но вооруженный булавою и отлично откормленный швейцар сурово отогнал нас.

С четверть часа мы простояли в немом ожидании. Вдруг откормленный швейцар заметался, и вслед за тем обе двери подъезда растворились настезь. Нет сомнения... это он, это – Балалайкин! Но как он вырос, возмужал, похорошел! как он выхолил свои щеки, и какая бесконечно блаженная улыбка играла на его алых устах!

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Щегольской дорожный костюм плотно облегал его стройное тело; полированная сумка, переброшенная через плечо, отливала на солнце нестерпимым блеском; на голове была накинута легкая шотландская шапочка, в околыше которой, вместо пера, был воткнут лист засохшей махорки; в петличке жакетки красовалась ленточка неизвестного ордена. За ним следовала блестящая свита, в которой я насчитал десять жидов, десять греков и десять армян. Шествие было очень шумное, потому что армяне и греки препирались между собой о том, чья вера лучше, а жида, напротив того, галдели, что все веры хороши. Обязанности церемониймейстера исполнял оставшийся за штатом обер-секретарь одного из уездных департаментов сената.

Балалайкин, однако ж, заметил нас и... подошел к нам! Без особенной фамильярности, но и без театральной напыщенности, свойственной выскочкам и временщикам. Просто, благородно.

– Господа, – сказал он, – я вас в свое время приглашал – вы сами не захотели! Пеняйте на себя.

Я не помню, что со мной было. Помню только, что я весь дрожал от волнения, и совершенно не понимаю, как произнес:

– Ваше сиятельство!..

– Шт!.. – скромно остановил он меня, прижимая палец к губам, – покамест я еще... просто Балалайкин!

Быть может, свидание на этом и кончилось бы, если бы Глумов не поспешил исправить глупое впечатление, произведенное моею нелепою робостью.

– Стой, Балалайка бесструнная! – сказал он, – куда ж ты собрался этаким франтом?

– Я отправляюсь теперь в Монте-Карло просить руки дочери мсье Блана, [76] – ответил он, не смущаясь выходкой Глумова, – но ежели мне это не удастся, то, во всяком случае, я имею обещание, что первая вакансия крупье при рулетке будет принадлежать мне. Ах, господа, господа! не хотели вы в то время...

– Об этом после, – прервал его Глумов, – но вот номер газеты, в которой пишут, что в Махорске на площади, при громадном стечении народа...

– Было, господа, и это! все было!

– Что ж это за орден у тебя в петлице?

– А это – орден «борьбы». Его на днях учредил Мак-Магон и по секрету раздает своим приближенным. Разумеется, прислал и мне.

– Нет, как ты хочешь, а объяснись обстоятельнее. Что такое с тобой? откуда все это? эта свита, эти экипажи, этот откормленный швейцар, это восточное великолепие?

– На это я могу сказать вам одно, господа. Что такое – я? что такое – все то, что вы теперь видите? Погодите! вот кончится война, и придут в Петербург настоящие негодяи... дельцы, хотел я сказать... Тогда – увидите!

### III. ТРЯПИЧКИНЫ-ОЧЕВИДЦЫ

ОТ ДУНАЙСКОГО КОРРЕСПОНДЕНТА ПОДХАЛИМОВА 1-го  
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «КРАСА ДЕМИДРОНА» [77]

1

Станция Бологое. Ровно неделю тому назад вы призвали меня, г. редактор, и, выложив перед моими обрадованными глазами пачку ассигнаций, сказали: «Ты – малый проворный! вот деньги – иди и воспевай!» фраза – в устах редактора газеты «Краса Демидрона» – глубоко знаменательная. Перенеситесь мыслью за двадцать лет тому назад и ответьте: возможно ли было что-нибудь подобное в то время?! Прежде цари, призывая полководцев, говорили: иди и побеждай! Теперь – с большею лишь осторожностью в выборе выражений – то же самое делают редакторы газет...

Да, надо сознаться, что в наши дни пресса приобрела такое значение, которому равное представляет лишь Главное управление по делам книгопечатания. Это две

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru новые великие державы, которые народились на наших глазах и которые в равной степени украсили знаменитую меттерниховскую пентархию. Возникли они одновременно, чего, впрочем, и следовало ожидать. Еще покойный Ансильон (а у нас Иван Петрович Шульгин) заметил, что вся политическая история новейших времен объясняется тем, что одна великая держава непременно стремится нарушить политическое равновесие, а одновременно с нею другая великая держава непременно же стремится восстановить его. Так точно и тут. Как только пресса обнаруживает намерение нарушить равновесие, так тотчас же Главное управление открывает по ней огонь из всех батарей. Как это ни грустно, но мы должны покоряться безропотно: во-первых, потому, что таков уже сам по себе неумолимый закон истории (по Ансильону), а во-вторых, и потому, что в противном случае нас ожидают предостережения, воспрещения розничной продажи, аресты, приостановки и проч.

Как бы то ни было, но я – на пути к Дунаю. Не знаю, что будет дальше, но первые впечатления, вынесенные на пути между Петербургом и Бологовым, удивительно отрадны. Я не буду занимать вас описанием нашего переезда через Валдайский хребет, хотя, по словам специалистов, эти горы представляют, в стратегическом отношении, отличнейшие удобства. Описание это было бы небезынтересно в таком лишь случае, если бы возможно было предположить, что театр военных действий перенесется сюда; но так как турки, наверное, никогда не дерзнут проникнуть так далеко, то я полагаю, что говорить об этом предмете преждевременно. Пускай Европа думает, что в здешних местах ничего нет, кроме валдайских колокольчиков и валдайских баранок; для нас, с стратегической точки зрения, такое самоуверенное невежество даже выгодно...

Купив в Гостином дворе чемодан и уложив свой несложный багаж, я отправился из Петербурга с утренним 9-ти часовым поездом и, конечно, взял место в вагоне третьего класса. Я сделал это намеренно, хотя полученные мною от вас средства позволяли мне претендовать и на второй, а с некоторою натяжкой даже и на первый класс. Но я прежде всего хотел познакомиться с чувствами, одушевляющими простой русский народ в настоящую славную минуту, а для наблюдения подобного рода вагон 3-го класса – сущий клад. И, как вы увидите дальше, я был с избытком вознагражден за те маленькие неудобства, которые сопряжены с продолжительным пребыванием в обстановке, отнюдь не напоминающей благоуханной атмосферы петербургских салонов (я невольно вспомнил при этом, как хорошо в ваших гостиных, г. редактор, и каким отличным, душистым мокка вы меня угощали, давая инструкции, как мне вести себя на Дунае!).

Как и следовало ожидать, настроение нашего вагона было отличное. Пассажиры были точно на подбор, молодец к молодцу! Все имели вид уверенный, бодрый, и как только прошли первые минуты обычной суматохи усаживания, так тотчас же, разумеется, выступил на сцену животрепещущий восточный вопрос. Насчет участи, ожидающей турок, судили разное, но замечательно, что ни в ком не было ни тени колебания или сомнения; напротив того, всех воодушевляла твердая решимость не полагать оружия до тех пор, пока самое имя Турции существует на карте Европы. Никому из нас лично не приходилось участвовать в военных действиях, но тем не менее большинство высказывало такую отвагу, что я без труда понял, чего можно было ожидать от этих людей, если бы их не стесняли пределы вагона, подобно тому как меня стесняют пределы газетной статьи. Многие буквально рвались на поле битвы. Например, один почтенный мещанин (он содержит в Углицком уезде питейный дом и мелочную лавку) сказал мне:

– Кажется, пусти меня теперича в стражение, так я один десяти туркам-чуркам головы поснесу!

А сидевший тут же поблизости духовный пастырь, движимый похвальным соревнованием, присовокупил:

– Духовно мы, сударь, давно уж за Дунаем, а некоторые даже и далее.

Разумеется, я охотно воспользовался этим случаем, чтоб вступить в собеседование.

– Так за чем же дело стало? – спросил я.

– А за тем и стало, что дома своих делов много, – ответил мещанин. Священник же, соревнуя ему, пояснил:

– Духом мы высоко парим, но немощная плоть паренью нашему не мало препон

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) представляет – от сего и унываем. Питейный-то дом, например, ихний, по настоящим обстоятельствам, прикрыть бы можно, дабы с легким сердцем устремиться туда, куда глас чести всех верных призывает, а мы, на место того, немощуем.

Объяснение это заставило меня задуматься. Священник прав, думалось мне, но не вполне. Спору нет, что было бы и патриотичнее, и согласнее с чувствами истинного русского прикрыть на время кабак, чтоб удовлетворить святой потребности сразиться с исконным врагом цивилизации и христианства, но, с другой стороны, если все пойдут сражаться, кто же тогда будет производить торговлю распивочно и навывнос, вносить гильдийские сборы и проч.? Провидение не без расчета, конечно, устраивает, предоставляя одним специальность охранять и защищать границы государства, а другим – специальность возделывать землю, производить торговые обороты и уплачивать соответствующие окладные и неокладные сборы. Известно, что в странах цивилизованных силы материально-производительные составляют такой же зиждущий государственный нерв, как и духовно-производительные; так что ежели последние и нагляднее двигают государство на пути преуспевания, то первые, хотя и не столь наглядно, но столь же несомненно споспешествуют этому, снабжая (в виде жалованья, столовых, квартирных и проч.) необходимыми материальными средствами воинов, администраторов, ученых, литераторов и даже нас, грешных корреспондентов. Ваша уважаемая газета давно уже сознала эту важную истину и неоднократно развела ее в передовых статьях своих. Помнится, вы однажды сказали: отнимите у войны ее нерв – деньги, и она немедленно утратит свою целесообразность! Пушки, лишенные пороха, не будут палить (да еще вопрос, осуществимы ли самые пушки без денег?); люди и лошади, лишенные провианта и фуража, в непродолжительном времени впадут в изнеможение. [78] Англичане отлично это поняли, и мне кажется, что нашим господам-шовинистам, проповедующим, сидя дома на печи, поголовное ополчение, тоже не мешало бы зарубить эту истину у себя на носу.

Вот почему я думаю, что почтенный батюшка был не совсем прав, обвиняя кабатчиков и прочих негоциантов в немощи плотской (впрочем, он и сам впоследствии сознался мне, что высказался в этом смысле более для того, чтоб выдержать свойственную его званию учительную роль). Если и действительно плотская немощь не позволяет им прикрывать, по чувству патриотизма, кабаки, то это немощь естественная, обуславливаемая недостатком не патриотизма, но самым распределением божиих даров между людьми. Всякому свое: одни употребляют, для прославления отечества, холодное и огнестрельное оружие, другие, в тех же видах, изощряют свои коммерческие способности, а третьи упражняют свои мышцы, возделывая землю. Даже мы, корреспонденты, едва ли правильно поступили бы, если бы, в порыве отваги, бросились в самый пыл битвы, вместо того чтоб, находясь в безопасном месте, быть лишь достоверными очевидцами ее. Подумайте: если бы мы были перебиты, разве газеты были бы в состоянии разнообразить столбцы и удовлетворять справедливому любопытству публики? Как подействовало бы это на годовую подписку? Что случилось бы с розничной продажей?

Покуда я таким образом размышлял, кто-то в углу вагона крикнул:

– Что долго разговаривать! идем все против турка – и сказ весь!

Что произошло в эту минуту – я не берусь описать. Представьте себе поезд, несущийся на всех парах, представьте грохот колес, тяжелое дыхание паровоза – и что ж? даже всего этого оказалось недостаточным, чтоб заглушить гул наших голосов, слившихся в одном общем чувстве!.. Да, нужно иметь перо Немировича-Данченко, чтоб передать эту картину! все поздравляли друг друга, обнимались, целовались, а одна старушка, сидя в углу, тихо плакала. Откуда взялся этот внезапный наплыв чувств? Почему теперь, а не прежде или после? На это я могу ответить только следующее: спросите у своего сердца, г. редактор!

Ежели человек имеет сердце чувствительное, то он ответит на эти вопросы очень легко; а ежели при этом он еще выпивши, то ответ, и без слов, сам собою окажется начертанным на его лице...

Часов в одиннадцать началось в вагоне другого рода движение: пассажиры принялись разгружать свои дорожные мешки и вынимать из них всевозможную провизию. Опять прекрасная бытовая картина, но на этот раз уже совершенно мирного свойства.

Не видно ни пармезанов, ни анчоусов, ни гомаров, ничего такого, что напоминало бы утонченности иноземной гастрономии. Русский человек понимает, что теперь не

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) такая минута, когда следовало бы поощрять ввозную торговлю.[79] Но зато на всех коленях вы заметите рыжеватую паюсную икру, нашу родную углицкую колбасу и в особенном изобилии печеные яйца. Во всех углах слышится деятельная работа зубов, на всех лицах написано неподдельное удовольствие, которое, в настоящем случае, тем более законно, что все эти припасы суть результат усидчивого труда.

Простые русские люди и насыщаются просто: раскладывают на коленях листы бумаги, в которой завернута провизия, отрезают дорожным ножом, что им нужно, и затем предоставляют дальнейшую работу пальцам и зубам.

Я невольно залюбовался этой картиной, хотя, сознаюсь откровенно, лично мне было не совсем ловко, потому что повсеместная еда обострила и мой аппетит, а я был настолько непредусмотрителен, что никакого запаса с собой не взял. К счастью, я как-то проговорился, что я корреспондент, отправляющийся на Дунай, и этого одного достаточно было, чтоб вывести меня из затруднительного положения. Как только слово «корреспондент» облетело все скамьи вагона, так мне в одну минуту накидали целую массу печеных яиц.. Скажите по совести: возможно ли что-нибудь подобное за границей или где бы то ни было, кроме нашей хлебосольной и изобильной России?

Этого мало: меня обступила целая толпа с вопросами, в чем заключается должность корреспондента и платят ли за нее жалованье? Разумеется, я, как мог, удовлетворил законному любопытству этих добрых людей и, к удивлению моему, могу сказать, что объяснения мои были везде встречены сочувственно. Одни, совершенно в стиле Немировича-Данченко, восклицали:

– Господи! хоть бы глазком на стражания-то посмотреть!

Другие наивно замечали:

– Ишь ты! за что нынче деньги платят!

Затем, по русскому обычаю, раздалось: выпьем! и пошла круговая.

Все подходили ко мне и пили за мое здоровье, а также и за ваше, г. редактор, потому что я объявил, что лишь благодаря вашему иждивению я мог осуществить давнишнее желание моего сердца увидеть Дунай и Балканы.

Покуда все это происходило, подошел ко мне один почтенный рыбинский купец (называется он, как я после узнал, Иван Иванович Тр.) и стал уговаривать меня, чтобы я ехал с ним в Рыбинск.

– Ты малый проворный, на войну завсегда поспеешь! А лясы точить и у нас в Рыбинске можно!

К этой же просьбе присоединил свой голос и отец Николай (имя священника, говорившего о плотской немощи), который тоже оказался обитателем рыбинских палестин. Напрасно я отговаривался, во-первых, тем, что для корреспондента время – те же деньги, и, во-вторых, тем, что я уже заплатил за свое место до самой Москвы – гостеприимный Иван Иванович ни об чем слышать не хотел.

– Пустое ты городишь! – говорил он, – времени тебе девать некуда, а деньги, которые за место тобою плачены, все до копейки возвратим! Полюбилась ты мне! парень-то очень уж ты проворный! На Дунай собрался – лёгко ли дело!

Я попробовал еще сопротивляться, но когда отец Николай рассчитал мне по пальцам, что если я несколько дней и опоздаю на поля битв, то потери от этого не будет никакой, а между тем я могу упустить единственный в своем роде случай для наблюдений за проявлениями русского духа, так как именно теперь в Рыбинске проходят караваны с хлебом, то я вынужден был согласиться. Не знаю, похвалите ли вы меня за уклонение от первоначально утвержденного вами маршрута, но уверяю вас, что газета от этого ничего не проиграет.[80] Съезжу в Рыбинск, наблюдаю за проявлениями русского духа, и затем – марш на Дунай!

Что происходило потом, я не помню, потому что очень крепко уснул. Не видел ни Любани, ни Малой Вишеры, ни Окуловки и только в Березайке был разбужен моими будущими спутниками. Проснулся и не без изумления увидел, что кто-то взял на себя труд собрать мои печеные яйца и уложить их в плетушку, которая и стояла

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) возле меня. Вот еще замечательная черта русского характера! Кто в другой стране проявил бы такую трогательную заботливость о спящем корреспонденте!

Таким образом я очутился в Бологове, откуда и беседую с вами!

Содержатель буфета, узнав, что я отправляюсь через Рыбинск на Дунай, от всей души предложил мне графин очищенной, причем наотрез отказался от уплаты денег по таксе. Вот вам и еще факт. Ужели после всего этого можно усомниться в силе русского чувства! Что я содержателю бологовского буфета? что он мне? И вот, однако ж, оказывается, что между нами существует невидимая духовная связь, которая его заставляет пожертвовать графином водки, а меня – принять эту жертву.

Итак, не знаю, что будет дальше, но до сих пор требования моего желудка (а может быть, и издержки по передвижению, если почтенный Иван Иванович сдержит свое слово) были удовлетворяемы безвозмездно. Вы, конечно, поймете сами, какого рода чувства должны волновать мое сердце в виду этого факта! Я же, с своей стороны, могу присовокупить: да, добрые люди, поступок ваш навсегда останется запечатленным в моем благодарном сердце, и да будет забвенна десница моя, ежели я не заявлю об нем в «Красе Демидрона»!

Но в заключение позвольте напомнить и вам, г. редактор, сколь многим я обязан вашей изысканной добродетели. Я был простым половым в трактире «Старый Пекин», [81] когда вы, заметив мою расторопность, сначала сделали меня отметчиком, а потом отправили и корреспондентом на места битв. Где, в какой стране возможен такой факт!

Подхалимов 1-й.

2

Рыбинск. Дорога от Бологова до Рыбинска тоже весьма замечательна в стратегическом отношении. Она окружена сплошными болотами, посреди которых там и сям, в разбросанном виде, живут остатки тверских либералов, укрывшиеся после известного разгрома 1862 года. Рассказывают, что это люди смирные, пострадавшие «за напрасно» или, собственно говоря, за любовь к отечеству. Странная вещь эта любовь к отечеству! Вот люди, которые несомненно любили отечество и которых тем не менее разгромили другие люди, тоже несомненно любившие отечество! Кто тут прав, кто виноват – решить не берусь, но теперь эти люди живут среди своих болот и занимаются молочными скопами. От души желаю им успеха в их полезных занятиях, и так как вся эта история уже канула в вечность и с тех пор страсти значительно улеглись, то не думаю, чтоб даже цензурное ведомство нашло в моих сочувственных пожеланиях что-либо предосудительное.

По рассказам туземцев, болота здешние таковы, что в них без труда возможно было бы потопить пехоту целого мира, не говоря уже о кавалерии, артиллерии и войсках прочих родов оружия. Следовательно, насчет безопасности здешних культурных центров, как-то: Бежецка, Красного Холма, Вельска и даже самого Вышнего Волочка, мы можем быть спокойны. А сверх того я убежден, что и тверские либералы, в случае проникновения в их Палестины врага, забыв прежние счеты, дадут им солидный урок.

Была уже ночь, когда мы выехали из Бологова. Спутники мои оказались отличнейшими людьми. Иван Иванович Тр. – веселый малый, высокий, плотный, румяный, кудрявый, с голубыми, но необыкновенно странными глазами, которые делались совершенно круглыми по мере того, как опораживалась висевшая у него через плечо фляга. Подобно всем русским, не отказывающим себе в удовольствии выпить лишнюю рюмку водки, он говорил разбросанно, не только не вникая строго в смысл выражений, но даже не имея, по-видимому, достаточно разнообразного запаса их. Однако я не скажу, чтоб он был глуп, в строгом смысле этого слова, а только, вследствие удачно сложившихся жизненных обстоятельств, не чувствовал настоящей надобности в размышлении. Такие люди в общении чрезвычайно приятны. Они никого собой не обременяют, не навязывают своих мнений, но взамен того являются отличнейшими собутыльниками, и хотя не поражают своим красноречием, но охотно смеются, поют, стучат ногами и вообще выказывают веселое расположение духа. Тем не менее, так как людям вообще свойственно заблуждаться, то и личности, подобные Тр., конечно, не изъяты от недостатков. Во-первых, они любят прибегать к шуткам чересчур истязательного характера, а во-вторых, не довольно смирны во хмелю. Против первого из этих недостатков никаких средств еще не придумано; что же касается до второго, то необходимо только зорко следить, чтоб эти люди не шли

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru дальше того числа бутылок, которое человек вообще может вместить, и как только этот предел достигнут, то нужно как можно скорее укладывать их спать... Затем относительно отца Николая могу сказать, что отличнейшие качества его ума и сердца были в настоящем случае для меня тем более драгоценны, что он являлся прекрасным комментатором в тех случаях, когда смысл речей Ивана Ивановича делался слишком загадочным. Судя же по тому, как он выражался о препонах, представляемых плотскою немощью парению духа, я едва ли ошибусь, сказав, что из него мог бы выйти очень даровитый духовный вития, если бы арена его деятельности была несколько обширнее.

Несмотря на ночное время, никому из нас спать не хотелось, и потому я, в качестве корреспондента, счел долгом вступить в разговор с моими спутниками.

– Иван Иванович! – обратился я к моему амфитриону, – как вы думаете об нынешних военных обстоятельствах?

Но он не без изумления взглянул на меня и, вместо ответа, откупорив фляжку, сказал:

– Выпьем, корррреспондент!

Я не отказался сделать ему удовольствие, но восклицание его все-таки мало удовлетворило меня. Отец Николай, видя мое недоумение, поспешил ко мне на помощь.

– Вместе с прочими, значит, – сказал он, – как прочие, так и мы.

– Верррно! – подтвердил и Иван Иванович.

– Но лично что же вы думаете? личное ваше мнение в чем заключается? – настаивал я, ничего не понимая в этой странной воздержности.

– А в кутузку не желаешь... коррреспондент? – ответил он после минутного молчания.

– Не только не желаю, но даже не понимаю, при чем тут кутузка.

– Ну, а мы даже очень отлично понимаем.

– Позвольте, однако ж! Если в ваших мнениях нет ничего предосудительного, то почему не высказать их? Если энтузиазм сам просится из вашей груди, то почему не выразить его публично, всенародно? Неужели вам неизвестно, что нынче никому выражать свой энтузиазм не воспрещается?

– И не воспрещается, и известно, а все-таки... выпьем, коррреспондент!

Я опять не отказал ему в удовольствии вместе выпить, но все-таки стоял на своем:

– Но почему же? почему?

– А потому что потому – вот тебе и сказ!

– Боязно-с, – пояснил отец Николай, – думается, слово-то не трудно молвить, а оно, пожалуй, не то, какое надобно. Ну, и кутузка притом же. Хоша нынче она и утратила прежнее всенародное значение, а все-таки в совершенстве забвению не предана.

– Верррно! – опять подтвердил Иван Иванович.

– Но ведь вы сами были давеча очевидцем, как люди совершенно простые выражали свой энтузиазм! И выражали так открыто, что наверное никто из них не опасался подвергнуться за это административному воздействию!

– То – мужики, им все можно, потому что им и под замком посидеть ничего, а мы – люди обстоятельные. Для нас не токма что день или неделя, а всякий час дорог! Будет... выпьем!

Я убедился, что продолжать этот разговор было бы бесполезно, но, признаюсь, сдержанность почтеннейшего Ивана Ивановича произвела на меня горькое впечатление.

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) я никак не мог вообразить себе, чтоб представление о кутузке было до сих пор так живо среди народа. Пришлось опять припомнить вашу газету, или, лучше сказать, бесчисленные передовые статьи ее, в которых выражалась мысль, что физиономия народа надолго, если не навсегда, определяется его воспитанием. Святая, бесспорная истина! Подумайте, как давно уже пали стены кутузки; но так как в продолжение веков она составляла главную основу нашего народного воспитания, то и теперь стоит перед нами, как живая! Кутузок уже нет, самый характер нашей культуры настолько изменился, что не только исправники и становые пристава, но даже сотские служат образцом предупредительности и вежливости, а мы все еще жмемся в сторонке, скрываемся, боимся проронить лишнее слово, как будто вот-вот нас сейчас возьмут за шиворот! Спрашивается, сколько прекраснейших излияний чувств остается вследствие этого под спудом! Скольких драгоценных и поистине умильных картин мы лишаемся случая быть свидетелями!

Начните хоть бы с нас, корреспондентов: какую массу совершенно неожиданных бытовых сцен мы могли бы воспроизвести, если бы не существовало этого фаталистического самозапрета относительно излияний чувств! Конечно, и теперь мы достаточно сильны по части подражания мужицкому жаргону, но все-таки нам нужно насиловать свое воображение или прибегать к перу Немировича-Данченко, чтоб достигнуть каких-нибудь солидных результатов в смысле увеличения розничной продажи газет. Тогда как не будь этого... Но этого мало: самое начальство – смею спросить – разве оно не теряет от этого в смысле самоутешения и самоощерения? Увы! взирая на ровную поверхность нашего общества, изредка возмущаемую восторгами мужиков, оно само не знает, что скрывается в этих глубинах: доброе ли чешуйчатое, которое можно выпотрошить и употребить в пищу, или злой крокодил, который сам может поглотить, ежели приблизиться к нему без достаточной осторожности?!

Нет, прочь кутузки! прочь самое воспоминание об них! По крайней мере, на время войны... Пусть всякий полагает, что он обо всем может откровенно высказать свою мысль! И пусть не только полагает, но и в самом деле высказывает! Результатов от такой внутренней политики можно ожидать только вполне удовлетворительных. Во-первых, всякий друг перед другом наверное будет стараться, чтоб мысль его была по возможности восторженная и патриотическая; во-вторых, если бы в общем строе голосов и оказались некоторые диссонансы, то можно бы таковые отметить в особых списках, и, по окончании войны, с выразителями их поступать на основании существующих постановлений. Тогда как теперь, при общем молчании, невозможно даже определить, где кончается благонамеренность и где начинается область превратных толкований...

– Скажи ты мне, сделай милость, что это за должность такая: корреспондент? – прервал мои размышления Иван Иванович.

Я объяснил, что в недавнее время возникла шестая великая держава, называемая прессою, которая, стремясь к украшению столбцов и страниц, повсюду завела корреспондентов. Эти последние обязываются замечать все, что происходит на их глазах, и описывать в легкой и забавной форме, способной заинтересовать и увеселить читателя. Писания свои корреспонденты отправляют в газеты для напечатания, но бабушка еще надвое сказала, увидят ли они свет, потому что существует еще седьмая великая держава, которая вообще смотрит на корреспондентов, как на лиц неблагонадежных, и допускает или прекращает их деятельность по усмотрению. Все искусство корреспондента в том заключается, чтоб попасть в мысль этой седьмой державе и угадать, какие восторги своевременны и какие преждевременны. Например: во время сербской войны некоторые восторги были сочтены преждевременными, и потому множество корреспондентов погибло напрасною смертью; теперь же, по-видимому, эти самые восторги вполне своевременны. Но и то только по-видимому, ибо ежели будущее неисповедимо вообще, то в отношении к корреспонденту оно неисповедимо сугубо. «Лови момент!» – вот единственное правило, которое умный корреспондент обязан вполне себе усвоить, – и тогда он получит за свой труд достаточное вознаграждение, чтоб...

Иван Иванович не дал мне докончить и с изумлением спросил:

– Так и корреспондентам деньги платят?

– Конечно, и даже совершенно достаточные, чтоб не...

– Ах, прах те побери! Отец Николай, слышь?

– Слышу и ничего в том предосудительного не нахожу, ибо знаю по собственному опыту, что такое духовный труд, особливо ежели оный совершается в благоприличных формах и в благопотребное время...

– Нет, да ты шутишь! настоящими ли деньгами-то платят вам? не гуслицкими ли?

– Настоящими, – сказал я, – и вот вам доказательство...

Я вынул из бумажника десятирублевую и подал ему. Он поднес ее к фонарю, посмотрел на огонь и вдруг с быстротою молнии опустил ее в свой карман.

– Я ее дома уже в рамку вставлю и на стенке в гостиной у себя повешу! – сказал он.

Положение мое было критическое. С одной стороны, я понимал, что это шутка (испытательного характера), но с другой – мне вдруг сделалось так жалко, так жалко этой десятирублевой бумажки, что даже сердце в груди невольно стеснилось. Не желая, однако ж, выказать свои опасения, я решился пойти на компромисс (опять вспомнил ваши передовые статьи, где это слово так часто употребляется).

– Прекрасно, – сказал я, – в таком случае вы мою бумажку вывесите, а мне отдадите свою равносильной ценности.

К несчастью, голос мой при этом дрогнул, и это дало ему повод продолжать свою шутку.

– Жирно будет! – воскликнул он.

– Но почему же?

– А потому что потому... Выпьем, корреспондент!

Он откупорил фляжку, налил чарочку и поднес ее к моему лицу; но в то время, как я уже почти касался чарки губами, он ловким маневром отдернул ее от меня и выпил вино сам.

– За твое здоровье... корреспондент!

Это была новая шутка, и опять испытательного характера, но на сей раз я решился не высказывать своих чувств.

– Итак, – сказал я, возвращаясь к прерванному разговору о позаимствованной у меня бумажке, – за вами десять рублей.

– Шалишь, любезный! Хочешь, грех пополам?

– Но зачем же я получу только пять рублей, коль скоро вы у меня взяли целых десять?

– Ну, слушай! Пойдем на аккорд: пять рублей я тебе отдам сейчас, а пять – через год. Хочешь? А твою бумажку в рамку вставить велю и подпишу: корреспондентова бумажка... По рукам, что ли?

– Не могу и на это согласиться, потому что и это не будет справедливо. А впрочем, я понимаю, что это с вашей стороны шутка, и охотно буду ожидать, покуда вы сами найдете возможным положить ей конец.

– Рассердился... корреспондент!

– Нимало... И в доказательство, что уважение мое к вам несколько не поколеблено, я, если угодно, хоть сейчас же выпью вместе с вами за ваше здоровье.

– Вот это – дело! ай да корреспондент! Выпьем!

Опять появляется фляжка, и увы! вновь повторяется тот же маневр, вследствие которого чарка, проскользнув у меня мимо губ, опрокидывается в горло моего амфитриона.

Я прислонился головой к стенке вагона и сделал вид, что желаю заснуть. Замечательно, что батюшка, в продолжение этих шуток, ни разу не вступился за меня. Он видимо уклонялся от вмешательства и даже в то время, когда шутки Ивана Иваныча приобретали несомненно острый характер, старался смотреть в окно, хотя там, по ночному времени, ничего не было видно. Ясно, что если бы Ивану Иванычу вздумалось в самом деле присвоить себе мои десять рублей, то я не имел бы даже свидетеля столь вопиющего факта! Повторяю, впрочем: серьезных опасений насчет преднамеренного присвоения я не имел; но все-таки думалось: а что, если он позабудет?

Не прошло, однако ж, четверти часа, как Иван Иваныч хлопнул меня по коленке и предложил выпить на мировую. Я, разумеется, поспешил согласиться, и на этот раз уже не было употреблено никаких фальшивых маневров.

– Слушай, корреспондент! – сказал он при этом, – ты парень проворный! постой, я тебе загадку загаду! Отчего наш рубль, теперича, шесть гривен на бирже стоит?

Я призадумался, потому что мне и самому, правду сказать, как-то не приходило в голову, отчего это так? Однако, припомнив кое-что из ваших передовых статей, ответил, что всему причиной коварство англичан!

– Так неужто англичанин такую власть над нами взял, что наш рубль в полтинник обратить может?

– Это – не власть, а естественное следствие слабости нашего денежного рынка.

– Да рынок-то наш отчего слаб?

– А это опять-таки оттого, что англичане...

Я остановился в недоумении и стал соображать. Не оттого ли это, мелькнуло вдруг у меня в голове: что у нас, взамен книгопечатания, в усиленной степени развито билетопечатание? Но он уже не слушал меня.

– Сам-то ты, вижу я, слаб... корреспондент! Батя! по маленькой!

– С удовольствием, – ответил отец Николай, который уже перестал смотреть в окно.

– Так ты за Дунай и далее? – вновь обратился ко мне Иван Иваныч.

– Да, за Дунай.

– «Ехал казак за Дунай»... а попал в Рыбинск!

– Да, и в Рыбинск. Во-первых, вы сами меня пригласили, а во-вторых, так как военные действия еще не начались, то отчего же мне, предварительно, не быть свидетелем драгоценных выражений русского духа!

– Смотри, как бы без тебя войну не кончили!

– Не беспокойтесь. Лучше скажите мне вот что. Теперь время трудное; одни жертвуют жизнью, другие – знаниями, третьи – корреспонденты, например – поддерживают в публике дух, знакомят ее с ходом военных действий... Ну, а прочие как?

– А тебе зачем нужно знать?

– А хоть бы затем, чтоб познакомить публику с действительным настроением русского общества в настоящую минуту.

– Изволь, братец. А мы... прочие, то есть... как чуть что, сейчас пошлем за ящичком – и деньги готовы!

– За каким же это ящичком?

– А за апчественным. Прежде у нас апчественных денег не было, а нынче – есть. Так заместо того, чтоб со списочком по домам ходить, взял, сколько требуется, из

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru  
ящичка – и шабаш!

– Оно из общественного-то ящичка ровнее, – пояснил отец Николай.

– Почему же ровнее?

– Чудак ты! Про агличанина знаешь, а этого не можешь понять! Известно, апчественный ящик всех равняет. Там и мой гривенник, и его пятак, и твоя копейка – все там складено! Значит, от всякого и жертва идет, глядя по состоянию.

– Стало быть, вы лично никакой тягости от этих пожертвований не ощущаете?

– Какая тягость! Сказано тебе: со всем нашим удовольствием!

Вот вам факт. Мне кажется, что, при рассмотрении вопроса об русской общине, он должен иметь первостепенное значение!

Удивительное дело! Как только было дано разрешение завести общественные кассы, так тотчас же они получали у нас такое же право гражданственности, как и растрата оных! Это уже не фантазия, не вымысел беспокойного и праздного воображения, а факт. Кассы наполняются, потом растрачиваются... и снова наполняются – какая изумительная, знаменательная и в то же время отрадная настойчивость! Где, в какой стране вы увидите что-либо подобное?

В этих мыслях я незаметно заснул. Да и время было, потому что письмо мое и без того уже вышло из пределов обыкновенной газетной корреспонденции. [82]

Я проснулся в десятом часу утра. Горячее солнце стояло уже высоко и обливало желтоватым светом внутренность вагона. Кругом царствовало суетливое движение: пассажиры громко разговаривали, собирая свои пожитки, в виду скорого достижения цели нашего путешествия.

– А вот и наша Рыбна! – весело воскликнул Иван Иванович, указывая пальцем в окно.

Я потянулся, протер глаза, и, сознаюсь откровенно, первую мою мысль было воспоминание о взятых у меня десяти рублях.

– Итак, – сказал я, – вы должны мне десять рубликов, почтеннейший Иван Иванович!

– Христос с тобой! никаких я у тебя денег не брал! Во сне ты это видел.

– Слушайте! это наконец ни на что не похоже! – не на шутку разгорячился я, не тут мой взор случайно упал на полу моего пальто, и все мои опасения мгновенно рассеялись. Вчерашняя моя десятирублевка оказалась пришитою на самом видном месте к поле пальто и так тщательно, что я употребил немало труда, чтоб отшить ее. Разумеется, добродушный хохот моих собеседников оглашал стены вагона все время, покуда продолжалась операция отшивания.

Подхалимов 1-й.

3

От редакции газеты «Краса Демидрона». Сегодня мы получили от нашего дунайского корреспондента следующую телеграмму, которая, мы говорим откровенно, привела нас в некоторое изумление:

Кинешма (не Кишинев ли?). Сейчас получено известие, что мы перешли через Дунай. Город иллюминирован. Отец Макридий сказал приличное обстоятельству слово. Завидую вам! Ура!

Подхалимов 1-й.

Во-первых, каким образом корреспондент наш мог попасть в Кинешму – мы решительно недоумеваем. Скорее всего мы склонны думать, что следует читать: «Кишинев», превратившийся в Кинешму вследствие одной из тех прискорбных ошибок, от которых, к величайшему нашему сожалению, телеграфное наше ведомство далеко не может считать себя свободным. Во-вторых, предположив даже, что наш корреспондент, вследствие разных замедлений, неразлучных с военным временем, достиг только Кишинева (о Кинешме мы, конечно, и не думаем), каким образом могло случиться,

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru что телеграмма наша попала по назначению лишь через неделю после того, как радостная весть о переходе наших войск у Мачина, а потом и у Систова, уже облетела всю Россию, была опубликована во всех газетах и сделалась драгоценнейшим достоянием всего русского народа?

Все это наводит на весьма невеселые мысли о действиях нашего полевого телеграфного ведомства. Жалобы на его неисправности слышатся не только у нас, но проникли и за границу, что в особенности важно в такую минуту, когда глаза целой Европы устремлены на нас. Мы говорим это не в виде упрека (сохрани нас бог!), но не можем не констатировать факта, который, как он ни прискорбен в данном случае, но все-таки поправим. И мы надеемся, что впредь ничего подобного не случится, ибо мы уже обратились по этому предмету куда следует с ходатайством, которое, конечно, будет уважено, ежели, впрочем, начальство, всегда к нам благосклонное, не найдет более уместным оставить нашу просьбу без рассмотрения.

Вообще, наши военные корреспонденты причиняют нам много забот, а иногда даже служат источником горестного изумления. Конечно, это дело совсем новое, и невозможно требовать, чтоб оно шло как по маслу, но нам как-то особенно не посчастливилось в этом отношении, хотя мы не щадили ни трудов, ни издержек, чтоб прочно поставить это дело на ноги. Наш дунайский корреспондент, очевидно, увлекся. Происходя сам из народа, он последовал за волной народных восторгов и, вероятно, пробыл в Рыбинске более, нежели следовало. Вот отчего он только теперь достиг Кишинева, куда мы, впрочем, имеем с сим посылаем ему дружеское приглашение не медлить более и постараться, сколь возможно скорее, присоединиться к нашей армии, дабы быть очевидцем предстоящих великих событий. Что касается до нашего малоазиатского корреспондента (Подхалимов 2-й), то об нем мы решительно не имеем никаких известий. 9-го мая мы простились с ним и знаем, что он был совершенно здоров, в полном рассудке, дышал отвагой и оставил нас с твердым намерением выехать в тот же день из Петербурга с последним пассажирским поездом. Знаем еще, что у него есть в Чебоксарах родные, к которым он хотел заехать, но не более, как на один день. Однако с тех пор он как в воду канул. Напрасно мы посылали узнавать на его петербургскую квартиру, потом телеграфировали в Чебоксары, в Тифлис, в Кутаис и наконец в Александрополь – отовсюду мы получили отрицательные ответы. Очень возможно, что он взят в плен, и в таком случае нам приходится только пожалеть об участи талантливого юноши и сотрудника, который нам был особенно дорог своею готовностью выполнять поручения редакции. Как бы то ни было, но это должно объяснить публике, почему наши сведения с малоазиатского военного театра еще слабее, нежели с Дуная.

Надеемся, что читатели не посетуют на нас за это откровенное объяснение. Можем прибавить к этому, что ввиду глубокого интереса, возбуждаемого настоящей войной, мы и еще раз не пожалели трудов и издержек. А именно: отыскали, на замену без вести пропавшего малоазиатского корреспондента нашего – другого, г. Ящерицына, которого испытанное и вполне нам известное проворство не оставляет желать ничего лучшего. Вчера мы лично присутствовали на дебаркадере Николаевской железной дороги при его отправлении и можем сказать с полною уверенностью: он уехал. Таким образом, через месяц, никак не более, читатели наши будут иметь подробнейший выбор самых свежих новостей, почерпнутых прямо из первого источника. При этом считаем нелишним напомнить почтеннейшей публике, что розничная продажа нашей газеты никогда не была воспрещена, а тем менее приостанавливаемо самое издание газеты, и что слухи, будто бы мы прекращаем нашу деятельность по недостатку средств, – чистейшая ложь, выдуманная нашими противниками, в видах распространения их вредных и очень часто недопускаемых к розничной продаже изданий, что, как известно, при совокупном применении системы предостережения, влечет за собою приостановку оных на более или менее продолжительные сроки, а иногда даже и совершенное прекращение, по усмотрению начальства. А от этого, кроме потребителей розничной продажи, очевидно, страдают и годовые подписчики.

4

Варнавин. Вас, конечно, удивит, что я пишу из Варнавина. Что делать, волны народной восторженности увлекли меня дальше, нежели я предполагал. Впрочем, я из Кинешмы[83] уже телеграфировал вам, что русские войска благополучно переправились через Дунай у Зимницы и еще в каком-то месте – забыл. Следовательно, главное вам известно.

Пожалуйста, извините меня, что я медленно спешу. Действительно, я не успел к переходу за Дунай, но к переходу через Балканы поспею, это – верно. Впрочем,

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) собственно говоря, ввиду той копеечной платы, которую вы меня награждаете, и извиняться не стоит...[84]

В Рыбинске я пробыл всего три недели и, признаюсь, расстался с моим амфитрионом без особенной горести. Слишком испытательный характер его шуток с каждым днем приобретал все более и более острый характер, так что под конец я не мог без опасения смотреть в глаза будущему. Я не говорю уже о том, что когда всем подавали за обедом уху из живых стерлядей, то для меня, как он сам выражался, специально готовили таковую из дохлой рыбы; но были шутки и покрупнее. Так, например, воспользовавшись моим восторженным положением по случаю взятия Баязета, он уложил меня, сонного, в гроб, покрыв старой столовой красной салфеткой и поставив по четырем углам сальные свечи, так что когда я ночью проснулся и увидел себя в комнате одного и в такой обстановке, то чуть в самом деле не умер со страху. В другой раз, воспользовавшись таковым же моим положением по случаю взятия Ардагана, он вывез меня на дрогах в городской лес и бросил в канаву, так что я, будучи пробужден воем собак, должен был для спасения своего лезть на дерево и в другой раз чуть не умер со страху.

Этот последний поступок даже уклончивого отца Николая привел в недоумение (я не обвиняю, впрочем, его за эту излишнюю склонность к дипломатии, потому что в доме Тр. каждую субботу служат всенощные, а это – немаловажное подспорье для причта), так что он сказал в лицо самому Ивану Ивановичу:

– Хотя шутка, сударь, вообще не предосудительна, а в некоторых случаях даже приятным развлечением служить может, но в сем разе вы подвергли господина корреспондента опасности быть растерзанным дикими зверьми и тем самым довольно ясно доказали, что пределы невинного препровождения времени преступаются вами без надлежащей осмотрительности!

– Ишь ведь городит! каких ты еще диких зверей в нашем лесу сочинил! – нимало не смущаясь, возразил на это Иван Иванович.

– Все-таки, сударь! в ином разе и собака, не хуже волка, свою роль сыграет!

– Беду нашел! ведь все равно турки его растреплют – чего ж тут! Еще хуже будет: слышал, чай, как турки-то с ранеными поступают... ах, варвары, прах их побери!

– И на это скажу: неправильно, в предвидении смерти чаемой, а быть может и не неизбежной, подвергать человека смерти определительной и неминуемой. Жестокой ответственности за это подпасть можете.

– «Определительной» да «чаемой» – не умер ведь! Отдышался!

Так-таки и не успел отец Николай довести моего амфитриона до чистосердечного раскаяния!

В заключение всего Иван Иванович пригласил меня с собой в Нижний, куда он ехал по торговым делам, и высадил ночью, сонного, в согласии с капитаном парохода, на пустынном берегу Волги. Так что я на другой день проснулся, томимый жаждою, под палящими лучами солнца и только от проходящих бурлаков узнал, что нахожусь в семи верстах от Кинешмы. Справедливость, однако ж, требует сказать, что я нашел свой сак в сохранности, и, сверх того, в карманы моего пальто заботливою рукою г. Тр. были положены: булка, кусок колбасы и бутылка водки. Сверх того, я нашел у себя в боковом кармане сторублевый кредитный билет и записку следующего содержания: «прощай, корреспондент!» Однако и этому доброму делу он придал шутовские формы, наделавшие мне немало хлопот, а именно нарисовал на сторублевом билете усы, так что когда я, придя в Кинешму, хотел разменять ассигнацию на мелкие, то меня повели к исправнику в качестве обвиняемого в превратных толкованиях! Исправник же хотя и убедился моими объяснениями в моей невинности, но все-таки отобрал от меня сторублевку да, сверх того, и паспорт, на случай, как он выразился, возникновения обо мне дела, и обязал меня подпискою уведомлять его каждую неделю о своем местопребывании! Вот каковы результаты моей поездки в Рыбинск!

Замечательно легкомыслие людей, подобных моему рыбинскому амфитриону. По-видимому, они набожны, охотно ходят в церковь, служат всенощные, молебны и приносят значительные пожертвования на благолепие храмов, а между тем никто легче их не переходит от набожности к самому циническому кошунству. Случай со

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru мной, как меня уложили в гроб, служит тому очевидным доказательством. И я вполне убежден, что Иван Иванович даже не понимал, что он кощунствует, а просто полагал, что это такая же «шутка», как и та, которую он позволял себе, кормя меня уху из «дохлой рыбы»!

Да, печальна участь русского корреспондента! [85] Мало того что он, подобно американским пионерам, рискует, исследуя русские дебри, быть растерзанным дикими зверьми – над ним еще всячески издеваются люди, которым, по их богатству и положению, следовало бы стоять на страже отечественной культуры!

За все мое пребывание в Рыбинске случилось одно только замечательное происшествие: битва в клубе, причем враждующие разделились на две партии: одна под предводительством моего принципала (в этом же лагере находился и я), другая – под предводительством одного из здешних сильных мира, статского советника Р. Враждующие стороны давно уже пикировались из-за первенства в клубе и наконец на днях, во время выборов в старшины, когда партия статского советника была торжественно прокачена на вороных, не выдержали. Генеральное сражение устроилось как-то совершенно внезапно. «Наши», по окончании баллотировки, преспокойно расселись за карточные столы, как вдруг разведчики донесли Тр., что в неприятельском лагере происходит какое-то подозрительное движение. И действительно, статский советник совещался в бальной зале с своими акколитами и метал глазами молнии. Убедившись, что нападение должно воспоследовать в самом непродолжительном времени, «наши», не подавая вида, что подозревают что-либо, продолжали сидеть за картами, но между тем приготовились и разослали по домам за подкреплениями. Но и за всем тем положение наше было очень и очень сомнительное, и если бы неприятель сделал нападение немедленно (он сам, по-видимому, не был уверен в своих силах), то весьма возможно, что наше дело было бы проиграно навсегда. Но в этот вечер статский советник делал промах за промахом. Во-первых, он пропустил удобный момент; во-вторых, допустил, что коллежский советник N и отставной ротмистр Ж. ушли домой, и, в-третьих, ворвался в игральные комнаты, не рассчитав, что мы были защищены игральными столами и вооружены подсвечниками. Результат был таков, какого и следовало ожидать. Неприятель был смят в несколько мгновений и бежал с поля сражения, с трудом подобрав своих раненых. С нашей стороны потерь не было, но лицо Тр. оказалось до такой степени испещренным разнообразными боевыми знаками, как будто по нем проехали железной бороной. Я также получил ушиб в левое ухо и в правую скулу, но награды себе за это не ожидаю. [86]

Еще особенность Рыбинска: тамошние мещанки гораздо охотнее, нежели мещанки других городов Ярославской губернии, назначают на бульваре любовные randevu. Я сам однажды, в качестве любопытного, отправился, когда стемнело, на бульвар и невольно вспомнил о Немировиче-Данченко. Только его чарующее перо может достойно описать упоительную рыбинскую ночь среди групп густолиственных лип, каждый лист которых полон сладострастного шепота! По уверениям старожилов, любовное предрасположение здешних жителей происходит от того, что они питаются преимущественно рыбою (отсюда и самое название Рыбинск), которая, как известно, заключает в себе много фосфора.

Я и сам получил приглашение на randevu от некоей Аннушки, но остерегся пойти, подозревая в этом новую шутку моего амфитриона. И действительно, я угадал: на другой день отец Николай сообщил мне за тайну, что все это было устроено с единственной целью помять мне бока!

Итак, я в Варнавине... [87]

5 [88]

Село Баки (между Варнавином и Семеновым). Итак, я на Ветлуге; расскажу по порядку, каким образом это произошло.

После известного вам рыбинского погрома, будучи высажен с парохода на пустынный берег Волги, я достиг наконец Кинешмы, где и пробыл три дня, во-первых, чтоб отдохнуть, а во-вторых, чтоб покончить неприятное дело о превратных толкованиях, возникшее по поводу злополучной сторублевки, подаренной мне купцом Тр.

Из Кинешмы я хотел отправиться по железной дороге в Москву, дабы оттуда уже безостановочно ехать на Дунай и далее, но вместо того попал на пароход, который нечувствительно привез меня в Юрьево. Беда была бы, однако ж, невелика, потому что я мог бы доехать этим порядком до Нижнего и все-таки, рано или поздно,

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) добраться до Москвы; но в Юрьевце случился со мною новый казус. Там, как вам, конечно, известно, существуют две пароходные линии: одна идет вниз и вверх по Волге на Нижний и Рыбинск; другая же уклоняется к северу и идет по реке Унже до Макарьева (костромского). Выйдя с парохода погулять, я, ничего не подозревая, попал, вместо нижегородского парохода, на макарьевский и, к великому моему удивлению, на другой день утром очутился в Макарьеве. К счастью, я имею привычку никогда не оставлять моего дорожного сака ни в вагонах, ни в пароходных каютах, и потому все вещи мои оказались налицо. Тем не менее, как я ни оправдывался перед капитаном парохода и даже показывал ему билет, взятый на пароходе до Нижнего, но меня все-таки заставили заплатить за мое невольное путешествие от Юрьевца до Макарьева. Я даже подозреваю, что капитан, в самый момент моего появления на унженский пароход, очень хорошо понимал, что я попал туда ошибкою, но нарочно оставил меня в заблуждении, так как публики по унженской линии ездит мало, и подобные заблуждения, конечно, на руку компании. По крайней мере, некоторые пассажиры мне сказывали, что такие случаи здесь нередки, особенно во время нижегородской ярмарки, когда купцы вообще делаются особенно склонными впадать в заблуждения.

В Макарьеве я пробыл менее суток, и так как был сильно утомлен, то целый день проспал и никаких городских достопримечательностей осмотреть не мог. Вечером, впрочем, отправился в местный клуб, но тут-то именно и случилось фатальное недоразумение. Сторож потребовал от меня рекомендации какого-либо из членов, а я при этом требовании неизвестно почему обробел. Тогда он начал самым наглым образом настаивать, чтоб я предъявил свой паспорт, грозя, в противном случае, дать знать исправнику. Впоследствии я узнал, что эта необыкновенная щепетильность имеет свою законную причину: незадолго перед тем в городе произошло несколько пожаров, причину которых относят к поджогам. Следовательно, теперь появление каждого нового лица в городе поднимает тревогу и возбуждает подозрение, не поджигатель ли. А так как у меня паспорт был отобран еще в Кинешме, то, натурально, я не мог ничего предъявить. Как бы то ни было, я должен был дать гривенник из собственных своих, чтоб только замять это дело, которое могло разыграться тем, что крикни только сторож – и разъяренная чернь меня, человека совсем невинного, [89] наверное разорвала бы на части!

Ввиду такой перспективы я, даже не возвращаясь на постоянный двор, поспешил выбраться из города и очутился на совершенно незнакомой мне дороге. Я шел наугад целых четыре дня, не зная, куда приведет меня звезда, ночевал большею частью в стогах сена и питался ягодами, которыми, к счастью, здешние леса изобилуют. Но, ах! если бы вы знали, какие это леса! Дремучие, торжественно молчаливые, наполненные всякого рода птицей, зверем и гадом! Изредка только, в перелесках, попадаются небольшие селения, которых я, однако ж, как беспаспортный, старался избегать.

Но, сколько могу судить по мимолетным моим наблюдениям, восторг по случаю войны и здесь не меньший, нежели в прочих местах, где я до сих пор был. По крайней мере, одна старушка, к которой я зашел в избу, чтоб хоть сколько-нибудь подкрепить свои силы горячей пищей (семья была в это время на работе, а она домовничала), узнав, что я – корреспондент газеты «Краса Демидрона», не только накормила меня задаром прекраснейшей глазуньей-яичницей, но и дала мне на дорогу большую лепешку, которая сослужила мне очень-очень большую службу в дальнейшем путешествии. От нее же я узнал, что деревня их Варнавинского уезда и отстоит от Варнавина в сорока верстах. Пользуясь этим случаем, я вздумал кстати собрать несколько небесполезных этнографических данных, которые могли бы мне послужить материалом для характеристики этой местности, и с этою целью вступил и разговор со старушкой.

– Ну, милая старушка! – сказал я, – за хлеб за соль благодарю, а все-таки попрошу тебя и еще одну службишку мне сослужить.

– Какую, кормилец?

– Расскажи ты мне, какие тут у вас есть нравы и обычаи?

– Каким у нас, кормилец, обычаям быть? Известно, летом работаем, весной работаем, осенью работаем, зимою работаем – вот и все наши обычаи здешние!

Более этого я узнать так-таки ничего и не мог, и как ни старался втолковать доброй женщине, что слово «обычай» означает «игры», «песни», «обряды свадебные и

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru похоронные» и проч., но она уперлась на своем, что никаких обычаев у них нет, кроме одного: и летом, и зимой, и осенью, и весной – все работают. К довершению всего, когда я собрался в путь, она бросилась ко мне в ноги и стала умолять, чтоб я попомнил ее хлеб-соль и не «трогал» их деревни. Представьте! она приняла меня за поджигателя!

Ровно через сутки я очутился в виду Варнавина, да и пора была, потому что ноги у меня ужасно отекали и распухли.

Варнавин – довольно чистенький городок на Ветлуге, при впадении в нее Лапшанги. Я пришел туда хотя под вечер, но еще не поздно; однако на улицах было до того пустынно, что самые дома в изумлении, что раздались чьи-то шаги, казалось, спрашивали: кто здесь блуждает? Насилу нашел постоянный двор; разумеется, сейчас же снял сапоги, напилсь сквернейшего чаю и заснул, как убитый. На другой день, проснувшись довольно рано, хотел осмотреть достопримечательности города – не тут-то было! Представьте! и здесь на днях было несколько пожаров, и здесь ходят слухи о поджогах, так что внезапное появление мое пешком и неизвестно откуда окончательно всполошило и полицию, и обывателей. И вот, в то самое время, как я писал мое предыдущее письмо к вам, вдруг возник вопрос о паспорте, и я вновь должен был мгновенно исчезнуть... что я и сделал, оставив на столе два двугривенных для расплаты с хозяином за постой.

Вот почему мое последнее письмо к вам осталось недописанным, а совсем не потому, чтоб я был нездоров, как вы, быть может, предположили. Люди вообще склонны делать слишком скорые заключения в ущерб своим ближним, а редакторы газет в особенности. Но опыт доказывает, что очень часто подобные заключения оказываются не только преждевременными, но даже и вполне неосновательными!

Итак, я в самом центре Ветлужского края. Баки – довольно большое село, стоящее на крутом берегу реки Ветлуги. Здесь дорога из Семенова (Нижегородской губернии) разветвляется: одна ветвь идет на север, через Варнавин до города Ветлуги, а может быть, и дальше, другая – поворачивает на восток, на Яранск и Вятку. Баки принадлежали прежде...[90]

6

От редакции газеты «Краса Демидрона». Сегодня мы опять получили телеграмму от нашего дунайского корреспондента, весьма странную телеграмму, которую, однако ж, не считаем нужным скрывать от наших читателей, дабы они могли видеть сами, какими неожиданными результатами увенчались наши старания удовлетворить справедливым требованиям публики, по случаю настоящих военных обстоятельств. Вот эта телеграмма.

Козьмодемьянск. 20-го июля. Наши войска перешли за Балканы. Ура генералу Гурко! Всеобщий восторг. Пью за ваше здоровье, Аннушка (не понимаем!). Кажется, успел напасть на следы Подхалимова 2-го, который три дня тому назад был здесь. Подробности почтою.

Подхалимов 1-й.

Таким образом, есть признаки, свидетельствующие, что и малоазиатский наш корреспондент совсем не попал в плен, как мы первоначально полагали, а просто-напросто запутался в Чебоксарах... Будем ожидать дальнейших разъяснений!

7

Васильсурск. Я вышел из Баков с такой поспешностью, что даже птицы дивились быстроте моих ног. Представьте! оказалось, что хотя в Баках и не было в настоящем году пожаров, но так как таковые были во всех ближайших селениях, то у меня до такой степени настоятельно потребовали паспорта, что я должен был скрыться, не допив стакана чаю, лишь бы не быть арестованным!

Хотя из Баков идет прямая дорога на Семенов, но я предпочел следовать берегом реки Ветлуги, тем больше что незадолго перед тем прочитал роман Печерского «В лесах» и знал, что этим путем попаду в село Воскресенское, где могу полакомиться отменными ветлужскими стерлядями. Я не стану описывать восторгов, происходящих в этой местности по случаю военных обстоятельств: они везде одинаковы. Замечу, однако ж, что все описанное г. Печерским в его романе я нашел здесь налицо и в полной исправности. Не успел я пройти несколько верст от Баков, как на меня напала «стрека» и чуть не заела. Из Воскресенского, наевшись до отвала в

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru тамошнем трактире отличнейшей стерляжьей уха, зашел в женский раскольничий скит, где нашел все совершенно так, как описывается у г. Печерского. В горницах «матери» угощают макарьевского исправника провесной белорыбицей и переславскими копчеными сельдями, а в это время в подполье сидит старец и делает фальшивые ассигнации. И меня приглашали заняться этим выгодным ремеслом, но я, понимаете, отказался и, поев в келарне пухлых скитских блинов, отправился далее.

«Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается» – эта пословица с буквальной точностью осуществилась на мне. Целых две недели бродил я по Ветлуге, но где бродил и что видел – хоть убейте, сказать не могу. Знаю, что видел множество мест, укрепленных самою природою, и бесчисленное количество болот, которые тоже могут служить отличнейшею защитою. И больше – никс!

Странное свойство этой местности! Еще про покойного П. И. Якушкина рассказывали, что он целых два года ходил по Ветлуге, в качестве собирателя этнографических материалов, и когда его впоследствии спрашивали, что он заметил, то он отвечал: забыл! То же самое повторилось и со мною. Где был, что видел, об чем говорил – ничего не помню! Хотя же выше я и написал вам о «стреке» и о Воскресенских стерлядях и о житье-бытье в скитах, но не могу ручаться, что все это было на деле, а не есть последнее недавнее прочтение романа «В лесах». Одним словом, Ветлуга – это наша русская Лета, в волнах которой никому безвозбранно окунуться не дозволяется.

Наконец я дошел до Волги, сел на пароход, и на сей раз удачно, потому что попал не в Козьмодемьянск, а в Васильсурск, то есть прямо по направлению к дунайскому театру войны, от которого до сих пор так настойчиво отдаляли меня тысячи мелких случайностей. Я знаю, что мне следовало бы ехать прямо в Нижний (тем более что там началась уже ярмарка, и в Кунавине можно было бы собрать громадный материал для бытовых сцен), но что хотите! отец Николай сказал правду, что плоть человеческая немощна; я вспомнил о знаменитых сурских стерлядях и решил побывать в Василе... впрочем, только от парохода до парохода. [91]

Васильсурск – очень хорошенький городок, стоящий на возвышенном берегу Волги, при слиянии ее с Сурой, от чего произошло и самое наименование его. По календарю Суворина в нем значится жителей 2507 душ обою пола, но мне кажется, что я в одних трактирных заведениях насчитал в разное время больше (впрочем, очень возможно, что это были одни и те же лица, приходившие пить чай по нескольку раз). На столбе, врытом у почтовой станции, значится: от С.-Петербурга 1186, от Москвы 582, от Нижнего Новгорода 112 верст. Плата за телеграммы взимается в обе столицы одинаковая: один рубль; но международной корреспонденции нет, так что если бы вам вздумалось, например, телеграфировать мне по-французски, то, извините, мы этого диалекта не понимаем! Еще особенность Васильсурска: он лежит под 56°8' северной широты и под 63°40' восточной долготы. Будущность, ожидающая этот город, – громадная, особливо когда проведут отсюда железный путь до Алатыря (Симбирской губернии), а отсюда, через Котьяков, до Пензы. Тогда весь хлеб сурского бассейна пойдет сюда, и моршанско-сызранской дороге – капут; так, по крайней мере, при мне говорили посетители трактира, в котором я ел знаменитую сурскую уху.

Как ваш корреспондент, я счел излишним представиться здешнему инвалидному начальнику, который очень любезно меня принял, представил меня своей супруге и показал свою команду. [92] Ах, что это за бравый, бодрый, отличный народ! Все (их было пять человек) [93] как на подбор один к одному – молодцы! Коренастые, кровь с молоком – заглядение! Поздоровкавшись с ними как следует (начальник [94] показывал мне их в манеже), я обратился к ним с вопросом:

– А что, ребята, горите желанием сразиться с врагом?

– Га-а-рр-ы-им, ваше калеспандентное ва-ше-ство! – грянули в ответ молодцы, как из пушки.

– И скоро вы выступаете в поход? – обратился я к начальнику.

– Как скоро, так сейчас! – ответил он мне.

Итак, в поход. Мы еще не за Балканами, но с такими молодцами будем там скоро; это не подлежит никакому сомнению. [95] Возвращаясь из манежа домой, мы были застигнуты в дороге таким проливным дождем, что буквально на нас не осталось ни

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) одной сухой нитки. К тому же порядочно уж стемнело, и грязь на улицах сделалась непролазная (здесь начало черноземной полосы, этого неисчерпаемого золотого дна России). К несчастью, я еще упал, и таким образом, измокшие, все в грязи, мы явились обратно. Миловидная супруга начальника очень смеялась, увидя нас в этом непривлекательном виде, но амфитрион мой сердито заметил:

– Чем смеяться-то, лучше бы велела подать гостю сухое белье!

Через несколько минут я был уже переодет: в сухом белье и турецком халате. В этом виде любезный начальник повел меня к своей супруге (я протестовал, но он так убедительно просил не церемониться, что я вынужден был покориться), которая, увидев меня в моем импровизированном костюме, сейчас же прозвала меня злым турком, а потом, когда хозяин дома на минуту отлучился из комнаты, потихоньку сказала мне, что это халат ее мужа, и что я в нем так похож на него, что... К сожалению, она не докончила, потому что в эту минуту вошел слуга с самоваром.

Налили чай, в который я, для вкуса, подбавил рюмочку рома, [96] и затем беседа наша пошла далеко за ночь. Обсуждали военные действия, сперва на малоазиатском театре, потом на дунайском, и, по совести, нашли более поводов для одобрения, нежели для порицания. Впрочем, вы и сами по опыту знаете, какое живительное влияние оказывают на беседу вовремя и у места проглоченные две-три рюмки ямайского! [97]

В заключение гостеприимный хозяин велел сервировать скромную закуску и две полубутылочки холоденького, [98] которые мы и распили за здоровье храбрых русских воинов.

Когда я встал наконец, чтоб проститься, мой амфитрион крепко пожал мне руку и просил не забывать его. На это я ответил, что корреспонденты никогда ни одного проглоченного куса не забывают, и сослался на пример малоазиатского корреспондента «Северного вестника», который перед лицом всей России дал клятву вечно хранить благодарное воспоминание о радушном приеме, оказанном ему кутаисским бомондом. Еще бы! кормили шемаей, поили кахетинским – и это забыть!

Да, воспоминание о Васильсурске будет до гроба жить в моем благодарном сердце! Во-первых, от меня не потребовали паспорта, а во-вторых, не только не «пошутили» надо мной, [99] но обласкали и накормили меня совершенно серьезно, как следует. Согласитесь, что это не везде и не со всяким бывает!

Возвратясь на постоялый, засел за корреспонденцию, но, признаюсь, до того устал, что дальше продолжать не могу; совсем глаза слипаются. Прощайте; иду спать, и, наверное, засну как убитый. Но завтра, в пять часов утра – в Нижний! и на этот раз уж вернее смерти! [100]

Подхалимов 1-й.

Р. С. Чтоб окончательно успокоить вас насчет неперемного моего отъезда в Нижний, спешу прибавить, что сам здешний представитель военной власти взял ся устроить мне место на пароходе, отправляющемся в пять часов. За час перед отплытием он пришлет на постоялый одного из своих юных героев, чтоб разбудить меня. Следовательно, вы можете быть спокойны: все заранее так комбинировано, что я даже проспять не могу. Разве что сон какой-нибудь чересчур уж веселый увижу, вроде, например, того, что вы решились копейку на строчку прибавить мне... Но нет – этого даже и во сне не увидеть!

8 [101]

Чебоксары. Даже не извиняюсь перед вами – надоело. Вчерашний амфитрион мой, вероятно, рассудил, что через Васильсурск можно ехать только на малоазиатский театр войны, и потому взял билет на пароходе, идущем в Казань. А я не справился, – вот и вся моя вина! Знаю, что подобные *qui pro quo* [102] не всегда уместны, но на практике они бывают очень назидательны. Едешь час, едешь другой, думаешь: вот сейчас будет Лысково – и вдруг Козьмодемьянск! Удивительный переворот в мыслях производят подобные неожиданности!

Однако в сторону все это. Главное: я отыскал Подхалимова 2-го!!

Вот как было дело. Узнав на пароходе, что наши перешли через Балканы, я воспользовался остановкой в Козьмодемьянске, чтоб поделиться с вами этою

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru радостью. Прихожу на телеграфную станцию, подаю телеграмму, настаиваю, чтоб ее поставили на аппарат немедленно, при мне – и вдруг телеграфист говорит мне:

– А вчера точь-в-точь такую телеграмму и в ту же газету подавал у нас один господин.

Разумеется, интересуюсь, расспрашиваю и получаю в ответ: черноватенький (он!), небольшого роста (он!), шадровитый из лица (тысячу раз он!).

– И чудной господин! – прибавляет телеграфист, – точно во сне ходит (опять-таки он!). Подал, это, телеграмму и говорит: «Зачем я, однако, в Козьмодемьянск приехал?» Вам, говорю, лучше это знать! «Да в Чебоксарах ведь есть своя телеграфная станция?» Есть, говорю. «Ну, так, говорит, лучше из Чебоксар отправлю». Взял назад и уехал.[103]

Он! он! он! В Чебоксарах – это верно!

Покуда я таким образом беседовал, наш пароход ушел; но я уже не жалел о потерянных деньгах за место, взятое до Казани, и думал лишь о том, как бы с будущим пароходом опять не вышло ошибки, и мне, вместо Чебоксар, не пришлось воротиться в Васильсурск!

На этот раз, однако, обошлось благополучно. Проходит два часа – и Чебоксары уже в виду. Пристаем; я выхожу на берег и спешу в первый попавшийся на глаза трактир.

– Подхалимов-второй! ты?

– я!

– Какими судьбами? У родственников, что ли, загостился? Помнится, ты говорил, что у тебя в Чебоксарах родные живут?[104]

– какие, брат, к черту, родственники! разве у Подхалимовых бывают родственники!

Слова эти опечалили меня. Горемычные мы, Подхалимовы, в самом деле, люди! Без роду, без племени (все-то мы растеряли!), шатаемся из трактира в трактир, разыскивая, где бы хоть крошечку приютиться! Выйдет местечко – не успеешь и оглянуться, смотришь – и опять чем-нибудь не потрафил! Неуживчивы мы, мятежа в нас много – вот оно что! Но, с другой стороны, кабы не было этого мятежа – что бы поддерживало нас? Вот и вы, поди, теперь думаете: беспреречно я этому Подхалимову-первому, за его неисправности, от места откажу! что ж! откажите![105]

– что же такое случилось? деньги, что ли, потерял?

– деньги потерял, паспорт потерял – это само собой! А главное, штука у меня тут завелась.

– Гм!.. штука! Интересно, брат, интересно!

– Да что! бестия, брат! то есть такая выжига, что боже упаси!

– Как же ты на нее напал?

– А знаешь Василия, который в гостинице «Москва» половым служил, ну, так это – его сестра. Сам-то он из черемис, а Чебоксары, это – столица черемисская. Когда я отправлялся под Карс-то, вот он и говорит мне: будете, говорит, мимо наших местов ехать, так потрудитесь сестрице писемцо да пять рублей денег отдать...

– что ж, хороша, по крайней мере?

– Рассыпчатая!

– Девица?

– Замужем. И сама – бестия, и муж шельма. Застал я их в лачуге, с голоду мрут, а теперь – распивочную продажу открыли!

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)

– Эге! так вон куда корреспондентское-то содержание ушло! [106]

– Туда. Сперва все наличные из меня высосали, а потом и векселя в ход пошли. Сколько я этих векселей надавал – страсть!

– Ничего, друг: бог милостив! Напишем в редакцию «Красы Демидрона» слезное прошение – выручат! [107]

Однако он усомнился в этом и стал доказывать, что редакция несколько не причастна его злоключениям; что она и без того не щадила ни трудов, ни издержек, чтоб удовлетворить справедливым требованиям публики, и что, следовательно, было бы в высшей степени несправедливо привлекать ее к ответственности по такому делу, которое не подходит прямо к программе газеты, как издания литературного, политического и ассенизационного, но не прелюбодейственного. Я, конечно, не мог внутренне не согласиться с его доводами, но все-таки, чтоб окончательно не обескуражить его, некоторое время поддерживал мой тезис, хотя, признаюсь, довольно слабо.

– Но, по крайней мере, ты хоть пожуировал! – наконец сказал я, чтоб переменить разговор, принимавший чересчур печальное направление. – Ведь эти «штучки», коли они захотят... секретцы у них.

– Ни-ни! – воскликнул он с необыкновенною живостью.

Я был ошеломлен.

– Ну, брат, это уж совсем глупо!

– В том-то и дело, что изгибы человеческого сердца... очень, брат, это мудреная штука! – отвечал он печально, – она-то, по-видимому, не прочь, да bestия муж так и вертится... А впрочем, может быть, и она... шельмы они оба, это – вернее!

Мы умолкли: обоим нам было тяжело. Ему – потому, что встреча со мной заставила его опомниться и обнаружила во всей наготе пропасть, зиявшую под его ногами; мне – потому, что и надо мной начинали тяготеть смутные предчувствия чего-то недоброго.

– Сколько-нибудь, однако, осталось у тебя денег? – первый я прервал молчание.

Вместо ответа он выложил на стол желтенькую и, обращаясь к служителю, скомандовал:

– Гарсон! полштофа очищенной... живо!

Это был крик отчаяния, который меня глубоко взволновал.

– Спрячь этот последний ресурс! – вскричал я, – я плачу за все! И сверх того... могу даже рубликов двадцать пять уделить тебе... идет?

Он крепко пожал мою руку.

– Извини, что не больше; сам знаешь, впереди предстоит еще Дунай – дорога не близкая!

Но он только горько усмехнулся в ответ и запел:

– Ах, Дунай ты мой, Дунай!

Сын Иванович Дунай!

– Погодим, брат, и в Чебоксарах! – прибавил он с фаталистической уверенностью поклонника ислама.

– Ну, нет, друг, – это – ни-ни! Я тово... я – непременно! Нынче же ночью, вот только дождусь парохода – и сейчас! И прямо так-таки, нигде не останавливаясь, – на Дунай. [108]

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru  
Уверенный тон, которым я выразил мое намерение, по-видимому, ободрил и его.

– А сем-ка и я в Малую Азию хвачу! – воскликнул он весело, – авось-либо до Самары доеду!

– Хватим, друг!

Увы! Это было только «пленной мысли раздраженье»! Через минуту он уже опять опустил голову.

– Нет, голубчик! – сказал он уныло, – теперь мне остается только об одном бога молить: чтоб меня отсюда куда ни на есть по этапу выслали.[109] Да куда выслать-то, вот – вопрос! Где моя родина? Где мое местожительство? В «Старом Пекине»? В гостинице «Москва»? Вот уж подлинно: бегаем мы, корреспонденты, и «града неведомого взыскуем».

– Кстати! скажи, пожалуйста, как это ты паспорт потерял?

– Да так вот: купаться в Волге вздумал. Признаться, выпито несколько было – вот и приди мне в голову дикая мысль: украдут, мол, у тебя этот самый паспорт, ежели ты его на берегу оставишь! Ну, разделся, положил его под мышку да как поплыл – совсем и забыл; смотрю, в стороне какая-то бумажка плывет! Ан это он и был! Исправник уж раз десяток присылал, никаких резонов не принимает – наверняк этапом кончится! Впрочем, что все обо мне да обо мне – ты как, вместо Дуная, в Чебоксары попал?

Я рассказал подробно все, что вам уже известно из моих писем. История вышла тоже невеселая, но некоторым эпизодам ее мы все-таки искренно посмеялись.[110] Когда я кончил, он сравнил мое положение с своим (относительно редакции «Красы Демидрона») и нашел, что я все-таки могу оправдаться перед редакцией довольно прилично.[111]

– Ты, по крайности, все-таки какую ни на есть корреспонденцию посылал, – сказал он – тогда как я... Ведь я, брат, даже весточкой о взятии Ардагана не поделился!

– Неужто?

– Да, брат. То есть я-то, собственно, не преминул, да она... шельма! Позвольте, говорит, я сама на станцию снесу... А после оказалось, что и телеграммы не послала, да и целковый мой рубль как пить дал!

– Так знаешь ли что? Право, уедем отсюда вместе! Я тебя до Самары провожу, потому что мне все равно: я и через Моршанск по железной дороге на Дунай попаду! Едем! Прямо вот из трактира пойдем на берег, и как только причалит пароход – фюить!

Он на минуту задумался, но потом – только рукой махнул.

– Нет, брат, *alea jacta est!*[112] Пускай свершится! А вот что лучше: не раздавим ли вместе еще посудинку?

Сначала я было согласился, но потом вспомнил, что вы будете, пожалуй, сердиться, если узнаете об этом, – и отказал наотрез.[113]

– Ну, в таком случае, пойдем ко мне! – предложил он, – я тебя с нею познакомлю..

Признаюсь откровенно: искушение было велико. Я люблю женский пол и с трудом отказываю себе в сближении с ним, если представляется к тому случай... Но голос рассудка и на сей раз восторжествовал. Я вспомнил, как вы, отпуская нас на театр войны, настаивали, чтоб мы не задерживались на пути без надобности, – и дрогнул. К тому же я рассчитал, что деньги, данные вами, еще все налицо, да пожалуй еще, благодаря щедрости Ивана Ивановича Тр., и небольшой прибавочек есть, и ужаснулся при мысли, что такая сравнительно значительная сумма, без всякой пользы для «Красы Демидрона», утонет в зияющей бездне разврата![114]

Он угадал мои мысли и одобрительно покачал головой.

– Ты поступаешь правильно, – сказал он, вставая, – исполни свой долг перед

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru «Красой Демидрона», а меня предоставь моей злосчастной участи!

– Бедный друг!

Я отсчитал ему обещанные двадцать пять рублей, прибавил еще от себя пятирублевку, после чего он взял шапку и удалился. Затем я потребовал себе отдельную комнату, чтоб заняться корреспонденцией, но едва лишь расположился писать, как он опять возвратился в трактир.

– Возьми назад свои двадцать пять рублей, с меня и синюги довольно! – сказал он, по-рыцарски кладя деньги на стол.

Я, разумеется, протестовал, но он остался непоколебим.

– Все равно, сколько бы у меня ни было денег – их отнимут! – повторял он уныло.

Благородный, честный друг! Высказавши все это, он быстро повернулся и направился к двери, но на сей раз я сам уже воротил его.

– Позволь! Расскажи мне, каково здесь народное настроение? – спросил я.

– Восторг всеобщий!

– А здешняя инвалидная команда? надежна?

– Молодцы! один к одному, как на подбор! Не крупные, но коренастые, кровь с молоком – загляденье! Так и рвутся!

Он постоял немного и с горькой усмешкой прибавил:

– А вот мы с тобой – свиньи!

– Это почему?

– То есть не мы одни, а вообще.. Сидим в укромном месте, галдим: ату его! ребяташки! не выдавайте! Гнусно, любезный друг!

– Ну, нет, с этим я не согласен! Природа поступила мудро, предоставив одним возбуждать патриотический дух, а другим – применять этот дух на практике!

– Ладно, брат! Рассказывай по понедельникам!

На этом мы расстались. Я сошел с крыльца, чтоб проводить его, и долго следил глазами, как постепенно утонула его колеблющаяся фигура во мраке сгустившейся ночи, а наконец и совсем пропала за углом соседнего переулка.

«Благородный, бедный друг! – говорил я себе, – ты просишь у судьбы, как милости, чтоб тебя отправили по этапу – и кто знает? Может быть, вскоре получишь желаемое!»

После того я окончательно уселся за писание, но долгое время воспоминание о погибающем русском корреспонденте преследовало меня. [115] Знаю, что следовало бы сказать что-нибудь о Чебоксарах, но, по настоящему позднему времени, могу сказать лишь кратко: это – дрянной и грязный черемисский городишко, стоящий на высоком берегу Волги. По Суворинскому календарю (который, кстати, очень мне помогал в моих статистических исследованиях), жителей только всего 3564 человека обоего пола. Однако если бы выстроить там крепость, то, с стратегической точки зрения, вышел бы второй Гибралтар, за исключением, разумеется, пролива.

В ту минуту, как я дописываю эти строки, бьет два часа, и я слышу приближение парохода. Пыхтит, шумит, свистит... На Дунай! [116]

Подхалимов 1-й.

9

От редакции газеты «Краса Демидрона». Предчувствия не обманули нас: Одиссея господ Подхалимовых кончилась, и, кажется, весьма для них неблагоприятно. Сегодня мы получили от г. чебоксарского уездного исправника официальную бумагу,

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) из которой видно, что в Чебоксарах пойманы двое беспаспортных бродяг, по фамилии Подхалимовы, которые называют себя корреспондентами «Красы Демидрона». Разумеется, мы поспешили сообщить все, что нам известно об этих господах, но при этом, конечно, не упустили определить с точностью наши отношения к ним, дабы отстранить от себя всякую прикосновенность к этой неприятной истории.

Вообще нам не посчастливилось с корреспондентами. Г. Ящерицын, посланный на малоазиатский театр войны, вместо г. Подхалимова 2-го, тоже изменил нам: из полученного сегодня письма его видно, что он принял место квартального надзирателя в Сызрани и уже вступил в отправление своих обязанностей. Новая, чувствительная потеря для нас, ибо и г. Ящерицына мы снабдили и подъемными, и поверстными, и кормовыми деньгами. Будем надеяться, однако, что он возвратит нам забранное, тем более что место квартального надзирателя в Сызрани, знаменитой своей обширной хлебной торговлей, – весьма и весьма небезвыгодное.

За всем тем мы продолжаем не щадить ни трудов, ни издержек для удовлетворения наших подписчиков. На днях мы опять приуловили двоих талантливых молодых людей: г. Миловзорова и г. Прелестникова, и уже отправили первого за Дунай, а второго – в Малую Азию. Оба они из архиерейских певчих, обладают прекрасными голосами (следовательно, могут, при случае, обучать болгар и прочих единокровных партесному церковному пению) и чрезвычайно солидного характера. Мы не станем уверять, что они совсем не пьют, но, кажется, не ошибемся, ежели скажем, что они пьют – в меру. Рюмка, две рюмки, три рюмки – не боль

#### IV. ДВОРЯНСКИЕ МЕЛОДИИ

Я – человек отживающий. Расстояние, которое мне остается пройти, так невелико, что мысль об итоге невольно закрадывается в голову. И вот, по размышлении, оказывается, что итог этот может быть формулирован в следующих немногих словах: ни зла, ни добра...

Не скрою, бывают минуты, когда такая краткословность моего кондуитного списка довольно-таки больно щекочет мою совесть. Есть в ней что-то обидное, отзывающееся какою-то мертвенною бесформенностью. Положим, это еще ничего, что я в сражениях не бывал, никого не изувечил и даже пороку не выдумал, но каким образом объяснить, что вообще никаких «поступков» за мною не числится? Вялость и хворость – вот и все. Именно хворость, потому что недугу, из которого в виде итога вырастает сознание: «ни зла, ни добра» – даже названия не подберешь. Острых болей нет, а постоянно как будто разнемогаешься.

Тем не менее, когда, движимый инстинктом самооправдания, я начинаю вглядываться пристальнее в то положение, которое создали для меня обстоятельства (я совершенно искренно думаю, что личное мое участие в этом деле далеко не существенно), то в конце концов прихожу к заключению, что есть, однако ж, почва, на которой я довольно прилично могу примириться с встревожившеюся совестью. Нет деятельного, торжествующего зла: право, и это не безделица! Конечно, это не бог знает какая «почва», а скорее соломинка, но, в качестве человека отживающего, человека иных песней и иных традиций, я хватаюсь за эту соломинку и возлагаю на нее великие надежды.

Мы переживаем время, которое несомненно представляет замечательно полное осуществление ликующего хищничества. Бессовестность, заручившись союзом с невежеством и неразвитостью, выбросила на поверхность целую массу людей, которые до того упростили свои отношения к вещам и лицам, что, не стесняясь, возводят насилие на степень единственного жизненного регулятора. Может быть, я ошибаюсь, но думаю, что такого нагло-откровенного заявления «принципий» давно не бывало. Прежде, даже в среде самых отпетых людей, можно было изредка расслышать слова вроде: великодушие, совесть, долг; нынче эти слова окончательно вычеркнуты из лексикона торжествующих людей. Прежде люди, сделавши пакость, хотя и пользовались плодами ее, но молились богу, чтоб об ней не узнали; нынче – богу молиться вообще не принято, а краснеют по поводу затейной пакости только тогда, когда она не удалась. Весьма возможно, что в этой темной оценке современности (то есть торжествующей ее части) очень значительную роль играет мое личное чувство – чувство отживающего человека; но, во всяком случае, я делаю ее искренно и затем предоставляю читателю самому распутывать, сколько из приведенной выше характеристики принадлежит брюзжанию усталого старика, и сколько – действительности.

Но если даже такое простое слово, как «совесть», оказывается слишком

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) тяжеловесным для современных диалогов, то какое же значение могут иметь слова более мудреные, как, например: любовь, самоотверженность и проч.? Очевидно, что единственная оценка, на которую в этом случае можно рассчитывать, это – хохот. Что-то отрепанное, жалкое, полупомешанное представляется: не то салопница, не то Дон-Кихот, выезжающий на битву с мельницами. И всем по этому поводу весело; все хохочут: и преднамеренные бездельники, и искренние глупцы.

Этот хохот наполняет сердце смутными предчувствиями. Сначала человек видит в нем не более как бессмысленное излияние возбужденных инстинктов веселонравия, но мало-помалу он начинает угадывать оттенки и тоны, предвещающие нечто более горькое и злое. Увы! подобные предчувствия редко обманывают. Хохот сам по себе заключает так много зачатков плотоядности, что тяготение его к проявлениям чистого зверства представляется уже чем-то неизбежным, фаталистическим. Одним простым хохотом Дон-Кихота не проймешь, да он и не удовлетворяет и самого хохочущего. Является потребность проявить себя чем-нибудь более деятельным, например: наплевать в лицо, повалить на землю, топтать ногами. Конечно, все эти действия могут быть производимы и самостоятельно, но несомненно, что чаще всего они представляют собой видоизменения хохота и, так сказать, естественное его развитие. Поэтому, ежели вам на долю выпало несчастье случайно или неслучайно возбудить хохот толпы, то бойтесь, ибо хохот не только не противоречит остервенению, но прямо вызывает его.

Как бы то ни было, но я могу об себе сказать смело, что проявления совести, самоотверженности и проч. никогда не возбуждали во мне позыва к хохоту. Напротив того, я относился к ним скорее благосклонно или, лучше сказать, опрятно... хотя и бессильно. Я понимаю, разумеется, что бессилие очень мало украшает человека; но поставьте все-таки мою страдательную опрятность рядом с теми деятельными формами и видоизменениями хохота, на которые я сейчас указал, и едва ли не придется согласиться, что в известной обстановке самое воздержание может претендовать на название заслуги. Притом же хохот не только жесток, но и подозрителен или, лучше сказать, придиричив. Преследуя непосредственно Дон-Кихота, он придирается и к стороннему человеку: а ты что рот разинул? Он не терпит никакой неясности, и ежели до поры до времени позволяет воздержанию прозябать в темном углу, куда загнал его испуг, – то именно только до поры до времени и притом в виде беспримерного снисхождения. Наступит момент, когда он прямо потребует, чтоб вся наличная армия, и старые и малые, и сильные и хилые, были в строю, чтоб все нижние чины до единого смотрели не кисло, а бодро, весело и решительно. Это будет минута тяжкая и решительная. Человек недоумения, человек, жизненный девиз которого исчерпывался словами: ни зла, ни добра, вдруг очутится если не прямо в положении кознодействующего Дон-Кихота, то, во всяком случае, в положении его попустителя. Покончивши с Дон-Кихотом, и бессильного человека выведут пред лицо хохочущей толпы, прочитают его вины («смотрел кисло», «улыбался слабо» (а все-таки улыбался), не «наяривал, не «накладывал») и в заключение скажут: «Ты даже опаснее, чем Дон-Кихот, ибо настоящий Дон-Кихот, по крайней мере, всенародно гарцует, а ты забился в угол и оттуда втихомолку льешь потоки донкихотствующего яда...» Ведь хохоту-то по этому случаю, пожалуй, еще больше будет! Помилуйте! дурак ничего не делал, хотел спрятаться, а его на свежую воду вывели!

Имея в перспективе возможность такого момента, ужели я не прав, утверждая, что есть почва, на которой я могу примириться с своею совестью?

Я принадлежу к поколению, которое воспитывалось на лоне эстетических преданий и материальной обеспеченности. Конечно, и мы не всегда оставались верными чисто эстетическим традициям, но по временам делали набег в область действительности... нет, впрочем, не туда, а скорей в область «униженных и оскорбленных». Но, под прикрытием обеспеченности, эти набег производились словно во сне, без строгой последовательности, порывами, которые столь же быстро потухали, как и зажигались. Много вышло из этой школы проходимцев и негодяев, но довольно и просто бессильных и неумелых людей. Проходимцы оказались живучими; неумелые – как и следовало ожидать – вымирают...

Я сижу в своем углу и разнемогаюсь. Гордиться тут нечем; но самый факт вольного умирания, ввиду легкой достижимости торжества, есть уже признак, перед которым должно умолкнуть резкое слово осуждения.

Сейчас я сказал, что могу примириться с своею совестью, – и сейчас же одумался. «Нет деятельного добра, но зато нет и деятельного зла» – ужели это не странно?!

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) Разумеется, ежели представить себя живущим среди разбойничьего вертепа, то и за эту пустопорожнюю формулу можно ухватиться, как за нечто умиротворяющее и тревожащую совесть... Но ведь пустопорожнее все-таки останется пустопорожним, как ни обставляй его оправдательными документами. Какое кому дело до вертепов, когда имеется непререкаемый итог, свидетельствующий о бессилии, о бездействии, а пожалуй, даже и о бездельи?

У жизни моей никогда не было насущного дела – вот в чем моя боль. Бремя эстетических традиций, бремя обеспеченности и легкомысленного срывания жизненных цветов с юношеских лет надвигалось на мои плечи с такою вкрадчивою постепенностью, что я и не заметил, как эти плечи совсем онемели и сделались неспособными к принятию какого-либо иного бремени. И вот теперь, когда кругом раздались жизненные запросы, я прислушиваюсь к ним, но ничего другого не ощущаю, кроме того, что старчество со всех сторон до того плотно окутало меня, что между мною и настоящей, развивающейся жизнью совсем неожиданно выросла целая стена. Благодаря этой стене, я осужден довольствоваться самим собой, своим прошлым и в нем одном искать для себя поддержки. И я невольно ищу, не потому, чтоб я чересчур был привязан к жизни, а потому, что она сама не хочет уйти от меня. Я роюсь в воспоминаниях и тщательно подбираю всевозможные обрывки прошлого, чтоб вывести из них хоть какой-нибудь итог, – и с изумлением, почти с испугом, останавливаюсь перед вопросом: что же такое было?

Но ежели не было прямого дела, про которое я мог сказать: вот чему я послужил в такой-то и такой-то форме, то, может быть, существовало хоть отношение к делу? – Да, что-то такое было. По крайней мере, я наверное могу сказать, что в общем каталоге жизненных приятств, составляющих необходимую принадлежность существования всякого развитого человека того времени, значились и приятства свойства спекулятивного. Устремления, порывы, слезы, зубовой скрежет и проч. Но увы! это именно были только приятства и развлечения – и ничего больше. Человеку, считавшему себя развитым, свойственно было, от времени до времени, сознавать себя нечуждым интересам высшего разряда, скорбеть и радоваться не только по поводу личных удач или неудач, но и по поводу радостей и скорбей общечеловеческих. Все это не только не оскорбляло требований приличия, но прямо щекотало самолюбие, а в известной степени даже возвышало человека в собственных глазах. Но обязывало ли к чему-нибудь?

Пусть каждый ответит на этот вопрос по совести; я же иду дальше и спрашиваю: разве можно назвать «отношением к делу» такие умственные и нравственные сумерки, которые ни к чему не обязывают? возможно ли, однажды сознав справедливость того или другого явления, не идти на защиту его? или, сознав несправедливость его, не выступить на бой с ним? возможно ли успокоиться на одном сознании справедливости или несправедливости и затем считать себя нравственно свободным от всяких дальнейших обязательств?

По моему мнению, это возможно только в одном случае: когда человек сидит в четырех глухих стенах и когда ему ничего другого не остается, как утешаться тем, что и этим стенам не дано погасить в нем светоча мысли, озаряющей даже непроглядный мрак тюрьмы. Но людям, которые, во всяком случае, пользуются свободой исполнять начальственные распоряжения... помилуйте! что же значит тогда «сознание»? зачем «благородный образ мыслей»? К чему вся эта комедия устремлений, порывов, зубовых скрежетов и слез? Ужели затем только, чтоб при посредстве горячих излияний зажигать пламень в сердцах «этих дам»?

Но именно эти-то глухие стены и преследовали нас. Я не буду входить в разбор, сами ли мы их создали или они нам были завещаны – как бы то ни было, они ходили за нами по пятам. Мы наслаждались, но ничего не защищали; мы срывали цветы удовольствия, но в битвах не бывали. Молчаливое признание, что утопия может вечно витать в пространстве, не обнаруживая ни на чем своих прикладных свойств, – вот основа всех наших порывов и устремлений. Утопия для утопии – разве это не одно из «приятств» жизни?

Очевидно, что не только об деле, но и об отношении к делу тут речи быть не могло. Порывы наши были смутны, почти беспредметны, и, как я сказал уже выше, ограничивались экскурсиями в область униженных и оскорбленных, область до того бесформенную и уныло однообразную, что мысль и чувство разбегаются по ней, не находя поводов для проверки, даже самих себя. Я лично и теперь, по старой привычке, охотно посещаю эту область, но что же собственно извлекаю я из этих посещений? Увы! я извлекаю только убеждение, что время экскурсий прошло

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) безвозвратно, что жизненные запросы изменили не только сущность, но и форму и что перемена эта застала меня врасплох...

Нечто, несомненно вызывающее все симпатии моей души, мелькает передо мной, но что именно – я различить не могу. Нечто требует моего участия, но в чем оно должно состоять и как может быть выражено – я и на это ответить не умею. Я вкладывая персты, но не в раны, а в пустое пространство. «Не могу!» и «не умею!» – мучительно повторяю я себе, и только одно сознаю вполне отчетливо: что никаких жизненных итогов у меня нет, кроме безмерной тоски, которую преисполнено все мое существо.

Поэтому я на все явления современности, ежели они мало-мальски возвышаются над общим уровнем обыденного хищничества, смотрю с осторожностью и боюсь применить к ним какую-либо оценку. Есть в них нечто, быть может, и затрогивающее мою совесть, но это нечто до такой степени не согласуется с общим складом всей моей жизни, с моими привычками и нравами, что я, вопреки симпатиям, не имею силы примкнуть к ним. И сдаётся, что ежели я начну судить – только судить – об этих явлениях, то даже и тут совсем не о том поведу речь. На сцену появятся или старые экскурсии в область униженных и оскорбленных, или же, вместо действительной драмы, родится нелепый фарс с переодеваниями. И ни моими суждениями, ни моими воспроизведениями и обличениями я никого не заинтересую: ни старых, ни малых. Одни скажут: кого он хочет обмануть уверяя, что русская жизнь не что иное, как водевиль? Другие: вот старый бесстыдник, у которого седой волос из всех щелей лезет, а он все-таки не чувствует потребности обуздать себя!

Таким образом, опасаясь остаться, как говорится, ни в тех, ни в сех, я предпочитаю молчать. И в этом-то вынужденном молчании формулируется весь жизненный итог... какая, однако ж, мучительная старость!

Но что делает эту старость еще более мучительной – это то, что, при всей своей немощи, я все-таки «желаю». Да, экскурсии в область униженных и оскорбленных не прошли для меня даром. Они населили мое существо известными вкусами и предрасположениями, которые даже на бессилие мое наложили своеобразную печать. Сколько раз жизнь пыталась растоптать эти предрасположения, а я все-таки возвращался к ним. И я не только не сожалею об этих возвратах, но даже горжусь ими. Горжусь!! после всего, что только что сейчас вылилось из-под моего пера, – не правда ли, как странно звучит это слово? Но в том-то и дело, что прошлое, составленное из обрывков, и в результате дает только обрывки. Сейчас – горжусь, и сейчас – презираю. По наружности, жить таким образом (то есть без усилий переходя от самовозвеличения к самобичеванию) кажется очень легко, но взгляните попристальнее: право, ведь это целая мученическая эпопея!

Иногда мне даже думается, что если бы я переделал свой жизненный девиз наоборот и вместо: «хочу, но не могу», написал на своем знамени: «могу, но не хочу», – мне жилось бы лучше. По крайней мере, тогда я был бы уже совсем скотиною. Не думал бы ни о прошедшем, ни о настоящем, ни о будущем, а производил бы нужные физические отправления и съедал бы свою порцию печатных пряников. Но в том-то и дело, что, когда увлеченное воображение начинает живописать целый ряд собственных «совсем скотине» наслаждений, – вдруг изнутри словно толкнет что: да разве это бог весть какое счастье – быть «совсем скотиною»? И вслед за тем опять раздумье, опять обрывки, которые, мало-помалу, разрастаясь и разрастаясь, переходят наконец в негодование. А негодование – само по себе целый клад. Оно поднимает нравственный и духовный уровень человека; оно утешает, очищает его в собственных глазах. Я чувствую себя просветленным; я негодую на самого себя, что мог хотя минуту увлечься мечтами о счастье быть совсем скотиною; я берегу и лелею святое волнение, охватившее меня... и опять-таки горжусь! Горжусь – чем? тем, что негодую один на один с самим собою, среди четырех стен, которые даже сфискалить на меня не могут! Ужели есть пытка более невыносимая и унижительная, нежели эта?

Да, тут несомненно собрана целая коллекция пыток, достойно увенчивающаяся последнею: одиночеством. Несмотря на болтливо проведенную молодость, несмотря на то, что в основе этой молодости все-таки лежал призыв к общению, к любви, в результате ее все-таки оказалось одиночество полное, несомненное. Пустыня, на поверхности которой мелькают два-три родственные и столь же одинокие индивидуума, и в центре – пустыни – бесприютное, оголтелое старчество! А помнится, когда мы выходили на арену экскурсий, нас было видимо-невидимо. И все мы были полны надежд, все представляли единое стадо и единую неразрывную цепь,

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) все одинаково пламенели и одинаково верили, что и там, «у пристани», наша цепь окажется такою же плотною и неразрывною, какою мы видели ее при отправлении. Все, все множество наше, все вдохновенно клялись, что ни время, ни испытания, ничто... А в конце пути, вместо «пристани», оказалась – пустыня!

В растительном царстве встречается нечто подобное. Посмотрите на дерево весною – какая на нем могучая, чистая, незапятнанная листва! И какое множество этих листьев, как они теснятся друг к другу, точно хотят из своей совокупности сделать непроницаемый оплот. Летом листья уже потемнели, перепутались и слегка запятнались; древесинная перепонка, прикрепляющая их к ветке, постепенно подсыхает, и в воздухе носятся оторванные ветром дезертиры, сначала редкие, а потом все чаще и чаще. Наступает осень; дезертиры уж не кружатся в воздухе, а просто сыплются дождем на увлажненную землю; таинственный шепот листьев умолкает, и воздух наполняется зловещим свищущим шумом, производимым хлестанием оголенных ветвей. Перед глазами не дерево, а безжизненный и насквозь светящийся остов его. И вдруг, среди наготы и опустошения, вы замечаете два-три засохшие листка. Они случайно защемились между ветками, но издали кажется, что в них удержалась какая-то загадочная сила, которая не дает над ними власти ни ветрам, ни непогодам. Тем не менее существование их – безнадежное. Жалобно жмутся эти остатки роскошной весны к родному дереву и не переставая трясутся, точно чувствуют, что вот-вот налетит шквал и погонит их... И хотя случается, что такие забытые листья переживают всю зиму, но никогда не бывало, чтобы листва новой весны не вытеснила их.

То же было и с нами. Весной мы вышли, и нас было много; но весна была недолгая, а лето промчалось уже до того быстро, что настоящего солнца мы даже не видели. Осень наступила разом, и так как по бокам дороги, на которую нас поставила судьба, на каждом шагу встречались всякого рода увеселительные заведения, то большинство соблазнилось и застряло там. К зиме нас осталось уже немного. Растерявши товарищей, мы продолжали, однако ж, неуклонно идти прежней дорогой; шли-шли, покуда старчество не подкосило наших ног, но в результате, вместо желанной пристани, очутились перед пустыем пространством. Вот в нем-то мы и дрожим и стонем, как те засохшие листья, случайно ущемленные между сплетшимися ветвями. Унесет ли нас шквал или пощадит? Ежели унесет, то нас смоеет весенней водой вместе с прочею ветошью; ежели пощадит, то мы так и будем дрожать всю зиму, а весной на том месте, где мы дрожим, пробьется новая почка и вытеснит нас совсем неизвестно куда...

Отыщите дилемму более горькую: в обоих случаях – исчезнуть! Право, только у нас, только среди нашего оголенного общества, могут происходить подобные загадочные исчезновения.

Очевидно, что это не могло бы случиться, если бы целью наших жизненных peregrinacii были не праздные экскурсии, а конкретное дело. Дело, уже само по себе (в какой хотите форме, даже в форме хищничества), непременно оставляет след, но, сверх того, оно дает деятелю силу и снабжает его средствами обороны. Даже таких несомненных поганцев, как современные подрядчики и паразиты войны, и тех не так-то легко погрузить в пучину забвения. И они не исчезнут без борьбы (если только исчезнут) и уж во всяком случае оставят по себе след в разнообразнейших формах обездоления, тяжесть которых долго будет давать себя чувствовать героям ревизских сказок и окладных листов.

Как бы то ни было, но мы, не соблазнившиеся попутными увеселительными заведениями, все еще крепимся и живем. Нас немного, но узы, соединяющие нас, с годами как будто даже окрепли. Во внешних жизненных сношениях мы исключительно довольствуемся ветшающим, но избранным кружком нашей уцелевшей семьи и почти никого из посторонних не видим. Внутренне мы также остались неприкосновенными: по-прежнему увлекающиеся, восприимчивые, одаренные богатыми художественными инстинктами и по-прежнему же робкие и стыдливые. И те же экскурсии в область униженных и оскорбленных продолжают преследовать нас.

Но увы! отсутствие разнообразия уже заметно подтачивает нас. Нельзя жить, не выходя из очарованного круга трех-четырех личностей. Нельзя не исчерпать всего своего содержания, не имея иных исходных пунктов, кроме тех, от которых мы уже пришли прямехонько к пустому пространству. И вот, в результате – бешеная скука, почти отчаяние. Ибо хотя мы и не расстаемся друг с другом, хотя мы непрерывно беседуем, обмениваемся мыслями, критикуем и даже негодуем, но я убежден, что не только я лично, но и каждый из нас очень хорошо понимает, что он беседует,

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) обменивается мыслями, критикует и негодует, в сущности, один на один с самим собою, в четырех стенах. Да и это, пожалуй, еще слишком много: не сознает ли каждый из нас, что он, в сущности, уже давно умер и только забыли его похоронить?

По привычке мы сходимся и по привычке же заводим обмен мыслей. Но самое собеседование наше имеет какой-то подневольный характер, как будто собеседники предприняли его только для того, чтобы мистифицировать друг друга. Не было настоящего дела – нет и настоящих воспоминаний, нет настоящего сюжета для обмена мыслей. Предмет спора не формулируется, а как-то подозревается; на каждом шагу чувствуется множество невымолвленных слов, недосказанных речей. Очевидно, что разговаривающие смотрят в одну и ту же точку, одну и ту же мысль в голове держат, что им даже сообщать друг другу нечего, но зачем-то понадобилось тянуть праздную канитель, щеголять друг перед другом диалектическими тонкостями, поражать остроумными выходками, все еще благосклонно выслушиваемыми, хотя и выдержавшими тридцатилетнюю давность, и проч.

Об чем мы разговариваем? – да обо всем. О пользе стыда, о том, что мы ничего не знаем, ничего не можем, о том, что жить опасно, а пожалуй, и довольно – это ли не безгранично растяжимые темы?

Один говорит:

– Существовать и постыдно, и незачем. Ни в лагере торжествующих, ни в лагере толкущихся – мы одинаково не у места. Мы способны лишь волноваться, да и не волноваться в строгом смысле слова, а только жалкие слова говорить. Но ведь это наконец и постыдно, и надоело. Ясно, что выход для нас предстоит один: уйти.

Другой возражает:

– Нет, это неясно. Мы уже по тому одному имеем право не исчезать, что в нас воплощается традиция сочувственного отношения к развивающимся запросам жизни. Мы выработали привычку опрятности и благодушия, а среди общего направления умов в сторону травли это качество – далеко не лишнее.

Но третий опять становится на точку зрения безнадежности и развивает такую мысль:

– И все-таки, как ни кинь – везде будет клин. К кому бы мы ни обратились – одни нам скажут: уйдите! вы своим унылым видом только в смущение приводите! Другие: эге! да вы, никак, сочувственные слезы пролить собрались! умирать надо – вот что!

И так далее.

На разговорах этих мы зубы съели. Каждый день мы их начинаем и, по-видимому, даже кончаем; каждый день, по наружности, разнообразим их подкладку задачами самой животрепещущей современности и в то же время внутренне сознаем, что новы тут только ярлыки, за которыми скрывается залежавшаяся и дотла выветрившаяся ветошь.

Понятно, что подобные разговоры ни к чему не приводят, ни с чем не примиряют, а только достаточно раздражают...

Под веселую руку мы называем эти беседы «дворянскими мелодиями». А друг мой Глумов при сем присовокупляет:

– И что в особенности дорого в этих мелодиях, и почему самое начальство всегда смотрело на них снисходительно, это то, что в них, в одно и то же время, слышится и несомненный гуманизм (начало неблагонамеренное), и несомненное молчалинство (начало во всех статьях благонамеренное). Как будто был такой момент, когда древняя Лаиса почувствовала себя до того уже слабою, что даже Алексея Степаныча удостоила ласкою.

Я знаю, что самое выражение: «дворянские мелодии» – в настоящее время анахронизм; но что оно вполне подтверждается свидетельством недавнего прошлого – в этом сомневаться нельзя. Сверх того, для меня лично это выражение имеет еще особую цену. С ним неразрывно связаны мои лучшие воспоминания, и им же

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) исчерпывается ежели не вся моя жизнь, то, во всяком случае, ее деятельнейшая пора.

Хотя мелодии эти зародились очень давно, в самом начале сороковых годов, но память о них до сих пор так жива и так полна, что мне чудится, что они раздались только вчера. Это было время, когда крепостное право царствовало в полном разгаре, обеспечивая существование избранных и доставляя все удобства для украшения их досугов. И между тем – странная вещь! – молодые дворяне тосковали. Исполненные юношеской силы, обеспеченные, не без пользы для ума и сердца исколесившие всю Европу, они не могли не почувствовать себя умиленными зрелищем общих симпатий к угнетенным и обделенным, которыми обуревались тогда лучшие умы Запада, и в особенности Франции, этого неугасающего очага, на котором преимущественно загораются все зачатки, подвигающие человечество вперед. И в этом-то умиленном виде возвращались домой к своим домашним пенатам.

Но тогдашние пенаты были хмурые и неподатливые. Они ревниво охраняли крепостное логовище от какого бы то ни было «разврата», кроме строго плотского, и беспощадно отметали дерзновенного, который мечтал внести двоегласие в действия бесчисленных Прошек и Палашек, наполнявших свою безгласную суетливостью всероссийскую пустыню от хладных финских скал до пламенной Колхиды. Нельзя сказать, чтоб в то время было строго насчет «разврата», нежели теперь (с точки зрения начальственных воздействий), но самые свойства пенатов были таковы, что мысль о «разврате» просто не шла в голову. Здание стояло так прочно, и с солидностью его сопрягалось столь многое (и слава, и страх врагам, и процветание), что самый решительный поборник «разврата», и тот смирялся под подавляющим игом своеобразной крепостной гармонии, которая со всех сторон охватывала его. И ум, и чувство, которые даже иностранцев, во время заграничных peregrinacii, поражали чуткостью и подвижностью, разом утрачивали всю восприимчивость и цепкость при виде девиза, нигде прямо не написанного, но несомненно и подлинно горевшего на всех лбах: здесь, в этом солидном здании, никакие попытки разврата успеха иметь не могут!

А между тем сердца молодых дворян уже растворились и, следовательно, требовали пищи. Этой пищи не могла им дать ни плотная масса Прошек, потому что к ней даже подступиться было нельзя, ни несложные утехы стариков-отцов, потому что они были чересчур уже грубы, ни литература того времени, потому что воркование школы Карамзина и Жуковского казалось уже смешным, а более современный байронизм поражал своей беспричинностью и неприложимостью к крепостной среде. Почувствовалась потребность в пище более пряного свойства, в такой, которая хоть косвенно соприкасалась бы с крепостною действительностью и в то же время не слишком компрометировала бы тот общедворянский жизненный склад, отказаться от которого совсем и не предполагалось. Экскурсии в область униженных и оскорбленных, которыми так богата была европейская литература того времени и под влиянием которых уже растворились молодые дворянские сердца, представлялись в этом смысле пищею почти идеальной. Они располагали сердца к чувствительности и вместе с тем не нарушали привычек. Отсюда – дворянские мелодии.

Отличительные свойства этих мелодий: елейность, хороший слог, обилие околочностей (обстановок) и в то же время отсутствие конкретного объекта. И, как естественный результат всех этих свойств, взятых вместе, – неуловимость. Можно заслушаться их, можно вздохнуть под их переливы, но сжать и формулировать точный их смысл – невозможно.

Мелодии эти раздаются и поныне, хотя с каждым днем все реже и реже. Правда, что в большинстве случаев дворянские мелодии довольно свободно превратились в дворянские же рычания, но все-таки существуют рассеянные по лицу земли стыдливые единицы, которые упорствуют и дондесь. Только мне кажется, что со времени упразднения крепостного права мелодии эти сделались еще тоскливее.

Да, раздаются еще наши мелодии и даже имеют представителей в литературе. Произведения этой дворянско-литературной школы и теперь читаются охотно, потому что читатель находит в них отличный слог, искусную обстановку (в противоположность наготе современных реалистов) и даже последовательность (в сущности, эта последовательность есть плод умения целесообразно пользоваться частицами речи: между тем, так как, за всем тем и т. п.). Как бы то ни было, но ежели читатель берется за книгу, главным образом с намерением убить праздное время, и при этом исполнит еще одно условие, совершенно необходимое при чтении подобных произведений, то есть остережется от восстановления прочитанного в

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) своей памяти, то цель его будет достигнута несомненно. И время пройдет занято, и особенной тяжести в голове не останется.

Но благодарить ли за это?

На днях я этот самый вопрос предложил приятелю моему Глумову.

– Любезный друг! – сказал я ему, – ввиду прекрасных намерений, которыми проникнуты были дворянские мелодии, осуждать нас за них было бы, конечно, несправедливо; но, воля твоя, и благодарить не за что. Благодарность предполагает услугу, в какой бы форме, материальной или духовной, она ни была оказана, но непременно услугу. Какую же услугу может представлять собой благородная смутность чувств, сопровождаемая сладкозвучным словесным журчанием, вся прелесть которого в том именно и заключается, что оно – журчание, не поддающееся даже законам сжимаемости? Ведь мы до того изжурчались, что вот теперь, когда со всех сторон зарождаются всякие запросы, то мы не только не можем установить связи между этими запросами и нашим прошлым, но даже едва ли в состоянии формулировать точное определение существа современных явлений!

Глумов, по обыкновению, сочувственно отнесся к моему заявлению (тем более что оно уже само по себе представляло не что иное, как продолжение тех же дворянских мелодий), но, прежде нежели ответить на мой вопрос, он как-то уныло, почти безнадежно взглянул на меня.

– Хворы мы, брат, – вот что! – наконец произнес он.

– Да и не теперь только хворы, а всегда были! – подхватил я с жаром. – Ведь, коли по совести-то говорить, помянуть нечем прошлого... Эти экскурсии в область униженных и оскорбленных – ах, я забыть об них не могу!

– А это еще лучшее, что было!

– Но ведь это разврат! это сонное любострастие – вот это что! Как вспомнишь теперь, что по временам я лишал себя настоящего обеда, питался колбасой да вареной ветчиной... ты думаешь, для чего? А для того, любезный друг, чтоб на сбереженные от обеда деньги в таких же клетчатых штанах щегольнуть, какие наш общий товарищ Сеня Бирюков носил! Ах, даже кровь в голову бросится! Ведь я сгорал завистью к тем, которые к графине де Мильфлёр на балы ездили! Я, отроду ее не видавши, анекдоты из жизни Мильфлёрши рассказывал! Я стихи Лермонтова: «Как мальчик кудрявый, резва», на всех перекрестках, с пеною у рта, декламировал!

– И в то же время отдавал часы досуга сочувствию униженным и оскорбленным... было, брат, это! было!

– Разве это – не сонное любострастие? Ах, что это за молодость была! Ведь ни одного последовательного шага, ни одного связного поступка не было – ничего, кроме нервной искренности, то есть искреннего лганья! Не лжи, а именно лганья, безобразного, нескладного, которое всякий насквозь видит! И странное дело! Все ведь знали и понимали, что мы лжем, лжем и лжем, и никто не дал себе труда уличить нас, никто не сказал: молодые лгуны! подумайте, какую вы себе готовите старость!

– Тогда, любезный друг, все лгали, а об молодых людях так даже прямо такое мнение было, что им лгать приличествует. И дамочки тогдашние такое направление имели, что только перед лганьем и полагали оружие. Ручательство страстности и пылкость в лганье видели.

– И вот теперь мы старики – и никому до нас дела нет. Даже самим себе... да, и самим себе мы опостытели и, словно прокаженные, жмемся и разнемогаемся по своим углам!

Это было так горько, так горько, что я совсем незаметно увлекся и уже совершенно непоследовательно заключил свою диатрибу восклицанием:

– За что!

– А вот за то за самое, в чем ты сейчас сам себя уличал! за лганье! Чудак,

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
братец, ты! Целый час сам себе нотацию читаешь, и вдруг – за что!

– Да, но ведь все-таки... Не все же умерло... например, хоть бы во мне! ведь хоть и поздно, а я очнулся-таки! Весь этот угар, все эти странные понятия о свойствах, составляющих украшение благородного молодого человека, – все это уж давно похерено и сдано в архив! Ведь я теперь...

На этом слове я осекся и покраснел.

– Что же «теперь»? – спросил меня Глумов угрюмо.

– Зла я не делаю! зла!

– Христос с тобой! на что делать зло?

– Да, но ведь и это... Нельзя же не принять в расчет... Потому что, в противном случае, при чем же мы состоим? И что же, наконец, нам делать?!

– Жить – вот и все. Если жизнь привязалась и не отпускает тебя – ну и живи. Удивляй мир отсутствием поступков и опрятностью чувств. Не пиши преднамеренных романов с переодеваниями, но и от гимнов воздержись, потому что в самые гимны твои, помимо твоей воли, непременно проникнет водевильная струя. Тоскуй, стыдись, тяготись жизнью, но живи в своих четырех стенах, благо ты уж обжился в них, и в чужие существования не впутывайся. Наблюдай эти существования и, буде чего не поймешь в них, то не огрызайся, но и не славословь, а говори прямо: я этого не понимаю! Живи!

В сущности, в виду такого решения вопроса, не жить, а просто умереть нужно. Но мы живем. Я думаю, что нас спасает в этом случае та общая смутность представлений, которая необыкновенно облегчает самые внезапные переходы от одного тезиса к другому, совершенно противоположному.

Противоречия останавливают нас только в таком случае, когда они уже чересчур явно заходят в область представлений, прямо оскорбляющих нашу опрятность; но мы охотно примиряемся со всякими скачками и перерывами, как скоро стоящая на очереди мысль (хотя бы и мало сходная с мыслью, стоявшею на очереди за минуту перед тем) настраивает нас на тон великодушия, негодования и других праздничных чувств. Так, например, кончить вчерашний день самобичеванием, а завтрашний день начать с самооправдания, близкого к самохвальству, не представляет для нас никакой трудности. Ибо и самобичевание, и самооправдание равно допускают участие великодушия, негодования и проч. и одинаково представляют лишь результат нервной возбужденности, настолько эмансипировавшейся, что под ее давлением самый контроль разума обращается в ничто. Повторяю: только наличность конкретного дела или, по малой мере, ясное об нем представление могли бы оградить нас от нервной распушенности и сопровождающих ее противоречий, но именно этих-то отрезвляющих условий мы и были всегда лишены.

Согласившись со мной накануне, что наша деятельность (если не рискованно употребить в настоящем случае это выражение) всегда страдала двоегласием и неясностью, и что, посему, благодарить за нее нет никакого основания, Глумов очень недолго остался при своем показании и на другой день уже развивал передо мною мысль, что благодарить – следует.

– нас следует благодарить уж за то одно, – говорил он, – что одним из главных результатов нашего существования был стыд. Почему современное хищническое ликование до того оскорбляет, например, хоть тебя, что тебе сдается, будто ты вращаешься среди смешанной атмосферы бойни и дома терпимости? – потому что ты смолodu воспитал в себе стыд! Почему сознание твоего бессилия в виду этой атмосферы не побуждает тебя покоряться ей, но загоняет в тесное пространство четырех стен и наполняет твое сердце горечью? – опять-таки потому, что в тебе есть стыд! Не будь стыда, ты нюхал бы миазмы современности и говорил бы, что пахнет розами. Не будь стыда, ты даже бессилием своим воспользовался бы только для того, чтоб подписать удовольствие приговору современности. Ты сказал бы себе: я до того затерян в безыменной толпе, что всякая возможность заявить о своей личности, об ее симпатиях и антипатиях, для меня бесповоротно утрачена, а потому буду жить смиренно и в мире с самим собой и окружающей средой, довольствоваться званием скотины, которое одно для меня доступно. И так как скотина ни о каких заявлениях помышлять не должна...

– Послушай, однако! – остановил я Глумова, – да сам-то ты воистину ли убежден, что в наших «заявлениях» чувствуется надобность?

– Все-таки, друг мой. Положим, что и не бог весть какие заявления мы с тобой сделать можем, но и за всем тем потребность в их формулировании не только не претенциозна, но и вполне естественна. Ты находишь, что наши заявления ничего существенного дать не могут – прекрасно! но тем стыднее, что даже это несущественное находится под замком. Вот мы и стыдимся! Стыдимся не за себя, а за то поистине неистовое положение, в которое мы фаталистически поставлены.

– И благодаря которому мы, не имеющие сказать ничего существенного, в общественном мнении считаемся чуть не опаснее бешеных собак. Но ведь это – целая роль, голубчик! ею кичиться можно, а не стыдиться ее.

– Да, бывают и у нас минуты духовного распутства, когда мы кичимся ролью бешеных собак. Мы легкомысленны и тщеславны – это правда; но, к счастью, распутство проявляется в нас только вспышками, а главным жизненным регулятором все-таки остается стыд. Мы ничего не можем! ничего не знаем! – вот восклицания, которые не сходят у нас с языка; восклицания сами по себе не важны, но важно в них то, что они не позволяют краске стыда сойти с наших лиц. Не за себя одних стыдимся мы, но и за других – за всех. Вот в этом-то смысле я и утверждаю, что стыд – хорошее и здоровое чувство.

– Особенно когда люди стыдятся в четырех стенах... ах, мой друг, ведь мы и стыдимся-то как-то своеобразно!..

– Втихомолку, в четырех стенах – это верно. Но и четыре стены, в которых притаился подлинный стыд, могут иметь свое значение в общем развитии жизненного строя. Когда в громадном доме, сплошь горящем огнями, ты замечаешь три-четыре окна, окутанные сумраком, – это на первый раз поражает тебя только в качестве антитеза. Но когда ты, несколько дней сряду проходя мимо здания, убеждаешься, что эти три черные окна – явление не случайное, а повторяющееся изо дня в день, то оно уже заинтересовывает тебя.

– Но, может быть, эти окна принадлежат кладовой, в которую складывается ненужный хлам?

– Может быть, это и обыкновенная кладовая, а может быть, и другое вместилище, в котором материала для стыда конца-краю нет. Впрочем, я воспользовался этим уподоблением только для того, чтоб показать, каким путем люди могут заинтересовываться явлениями, по-видимому совсем не бросающимися в глаза. Пожалуй, возьмем и другой пример. Ты выходишь на улицу и в толпе людей, выпячивающих грудь и нахально несущих медный лоб, видишь человека, который не идет рядом со всеми по тротуару, а жметесь к стене. Ты вглядываешься в этого человека и по наружному обзору убеждаешься, что он – не калека и не кретин, и что, следовательно, существенных внешних причин, которые заставляли бы жаться к стороне, для него не существует. И не испуг написан на его лице, а только чувство неизреченной безгливости. Естественно, этот человек начинает интересоваться тобой: ты хочешь узнать, почему у этого человека не медный лоб, как у большинства идущих по тротуару, и даже не полумедный, как у меньшинства... И узнаешь. Так точно и со стыдом, хотя бы он и скрывался в четырех стенах. Стыд, это – начало очень тонкое, друг мой; он и в самых плотных стенах найдет швы, сквозь которые пробьется наружу.

– Стало быть, по-твоему, мы в некотором роде стыдоучители? – пошутил я; но Глумов не слышал моей шутки и продолжал:

– Стыд животворит. Бессильному он помогает нести бремя жизни, сильному внушает мысль о подвиге. Но, сверх того, он и прилипчив. Хотя ты, бессильный, стыдишься только в четырех стенах, но и это келейное стыдение не пройдет без следа, ибо непременно отыщется другой, более сильный, который, заинтересовавшись тобой, пойдет дальше. Есть тут преемственность, есть. И, по-моему, всякие опасения насчет бесплодности стыда не только ошибочны сами по себе, но и могут ввести в заблуждение честных людей. А потому: стыдись, мой друг, и не опасайся быть в тягость ни себе, ни другим! Верь, что твой стыд зачтется тебе и за клетчатые штаны, для приобретения которых ты лишал свой организм правильного питания, и за прокламации, в форме стихотворения: Как мальчик кудрявый, резва! Не только не

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) бесполезно, но даже положительно необходимо, чтоб сколь возможно большее количество людей почувствовало стыд. Чтоб люди стыдились не только неудач, но и удач, чтоб в случае неудачи они чувствовали на своем лице пощечину, а в случае удаче – две. Потому что только тогда определится вполне ясно, что нравственный уровень общества настолько распутен, что пощечина сделалась единственно возможным мериллом для оценки поступков и действий. И только тогда получится неременная решимость во что бы то ни стало уйти. Так-то, душа моя!

Глумов, очевидно, был доволен, что высказался. Он протянул мне руку и даже обнял меня. В этом виде, то есть обнявшись, мы сделали несколько туров взад и вперед по кабинету. «Еще одна дворянская мелодия канула в вечность!» – мелькнуло у меня в голове, но я воздержался высказать эту мысль, потому что Глумов на этот раз наверное огорчился бы ею.

– Я знаю, голубчик, – начал опять Глумов, после непродолжительного молчания, – что в стыде нашем нет ничего героического, но настаиваю на том, что один вид стыдящегося человека, среди проявлений бесстыжества, уже может служить небесполезным напоминанием. Самые закоренелые проходимцы – и те понимают, что в стыдящемся человеке есть нечто, выделяющее его из массы бездельников и глупцов. Поэтому они так и стараются загнать его в темный угол, откуда совсем бы его не было видно. А сколько субъектов не вполне закоснелых, сколько таких, которые заразились бесстыжеством или по малодушию, или по недоразумению! Все это люди колеблющиеся, в которых напоминание о стыде может пробудить не только опасение возмездия, но и действительные мерцания совести. И я убежден, что как ни робки эти позывы к стыду, но и они не останутся бесследными. Вот во имя чего стыд должен быть зачтен даже такому существованию, которого кондуитный итог формулируется словами: ни зла, ни добра!

На этот раз Глумов умолк окончательно. Мелодия была закруглена, закончена и, словно гармонический аккорд, замерла в четырех стенах моей квартиры...

Нет, она не вполне замерла, потому что на другой день Глумов опять посетил меня и возобновил беседу на ту же тему.

– И не за одно стыдение должно благодарить нас потомство, – говорил он, – но и за то, что мы пустили в ход мысль о безнадежности, первые убоялись жизни, первые высказали, что жить страшно, а пожалуй, и довольно. Все наше существование представляло собой непрерывную цепь тревог, страхов и трепетов, не особенно лестных для самолюбия, но замечательных в том отношении, что на последнем звене этой цепи совершенно явственно можно было прочесть слово: безнадежность. И при этом мы так неотступно и так искренно вопияли: нельзя жить, нельзя! надо уйти, исчезнуть, пропасть! что только глухой или преднамеренно закоснелый мог не слышать этих воплей. Теперь представь же себе такую картину: какое множество на свете существует людей, которые, ничего в себе не заключая, кроме праха, все-таки карабкаются и хватаются цепкими руками за колеблющиеся нити срамного существования – и вдруг рядом с ними выделяется небольшая кучка иных людей, в которых это жадное ловление жизненных нитей производит только отвращение, которые прямо провозглашают: жить довольно! Ужели это зрелище не достаточно поразительно, чтоб заинтересовать многих и многих?

– Поразительно-то поразительно, а все-таки, говоря по совести, ведь и в отвращении от жизни главную роль играла обычная наша нервная распушенность. И лучшим доказательством, что это было именно так, служит то, что хоть мы и вопияли: надо уйти, исчезнуть, пропасть! – но сами все-таки не уходили, не исчезали, не пропадали. Вот хоть бы мы с тобой – разве мы не живем? живем, братец, да еще как! дай бог и напередки так пожить!

– Позволь! Я охотно допускаю, что твое возражение с формальной стороны вполне резонно, но именно только с формальной стороны, не больше, потому что мы лично тут ни при чем и представляем только обстановку, до которой будущему нет дела. Главная сила не в нас, а в тех воплях, которыми мы были преисполнены и совокупность которых составила так называемый дух времени. Мы лично были непоследовательны – это так; но дух времени, в строении которого, повторяю, участие наше все-таки не подвержено никакому сомнению, не может быть привлечен к ответственности за наше личное бессилие. Он свое дело сделал; он принял брошенное нами семя мысли, взлелеял его и, наверное, выведет из него с неумолимой последовательностью все дальнейшие развития, которые оно способно дать.

– Ах, Глумов, Глумов! да какие же развития-то? Уйти! исчезнуть! – разве из этого можно что-нибудь извлечь?

– Для нас с тобой нельзя; для других, более сильных – можно. Мы, люди воплей, говорим: надо исчезнуть! и останавливаемся на этом. Другие, более сильные, скажут: нет, исчезнуть мало, надо искать! И будут искать. А все-таки первый толчок дали – мы! Неужто же это не должно быть нам зачтено?

Я не ответил на этот вопрос, но, признаюсь откровенно, меня уже брало раздумье. Глумовская теория оправдания «экскурсий» начинала серьезно соблазнять меня, и я чувствовал, как в мою голову исподволь, но настойчиво и с явным намерением утвердиться в ней навсегда, заползала мысль: а что, ежели и в самом деле нам удастся выйти сухими из воды?

– Да и не это одно, – продолжал между тем Глумов, все больше и больше разгораясь, – многое, многое будет нам зачтено... все! Вся наша жизнь была сплошным уклонением от жизни, настойчивым отказом от ее ликований и торжеств! было же, стало быть, что-нибудь, что побуждало нас не сходить со стези воздержания... было, было, было!

– Были экскурсии в область униженных и оскорбленных, – робко напомнил я, – может быть, в них-то и заключается главный стимул нашего воздержания, а вместе с тем и та заслуга, которая будет нам зачтена по преимуществу...

Мое напоминание об экскурсиях было, очевидно, как нельзя больше кстати, потому что Глумов окончательно воссиял.

– А ты думал – нет? – уж не говорил он, а гремел, – ты думал, что экскурсии-то наши – пустопорожнее место? Нет, мой друг, это – сила, большая сила! От них свет пролился! Я знаю, что нынче принято относиться к ним с пренебрежительной снисходительностью, что большинство даже несомненно порядочных людей совсем позабыло об них, но знаю также, что к ним еще возвратятся... наверное! Потому что в них – свет! свет! свет!

В этих словах звучал такой несомненный порыв, что он сразу охватил и меня. Мы оба инстинктивно встали с мест и, крепко сжимая друг другу руки и смотря друг другу в глаза, воскликнули:

– Свет! свет! свет!

Ежели читатель заподозрит, что, отдаваясь нашему порыву, мы били на театральный эффект, то он будет положительно неправ. Перед кем было рисоваться нам? кто мог быть свидетелем нашего порыва, кроме четырех немых стен?

Но, может быть, читатель пойдет дальше в своей подозрительности и скажет, что для рисовки существуют и более тонкие поводы, что человек нередко устраивает театральные эффекты не только в виду сторонних зрителей, но и ради самого себя. Что этим способом он достигает некоторых бесполезных для себя результатов, как, например: самоуслаждения, самообольщения и т. п., каковые результаты поощряют его помаленьку тянуть да тянуть жизненную канитель до указанного часа.

Клянусь, ничего подобного не было! Мы не рисовались ни перед людьми, ни перед самими собой, а отдались порыву безусловно, беззаветно, не имея в виду ни самоуслаждений, ни самообольщений – ничего!

Единственный стимул, который еще можно предположить в этом случае, – это жгучая потребность самооправдания. Но ведь потребность эта столь же законна, как и самобичевание. Она до такой степени лежит в природе человека, что даже в основе какого угодно самобичевания, ежели его подробнее разобрать, наверное, отыщется замаскированное самооправдание. Помилуйте! ежели человек сам себя бичует, без всяких внешних побуждений, стало быть, он все-таки сила! Ужели же в этой самоуверенности, в этом косвенном, но совершенно явном признании себя силою – не слышится полнейшее самооправдание?

Но, может быть, человек, бичуя самого себя, не без хитрости рассчитывает силу удара и не слишком-то уж больно...

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) Будет. Ибо, ежели я не оборву разом, то, наверное, запутаюсь в лабиринте самовопрошений и самовозражений. И опять меня со всех сторон обступят мелодии... Мелодии! мелодии! мелодии!

Да, я больше не сомневаюсь: Глумов сказал правду.

И стыдение, и принцип безнадежности, и опаска жизни, и экскурсии в область униженных и оскорбленных – все это несомненно представляет очень веские права на зачет в будущем. Да, мы прошли в мире не бесплодно, то есть опять-таки не мы собственно, а дух времени, в строении которого мы, однако ж, бесспорно участвовали. Не знаю, установлюсь ли я на этой точке зрения до такой степени прочно, чтоб и завтра и послезавтра отстаивать ее, но теперь, в эту минуту...

В эту минуту мои права на зачет до такой степени ясны для меня, что я даже позволяю себе некоторую прихотливую затею.

Дело вот в чем. Когда жизнь наконец отвяжется от меня, то пускай тот «батюшка», на долю которого выпадет проводить меня в лучший мир, вместо длинной проповеди, наполненной неудобоваримыми выражениями, вроде: «благопотребные нам блага», или «благочестивое даже пред господином квартальным надзирателем благоповедение» и проч., прочтет следующее краткое, но для всех вразумительное напутствие:

«Братие! перед вами лежит прах человека, которого жизнь была осуществлением не весьма полезного, но скромного девиза: ни добра, ни зла! Этот человек не самоотвергался лично, но и не ругался над самоотвержением, не плевал на него, не топтал его ногами и не устраивал из него водевиля с переодеванием. Клики торжествующего бесстыжества не соблазняли его, а, напротив, поселяли в его сердце страх, тоску, стыд. Представление о стыде составляло руководящее начало очень достаточной части его существования и в значительной степени примиряло его с тревогами совести. Тот же стыд примирил его и с идеей исчезновения; он помог ему видеть в этом акте не тяжкую разлуку с благами жизни, но освобождение от уз срама. Геройство не было в привычках этого человека, а может быть, отсутствовало и в самой природе его, но при этом нельзя не принять во внимание, во-первых, традиций эстетизма и обеспеченности, на лоне которых он был воспитан, а во-вторых, и того, что геройство вообще ни для кого не обязательно. Это последнее соображение в особенности веско, хотя, по недоумению, довольно редко принимается в расчет. Как бы то ни было, но кажется, что сказанное в этих немногих словах дает возможность, не обременяя памяти этого человека словом укоризны, закончить расчет с пройденным им жизненным путем словами: «Sit tibi terra levis».[117]

И довольно.

Я кончил. Я знаю, что читатель вправе ждать от меня продолжения, а кроме того, знаю, что я и сам мог бы продолжать до бесконечности... И все-таки: я кончил.

Читатель, в недоумении, а может быть, и в негодовании, спросит меня:

– Что ж это, наконец, такое? Самобичевание или самооправдание?

На этот вопрос я могу ответить только указанием на заглавие настоящей статьи, которое в двух словах исчерпывает всю сущность ее. Вот эти слова:

Дворянские мелодии...

V. Чужой толк[118]

Я человек отживающий. Расстояние, которое мне остается пройти, так невелико, что мысль об итоге невольно закрадывается в голову. И вот, по размышлению, оказывается, что итог этот может быть формулирован в следующих немногих словах: ни зла, ни добра...

Не скрою, бывают минуты, когда такая краткословность моего кондуитного списка довольно-таки больно щекочет мою совесть. Есть в ней что-то обидное, отзывающееся какою-то болезненной бесформенностью. Положим, это еще ничего, что я в сражениях не бывал, никого не изувечил и даже пороку не выдумал, но каким образом объяснить, что вообще никаких «поступков» за мною не числится? Вялость и хворость – вот и все. Именно хворость, потому что недугу, из которого в виде

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) итога вырастает сознание: «ни зла, ни добра» – даже названия не подберешь. Острых болей нет, а постоянно как будто разнемогаешься.

Тем не менее, когда, движимый инстинктом самооправдания, я начинаю вглядываться пристальнее в то положение, которое создали для меня обстоятельства (я совершенно искренно думаю, что личное мое участие в этом деле далеко не существенно), то в конце концов прихожу к заключению, что есть, однако ж, почва, на которой я довольно прилично могу примириться с встревожившеюся совестью. Нет деятельного, торжествующего зла – и на том спасибо! Конечно, это не бог знает какая «почва», а скорее соломинка, но, в качестве человека отживающего, человека иных песней и иных традиций, я хватаюсь за эту соломинку и возлагаю на нее великие надежды.

Мы переживаем время, которое, несомненно, представляет самое полное осуществление ликующего хищничества. Бессовестность, заручившись союзом с невежеством и глупостью, выбросила на поверхность целую массу людей, которые до того упростили свои отношения к вещам и лицам, что, не стесняясь, возводят насилие на степень единственного жизненного регулятора. Может быть, я ошибаюсь, но думаю, что такого нагло-откровенного заявления «принципий» давно не бывало. Прежде, даже в среде самых отпетых людей, можно было изредка расслышать слова, вроде: великодушие, совесть, долг; нынче эти слова окончательно вычеркнуты из лексикона торжествующих людей. Прежде люди, сделавши пакость, хотя и пользовались плодами ее, но молились богу, чтоб об ней не узнали; нынче – богу молиться не принято, а краснеют по поводу затеянной пакости только тогда, когда она не удалась. Может быть, в этой темной оценке современности (то есть торжествующей ее части) очень значительную роль играет мое личное чувство – чувство отживающего человека, – но, во всяком случае, я делаю ее искренно и затем предоставляю читателю самому распутывать, сколько из приведенной выше характеристики принадлежит брюзжанью усталого старика, и сколько – действительности.

Но если даже такое обыкновенное слово, как «совесть», оказывается слишком тяжеловесным для современных диалогов, то какое же значение могут иметь слова более мудреные, как, например: любовь, самоотвержение и проч.? Очевидно, что единственная оценка, на которую можно в этом случае рассчитывать, – это хохот. Что-то отрепанное, жалкое, полупомешанное представляется: не то салопница, не то Дон-Кихот, выезжающий на битву с мельницами. И всем по этому поводу весело; все хохочут: и преднамеренные бездельники, и дураки.

Я принадлежу к поколению, которое воспитывалось на лоне эстетических преданий и материальной обеспеченности. Конечно, и мы не всегда оставались верными чисто эстетическим традициям, но по временам делали набег на область действительности... нет, впрочем, не туда, а скорее в область униженных и оскорбленных. Но, под прикрытием обеспеченности, эти набег производились словно во сне, без строгой последовательности, порывами, которые столь же быстро потухали, как и зажигались. Много вышло из этой школы проходимцев и негодяев, но довольно и просто бессильных и неумелых людей. Проходимцы оказались живучими; неумелые – как и следовало ожидать – вымирают, ибо набег в область униженных и оскорбленных, несмотря на свою платоничность, все-таки не прошли для них даром. К числу вымирающих принадлежу и я.

Я сижу в своем углу и разнемогаюсь. Гордиться тут нечем, но самый факт вольного умирания, в виду легкой достижимости торжества, есть уже признак, перед которым должно умолкнуть резкое слово осуждения.

Сверх того, я могу назвать три особенности, которые проходят через очень значительную половину моего существования и которые, по сущей справедливости, должны быть мне зачтены.

Особенность первая – тоска. Тоскливое чувство – и притом не напускное, а совершенно искреннее – с давних пор составляет господствующий тон моей жизни. Современная вакханалия хищничества не пробуждает во мне не только стремления участвовать в ней, но даже любопытства узнать причины этого явления: она просто утомляет меня, поселяет чувство уныния. Ужели это не «заслуга»?

Я не желаю быть ни железнодорожным деятелем, ни кабатчиком, ни добровольцем, ни адвокатом, ни даже присяжным заседателем... воистину не желаю, не хочу! Какая-то щемящая унылость, сопровождаемая полным отсутствием естественности и

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) искренности, слышится мне и в базарном гвалте, и во всех бряцаниях, составляющих внешнюю обстановку современной хищнической свалки. Фальшиво, неинтересно, даже просто глупо. Уйти из этой свалки, забиться подальше куда-нибудь в неизвестную раковину и там, ничего не видя и не слыша, предаваться грызениям тоски – вот единственный иск, который я предъявляю к жизни, единственное желание, которое мне удалось сформулировать с достаточной ясностью. Никаких других исков и желаний у меня нет, потому что, если я, с одной стороны, не хочу торжествовать, то с другой – не могу и не умею самоотвергаться. Не могу! не умею! – это не претензии на оправдание, а факт.

Бремя эстетических традиций и обеспеченности так тяжело и плотно легло на мою спину, что я уж давно не имею силы ее разогнуть. Я сказал выше, что в жизни моей бывали случаи (даже довольно частые), когда я посещал область униженных и оскорбленных – я охотно посещаю ее и теперь. Но ведь это-то самое и есть тоска. Что-то несомненно вызывающее все симпатии моей души мелькает передо мной, но что именно – я различить не могу. Что-то требует моей помощи, но в чем должна состоять эта помощь и как она может быть подана – я и ответить на это не умею. Одним словом, я вкладываю персты в воздушное пространство, а не в раны. «Не могу!», «не умею!» – мучительно повторяю я себе и только одно сознаю вполне отчетливо: что все мое существо преисполнено безмерной тоской.

Я смотрю на факты самоотвержения и боюсь применить к ним какую-нибудь оценку. Мне сдается, что я не понимаю их, и что, во всяком случае, если я начну говорить об них, то буду говорить совсем не то и совсем не об том. Никто не прельстится моими изображениями, воспроизведениями и описаниями (даже если бы они обнаруживали не водевильное, а действительное мастерство), но всякий самый снисходительный человек скажет: вот старый бесстыдник, у которого седой волос из всех щелей лезет, а он и за всем тем не чувствует потребности обуздать себя! вот неопрятный болтунище, который до преклонных лет не может очнуться от экскурсий в область униженных и оскорбленных, которыми он некогда сдабривал свое пребывание на лоне водевильного эстетизма и обеспеченности!

Я боюсь этих приговоров не потому, что они могут оскорбить мое самолюбие, а потому, что в них слышится правда. Другие птицы – другие песни! говорю я себе, и так как я совершенно сознаю себя птицею очень старую, то стараюсь во всем, что касается оценки этих других песен, по возможности обуздывать себя или, много-много, предаваться по поводу их опрятной тоске. Я соглашаюсь вперед, что это тоска бесплодная, и даже не совсем ясно мотивированная, но содержание ее, несмотря на неясность, настолько все-таки доброкачественно, что отказ в принятии его к зачету был бы воистину несправедлив.

Вторая моя особенность – щекотливость, очень близкая к стыду. По временам мне кажется, что я вращаюсь среди смешанной атмосферы бойни и дома терпимости. Очень возможно, что тут есть преувеличение, в котором главную роль играют мои художественные инстинкты; но ведь если мне даже доказано будет, что я преувеличиваю, от этого мне не сделается легче. Сверх того, я сознаю себя до того слабосильным, малорослым, загнанным, затерянным в какой-то безыменной толпе, что всякая возможность чем-нибудь заявить о своей личности, о своих симпатиях и антипатиях представляется навсегда для меня утраченной. Быть может, в этих заявлениях и надобности нет (старрого тряпья! кому нужно... сттаррого трряппья!), а все-таки сдается, что претензия эта не только не преувеличенная, но даже совсем-совсем естественная. Тем не менее отыскать практический выход из этого более или менее несносного положения я все-таки не в состоянии (я убежден, что жизнь, в конечном результате, поставила меня лицом к лицу с глухой стеной и что, стало быть, бесполезно даже предпринимать что-нибудь, чтоб перескочить через нее); но я могу стыдиться его и пользуюсь этой возможностью, то есть стыжусь искренно, всеми силами души. И верю, что стыд – хорошее, здоровое чувство – при случае может быть рекомендован даже в качестве целесообразного практического средства.

Стыд очищает человека; бессильному он помогает нести бремя бессилия, сильному – внушает мысль о подвиге. Нужно, чтоб возможно большее количество людей почувствовало стыд. Нужно, чтоб люди стыдились не только поражений, но и побед и одолений, не только неудач, но и удач. Чтоб в случае неудачи они чувствовали на своем лице пощечину, а в случае удачи – две. Только тогда вполне выяснится, что нравственный уровень общества настолько гнил, что пощечина сделалась единственным возможным мериллом для оценки поступков и действий. Только тогда получится решимость во что бы то ни стало уйти из области пощечин.

В моем стыде нет ничего героического – я знаю и это; но думаю, что один вид стыдящегося человека, среди проявлений несомненно бесстыжего торжества, уже может служить бесполезным напоминанием. Самые закоренелые проходимцы – и те понимают, что в стыдящемся человеке есть нечто, выделяющее его из общей массы торжествующих бездельников и глупцов. Поэтому они прежде всего стремятся подыскаться под него, а если солидных прицепов нет, то сторонятся и стараются игнорировать. А сколько есть субъектов не вполне закоренелых, сколько таких, которые попали в лагерь торжествующих или по малодушию, или недоразумению! Все это люди колеблющиеся, в которых вид стыдящегося человека может пробудить не только мерцания совести, но и опасения возмездия. В них еще нет настолько наглости, чтоб совсем игнорировать представление о стыде, и потому они, хотя урывками и втихомолку, но все-таки подходят к стыдящемуся человеку и жмут ему руку. Я убежден, что как ни смутны эти позывы к стыду, но они и на практике не останутся бесследными, что они произведут в торжествующем лагере ежи не прямой разлад, то брожение, и что, пожалуй, когда-нибудь это брожение превратится в целую заразу стыда. Вот во имя чего стыд должен быть зачтен даже такому существованию, которого итог формулируется словами: ни зла, ни добра!

Третья моя особенность – это искреннее убеждение, что жить довольно. Хотя моя тоска и мой стыд еще могут в известной степени иметь воспитательное значение, но значение это, в смысле практических последствий, полезно только для других, я же лично ничего из них не извлекаю, кроме страстного желания исчезнуть, уйти. С давних пор я вижу последнюю страницу с начертанным на ней словом: «конец», и, право, никого не намереваюсь надуть, говоря, что это самая желательная страница, какую только можно иметь в виду. Подумайте, какая масса срама вдруг перестанет существовать! и какая громадная свита безобразных видений рассеется, как дым, и не будет больше тревожить испуганное воображение!

Несомненно, что стремление сократиться и исчезнуть всего ближе подходит к девизу: ни зла, ни добра, и что в этом смысле оно не должно бы даже значиться в числе оправдательных документов. Но, взятое само по себе, независимо от практических применений, оно все-таки имеет право быть выделенным. Когда есть сознание, что «продолжение впредь» не представляет иных перспектив, кроме перспективы хронического бессилия, тогда не может быть желания более законного и естественного, а, пожалуй, даже и более нравственного, как желание исчезнуть. Сколько есть таких, которые, будучи подавлены массами срама, все еще карабкаются и хватаются дрожащими руками за колеблющиеся нити срамного существования, – почему же рядом с ними не различить таких, в сердцах которых это жадное ловление жизненных нитей производит только скуку, граничащую с отвращением?

Я сидел в своем углу и разнемогался; Глумов, по обыкновению, большими шагами ходил по комнате и был угрюм. Мы только что прочитали газеты и вели по этому поводу разговор.

– Ну, можно ли так! – восклицал я, – ведь это значит, что самого простого практического смысла – и того нет!

– Нет, ты обрати внимание, до чего понизился уровень нашей печати! – повторял мне Глумов, – простой совести – и той нет!

Поговорили, поахали и наконец обратились к самим себе. Мы-то какую роль играем в круговороте современности? Что мы такое? Что мы можем, зачем живем? Но это обращение еще больше раздражило нас обоих. Начинался один из тех бесконечных разговоров, которые ведутся собеседниками как бы для того, чтоб мистифицировать друг друга, в которых чуется множество невымолвленных слов, недосказанных речей, в которых предмет спора не формулируется, а как-то подозревается, да и самый спор ведется так, что не оставляет никакой надежды на серьезный вывод. Очевидно, обе стороны смотрят в одну и ту же точку (да и смотреть-то им больше некуда), одну и ту же мысль в голове держат, но почему-то им понадобилось тянуть праздную канитель, высказывать друг другу мнимые возражения, щеголять друг перед другом диалектическими тонкостями и проч.

На разговорах этих мы зубы съели. Каждый день мы их начинаем и, по-видимому, даже кончаем; каждый день, по наружности, разнообразим их подкладку задачами самой животрепещущей современности и в то же время внутренне сознаем, что новы тут только ярлыки, за которыми скрывается давно залежавшаяся, покрытая плесенью,

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) ветошь... Понятно, что это не успокаивает, а только раздражает...

– А вывод все-таки возможен один: кружимся мы вот в этих четырех стенах, суесловим, острословим, сквернословим – и ничего из этого у нас не выходит! – наконец сказал я в форме заключения.

По совести, я не могу, впрочем, сказать, что выходило из моих слов: были ли они действительным заключением прежнего разговора или же, напротив, служили началом разговора нового. Но раздавшийся в передней сильный звонок решил в пользу завершения.

В комнату вошел Алексей Степаныч Молчалин. Я так мало был приготовлен к его визиту, что прежде всего у меня мелькнуло в голове: уж не желает ли он мне сообщить свое мнение насчет высылки Митхада-Паши в места не столь отдаленные (в то время это была самая животрепещущая новость дня). Но, взглянув на него, тотчас же убедился, что случилось нечто не совсем обыкновенное.

Он был очень бледен; лицо осунулось, нос обострился, углы губ подергивались, глаза были сухи и воспалены.

– Дайте воды – пить хочу! – вымолвил он осиплым голосом, точно слова с трудом выходили из пересохшего горла, – был около вас и вдруг почувствовал: пить хочу... Не потревожил?

Он жадно выпил стакан воды с вином, потом налил другой, опять выпил и с минуту не мог отдышаться. Ясно, что его постигла какая-то неприятность, и, судя по тому, что день был будничным и время близилось к двум часам, когда Молчалиных даже нельзя представить себе иначе, как водворенными в соответствующих департаментах, я сначала подумал, что неприятность эта служебного свойства: чего доброго, в отставку велели подать... И вдруг меня словно обожгло. Вспомнилось, как однажды Алексей Степаныч о сыне стужался: «а ну, как он, Павел-то Алексеич мой, что ни на есть сболтнет?» Неужто сболтнул?

– Помните, мы намерлись с вами о Павлуше беседовали? – как бы угадывая мою мысль, спросил меня Алексей Степаныч.

Вопрос этот точно бухом ударил меня по голове. Догадливость моя показалась мне до того зловещею, что я боялся даже мыслить, чтоб и еще не напасть на какую-нибудь догадку. Затаивши дыхание, смотрел я на этого человека, который – так недавно еще, мне это казалось – ценою неслыханных усилий успел-таки приурочить свое трудное существование к чему-то прочному, почти безмятежному.

– Да-с, так вот это самое... Именно этот случай и разыгрался у нас... Пошел я давеча к князю – к начальнику-то своему – а тот говорит: сами, сударь, виноваты! правил настоящих не умели внушить! – Что ж! и прекрасно! Это точно, что я не внушал! ну, я, стало быть, и ответ за это должен дать! А то, помилуйте! я – не внушал, а Павел Алексеич все-таки обязан знать... «настоящие правила»! На что похоже!

Он высказал это бессвязно, едва ли сознавая значение своих слов. И вслед за тем так же машинально потянулся за сигарой, зажег ее и начал муслить во рту.

– Смешно, право! – прибавил он в заключение, как будто все «предыдущее» было для нас так же ясно, как и для него, – я не внушал, а Павел Алексеич – должен знать!!

Но, в сущности, это «предыдущее» было действительно ясно. Жизнь приучила нас к целому ряду явлений, которые мы угадываем с одного намека. Все современные семейные драмы (во всех в качестве действующего *premier sujet*[119] является подрастающий «молодой человек») построены до того на один лад, что можно заранее расположить их сценарий и угадать заключительную катастрофу. Стенографические отчеты газет знакомят нас с этими драмами довольно аккуратно, но нельзя сказать, чтоб вполне обстоятельно. А именно: не все действующие лица выходят в них на сцену. Мы видим только так называемых увлекающихся, но нам почти никогда не приходит на мысль, что у каждого из этих увлекающихся существует известная обстановка, данная рождением, воспитанием, дружбою.

Стенографические отчеты решительно умалчивают об этих обстановках, а между тем в них встречаются действующие лица, отнюдь не менее интересные, как и главные

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) сюжеты. Это – отцы и матери увлекающихся, которые мечутся, истекают слезами и кровью и тем с большею болью отзываются на удары судьбы, что последние падают на организмы, уже обессиленные прежними жизненными ударами. Поэтому, ежели читатель стенографических отчетов хочет знать, где находится настоящий узел современных семейных драм, то он должен перенестись мыслью к этим анонимным, без речей изнемогающим лицам. Тогда драма сделается для него вполне понятною, ибо он на себе самом почувствует цепенящее дуновение того ужаса, который заставляет анонимных людей анонимно истекать слезами и кровью.

Мы молчали. Я боялся даже взглянуть на Алексея Степаныча: мне казалось, что я встречу в лице его нечто такое, что должно меня уничтожить. До сих пор я видел в нем только несомненно доброго человека; теперь – он представлялся мне верховным судьей, который, силою сосредоточившегося в нем трагизма, всю мою жизнь может привести к нулю. Да, я не знал, как это страшно; я не понимал, что может существовать такая боль. Вот человек, которого жизнь до самой глубокой старости была сцеплением всевозможных «обстановочек», который вполне удовлетворился этим, думал только о том, как бы ему поудобнее устроить последнюю «обстановочку» – «обстановочку» смертного часа, – и на которого вдруг, из-за угла, налетела неслыханнейшая трагедия и заставила метаться в пустоте, заставила истекать сухими слезами, не сознавать значения собственных речей, не понимать, зачем и куда он пришел...

Да, я уверен, что он находился в состоянии полусна и сознавал только одно: что его постигла внезапная и совсем нестерпимая боль. Больно везде: мозг горит, сердце колотится в груди, спину переломило. Надо куда-то бежать, о чем-то взывать – и все это в такие минуты, когда рассудок отказывается действовать, когда колеблющиеся ноги не могут выносить тяжести вдруг осевшего тела, когда с каждым шагом кажется, что проваливаешься в бездну. Несомненно, что старик уже с раннего утра мыкался по городу, но был ли он где-нибудь и зачем был, – наверное, он в эту минуту даже рассказать не мог. Бывают положения, когда человек ни о чем больше и думать не может, кроме того, что ему надо куда-то идти и за что-то себя распинать, когда он спешит, оставляет все дела, выходит на улицу – и не знает, в какую сторону броситься. Я убежден, что он и ко мне зашел машинально. Пить захотелось, он взглянул на дом, мимо которого шел, показалось что-то знакомое – он и позвонил. Вот и теперь, хотя глаза его были устремлены в ту сторону, где стояли мы с Глумовым, но, в сущности, он смотрел не на нас, а через нас, в тот неведомый угол, откуда слышится ему дорогой голос: «Мы, папаша, знаем, что вы нас любите, и очень вам за это благодарны». Эти слова когда-то казались ему холодными (он, как и все старики-отцы, не прочь бы посентиментальничать), но теперь они звучат в его ушах, как высшее выражение сыновней любви. Да, именно так, просто и без излишеств, должен говорить сын с отцом, такой сын, который ждет от отца серьезно-любовного отношения, а не бомбошки. Эта сжатость и трезвенность сыновнего обращения даже ему, старику, делала величайшую честь: она поднимала его до уровня сына. Да, поднимала; отца поднимала... до сына. Теперь это для него совсем ясно. И вот, этот самый сын, который ему так недавно еще говорил: «Мы, папаша, знаем, что вы нас любите»... ах, как он просто, как любовно он это говорил! Господи! да ведь не дальше как вчера, вчера утром, он, Алексей Степаныч, ходил, обнявши его, по зале и не надоедал ему старческой болтовнею, а только осторожно заглядывал ему в лицо... Отчего вчера, а не сегодня?

Подавленный этой мыслью, он продолжал смотреть через нас в пространство, в то небольшое, но лучезарное пространство, в котором сосредоточивалось искупление, обретенное ценою крестного пути.

– Голубчик! да вы узнавали ли? – первый прервал молчание Глумов.

Алексей Степаныч слегка вздрогнул; вопрос этот снова возвратил его к чувству действительности.

– Был, – отвечал он, – и у своего князя, и у других... Все говорят: сам, старик, виноват! вожжи покороче держать было надо! Помилуйте! диви бы что умное сказали, а то... вожжи! Ишь ведь... вожжи!

– Обнадеживают ли, по крайней мере?

– Обнадеживают... да. Только ведь я Фома неверующий! мне ведь сейчас его надобно... вот теперь, сию минуту! А этого, говорят, нельзя! Ну, и я сам знаю, что нельзя!

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru  
– Отчего же?

– Нельзя, сударь... служба, долг!

– Да расскажите подробнее, как вас приняли, что сказали?

– «Нельзя!» – я, признаться, только это и слышал. А в прочих частях, разумеется... за что же меня дурно принимать! Старик... с ума сходит... любит... Один генерал даже руки жал... слезы на глазах... «Успокойтесь!» – говорит.

При этом воспоминании Алексей Степаныч нервно повернулся в кресле и усиленно начал муслить потухшую сигару.

– Что ж, я ведь и не беспокоюсь! – продолжал он, – я на стену не лезу, на приступ не иду, не грублю, а прошу!.. Сердце у меня в клочки изорвали – вот я что говорю! Служба, долг – все это я знаю! Чего еще спокойнее!

– Да не можем ли мы что-нибудь... ну, сходить куда-нибудь, разузнать? – начал было я.

– Нет, друг мой, что уж! Вот воды напиться дали – за это спасибо! – поблагодарил Алексей Степаныч и вдруг как-то пристально взглянул на нас, покачал головой и прибавил: – Ах, господа, господа!

Меня даже в жар бросило от этого восклицания. Господи! да ведь он понял! думалось мне. Он понял, что ему с нами делать нечего; может быть, он даже угадал разговор, который мы вели до его прихода. Бывают такие минуты прозорливости, когда видимое человеком пространство вдруг освещается каким-то совсем особенным светом, и перед умственным его взором совершается что-то вроде откровения. Вот одну из таких минут переживал и Молчалин. Он как бы очнулся и мысленно спрашивал себя, каким образом, при таких несомненно трудных для него обстоятельствах, он очутился здесь, в кругу «приятных знакомых»?

И действительно, он посидел еще минут с пять, но уже не говорил, а только возился с сигарой, безуспешно пытаясь зажечь ее. Наконец он грузно поднялся с кресла и простился с нами.

– Пора! дело делать нужно! – сказал он, направляясь колеблющимся шагом к выходу.

Мы опять остались глаз на глаз с Глумовым. Некоторое время мы безмолствовали, как бы стараясь вникнуть в смысл сонного видения, которое мелькнуло перед нашими глазами.

Увы! смысл этот был так ясен, что его нельзя было затемнить даже самыми ухищренными комментариями. Видение стояло перед нами несомненным укором и практически подтверждало то самое, о чем мы, при каждой встрече, вели бесконечную хворую канитель. Даже теперь, когда налицо стоял живой факт, я заметил, что меня интересуют не столько Молчалины, отец и сын, сколько мое личное отношение к обрушившемуся на них злоключению. «Не могу! не умею!» – затынул было я, но тут же с каким-то омерзением подумал: «Господи! да ведь это опять все та же канитель!» Противно сделалось; зарыться куда-нибудь хотелось, забыть. Но для этого нужно было, чтоб Глумов ушел, а он не уходил. Канитель преследовала до конца.

– Пить попросил! – начал я, почему-то особенно пораженный этой подробностью.

– Да, попросил.

– И заметь: когда я предложил ему свои услуги, он даже и не задумался. Какие, мол, услуги вы, приятные знакомые, оказать можете! вот напиться дали – за это спасибо! Старик! Молчалин! – и тот!

– Да, и тот!

– И тот ничего от нас не чаает... ха-ха!

– Видно, что так.

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)

– И тот говорит: вот покалякать с вами – я с удовольствием; а что касается до дела, до такого, в котором, так сказать, кровь говорит, – это уж слуга покорный! Лучше, дескать, я к квартальному обращаюсь: может быть, вместе какую-нибудь «обстановочку» выдумаем!

– То-то, что не сильны мы насчет «обстановочек»-то! Это верно!

– Да и не насчет одних «обстановочек», а вообще... Ничего мы не можем. Старик – и тот это понял. А представь себе, если бы нам пришлось, например, предложить свои услуги самому Павлу Алексеичу...

– Ну, тому вряд ли бы даже предложить пришлось, потому что ведь он, поди, и в мыслях не держит, что мы существуем на свете.

– Положим, однако ж. Допустим, что нам как-нибудь удалось бы напомнить ему о своем существовании; ведь он... что бы он нам сказал?! Ах, какое это, однако ж, нестерпимое, оскорбительное положение!

Глумов не возражал. Обыкновенно мы наши диалоги вели в таком порядке: он говорил, я подавал реплику, и наоборот. Но на этот раз перед нами стоял факт, который до некоторой степени обуздывал. Глумов даже прекратил свое обычное хождение по комнате, уселся на диван и как-то уныло смотрел на меня.

– Хворы, брат, мы – вот что! – сказал он.

– Да и не теперь только хворы, а всегда были! Помянуть нечем прошлого! Эти экскурсии в область «униженных и оскорбленных» – ах, я забыть об них не могу!

– А это еще лучшее, что было!

– Но ведь это разврат! это сонное любострастие! вот ведь это что! На деле-то я себе в пище отказывал, лишь бы в таких же клетчатых штанах щегольнуть, какие наш общий товарищ, Сеня Бирюков, носил! Я сгорал завистью к тем, которые к графине де Мильфлёр на балы ездили! Я, отроду ее не видевши, анекдоты из жизни Мильфлёрши рассказывал!

– И в то же время занимался экскурсиями в область униженных и оскорбленных... было, брат, это, было.

– Разве это не сонное любострастие? Ах, что это за молодость была! Ведь ни одного шага, ни одного поступка искреннего не было, ничего, кроме лганья! И не лжи, а именно лганья, безобразного, нескладного, которое всякий насквозь видел! И, странное дело, все знали, все понимали, что мы лжем, и никто не дал себе труда уличить нас, никто не сказал нам: молодые лгуны! подумайте, какую вы готовите себе старость!

– Тогда, любезный друг, все лгали, а об молодых людях так даже прямо такое мнение было, что им лгать приличествует.

И вот теперь мы старики – и никому до нас дела нет! Молчалин – пойми, Христа ради! – тот самый Молчалин, который к Софье Павловне по ночам на флейте играть ходил! – и тот говорит: ничего я от вас не жду, а вот воды напиться дадите – скажу спасибо!

Это было так горько, так горько, что я совсем незаметно увлекся и уже совершенно непоследовательно заключил свою диатрибу восклицанием:

– За что?!

– А вот за то самое, в чем ты сейчас себя уличал! Чудак, братец, ты! Целый час сам себе нотацию читаешь, и вдруг – за что?!

– Да, но ведь все-таки... Не все же во мне умерло! ведь хоть и поздно, а я очнулся! Весь этот угар, все эти странные понятия о свойствах, составляющих украшение благородного молодого человека, – все это давным-давно похерено и сдано в архив! Ведь я теперь...

Но на этом слове я осекся и покраснел.

– Что же ты «теперь»? – спросил меня Глумов угрюмо.

– Зла я не делаю! зла!

– Христос с тобой! на что делать зло!

– Да, но ведь и это... Что же, наконец, остается нам? при чем мы состоим? что нам делать?

– Жить – вот и все. Если жизнь привязалась и не отпускает тебя – ну, и живи. Удивляй мир отсутствием поступков и опрятностью чувств. Тоскуй, стыдись, тяготись жизнью, но живи в четырех стенах и в чужие существования не впутывайся. Наблюдай эти существования, но буде чего не понимаешь в них, то не огрызайся и не глумись, а говори прямо: я этого не понимаю! живи!

На этом слове мы расстались.

К сожалению, я не последовал совету Глумова и впутался. В ближайший же праздничный день после посещения Алексея Степаныча я отправился на Пески и часов около двенадцати утра не без тревоги звонил у подъезда знакомого одноэтажного деревянного домика. Но, по беззаботному виду, с которым прислуга отворила мне дверь, я догадался, что все семейство Молчалиных налицо, и что, следовательно, тревога моя напрасна.

– Вот и чудесно! – встретил меня Алексей Степаныч. – Спасибо, мой друг, спасибо! Ведь и вы... да, голубчик, помню я, очень помню, какое вы намерились участие приняли! И готовность вашу и заботливость... много, очень много вы меня облегчили! А вода у вас какая... лакомство, а не вода! У нас вот на Песках все как-то лиговкой припахивает, а в ваших краях прекрасная... прекраснейшая вода!

Алексей Степаныч обнял меня и поцеловал в обе щеки.

– Стало быть, все благополучно?

– Как вы тогда сказали, что беспокоиться преждевременно, так и оказалось! Слава богу! слава богу! слава богу!

Действительно, вся фигура Алексея Степаныча дышала таким спокойствием, что от тревоги «того дня» не осталось и следа. Лицо пополнело и посветлело; грудь и живот приняли обычную, слегка дугообразную форму; стан выпрямился, голова несколько откинулась назад, как у человека, который вполне понимает, что сегодня праздник, в продолжение которого он сам себе господин.

– Пустяки! – прибавил он с таким жестом, в котором я усмотрел даже некоторое посягательство на молодечество.

– Ну, и отлично. Во всяком случае, я очень рад, что все объяснилось.

– Разумеется, пустяки! – повторил он, – гимназистку шестого класса взбунтовал – важность какая, сделайте милость!

– Очень рад. Так, стало быть, мешать мне вам нечего: по случаю счастливого исхода дела, вам и без посторонних теперь хорошо. Прощайте.

– Ни-ни, и не думайте. Посидим в кабинете, покурим, побеседуем. Что ж такое! Мы рады – отчего же и вам с нами не порадоваться!

Одним словом, как я ни отпрашивался, старик настоял, чтоб я остался, и увел меня в кабинет...

– Мои-то еще от обедни не пришли, – прибавил он дорогой, – а Павел-то Алексеич к товарищу с утра забрался: вместе «Правительственный вестник» будут критиковать'. Не нравятся мне эти критики, ох, как не нравятся! а с другой стороны – жалко и на привязи молодого человека держать! Думал было сказать: не ходи! – да совестно! Недотрога ведь он у меня – недолго и разбередить! Нынче же гаду промежду публики много развелось; вместо того чтоб мирком да ладком – только и слышишь: мальчишка! негодяй! Вот он, Павел-то Алексеич, и настораживает уши!

– Конфузится?

– Да как сказать? В первые два-три дня, как явился к нам – точно, что был будто не в себе... Гимназистку взбунтовал – ишь ведь какой грех случился! Ну, а теперь, кажется, обошелся. Милости просим!

Мы вошли в кабинет, уселись, закурили папиросы и начали беседовать.

– Довольно-таки было мне беготни, – начал Алексей Степаныч, – в одном месте пять минут, в другом – десять минут, да на лестницу, да с лестницы – смотришь, ан к вечеру и порядочно ноги отбил.

– Хорошо, по крайней мере, что успели.

– Да, мой друг, очень это хорошо. Я, впрочем, не ропщу. Роптать свойственно сильным мира сего. Вот кто на высоте стоит, и вдруг его оттуда шарахнут! или чином обойдут, или он Владимира вторья к празднику мечтал получить, а его короной на Анны отпотчевали. Тут поневоле возропщешь. А мне – что! самолюбиев да честолюбиев у меня и в заводе никогда не бывало. Сижу да корплю. Сыт, обут, одет, начальство не притесняет, жалованье в срок выдают, семью бог хранит – чего еще надо! Скажу тебе откровенно, что я на праздничное нынче не особенно рассчитываю. Прежде это точно что, по молодости, фантазии играли: все, бывало, думаешь, какую бы обновку на праздник соорудить; а нынче – умудрился! Дадут – хорошо; не дадут – и на том спасибо!

– Философ вы, Алексей Степаныч!

– Нет, не философ, а пожил – вот и вся философия. Я даже в то время, как беда-то эта надо мной стряслась – большая беда, мой друг! – и то не роптал, а только как бы потерялся. Не понимаю, что случилось; чувствую, что везде больно, суюсь во все стороны... А теперь, как все благополучно кончилось, не только не ропщу, а даже, как бы сказать, взгляд получил.

– Вот как – и «взгляд»? Так что, пожалуй, с точки зрения этого «взгляда», Павел-то Алексеевич...

– Сохрани бог! Я не об Павле Алексеевиче... об нем я даже говорить не могу: права не имею! А вообще судя... Ведь и сквозь пальцы тоже смотреть...

– Алексей Степаныч! батюшка! да не вы ли же сию минуту на нынешнюю публику жаловались, что взгляд у нее легкомысленный.

– Да; но ведь я свой «взгляд» про себя и хороню: иметь имею, а зря – по большим дорогам не выбалтываю. Легко сказать: негодяи! – да каково будет после, как подлость-то эту с языка своего смывать придется! Сегодня ты на всех перекрестках кричишь: негодяи! – а завтра окажется, что у тебя собственный сын завяз! Примеры-то эти бывали. Ах, как осторожно нынче нужно эпитеты-то эти раздавать! И не думаешь, не гадаешь, как в свою собственную кровь попадешь!

– Воля ваша, а того, что вы сейчас высказали, совершенно достаточно с точки зрения «взгляда». Каких же еще особенных «взглядов» нужно?

– Нет, это «поведение», а «взгляд» – это опять другое. Нельзя и без «взгляда», мой друг. Вот и об турецких делах в газетах читаешь – и тут «взгляд» себе составляешь... Что, мол, Бисмарк скажет? какую-то Дизраэли новую ловушку сочинит? – Все хочется заранее рассчитать и угадать.

– А Бисмарк возьмет да совсем другое скажет!

– Что ж! он скажет, а мы с тобой послушаем. Ведь это и всегда так бывает: мы, публика, взгляды составляем, а начальство возьмет да взгляды наши поправит! Так-то, мой друг!

Алексей Степаныч снисходительно потрепал меня по коленке и прибавил:

– Начальство-то наверху стоит – оттого ему и видно! Оно не только взгляды имеет, но и применяет их, а мы – соображаться должны. Вот я, не дальше как вчера, с

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru князем Тугоуховским, с начальником моим, разговор об нынешних этих делах имел – и что ж, сударь! Может, и не совсем это для меня приятно, а все-таки должен сознаться, что во многом я, после этого разговора, свой «взгляд» изменил!

– А не будет это нескромностью, ежели бы я вас попросил объяснить мне, в чем взгляд князя Тугоуховского состоит?

– Отчего не объяснить – с удовольствием! Сначала об делах, разумеется, говорили, а потом и другое многое к слову молвилось. Об Павле Алексеиче речь зашла: рад, говорит, душевно, что благополучно кончилось, хотя с другой стороны... Ну, я молчу, кланяюсь, думаю: что-то будет? И вдруг взял он меня за обе руки и говорит: «Ах, Алексей Степаныч! Алексей Степаныч! ты думаешь, нам легко?»

Алексей Степаныч остановился на мгновение, взглянул на меня и продолжал:

– Да, мой друг, и им не легко!

– А мне так кажется, что ваш князь напрасно отягощается. Совсем уж он не такая важная птица, чтоб на себя тяготы-то эти принимать.

– Важная не важная, а все-таки птица. В нашей служебной иерархии и малая птица значение имеет, потому что она на себе образ и подобие больших птиц отражает. А к тому же, если Тугоуховский и не большая птица, так ведь я-то перед ним – уж совсем воробей.

– Так неужто ж в одном этом и весь «взгляд» вашего князя состоит?

– Нет, многое и другое было говорено. Вот, говорит, который уж год неурожаи везде, заработков нет, торговля в умалении, земледелие пало – надо же меры принимать!

– Трудно жить – это правда; но ведь еще недостаточно сказать: «трудно», – надобно хоть причину трудности выяснить.

– Куски наперечет стали – вот и причина. Прежде, когда во всем обилие было, – и дух легче был, и расположенность чувствовалась; а нынче, как на зуб-то нечего положить стало – ну, и смотрит на тебя всякий, словно за горло ухватить хочет!

– Прекрасно. Значит, так и надобно устроить, чтоб всего было вдоволь. Тогда и опять легкий дух и расположенность явятся. Как вот насчет этого ваш князь рассуждает?

– А как же ты это рассудишь, голубчик? Сокрушается наравне с прочими – ну, и довольно!

– И часто он таким образом сокрушается?

– Прежде реже было, а с тех пор, как пошли эти воровства да банкротства... Представь себе! Ведь и его Иван-то Иваныч ожег! Сегодня ему банкротом себя объявить, а вчера наш князь к нему в контору три тысячи на текущий счет снес!

Я хотел было еще что-то спросить, но разговор выходил как-то уж чересчур запутан и сложен. Тут и неурожаи, и отсутствие заработков, и банкротства... Помилуйте! да ведь это целый курс политических, экономических и общественных наук! И вдруг – «взгляд»!

А между тем эти разговоры ведутся во множестве, да едва ли не одни они и ведутся. По крайней мере, на меня пахнуло чем-то до того знакомым, что воображение мое даже целую картину нарисовало. Почудилось, что я сам удостоен от князя Тугоуховского аудиенцией, и он, в кратких словах, излагает передо мной свою душу. «Поймите меня! – говорит он, – с одной стороны, меры – необходимы; с другой стороны – принимать их не легко!» Сказавши это, он на минуту впадает в меланхолию и прибавляет: «Да, mon cher, [120] не легка наша задача, хотя с божиею помощью и не непреодолима. Во всяком случае, я очень рад, вы имели случай узнать мой «взгляд». Этого, я надеюсь, совершенно достаточно, чтоб обеспечить мне ваше содействие в будущем!» Затем он весьма любезно делает знак ручкой, извещающий меня, что аудиенция кончилась.

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) Я мог бы продолжать эту картину и далее. Мог бы рассказать, как я был очарован словами князя, как я ел его глазами, ловил каждое движение губ и беспокойно двигался в кресле, в знак понимания, как я даже «понимал», как я шевелил губами, словно бы желая сказать: «ваше сиятельство! да я... да неужели?! да вы только свистнуть извольте!!», как я потом вышел из квартиры князя на свежий воздух, начал припоминать, припоминать... и вдруг остолбенел! «Что он такое сказал? что такое он хотел выразить?» – мучительно завертелось у меня в голове...

Но я не успел еще надлежащим образом развить эту картину, как в передней раздался звонок.

– А вот и сам Павел Алексеич, кажется, явился! – молвил Алексей Степаныч и, после минутного размышления, прибавил: – А что бы вам, с своей стороны, молодого человека слегка пожурить? право!

– Помилуйте, Алексей Степаныч! вы, отец – и то не журите! с какой же стати я-то в это дело мешаться буду!

– Нет, и я, признаться, журил, да как-то им скучно стариков-то слушать... Скажу вам откровенно, не только сам я журил, да и знакомого священника, отца Николая, – приглашал. Да тот как-то уж странно... «звезда от звезды» да «ему же честь – честь»... Для меня-то оно вразумительно, ну, а Павел Алексеич только стоит да обмахивается, словно мухи около него летают.

– Вот видите ли! Ну, и со мной то же самое будет: точно так же обмахиваться начнет.

Сказал я это очень твердо и, по-видимому, совершенно искренно в эту минуту был убежден, что, в сущности, Павлу Алексеевичу ничего другого и не предстоит, как только обмахиваться под гудение моей журибы. Но не могу не сознаться, что внутри у меня уже что-то щекотало. «А что, в самом деле, ежели бы пожурить молодого человека? – шептал искушающий голос, – не строго, не в духе пророка Илии, а в минорном тоне: хороший, мол, вы молодой человек, а поступка вашего, относительно взбунтования гимназистки, одобрить, извините, не могу! Да-с, не могу-с. Не так-с! не этак-с! Стремитесь-с! шествуйте вперед-с!.. Но... не так-с!..»

И я опять слегка начал рисовать картину: вот так я стою, а так – он стоит. Язык у меня без костей, слова – так и льются: не так, сударь, не так-с! и правая рука поднята вверх, и указательный палец в воздухе торчмя торчит: не так-с! Гм... да ведь и это, пожалуй, своего рода взгляд!..

В эту минуту Павел Алексеич вошел в кабинет. Он значительно возмужал с тех пор, как я его в первый раз видел, но в манерах его замечалась прежняя юношеская застенчивость и как бы угловатость. Он поздоровался с отцом, протянул мне руку и хотел было немедленно удалиться, однако Алексей Степаныч остановил.

– Небось на совещании был? – спросил он его.

– Ходил к одному товарищу.

– «Правительственный вестник» вдвоем критиковали? Господина Черняева с Гарибальди сравнивали?

– Нет, этого мы не делали.

Молодой человек вновь сделал движение, чтоб удалиться.

– Что же вы делали? сядь, посиди с нами! довольно за утро с молодыми наговорился – можно и со старшими посидеть.

Павел Алексеич, не говоря ни слова, сел несколько поодаль и закурил папироску.

– А мы сейчас тоже об современном этом направлении говорили. Я – порицаю, а вот он (Алексей Степаныч назвал меня по имени и по отчеству): извинить, говорит, надо!

Павел Алексеич продолжал молчать, но я заметил, что он действительно сделал такое движение рукой, словно обмахнулся.

– Позвольте, Алексей Степаныч, – вступился я, – я не совсем так говорил. Я говорил, что молодые люди увлекаются, что увлечение свойственно этому возрасту! – вот что я говорил! А извинять или не извинять – это совсем другой вопрос! Я рассматривал, я взвешивал... пожалуй, даже констатировал, но не считал себя в праве ни осуждать, ни, тем менее, извинять. Помилуйте! Это не мое дело!

Странная вещь! в сущности, как читатель сам может убедиться из предыдущего, я ничего подобного не говорил, но в эту минуту мне до того ясно представилось, что я именно говорил то самое, что даже угрызений совести не чувствовалось. А внутри так и подмывало: пожури да пожури!

– А по-моему, так это именно и значит «извинять»... «Увлекаются» – что ж это, как не извинение? – рассудил Алексей Степаныч.

– Нет, это не то-с! Я не извиняю и не осуждаю, а просто говорю... Но и тут опять: я не только не считаю своего мнения обязательным, но даже высказать его решусь лишь в таком случае, когда буду иметь уверенность, что оно может кого-нибудь заинтересовать!

Я взглянул на Павла Алексеича, в чаянии, не поощрит ли он меня к дальнейшим развитиям, но увы! он опять обмахнулся – и только. Зато Алексей Степаныч поощрил меня.

– Отчего же не высказаться? – сказал он, – ваше мнение для всякого, сударь, интересно!

Но я решился не вдруг. С одной стороны, внутренний голос подсказывал: пожури! с другой, думалось: а ну, как из этой журьбы что-нибудь вроде: «ина слава луне, ина слава звездам» – выйдет?

– Не так! – сорвалось у меня, наконец, – совсем не это нам нужно!

Сказал я это, но обычное хворое двоегласие и тут не оставило меня. Кому «нам»? об ком ты разглагольствуешь?.. Может быть, на этом и прервалась бы моя «журьба», если бы Алексей Степаныч не подстрекнул меня.

– Вот, вот, вот! Это же самое и я ему говорю! – вмешался он. – Никогда, говорю, не бывало, чтоб яйца курицу учили! и за границей этого нет, а у нас – и подавно! Следовательно, коли ежели старшие говорят: погоди! – значит, так ты и должен сообразоваться! язычок-то на привязи держать, да уважать старших, да расположенность их стараться сыскать... так ли я говорю?

– Нет, я не о том! Я вообще говорю: не так! Не то нам нужно!

Должно быть, двукратное повторение одной и той же формулы повлияло на Павла Алексеича раздражительно, потому что он не выдержал.

– Позвольте! что же, собственно, нужно вам? – спросил он, довольно, впрочем, спокойно.

– Выше лба уши не растут – вот что памятовать нужно! – формулировал наконец я, – и сообразно с сим поступать!

– Но ведь это то же самое, что «яйца курицу не учат»!

– Нет-с, не то! то есть, коли хотите, оно и то, да не то! В предположении Алексея Степаныча яйца должны навсегда остаться яйцами. Я же говорю, вот яйца, из которых со временем нечто должно вылупиться! Но прежде – и вот где разница между мною и вами, молодой человек! – прежде, говорю я... вылупитесь, господа!

Я сказал это горячо и с убеждением; даже старческая слеза выступила. Господи! да ведь тут уж целый план!

Сперва вылупитесь, потом подрастите, потом осмотритесь, а там что бог даст!

– Да-с, это не то! – продолжал я. – Я сам был молод, сам увлекался... Знаю! Молодость великодушна, но – извините меня – нерассудительна! Она не хочет

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru понимать, что всякое общество есть союз, заключенный во имя совершившихся фактов и упроченных интересов. Что безнаказанно колебать подобные союзы нельзя! Что ежели, наконец, и не невозможно к ним прикасаться, то прикосновение это может быть допущено лишь с величайшею осторожностью и крайним благоразумием!

– С подходцем, мой друг, с подходцем! – подтвердил и Алексей Степаныч.

Я был в ударе и хотел сказать многое. Даже целую картину собирался нарисовать, как оно катится и, словно снежный ком, нарастает и нарастает... Само катится, милостивые государи, и само нарастает... Само! Но последнее замечание старика Молчалина как-то разом подкосило меня. Увы! Алексей Степаныч был неумолим! Он не только подавал руку помощи, но еще комментировал, выводил на свежую воду. В самом деле, разве не одно и то же мы говорили? Сначала он сказал: вот он извиняет, а я возразил: нет, я не извиняю, а только думаю, что молодости свойственно увлекаться. Потом он свел разговор на тему: курицу яйца не учат, а я возразил: нет, и это не так, а вот как: уши выше лба не растут! Наконец, я сказал: к совершившимся фактам следует прикасаться с осторожностью, а он прибавил: с подходцем!.. Неужто же мы единомышленники? Неужто я – он, а он – я?

Я смотрел во все глаза и не мог прийти в себя от изумления. Алексей Степаныч, перегнувшись в кресле, болтал руками между колен и, благодушно покачиваясь, приговаривал: «Да, брат, с подходцем – а ты думал, как?» «Молодой человек» покурил папироску и совершенно безучастно смотрел в окно. Такая скука была написана на лице его, что я сразу понял, какое действие произвела на него моя журьба. Это действие формулировалось словами: вот-вот, сейчас будет «звезда же от звезды разнствуует во славе» – и конец разглагольствию!

Наконец он не выдержал и встал.

– Я, папенька, пойду, – сказал он, – наши уж от обедни пришли.

Мы опять остались одни со стариком Молчалиным.

Алексей Степаныч имел такой вид, как будто сейчас проснулся. Очевидно, и он не ждал, что так выйдет. Может быть, он думал, что я представление дам: возьму шляпу, сперва покажу ее внутренность: пусто? – а потом в ней окажется яичница, или живой голубь, или букет цветов. А оказалось, что я почти то же сказал, что и отец Николай, что и все мы, отживающие люди, говорим, когда нелегкая наталкивает нас на разговор...

Однако он не только не попенял мне за это, но, как человек вполне незлопамятный, даже поощрил.

– Ну, спасибо, голубчик! – сказал он, подавая мне на прощание руку, – большое вам за это спасибо, что моего молодого человека уму-разуму наставили! Горьконько ему, конечно, правду-то эту выслушивать, зато впоследствии благодарен будет, как действие-то на себе ощутит! Да, зарубит-таки он кое-что! зарубит себе на носу!

Я возвращался от Молчалиных и с тревогой, почти с болью спрашивал себя: мог ли я сказать что-нибудь иное?

Да, я высказал то самое безразличное брюзжание, которое, благодаря старческой хворости, заменяет нам и анализ, и доказательства, – все... Но я высказал некрасиво, не постарался – оттого и вышло, что я как бы повторил Тугоуховского, Алексея Степаныча и отца Николая.

Впрочем, быть может, я имел бы сказать что-нибудь и еще, да язык не поворачивался. Несмотря на симпатичные стороны, о которых я подробно упомянул выше, у нас, людей отживающих, людей старых песен, есть огромный недостаток: мы боимся даже невзначай обнаружить ту сокровенную подоплеку, которая составляла основу всей нашей жизни. Ведь, собственно говоря, мы никогда настоящим образом не жили, а только жеманились. Мы и свободу любили на греческий и римский манер: чтоб амфора была, вино сиракузское лилось, а мы бы мудро беседовали. Даже смерть мы представляли себе в красивой форме, по образцу смерти Тразеи Пета, с разговором в кругу друзей о непрочности земных благ и с восклицанием, в виде заключения: хвала Юпитеру! Подумайте: есть ли возможность все это обнаруживать? есть ли возможность вступить в спор, имея в запасе такую опорную точку?

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)  
Увы! Нынче нет ни амфор, ни сиракузского вина, ни красивой смерти, ни даже Юпитера. Нынешняя жизнь, даже в запросах своих, воплотилась, в какие-то странные формы, чуждые светотеней, аляповатые, грубые, почти циничные. Хотелось Г) 1.1 порой сказать ей слово сочувствия, а внутри так и колышется: фуй! Гадливость, коли хотите, отнюдь не злостная, а только инстинктивная, но, благодаря беспрерывному возбуждению, очень легко переходящая в привычку, в страх.

Вот этот-то страх и есть то общее, что приравнивает нас к Тугоуховским, Молчалиным и проч. Не в том дело, что мы не тех результатов боимся, которых боятся они, а в том, что и мы и они ждем своих различных результатов из одного и того же источника. Поэтому, хотя мы выражаем наше отношение к современности несколько иначе, нежели Тугоуховские и Молчалины, но разница лежит скорее в форме, нежели в сущности.

Поэтому же ничего у нас ясного не выходит, да и не ждет от нас никто ничего. Мы и скорбим, и стыдимся, и к смерти взываем, а нам говорят: уйдите! живите или умирайте – как вам угодно, но только там, в своих углах!

Это очень больно, но средств к у врачеванию этой боли, кажется, не предвидится. Что бы мы ни говорили, какой бы «обмен мыслей» ни предпринимали – все-таки в результате окажется: «ина слава луне, ина слава звездам». Разве это разговор? Нет, правду сказал Глумов: живи и удивляй мир отсутствием поступков и опрятностью чувств! Да, только это и остается.

Не успел я мысленно произнести имя Глумова, как почувствовал, что кто-то хватается за локоть. Оглянулся – он самый и есть!

– Пари держу, что у Молчалиных был?

– Да, был.

– Ну, и что ж?

Я рассказал все по порядку, ничего не утаивая и не прибавляя.

– И поделом! – рассердился на меня Глумов, – малодушный ты старик – вот что. Говорено было тебе: сиди смирно! Да тебя, впрочем, не убедишь! Вот и теперь, придешь, чай, домой, сядешь за стол и скажешь себе: а ну-тко, благословясь, я эту об «новых людях» настрочу! Нехорошо, не моги!

ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ  
В СРЕДЕ УМЕРЕННОСТИ И АККУРАТНОСТИ  
<ДВА ОТРЫВКА ИЗ РУКОПИСНЫХ РЕДАКЦИЙ>  
<1>

Итак, взглянем на Молчалина счастливого, на Молчалина, с честью выдержавшего свой длинный мартиролог, и с помощью его завоевавшего себе: в настоящем – тепло и сытость, в будущем – безответственность перед судом истории. Познакомимся с ним в домашнем его быту, в частной беседе о предметах, доступных его пониманию, в той интимной обстановке, в которой, по преимуществу, затрагиваются человеческие струны сердца, где он является отцом семейства, мужем, преданным другом, гостеприимным и заботливым хозяином и т. д.

Я знаю, что многие относятся к Молчалину с пренебрежением, и даже готовы видеть в нем нечто вроде низшего организма. Я сам долгое время был не прочь разделять этот дурной взгляд, но опыт и жизненная практика убедили меня, что в этом отношении я ошибался самым грубым образом.

В массе общественных наслоений существует громадная область, относительно которой Молчалины имеют важное, почти решающее значение. Это область той частной, так сказать, чернорабочей деятельности, которая не причастна ни власти, ни капиталу. Насколько власть и капитал тяготеют над Молчалиным, настолько же Молчалин тяготеет над этой чернорабочей массой, разумея под этим именем не одних половых, дворников и мостовщиков, но и людей, занимающихся так называемыми высшими профессиями – только не за свой счет и без права решить и вязать в том или в другом смысле.

Относительно этой чернорабочей массы, Молчалин есть ближайший и почти всесильный исполнитель. Он посредствующее звено между массой и тем жизненным регулятором,

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) который гласит: травы не мять, рыбы не ловить, гулять чинно и благородно, отнюдь не уклоняясь от однажды прорезанной дороги. Требования этого регулятора, по временам, бывают до такой степени прихотливы, что человеческая природа, так сказать, *motu proprio*[121] подстрекает человека к послушанию. Всякий, конечно, изведаль собственным опытом, как сильны, почти непреодолимы бывают эти позывы в область запретного, но в то же время всякому известно и то, что осуществление этих позывов почти всегда сопровождается тревожным чувством очень неприятного свойства. Перспектива быть пойманным возбуждает, с одной стороны, – опасение ожидающей кары, с другой – понятное чувство гадливости. Неприятно и стыдно сознавать себя совершеннолетним и в то же время опутанным целую сетью запрещений. Это вносит в человеческую жизнь двоегласие, которое с течением времени делается до того мучительным, что для многих является равносильным совершенному прекращению жизненной деятельности. Сдается, что пристойнее ничего не делать и даже совсем не жить, нежели проводить время в трепете за свою шкуру. И вот, в эту горькую минуту, когда человек готов уже ввергнуться в пучину уныния, – к нему является на выручку Молчалин. Он – весь смирение, весь трепет, так что на первый взгляд и сам-то он кажется стоящим не многим более ломаного гроша. Но знайте, что наружность в этом случае более, нежели когда-либо, обманчива, и что в действительности Молчалин может многое. Он может посмотреть сквозь пальцы, он может ослабить слишком натянутую тетиву, он может, наконец, просто-напросто оставить всю махинацию втуне...

Каждый день самая обыкновенная практика убеждает нас, какую громадную силу пользуется это собирательное, известное под скромным и не совсем лестным именем Молчалина. Возьмите самый вульгарный пример: вам нужен кусок мяса. Ежели стоящий в мясной лавке за прилавком Молчалин-приказчик знаком вам – вы получите мягкий и сочный ростбиф, ежели незнаком – вам за те же деньги отпустят сапожное голенище. Другой, не менее вульгарный пример: вы хотите попасть в театр. Мигните другу Молчалину – и билет у вас в кармане, хотя бы это было за минуту до начала представления и хотя бы в представлении этом разом принимали участие: Марковецкий, Алексеевы и Душкин...

Но особенно драгоценны Молчалины в минуты опасности, в те скорбные минуты, когда человеческое бытие находится под угрозой перейти в небытие. Что делать в подобном случае? куда идти? что предпринять? – Ответ простой: прежде всего, запастись Молчалиным и затем, как только почувствуется в воздухе гарь, бежать к нему...

Я не могу сказать, как он там мастерит, но что он действительно нечто смастерит – это почти наверное. По проекту вам следовало, например, с четвертого этажа соскочить, а на деле, вместо вас, с четвертого этажа куклу выбросят, а вас только спрячут на время, чтоб на глаза вы не попадались.

Поверит ли читатель, что в детстве я знал человека (он был наш сосед по имению), который по всем документам числился умершим? Он был мертв, и между тем жил, то есть распорядился имением, пил водку, содержал псовую охоту, ездил к соседям в гости, словом исполнял весь помещичий обиход доброго старого времени. Спрашивается: кто, как не Молчалин, возродил этого человека к жизни?

Мне кажется, что сказанного выше вполне достаточно, чтоб в значительной степени умерить пренебрежение, которое высказывают к Молчалину те самонадеянные люди, которые думают, что они и без содействия Молчалиных проживут. Нет, не проживут. Увы! ежели народная мудрость предписывает нам помнить пословицу: от сумы да от тюрьмы не отрекайся! – то собственный жизненный опыт тем с большим основанием должен воспретить нам отречься от Молчалина, все существование которого есть не что иное, как непрестанное напоминание о суме и о тюрьме. Жив Молчалин – стало быть, жива тюрьма и дума!

Итак, отбросим в сторону вредное самомнение и скажем себе раз навсегда: да, без благосклонного содействия Молчалиных наша жизнь есть не что иное, как опасное плавание по безбрежному океану случайностей! Одни Молчалины могут помочь в нашей инстинктивной борьбе с обязанностью гулять чинно и благородно по постылой, наторенной дороге; они одни могут утешить в тех скорбях, которые обыкновенно сопровождают эту борьбу. Заслуга громадная, вполне понятная только тому, кто на собственных боках изучил и комментировал сказание о Макаре и его телятах!

Но ежели с одной стороны заслуга несомненна, то само собой разумеется, что признание этой заслуги налагает на другую сторону известные обязательства. По мнению моему, таких обязательств два: во-первых, любить Молчалина и, во-вторых,

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru знать его. Знать настолько подробно, чтобы можно было с уверенностью к нему подойти.

Выполнению первого из этих обязательств я посвятил всю мою жизнь. Выполнение второго – стараюсь осуществить посредством предлагаемого ряда этюдов.

Со временем, я познакомлю читателя с очень разнообразными видами Молчалина: с Молчалиным мира промышленного, с Молчалиным мира литературного и т. д. Но теперь все-таки обязываюсь начать с Молчалина-прародителя, с Молчалина – исполнителя фамусовских предначертаний, которого, еще неискушенного жизнью, но уже понявшего, что отказ от образа и подобия божия составляет condition sine qua non[122] его существования, – изобразил нам Грибоедов.

<2>

Как я уже не раз говорил, Молчалины отнюдь не представляют исключительной особенности чиновничества. Они кишат везде, где существует забитость, приниженность, везде, где чувствуется невозможность скоротать жизнь без содействия «обстановки». Русские матери (да и никакие в целом мире) не обязываются рожать героев, а потому масса сынов человеческих, невольным образом, придерживается в жизни той руководящей нити, которая выражается пословицей: лбом стены не прошибешь. И так как пословица эта, сверх того, подтверждается энергическим восклицанием: в бараний рог согну! – практическое применение которого сопряжено с очень солидной болью, то понятно, что Молчалины расплодись настолько успешно, что наводнили вселенную и заполнили все профессии.

По-видимому, литературе, по самому характеру ее образовательного призвания, должен бы быть чужд этот тип, а между тем мы видим, что молчалинство не только проникло в нее, но и в значительной мере прижилось. В особенности же угрожающие размеры приняло развитие литературного молчалинства с тех пор, как, по условиям времени, главные роли в литературном деле заняли не литераторы, а менялы и прохвосты. И в самом деле, что такое меняла или прохвост? – это, во-первых, отребье, а во-вторых – «столп», два качества, одинаково ограждающие человека от напастей. Что такое русская литература? – это ночлежный дом, в котором, предполагается, находят себе приют мазурики и в котором, поэтому, всякий не мазурик считает возможным сделать облаву. И вот для того, чтоб оградить себя от облав, предполагаемые мазурики (они же «мошенники пера» и «разбойники печати») и припускают к литературе менял и прохвостов, которые, яко «столпы», облавам не принадлежат.

С литературным Молчалиным меня познакомил тот же самый Алексей Степаныч, о котором я уже беседовал с читателем. В одну из минут откровенности, объясняя мартиролог Молчалиных-чиновников, он сказал в заключение:

– Да это еще что! мы, можно сказать, еще счастливики! А вот бы вы посмотрели на мученика, так уж подлинно мученик! Я, например, по крайности, знаю своего преследователя, вижу его, почти руками осязаю, – ну, стало быть, какова пора ни мера, и оборониться от него могу. А он и преследователя-то своего настоящим манером назвать не может, а так, перед невидимым каким-то духом трепещет.

– Кто ж это такой?

– Да тезка мой, тоже из роду Молчалиных (так расплодился, уж так расплодился нынче наш род!) и Алексеем же Степанычем прозывается. Только я чиновник, а он журналист, газету «Чего изволите?» издает. Да на беду, и газету-то либеральную. Так ведь он день и ночь словно в котле кипит, все старается, как бы ему к преследователю-то своему в мысль попасть, а к какому преследователю и есть ли у того преследователя какая-нибудь мысль, – и сам того не ведает.

– Да, это не совсем ловкое положение. Что ж это, однако, за Молчалин? Я что-то не слыхал об таком имени в русской литературе. Литератор он, что ли?

– Литератор он не литератор, а в военно-учебном заведении воспитывался, так там вкус к правописанию получил. И в литературу-то недавно поступил – вот как волю-то объявили. Прежде, он просто табачную лавку содержал, накопил деньжонок да и посадил их в газету. Теперь и боится.

– Воля ваша, а я про такого газетчика не слыхал.

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

– Что мудреного, что не слышал! говорю тебе: они нынче все из золотарей. Придет, яко тать в нощи, посидит месяц-другой, подписку оберет – и пропал. А иному и посчастливится. Вот хоть бы мой Молчалин, например: третий год потихоньку в лавочке торгует – ничего, сходит с рук!

– И шибко он боится?

– Так боится, так боится, что, можно сказать, вся его жизнь – одна лихорадка. Впал грешным делом в либерализм, да и сам не рад. Каждый раз, как встретит меня: уймите, говорит, моих передовиков! А что я сделать могу?

– Да, передовики, особенно наши, – это, я вам скажу, народ... Начнет об новом способе вывоза нечистот писать – того гляди, в Сибирь сошлют!

– Да если б еще его одного сослали – куда бы ни шло. А то сколько по сторонам нахватают – вот ты что сообрази!

Сообщники, да попустители, да укрыватели – сколько наименований-то есть! Ах, мой друг! не ровён час! все мы под богом ходим!

– Что и говорить. Впрочем, ведь оно и мудрено иначе-то. Бродит человек поблизости – как тут разгадать, простой ли он прохожий или попуститель?

– А как его предварительно в укромное-то место посадишь, так оно вернее!

– Да; а потом и разобрать можно. Если он подлинно только прохожий – ну, и пусть себе идет на все четыре стороны!

– То-то вот и есть. А тезку-то моего даже и за прохожего никак принять невозможно. Такое уж его положение, что прямо говорят: науститель! А какой он науститель! Рублишка до смерти хочется – вот и вся завязка романа. Он ежели в первый раз человека видит, так и то в голове у него только одна мысль: вот кабы мне этакого-то подписчика! Да не хотите ли, я познакомлю вас с ним?

– Что ж, пожалуй...

– И не бесполезно будет, я вам скажу. Может быть, грешным делом, фельетончик напишете – он ведь за строчку-то по четыре копеечки платит!

Мы условились, что в следующее же воскресенье, в первом часу утра, я найду к Алексею Степанычу, и затем вместе отправимся к его тезке.

В условленный час мы были уж в квартире Молчалина 2-го.

Нас встретил пожилой господин, на лице которого действительно ничего не было написано, кроме неудержимой страсти к правописанию. Он принял нас в просторном кабинете, посередине которого стоял большой стол, весь усеянный корректурными листами. По стенам расположены были шкафы с выдвижными ящиками, на которых читались надписи: «безобразия Свяжские», «безобразия Красноуфимские», «безобразия Малоархангельские» и проч. Ко мне Молчалин 2-й отнесся так радушно, что я без труда прочитал в его глазах: пять копеек за строчку – без обмана! и будь мой навсегда! к Алексею Степанычу он обратился с словами:

– Да уйми ты, сделай милость, моих передовиков!

– Бунтуют?

– Республики, братец, просят!

– А ты бы сказал, что республики не дадут!

– Смеются. Это, говорят, уж ваше дело. Мы, дескать, люди мысли, нам нужна истина теоретическая, а там дадут или не дадут – это для нас безразлично.

– Да неужто ж им в самом деле республики хочется?

– Брюхом, братец! вот как!

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)

– А я так позволяю себе думать, – вмешался я, – что они, собственно, только так... Знают, что вам самим эта форма правления нравится, – вот и пишут...

Молчалин 2-й приосанился.

– Ну да, конечно, – сказал он, – разумеется, я... Само собой, что, по мнению моему, республика... И в случае, например, если б покойный Луи-Филипп... Однако согласитесь, что не для всех же народов республика пригодна!

– Еще бы! – воскликнул я, – существуют народы, для которых и Управы Благочиния – за глаза довольно!

– Вот это-то самое я им и твержу. Господа, говорю, чувства ваши очень похвальны, и я сам при случае готов... ну там, «vive Mac-Mahon», [123] что ли... ведь это все равно что по-нашему: ура! Но не все же, говорю, народы...

– Та-та-та! стой, братец! – прервал Алексей Степаныч, – сам-то ты не твердо говоришь – вот они и не понимают. Народы да народы... какие такие «народы»? Кто об «народях» говорит? Прямо говорил бы: а в кутузку хочешь?! Сразу бы поняли!

– Да ведь это оно самое и есть, почтеннейший друг! «Есть народы», – а дальше уж всякий и сам должен разуместь: такие, мол, народы, для которых кутузка есть, так сказать, пантеон...

– И все-таки повторю: выражаешься неясвенно! Никаких «народов» нет, а есть Управа Благочиния и то, что в пределах ее ведомства состоит. Так и сказывай!

– Так-то так, Алексей Степаныч! – счел долгом заступиться я, – да ведь нельзя редактору так просто выражаться. Редактор – ведь он гражданское мужество должен иметь. А между тем оно и без того понятно, что ежели есть «народы, которые», то очевидно, что это те самые народы и суть, для коих, как уж и выразился господин редактор, «кутузка» представляет своего рода пантеон. И я уверен, что и сотрудники газеты «Чего изволите?» хорошо понимают это, но только предпочитают, чтоб господин редактор сам делал в их статьях соответствующие изменения.

Молчалин 2-й горько усмехнулся.

– Да-с, предпочитают-с, – сказал он, – да сверх того потом на всех перекрестках подлецом ругают!

– Так что, с одной стороны, ругают сотрудники, а с другой, угрожает начальство? Действительно, не весьма ловкое это положение!

Молчалин 2-й на минуту потупился, словно бы перед глазами его внезапно пронесся дурной сон.

– Такое это положение! такое положение! – наконец воскликнул он, – поверите ли, всего три года я в этой переделке нахожусь, а уж болезнь сердца нажил! Каждый день слышать ругательства, и каждый же день ждать беды! Ах!

– И как мне сказывал Алексей Степаныч, неприятность вашего положения осложняется еще тем, что вы боитесь, сами не зная кого и чего?

– И не знаю! ну вот, ей-богу, не знаю! Еще вчера, например, писал об каком-нибудь предмете, писал бесстрашно – и ничего, сошло! Сегодня опять тот же предмет, с тем же бесстрашием, тронул – хлоп! Батюшки! да за что! А за то, говорят, что вчера было писать благовременно, а нынче – неблагоприятно. А я почем знал?

– «А я почем знал!»! – передразнил Алексей Степаныч, – а нос у тебя на что? А сердце-вещун для чего? Коли ты благонамеренный, так ведь сердце-то на всяк час должно тебя остерегать!

– Рассказывай! Тебе хорошо, ты своего проник – ну и объездил! А вот худо, как и объездить некого! поди угадывай, откуда гроза бежит!

– Да неужто же нет способов? – вмешался я, – во-первых, как сказал Алексей

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Степаныч, у вас есть сердце-вещун, которое должно вас остерегать, а во-вторых, ведь и писать можно приноровиться... ну, аллегориями, что ли!

– То-то и есть, что на аллегии нынче мастеров нет. Были мастера, да сплыли. Нынче все пишут сплеча, периодов не округляют, даже к знакам препинания холодность какая-то видится. Да вот, позвольте, я прочту, что мне тут один передовик напутал. Кстати, вместе обсудим да тут же и исправим. А то я уж с утра мучусь, да понимание, что ли, во мне притупилось: никакой аллегии придумать не могу.

Мы согласились. Молчалин 2-й взял со стола корректурный лист и начал:

«С. Петербург. 24 июля.

На этот раз мы вновь возвращаемся к вопросу, который уже не однажды занимал нас. Пусть, впрочем, читатель не сетует за частые повторения: это вопрос животрепещущий, вопрос жизни и смерти, вопрос, от правильной постановки которого зависит честь и спокойствие всех граждан. Одним словом, это вопрос, известный под скромным наименованием вопроса «о числе и качествах городских», но, в сущности, проникающий в сердце нашей жизни гораздо глубже, нежели можно с первого взгляда предположить...»

– Гм... кажется, это можно?

– По моему мнению, не только можно, но и... ах, боже мой! да самая мысль, что честь и спокойствие граждан зависят от городских... Помилуйте! я сам сколько раз порывался... сколько раз сам думал: от чего бы это, в самом деле, зависело?... и вдруг такой ясный и вполне определенный ответ! – восклицал я в восхищении.

– А по-моему, так и тут есть изъянец, – расхолодил мой восторг Алексей Степаныч, – кажется, и всего одно словечко подпущено: «граждан», а сообразите-ка, чем оно пахнет! Какие такие, скажут, «граждане»? Откуда такое звание взялось? У нас, батюшка, нет «граждан», а всякий – сам по себе! Ты сам по себе, я сам по себе! А то «граждане»! Что за новое слово такое? Да и конец, признаюсь, мне не нравится. «Проникающий гораздо глубже, нежели можно с первого взгляда предположить»... Какой такой «первый взгляд»? и что тут еще «предполагать»? Припахивает, братец, припахивает!

– Чем же бы ты, однако ж, заменил слово «граждан»?

– А «обыватели» на что! и для тебя спокойно, и особенно гнусного нет. «Честь и спокойствие обывателей» – чем худо?

– Гм... да... вы как думаете? – обратился Молчалин 2-й ко мне.

– По-моему, «граждане» возвышеннее; но коль скоро болезнь сердца развита у вас в такой сильной степени, то безопаснее припустить «обывателей»...

– Так уж я...

Он помуслил карандаш, поскреб им на полях корректурного листа и продолжал:

– «Но для того, чтоб отнестись к делу правильно, необходимо начать нашу речь несколько издали. Известно, что единовластие, ничем не ограничиваемое, всегда приводит государство на край гибели, а в конце концов и само погибает в той пропасти, которую постепенно подготавливает себе полным и наглым непризнанием иных руководящих начал, кроме необузданности и внезапности. Это общее правило, которое...»

– Ну, это, брат, штуки! Этого и Мак-Магон не пропустит! – прервал чтение Алексей Степаныч.

Я, с своей стороны, тоже сомнительно покачал головой.

– А что я вам говорил! – почти крикнул Молчалин 2-й, – говорил я вам, что они всегда так: начнут об бляхах для городских, а свернут на единовластие. Что мне делать? скажите, что делать-то мне с ними?

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) – Я бы на твоём месте всю эту тираду похерил, а вместо нее легонькую бы похвалу градоначальнику пустил! – посоветовал Алексей Степаныч.

– Как так?

– Да так вот. Известно, мол, что в подобных делах многое зависит от градоначальников, а наш, мол, градоначальник постоянным и просвещенным вниманием к нуждам обывателей... А потом: обращаем, дескать, взоры наши!.. В надежде, мол, что скромные наши замечания будут приняты не яко замечания, но яко дань... Словом сказать, округли, защипни, помасли, положи по вкусу соли да и ставь в печку, в легкий дух, благословясь!

– И я вполне с этим согласен, – сказал я, – только, признаюсь, одно слово в редакции Алексея Степаныча я бы переменял. Он выразился: многое зависит от градоначальника, а я бы сказал: все!

– А что вы думаете! Ведь мысль не дурна! Потому что хоть и пыжались господа передовики: единовластие да единовластие! – а чего, например, каких результатов они достигли хоть бы в ихней пресловутой Франции? Тогда как, с божьею помощью, у нас...

Он не договорил и быстро начал бегать карандашом по корректуре.

– Ну, так слушайте, как оно у меня теперь вышло:

«Но для того, чтобы отнестись к делу правильно, необходимо начать нашу речь несколько издавлек. Известно, что власть градоначальника, ежели она вручена лицу просвещенному и согреваемому святою ревностью к общественному благу, и ежели притом она не стесняется посторонними придирчивыми вмешательствами, не только не приводит государств на край гибели, но даже полагает основание их величию и благоденствию. Мы же в этом отношении можем назвать себя даже особенно счастливыми, ибо у нас есть именно такое лицо, какое для нашего величия требуется. Мы никого не называем, но сердце всякого обывателя столицы безошибочно подскажет ему, о ком мы говорим. Каждый обыватель ежедневно, можно сказать, ежечасно и ежеминутно сознает себя очевидцем неусыпности и прозорливости и, конечно, не может не понимать, кому он этим обязан. Поэтому, ежели мы и решаемся посвятить столбцы наши важному вопросу о численном составе и качествах городских, вопросу, волнующему в настоящую минуту лучшие наши умы, то отнюдь не в видах поучения, ниже совета, а лишь в форме скромного и благопочтительного мнения, принять или не принять которое будет, конечно, зависеть от благоусмотрения. Примется наше мнение – мы будем этим польщены; не примется – мы и на это сетовать не станем».

– Хорошо, что ли, так будет?

– Уж так-то хорошо, что даже я и не ожидал, – похвалил Алексей Степаныч, – и подлости прямой нет – потому, ты никого не назвал, – а между тем в нос ведь, братец, бросится!

– Ну, а вы что скажете? – обратился ко мне Молчалин 2-й.

– Хорошо, даже очень хорошо, но, признаюсь, и тут имею сделать небольшое замечанье, которое, по мнению моему, нелишне будет принять к сведению. В новую редакцию вы перенесли из прежней (разумеется, с сообщением отрицательного смысла) слова: «не только не приводит государств на край гибели»... Конечно, я понимаю, что вы это сделали единственно ради того, чтобы по возможности сохранить труд наборщика, но людям, не посвященным в тайны корректуры, эта фраза может показаться сомнительною. Могут спросить себя: с чего это вдруг пришли ему на ум «государства, приводимые на край гибели»? Нет ли иронии тут какой-нибудь, иронии, которую наружная восторженность похвалы делает еще более едкою и чувствительною?

– А ведь замечание-то справедливое! – согласился со мною и Алексей Степаныч.

Молчалин 2-й задумался.

– Справедливое-то справедливое, – произнес он наконец, – а жаль! фраза-то уж больно ловка!

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)

– Да; но что-нибудь из двух одно. Если вы желаете по-прежнему пользоваться болезнью сердца, то, конечно...

– Стой! Я придумал! – вдруг нашелся Алексей Степаныч, – фразу оставить можно, только дополнить ее надо. И дополнить так: «как думают некоторые распространители превратных идей» – вот и все.

– Отлично! – согласился Молчалин 2-й и, тут же, сделав надлежащее исправление, продолжал:

«Токвиль говорит: монархи, доводящие свое властолюбие»...

– Марай! – вскричал Алексей Степаныч, – и читать дальше не нужно! Марай!

Молчалин 2-й, даже не возражая, провел крест на корректурном листе.

– «Гнейст, подтверждая это мнение, с своей стороны присовокупляет: «Монарх, который...»

– То Гнейст, а то русская газета «Чего изволите?»! Марай, любезный, марай!

– «Людовик XVI недаром со слезами на глазах собственноручно набирал знаменательные слова Тюрго: *pauvre France! pauvre roi!*[124] Этот добродушный самодержец инстинктивно чувствовал, что он последний прирожденный король Франции и Наварры и что отныне имя Бурбонов всецело перейдет на главы тех русских офицеров, которые выслужились из кантонистов и сдаточных».

Молчалин 2-й умолкнул. Мы тоже молчали. Казалось, мы находились под гнетом какой-то неожиданности.

– Марай! марай! марай! – первый опомнился Алексей Степаныч.

Но, к изумлению, Молчалин 2-й заупрямился.

– Позволь, однако, тезка! – сказал он, – ведь ежели все-то марать, так, пожалуй, и обстановки никакой у статьи не будет. Все эти ссылки и анекдоты, конечно, не стоят ломаного гроша, однако попробуй без них статью выпустить – голо будет.

Он вопросительно взглянул на меня.

– Если вы желаете знать мое мнение, – сказал я, – то оно резюмируется в одном слове: марайте! Конечно, анекдот об Людовике Шестнадцатом очень хорош, но ведь, собственно говоря, при тех переменах, которые вами сделаны выше, он уж как-то и не подходит. Ведь вы повели речь об градоначальнике, – с какой же стати тут Людовик Шестнадцатый?

– Гм... да, вот это так. Действительно, оно... Но согласитесь, что это тяжело. И каждый ведь день, каждый день мы должны приносить эти жертвы!

Он вздрогнул, но взял карандаш и твердою рукой начертал крест на корректурном листе. Затем он продолжал:

– «Все это мы припоминаем здесь с тою целью, чтоб общество не слишком полагалось на своих исконных попечителей, чтоб оно не думало, что дела его будут устроены к наилучшему концу помимо его собственного участия, чтоб оно не складывало рук, но ждало спасения единственно от самого себя. Пусть общество остережется, пусть оно станет бодро на страже своих собственных интересов, ибо, в противном случае, вся ответственность падет на него самого! Самозванные попечители не дремлют... Они уже теперь взвешивают все последствия, какие может иметь то или другое решение вопроса о городских. От кого будет зависеть определение и увольнение городских? Кто будет заготавливать для них провиант и обмундирование? – вот задачи, которые предстоит разрешить. И ежели общество отнесется к ним равнодушно, то в руках его попечителей очутится страшное орудие: возможность ежечасно, даже ежемгновенно воздействовать на граждан посредством морально-полицейского давления. Но этого мало: кто может поручиться, что в настоящем деле расчеты попечителей исчерпываются одною моральною стороною? что тут нет и значительных материальных расчетов, особенно по статьям «обмундирования» и «содержания в исправности

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru чиковок»? (Кстати о чиковках: вопросу о том, как они должны быть устроены и могут ли быть допускаемы в них, в виде исправительной меры, клопы, мы на днях посвятим особую статью)».

– Ну, это уж я сам! – сказал Молчалин 2-й и тут же, с невероятной быстротой исправив что нужно, прочитал:

– «Все это мы говорим с тою целью, чтоб общество всецело и с доверчивостью поручило себя в этом деле мудрости, прозорливости и испытанной попечительности начальства. Пусть общество остережется, пусть оно воздержится от излишней ревности к тому, что иные беспокойные умы хотят навязать ему под громким, но фальшивым именем общественных интересов. Ежели оно неуместным вмешательством в вопросы, непосредственно до него не относящиеся, возмутит мирно почивающую поверхность и возбудит в среде самого себя раздоры и свары, то вся ответственность падет на него самого! Люди, стоящие на вершине горы, видят дальше и стреляют успешнее, нежели люди, стоящие у подошвы горы или в низине. И горе тем, которые дерзостно заслоняют собою развертывающиеся перед ними перспективы! Не забудем, что во всех благоустроенных государствах роль общества есть роль содействителя и исполнителя, но отнюдь не инициатора, а тем менее какого-то непризванного учителя. Пускай же и наше общество явит себя в этом случае достойным государства столь несомненно благоустроенного, каким, по справедливости, считается Россия. Мы русские – и гордимся этим. До сих пор мы всегда вели себя с достоинством и твердостью, «в надежде славы и добра», как выразился наш незабвенный национальный поэт, – что же может помешать нам вести себя и на будущее время таким же достославным образом? Нам говорят о каких-то опасениях, но в чем же, однако, они могут состоять? Ежели при этом имеется в виду усиление так называемого морально-полицейского давления, то такого рода опасение, по малой мере, отзывается ребячеством. Ежели же имеются в виду какие-то темные материальные выгоды (в особенности по статьям: «обмундирование» и «содержание в исправности чиковок»), то эти опасения могут быть названы даже недостойными!»

– Как теперь?

– Уж что и говорить! ты, коли захочешь, так разутешишь! И ведь что дорого – газета-то либеральная!

Однако я и туг счел долгом умерить восторг Алексея Степаныча.

– Я вполне согласен, что это превосходно, – сказал я, – но и в этом отрывке позволю себе указать на один изъянец, совершенно подобный тому, об котором я только что упоминал. Зачем оставили вы в новой редакции слова: «в особенности по статьям: «обмундирование» и «содержание в исправности чиковок?» В общем строе речи эти слова представляются настолько неожиданными, что каждый мало-мальски либеральный столоначальник вправе спросить себя: с какой стати явились тут чиковки и обмундирование? Не ирония ли это? не в том ли состоит затаенная мысль автора, чтобы дать понять читателю, что хапанцы по части обмундирования до сих пор представляют обычный *modus vivendi* [125] полицейских чинов? Не знаю, как вы, но я... право, я вычеркнул бы эти слова. Вы чего желаете? Вы желаете, чтоб ваша газета выходила каждый день – это ясно. Но ежели это ясно, то ясно также, что вы и действовать обязываетесь сообразно с вашими же желаниями, то есть: ни малейших двусмысленностей не допускать. Ибо, в противном случае, ваша газета будет выходить не каждый день, а через день, и даже, быть может, один раз в месяц!

– Справедливо! – воскликнул Алексей Степаныч, – похеривай, братец, похеривай!

Замечание мое было выполнено. Исправив корректуру, Молчалин 2-й продолжал:

– «У общества есть свои собственные органы, не имеющие ничего общего с теми, которые навязываются ему извне. Этим-то органам и обязано общество сочувствием и содействием, ибо ежели они видят себя покинутыми, то весьма естественно, что самая деятельность их постепенно становится вялою и лишенною жизненной силы. Напротив того, ежели они сознают, что общество хотя и строго, но ревниво следит за их действиями, – они невольно сбрасывают с себя оковы апатии и вступают в борьбу с удесятенными силами. Все дело именно в том, на чьей стороне находятся общественные симпатии, и хотя деспоты, как говорит Монтескье, охотно пренебрегают публичным мнением, но, в сущности, они только делают вид, что пренебрегают, внутренне же бывают в восхищении, если общество им сочувствует.

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) Следовательно, в разрешении вопроса, нас занимающего, главная роль должна принадлежать не самозванным попечителям общества, а действительным представителям и защитникам интересов его. И так как эти последние имеют законную организацию (а не суть сборища узурпаторов и случайно сошедшихся людей, как это инсинуируют те, для которых подобные инсинуации выгодны), то пусть же эта организация поймет важность той роли, которая ей предстоит, пусть сознает себя не постороннею в этом деле и исхитит его из рук, не имеющих никакого законного повода прикасаться к нему. Тогда только, и только тогда вопрос, нас занимающий, будет поставлен прочно и решен правильно».

– Слушайте-ка! да уж не национальной ли гвардии он хочет? – заподозрил я.

– Верно, что так, – сказал Молчалин 2-й, – ну, и это, пожалуй, я сам.

Он принялся за работу и через несколько минут прочитал:

– «Нам, может быть, скажут, что общество имеет свои органы, которые-де представляют собою не сборище узурпаторов и случайно сошедшихся людей, но законно установленную организацию, и что главнейшая и законом признанная обязанность этих органов состоит в том, чтобы представлять интересы своих избирателей и защищать их от бесполезных посягательств. Увы! все это слова, слова, слова, как выразился великий сердцеведец Шекспир. Никто не спорит, что названные выше органы имеют дозволенное законом существование и занимают не последнее место в ряду институтов новейшего времени, но чтобы на них лежала обязанность защищать обывателей от каких-то фантастических посягательств – вот с чем мы не можем согласиться, и не согласимся никогда. Чтоб допустить возможность подобной обязанности, необходимо в то же время допустить и возможность посягательств. Но где же они? спрашиваем мы всех и каждого. В чем они состоят? Пусть попробуют наши противники ответить на эти вопросы – и мы охотно будем дебатировать их, дебатировать честно, искренно, во всеуслышание. А до тех пор мы будем смело утверждать, что бессмысленно ставить целым учреждениям специальную задачей борьбу со злом, на которое никто гласно указать не может и которое, следовательно, имеет все права, до представления доказательств, считать себя несуществующим».

– Отлично! отлично! отлично! – безусловно похвалил Алексей Степаныч (у старика даже слезы выступили на глазах).

– Отлично, – согласился и я, – но одно только маленькое замечаньице...

– Позвольте! – несколько сухо прервал меня Молчалин 2-й, – я знаю, что вы хотите сказать. Вы, конечно, найдете излишним начало (об «узурпаторах»), а может быть, предпочли бы вычеркнуть и конец, начиная со слов: «на которое никто» и так далее. Я понимаю это. Не забудьте, однако, что моя газета либеральная и самим начальством признается за таковую. В подобной газете полное однообразие тона было бы не только неуместно, но и неожиданно. Положение либеральной газеты может быть резюмировано в следующих немногих словах: мы готовы прийти к вам, но укажите пути и сохраните нам нашу независимость! И поверьте, начальство понимает это и снисходительно смотрит на заблудших овец, коль скоро замечает в них рождающийся вкус к обращению.

– А ведь он прав! – обратился ко мне Алексей Степаныч, – на этот счет он провидец, мой друг! И овца, как найдет потерянную ярочку – уж она лижет-лижет ее! Так-то и начальство!

– Да; но вы говорите: укажите пути и сохраните нам нашу независимость! Мне кажется, что если указывают пути, то уже тем самым...

– Нет-с, уж это позвольте! Это уж мы с Алексеем Степанычем лучше знаем. По прежнему вашим замечаниям я делал соответствующие исправления беспрекословно. Но уж на этот раз, любезный коллега, прошу извинить! Черт побери! Журналист – это не просто человек улицы, это, так сказать, делегат общественного мнения! Он должен высоко держать свое знамя.

Размысливши несколько, и я должен был согласиться, что Молчалин 2-й прав. В самом деле, как часто случается нам читать выражения, вроде «осмеливаемся высказать», «позволяем себе думать» и т. п. – И что же, начальство не только не взыскивает за это, но даже как бы не видит в подобных поступках ничего

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) буйственного. Вероятно, тут существует какая-нибудь секретная конвенция, а может быть, и просто тонкая внутренняя политика. Что «независимые голоса» необходимы и полезны – это признано нынче всеми, равно как всеми же признана и польза оппозиции – отчего ж бы не воспользоваться этим и нам... конечно, умненько? Недаром же в штатах департамента «Этимологии и Правописания» значится: «независимых голосов» столько-то. Нет, это недаром. Вся «политика» собственно в этом и состоит. Интересно только бы знать, присвоено ли этим голосам соответствующее от казны содержание или же они обязываются быть сытыми, припеваючи: «из чести лишь одной я в доме сем служу»?

Между тем Молчалин 2-й продолжал:

– «И потому, мы обращаемся не к самозванным попечителям нашим, а к тем излюбленным органам общественных интересов, на которых исключительно почивают наши упования. Постараемся при этом быть кроткими и непритязательными в наших требованиях. Вот они:

«А. По вопросу о качествах городских.

«Городовые должны обладать гражданским мужеством.

Они должны быть добродетельны.

Обращаясь с гражданами снисходительно и человеколюбиво, они собственным примером обязываются внушать им склонность к добродетели и к мирным забавам. Причем отнюдь не дозволяется брать за воротник тех граждан, которые примерным своим поведением того не заслуживают.

Относительно своего начальства, городовые должны быть почтительны, но с достоинством, и никак не подобострастны. Они имеют право делать ближайшим начальникам представления, ежели найдут их распоряжения нелепыми или стесняющими свободу граждан.

Они назначаются к должностям по избранию мест и лиц, облеченных общественным доверием, и сменяются не иначе, как по суду. Судятся равными (*par leurs pairs*[126]) и не иначе, как в публичном заседании, так сказать, всенародно.

Люди зазорной нравственности и явные прелюбодеи не могут быть назначаемы на места городских, причем, однако ж, не возбраняется пользоваться услугами таковых людей в качестве экспертов и сыщиков».

– Ась? каково покажется? – в негодовании воскликнул Молчалин 2-й, швырнув корректуру на стол.

– Все, что ли?

– Нет, есть и еще; но я спрашиваю вас, какова штука?

– Да, брат, штука важнецкая. По-моему, нужно все это похерить.

– Похерить-то похерить, да ведь и заменить нужно. Помогите хоть вы, господа! Ну, вы, например, – обратился Молчалин 2-й ко мне.

Я внял его просьбе, взял лист бумаги, и через две-три минуты статья о качестве городских приняла, под пером моим, следующий вид:

«А потому, мы обращаемся в настоящем случае не к тем излюбленным нашими радикалами учреждениям, которые во всякое время готовы разыграть из себя жалкое подобие парижского *hôtel de ville*, [127] но к тем высокопоставленным лицам, которым самую непререкаемую властью вверено охранение нашей столицы от наплыва неблагонадежных элементов. К ним обращаемся мы и позволяем себе почтительнейше надеяться, что наши скромные замечания не будут оставлены без прочтения, тем более что они кратки и неутомительны. Вот предположения наши:

«А. По вопросу о качествах городских.

1) Городовые должны обладать телосложением мужественным, способным выносить всякие атмосферические перемены и противостоять возможным в их звании

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru случайностям. Физическая их сила должна быть вне всякого сомнения.

2) Городовые должны быть добродетельны, особливо в рассуждении спиртных напитков.

3) Относительно обывателей, они соблюдают возможную, по обстоятельствам, вежливость, не доводя, впрочем, оной до баловства. По сему, хватание прохожих людей за воротник (в просторечии «шиворот»), хотя и не представляет вполне совершенной формы для сношений с обывателями, однако и не возбраняется, ежели последствием сего мероприятия будет удовлетворительное разрешение недоразумения, грозившего в своем начале принести горький плод.

4) Относительно своего начальства городовые обязываются, каждый раз при его появлении, делать под козырек. Никакие представления городских насчет нелепостей начальственных распоряжений не принимаются.

5) В домашнем быту городовые должны быть умеренны в обращении с семейными, не производить дома драк или шума и в продовольствии своем преследовать идею сытости, но отнюдь не объедения. Причем, однако ж, не возбраняется им по праздникам печь пироги (о том, в какие табельные дни и с какою начинкою должны быть пироги см. в приложении табель № I).

6) Городовые, яко лица, непосредственным своим начальством определяемые, оным же и судятся келейно и без допущения стенографов. Хотя же при сем и допускается расстреляние, но лишь в самых необходимых случаях и с крайнюю осмотрительностью, дабы, чего боже сохрани, не расстрелять невинного.

7) Ежели городской усмотрит скопище, по всем видимостям, намеревающееся произвести злоумышление, или ниспровержение, или бунт, то он обязывается, взяв таковое под караул, отвести в подлежащий участок и сдать под расписку дежурному полицейскому чиновнику (форму расписки см. в приложении № II). По исполнении сего он имеет вновь возвратиться к своему посту и там ожидать нового злодейского скопища.

8) Люди зазорной нравственности и явные прелюбодеи не могут быть назначаемы на места городских. О том же, какого сорта лица имеют быть допускаемы в качестве экспертов и сыщиков, мы предоставляем себе поговорить секретно в особой статье».

– Я потому не развиваю подробнее предположений о качествах сыщиков и экспертов, – сказал я, – что, по мнению моему, в настоящую минуту это было бы не своевременно. Но, с другой стороны, и совершенно умолчать об этом предмете – неудобно, потому что читатель вправе был бы сказать себе: «Эге! видно, он потому не упоминает об сыщиках, что писать-то об этом предмете руки у него коротки!» Тогда как теперь читатель будет вполне удовлетворен: некоторое время он действительно будет ожидать обещанной статьи, но потом плюнет – и дело с концом!

Оба Молчалина нашли мою редакцию вполне удовлетворительною, а Алексей Степаныч даже удивился, как я в такое короткое время, почти в одночасье, успел так ловко проникнуть в виды и соображения.

– Нервы у меня... впечатлительность... – объяснил я.

– Я одно только позволю себе заметить, – сказал Молчалин 2-й, – мне кажется, что во втором пункте оговорка относительно крепких напитков в практическом применении должна встретить непреодолимые затруднения. Иногда городскому без того нельзя. А потому, я полагал бы ее выбросить или редактировать следующим образом: «и крепкие напитки употреблять с таким расчетом, чтобы начальство заметить сего не могло». С вашего позволения!

– Сделайте одолжение! ведь мне, собственно говоря, все равно!

– Ну-с, а теперь будем продолжать:

«Б. Относительно числа городских.

Городовые должны находиться безотлучно на всяком месте, где может угрожать опасность свободе граждан, или, иными словами, на каждом углу, образуемом двумя улицами. А так как таковых углов в нашей столице, по малой мере, тридцать тысяч,

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) то, полагая на каждый по три смены городских, получится армия в девяносто тысяч человек, которые, будучи руководимы излюбленными гражданами, могут, в случае нужды, составить оплот.

Мы кончили. Мы высказали наше мнение смело и решительно, и столь же смело и решительно будем ждать последствий его. Имеяй уши слышати, да слышит!»

– Позвольте уж мне и это проредактировать, – разохотился я.

– Помилуйте! с величайшим удовольствием!

Я взял перо и написал:

«Б. Относительно числа городских.

1) Городовые должны находиться на всяком месте, ибо всякое место может служить арену, на которой имеет произойти ежечасно наплыв неблагонадежных элементов.

2) На всякий пост полагается по три смены городских.

и 3) Таким образом получится бесчисленная армия, которая, будучи руководима прозорливым умом, может, в случае надобности, представить благонадежный оплот.

Мы сказали. Мы сделали свое дело искренно, честно, открыто, следуя прекрасной старинной французской поговорке: *fais ce que dois, advienne ce que pourra*. [128] Будущее, конечно, от нас не зависит, но мы взираем на него без опасения».

– Гм... я одного только опасуюсь, – задумался Молчалин 2-й, – ежели на всяком месте будут городовые, ведь тогда, пожалуй, ни пройти, ни проехать будет нельзя!

– Ну, брат, и потеснимся маленько, не велики мы с тобой баре! – сказал Алексей Степаныч.

– И то правда! – порешил Молчалин 2-й, – да и вообще... Какое мне, собственно говоря, дело, можно ли будет пройти и проехать!

– Ну, разумеется! Правь, братец, правь!

Опытная рука Молчалина 2-го проворно забегала по корректуре.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

##### В СРЕДЕ УМЕРЕННОСТИ И АККУРАТНОСТИ

Впервые изданная Салтыковым в 1878 г. книга «В среде умеренности и аккуратности» не является цельным в идейно-композиционном отношении произведением и представляет собою совокупность двух циклов – «Господа Молчалины» и «Отголоски», которые создавались независимо друг от друга и печатались в «Отечественных записках» с небольшим временным интервалом. Позднее эти циклы обрели некоторую тематическую близость в результате использования в «Отголосках» идейных мотивов и фрагментов текста запрещенного цензурой очерка «Чужую беду – руками разведу» (см. стр. 270, 634, 729). Вполне возможно, что это позднейшее переплетение двух первоначально независимых произведений привело Салтыкова к мысли об их окончательном объединении в одной книге.

Задумав летом 1874 г., в самый разгар работы над «Благонамеренными речами», новый цикл «Господа Молчалины», Салтыков той же осенью, в сентябре – ноябре, опубликовал в «Отечественных записках» первые три его главы под названием «Экскурсии в область умеренности и аккуратности». Четвертую главу «Экскурсий» Салтыков, занятый «Благонамеренными речами», смог написать только летом 1875 г., уже в Баден-Бадене. Однако цензурные препятствия задержали ее появление в печати. Лишь в 1876 г. удалось добиться разрешения на публикацию новой редакции очерка в сентябрьском номере «Отечественных записок», а в следующем номере журнала была напечатана и пятая глава, по существу завершившая журнальную редакцию цикла.

В первом издании книги «В среде умеренности и аккуратности» (вышедшей в свет в ноябре 1877 г., но датированной 1878 г.) к пяти главам «Экскурсий», получивших заглавие «Господа Молчалины», была добавлена новая, шестая глава, которая представляет собой конспективное изложение очерка «Чужую беду – руками разведу»,

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) запрещенного цензурой. Вторую часть книги составили три очерка, объединенные впервые появившимся здесь названием «Отголоски», в последнем из которых («Дворянские мелодии») была использована вступительная часть очерка «Чужую беду – руками разведу». В этом издании Салтыков внес в текст многочисленные стилистические поправки, ряд очерков сократил, подчас довольно значительно, а в третьей главе «Господ Молчалиных» и в «Тряпичкиных-очевидцах» появились дополнения.

В июле 1881 г. вышло в свет второе издание книги с пометой: «дополненное». Оно отличалось от первого тем, что в качестве заключительного звена в цикл «Отголоски» Салтыков включил напечатанный к этому времени в «Отечественных записках» очерк «Чужой толк», в значительной своей части основанный на материалах очерка «Чужую беду – руками разведу». Текст в этом издании печатался без изменений, так же как и в последнем вышедшем при жизни Салтыкова издании в феврале 1885 г.

Последовательность очерков цикла «В среде умеренности и аккуратности» в отдельных изданиях совпадает с последовательностью их публикации в журнале.

В настоящем издании оба цикла печатаются по тексту последнего прижизненного издания («В среде умеренности и аккуратности», 1885) с исправлением ошибок и опечаток по всем прижизненным публикациям и сохранившимся рукописям, с устранением цензурных купюр и случайных пропусков.

## I. «ГОСПОДА МОЛЧАЛИНЫ»

### I

В своей сатире 50–60-х годов Салтыков дал многочисленную галерею типов чиновничества, затронув всю табель о рангах. В этом широчайшем сатирическом обозрении административно-бюрократических сфер самодержавия встречаются и отдельные представители типа Молчалиных, но они заслонены другими типами, а именно теми, которые в конце 60-х и начале 70-х годов получили обобщение по наименованию «помпадуров», «градоначальников» и «ташкентцев». Если помпадуры и градоначальники олицетворяли высшую, дирижирующую часть царской бюрократии, то ташкентцы – наиболее приближенный к ним слой исполнителей, проявлявших в своих действиях безграничный цинизм и наглость. Более многочисленную массу составляли исполнители, отличавшиеся безответной покорностью, послушанием и услужливостью, то есть теми чертами, которые были впервые гениально воплощены Грибоедовым в образе Молчалина. В «Господах Молчалиных» сатирик говорит, что, вынужденный несколько лет прожить в провинции, он там «познакомился с Сквозником-Дмухановским и Держимордю, Молчалина же совершенно утерять из вида». Если это признание и не следует понимать буквально, то, во всяком случае, оно верно в том смысле, что чиновник молчалинского типа еще не стал в 50-х и 60-х годах центральной фигурой какого-либо значительного произведения Салтыкова, он уступал первое место чиновнику-хищнику. Таким образом, «Господами Молчалиными» Салтыков вносил новый значительный вклад прежде всего в сатирическую разработку темы чиновничества. Молчалины принадлежат к числу самых блестящих собирательных образов, созданных Салтыковым. Молчалины, как и ташкентцы, – это не инициаторы, а исполнители предначертаний высшего начальства, но при этой общей черте они во многом отличаются друг от друга и составляют две категории исполнителей, услужливых по-разному. Ташкентцы в большей своей части люди дворянского родопроисхождения. Они цинично наглы, «дерзки на услуги», они прут вперед как жестокие хищники, с сознанием своих дворянских прав на хищничество и с убеждением, что им все позволено. Они практические проводники самых реакционных мероприятий самодержавия, действующие непосредственно там, где требуется не знание, а грубая сила, наглость и жестокость. Наиболее отвратительная черта ташкентца – это его палаческая роль по отношению к демократической интеллигенции. Ташкентец – хищный тип исполнителя, палач, кровопускатель. Молчалины преимущественно люди разночинного происхождения. Если среди них и есть дворяне, то самые захудалые, «горевые». Недостаток формальных и фактических прав гнетет их, делает робкими и безгласными перед лицом привилегированных и начальствующих особ. До хорошего местечка они ползут ужом, умеренно и аккуратно, оглядываясь и крадучись. Они не дерзко услужливы, как ташкентцы, а смиренно услужливы.

Если алчность ташкентцев не знает пределов, то Молчалины не мечтают о роскоши и наслаждениях, они «довольствуются малым», сытость и тепло в скромной и уютной домашней обстановке вполне их удовлетворяют. Добываясь этого обывательского идеала путем беспрекословной исполнительности, Молчалины неизбежно становятся

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru участниками свыше вдохновляемых преступлений. Однако если и Молчалины кого-нибудь вздернули на дыбу, то «не сами собой», если и их можно видеть «с обгаренными бессознательным преступлением руками», то все же их нельзя считать отпетыми и закоренелыми преступниками. Идеал умеренности и аккуратности побуждает их сторониться всяких крайностей, в том числе и роли палачей-кровопускателей.

Молчалины в трактовке Салтыкова – явление более сложного и противоречивого характера, нежели помпадурсы, градоначальники и ташкентцы. Если последние не вызывали у сатирика иного чувства, кроме антипатии, то его отношение к Молчалиным не было однозначно отрицательным. Их профессия не внушала сатирику симпатии, но их зависимое положение в бюрократической иерархии давало ему некоторый повод отнестись к ним снисходительно. Как это было справедливо отмечено еще Н. К. Михайловским, «сатирик по человечеству сочувствует его <Молчалина> горестям и трудным положениям».[129] В свою очередь, Е. И. Покусаев вполне основательно возразил тем современным исследователям, которые, не замечая существенной разницы в отношении сатирика к помпадурам и ташкентцам, с одной стороны, и к Молчалиным – с другой, были «склонны игнорировать гуманистическую направленность концепции молчалинского типа».[130]

В прямой связи именно с такой концепцией находится и своеобразие художественного метода Салтыкова в «Господах Молчалиных». Когда сатирик опустил в среду «умеренности и аккуратности», населенную преимущественно разночинным людом, то прежние приемы резкого сатирического обличения, выработанные в борьбе с привилегированной дирижирующей верхушкой, оказывались не всегда уместными или достаточными. Враждебная человечности природа всей правящей касты заявляла о себе с такой «суровой ясностью», что не требовала положительных изъятий и подробных аналитических мотивировок приговора. Самим объектом была вполне оправдана позиция полного и резкого отрицания, позволявшая Салтыкову выступать только сатириком. Удар по помпадурам, градоначальникам, ташкентцам был непосредственным ударом по самодержавию. Другое дело Молчалины. Изобличая их, многое осуждая в них, Салтыков вместе с тем сочувствовал их зависимому положению и переносил основной сатирический удар на обстоятельства, порождающие молчалинство.

При описании Молчалиных Салтыков вовсе не прибегает к гротеску в портретах, почти не встречаемся здесь мы и с теми элементами шаржа, карикатуры, гиперболы, зоологических уподоблений, которые так характерны для поэтики произведений о градоначальниках, помпадурках и ташкентцах. Основной метод Салтыкова в «Господах Молчалиных» – психологический анализ. Здесь ярко продемонстрирована существеннейшая черта психологизма Салтыкова – раскрытие зависимости психики от социальных условий, человеческого характера – от окружающей его среды. Салтыков глубоко и подробно проанализировал социально-политические корни молчалинства, показав, что оно проистекает не от подлости натуры отдельных людей, а порождается зависимым положением многочисленного слоя разночинцев в деспотическом государстве. Блестящие достижения в области анализа социальной психологии выделяют «Господа Молчалины» в ряду других произведений сатирика, посвященных изображению чиновничества.

«Господа Молчалины» – сатира, но сатира не столько карающая, сколько разъясняющая тип, которому свойственно противоречивое переплетение отрицательных и положительных элементов. В ходе повествования молчалинский мир все более раскрывался не только в своих комических, но и трагических сторонах. Двойственная социально-нравственная природа Молчалиных давала повод и для сатирического обличения, и для гуманистического сочувствия; комедия и трагедия их существования идут рядом, переплетаются и переходят одна в другую. Единство комического и трагического определяет идейно-эмоциональную специфику «Господ Молчалиных». Комическое более очевидно, оно сказывается в официальной, «казенной» стороне жизни. Трагическая сторона Молчалиных обнаруживается лишь по мере углубления в их психику, в их частную жизнь, в их негласное домашнее существование. Вот почему в «Господах Молчалиных» сатирик проследивает своего героя в равной мере как в сфере служебно-административной, так и в домашней. В 60-е годы Салтыков прямо декларировал свой отказ заниматься описанием домашнего жительство изображаемых им типов из господствующих классов, заявляя, что эти типы интересуют его как «раса, существующая политически». До 70-х годов Салтыков оставался в общем верен этому принципу, и отступления от него не были частыми и сколько-нибудь значительными. В начале 70-х годов, в «Господах ташкентцах» (главы о «ташкентцах приготовительного класса»), Салтыков отвел значительное

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru место проблеме семейного воспитания «государственных птенцов». Однако никогда прежде, разрабатывая тему чиновничества, Салтыков не останавливался так подробно на описании личной, интимной, семейно-бытовой обстановки, как это сделано в «Господах Молчалиных».

Произведения Салтыкова, воссоздающие собирательные типы, групповые портреты, характеризуются широким обобщением каких-либо немногих, но существенных социально-политических и психологических признаков. В «Господах Молчалиных» этот творческий прием генерализации имеет свою яркую особенность. Если сатирические наименования помпадур, градоначальники, ташкентцы и т. п. являются остроумным изобретением Салтыкова, то молчалинство как типизирующий признак заимствовано у Грибоедова.

Салтыков талантливо пересаживал в свои произведения и оживлял литературные типы, созданные его предшественниками и современниками. М. Горький называл этот прием одним из излюбленных приемов сатирика. Самые ранние случаи использования подобного приема восходят к «Губернским очеркам», где в рассказе «Корепанов» (1857) автор высказывает свои суждения о выцветших «провинциальных Печориных». В дальнейшем случаи такого рода становятся более частыми. Наряду с персонажами произведений Фонвизина, Гоголя, Тургенева и других писателей в салтыковской сатире появляются и герои комедии Грибоедова «Горе от ума». В частности, в статье «Петербургские театры» (1863) упоминается «новый Молчалин», а в очерке «Самодовольная современность» (1871) из цикла «Признаки времени» – «молчалинская аккуратность». Однако до начала 70-х годов литературные персонажи предшественников или просто упоминаются, или выступают в произведениях Салтыкова преимущественно как объекты уподобления и публицистических суждений, но еще не как действующие лица. [131]

Начиная с «Дневника провинциала в Петербурге» (1872), включение многих известных литературных героев в число действующих лиц сатиры становится обычным приемом в большей части произведений Салтыкова. После «Дневника провинциала» этот прием наиболее эффективно проявил себя в «Помпадуршах и помпадуршах» (глава «Помпадур борьбы», 1873) и особенно в «Господах Молчалиных», где он играет основополагающую роль. В этом, между прочим, и заключается та наиболее яркая художественная особенность «Господ Молчалиных», которая выделяет их во всем творчестве сатирика.

В социально-психологической иерархии типов Молчалины – самое полное выражение безличности, утраты самостоятельности мышления. В этом типе человеческая индивидуальность настолько попрана, в такой степени стерта бюрократической централизацией, что, казалось бы, вполне исчерпывается скупыми художественными характеристиками комедии Грибоедова. Отсюда ясно, как велики были художественные трудности Салтыкова, поставившего себе целью написать специально об этом безликом, ординарном, исторически и художественно непродуктивном типе большое произведение. Поэтому заслуга сатирика не уменьшается от того, что для своего обобщения он воспользовался персонажем грибоедовской комедии.

Своей глубокой и оригинальной художественной интерпретацией Салтыков придал ранее известному литературному образу новый масштаб, показав молчалинство как широкое социально-политическое и психологическое явление, закономерно порождаемое условиями деспотического режима. Щедринский Молчалин отличается от своего литературного прототипа глубиной и многосторонностью психологической обрисовки, раскрытием присущей типу внутренней противоречивости, переплетения в его судьбах комических и трагических моментов социального бытия. Недаром Достоевский признавался, что только с появлением «Господ Молчалиных» он понял как следует один из самых ярких типов комедии Грибоедова. [132]

## II

Многим произведениям Салтыкова, при всем разнообразии их построения, присуще движение повествования от общей характеристики того или иного социального типа к представлению этого типа в ряде конкретных разновидностей («Сатиры в прозе», «Господа ташкентцы», «Культурные люди» и т. д.). Это относится и к композиции «Господ Молчалиных». Произведение открывается общей характеристикой молчалинства как исторического явления. Молчалины «бесшумно, не торопясь, переползают из одного периода истории в другой», история отметит, что они «ни в чем не замечены». Общественное значение Молчалиных исчерпывается носимой ими фамилией. Но это вовсе не значит, что роль их в общем строе жизни ничтожна. Они деятельнейшие, хотя, быть может, и не вполне сознательные создатели гнетущих

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) «сумерек». Деятели, прославившиеся в истории блестящим злом, «ничего не могли бы, если бы у них под руками не существовало бесчисленных легионов Молчалиных».

Девиз Молчалиных – «изба моя с краю, ничего не знаю»; их принцип поведения – умеренность и аккуратность во всем; их идеал – прочное благополучие, уютный домашний очаг, верный кусок пирога, послеобеденный сон. Эта «идиллия счастливым образом совпадает с правилами устава о пресечении и предупреждении проступков и преступлений». Отсутствие каких-либо других интересов, выходящих за узкие рамки удовлетворения своих личных материальных потребностей, беспрекословная готовность ради этого служить командующей силе и деятельно участвовать в созидании гнетущих «сумерек» – все это Салтыков резко клеймит в Молчалиных.

Однако сатирик не ограничивается разоблачением низменности жизненного идеала Молчалиных, их обывательской философии и психологии. Он с большой подробностью рисует путь Молчалиных к достижению личного благополучия, как «путь скорбей и тревог», требующий усилий и жертв. На этом пути далеко не все Молчалины преуспевают, многие из них навсегда обречены влачить жалкое существование. Молчалин – заурядный человек толпы, в нем нет ничего выдающегося, самоопределяющегося. Чтобы занять «место в жизненном пире», он должен искать недостающей опоры вне своего личного «я» в виде «нужного человека». В этих поисках, ради тарелки щей и куска пирога, Молчалин терпит массу надругательств. «В нем видят безответное существо, на котором можно вполне безопасно срывать какую угодно дурость». По мере углубления в мир молчалинского существования сатирический мотив произведения все более осложняется мотивом гуманистическим.

Дав в первой главе групповой портрет Молчалиных, Салтыков затем показывает их с разных сторон, на разных этапах жизненного пути, в разных типологических видоизменениях, обусловленных свойствами темперамента, возраста, профессии и т. д. Мы видим Молчалина в вицмундире на службе, когда он выступает послушным исполнителем чужой воли, и Молчалина в домашнем быту, когда начинают говорить человеческие струны его сердца; знакомимся с Молчалиным счастливым, уже завершившим тернистый путь к идеалу и благодушествующим в семейном кругу, и Молчалиным несчастным, переживающим крушение своего домашнего благополучия; сатирик показывает нам Молчалина-жуира и Молчалина-аскета; Молчалина – редактора либеральной газеты «Чего изволите?» и Молчалина-консерватора, которого навещает «тьень Булгарина». Молчалиных, при всем их разнообразии, объединяет одна общая черта – послушание начальству, доведенное до автоматизма. Эта черта решительно доминирует над всеми остальными, в отдельных случаях, как, например, у Молчалина-аскета, она подавляет собою даже стремление к «куску пирога» и тогда выступает в своей первоизданной чистоте – как бескорыстная рабская покорность хозяину.

Молчалины, говорит Салтыков, отнюдь не представляют исключительной особенности чиновничества, они кишат везде, где существует забитость, приниженность, во всех профессиях составляют преобладающий элемент. Однако недаром в «Господах Молчалиных» сатирик останавливает внимание прежде всего на Молчалиных, подвизающихся в департаментах. Недаром также, подводя в последнем из «Пестрых писем» (1886) итог своих наблюдений над Молчалиными, Салтыков отмечал, что именно они «сплошной массой наполняют канцелярии». Здесь они выступают виртуозами крючкотворства и исполнительности. Здесь они незаметно, как кроты, прокладывают свои ходы к «нужному человеку» и под его покровительством порой достигают видного положения.

### III

В галерее чиновничьего молчалинства центральное место отведено Салтыковым Алексею Степанычу Молчалину, которого сатирик, как это прямо им заявлено, воспринял от Грибоедова и провел через все этапы дальнейшего развития, показав его на скорбном пути к благополучию (глава вторая), в зените благополучия (глава третья) и, наконец, в состоянии обрушившейся на него семейной драмы (рассказ «Чужую беду – руками разведу»). На образе Алексея Степаныча Молчалина, на этом, так сказать, литературном родоначальнике молчалинства, всего нагляднее выступает как сходство, так и различие грибоедовской и салтыковской трактовок одного и того же социального типа. Отметим прежде всего моменты сближения.

Две наиболее капитальные черты грибоедовского Молчалина – умеренность и аккуратность – в полной мере сохранены и в салтыковском персонаже и поставлены в заглавии цикла, объединяющего «Господ Молчалиных» и серию к ним примыкающих очерков под названием «Отголоски». Эти черты определяют собою общий

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) психологический облик типа, образ его мышления и поведения.

Молчалин в комедии Грибоедова говорит: «В мои лета не должно сметь свои суждения иметь». Заявляя, что «надобно ж зависеть от других», он мотивирует это сознанием своего скромного места в бюрократической иерархии: «в чинах мы меньших». В этих признаниях героя, выражающих основную сущность молчалинской философии, нерассуждающая покорность выступает в качестве необходимого условия чиновничьей карьеры для человека, стремящегося пробиться из низов к бюрократическим верхам.

Салтыков, отправляясь непосредственно от грибоедовских формул как готовых заданий, образно развивает их и показывает, что молчалинский принцип нерассуждающей исполнительности становится органическим свойством данного человеческого характера уже независимо от возраста и чина. Салтыковский Молчалин – человек преклонных лет и с немалым чином, он на вершине возможной для него карьеры, но он остался при той же своей философии, с которой нас познакомила комедия Грибоедова. Но теперь эта философия закреплена опытом всей его жизни, прожитой, как он сам заявляет, «без рассуждения».

Устами Чацкого Грибоедов заявлял, что Молчалин «дойдет до степеней известных, ведь нынче любят бессловесных». Салтыков, реализуя это предвидение, показывает, как усердием и послушанием Молчалин достиг наконец хорошего местечка, обзавелся собственным домком, зажил в тепле и сытости.

Таким образом, Салтыков усвоил для своего Молчалина и развил в нем многое из того, что заключали в себе афористические грибоедовские характеристики. Полнота щедринской разработки персонажа в направлении, заданном комедией «Горе от ума», обусловлена, конечно, не только тем, что сатирик посвятил Молчалину специальное художественное исследование, но и дальнейшей, так сказать, реальной кристаллизацией типа в период между комедией Грибоедова и «Господами Молчалиными» Салтыкова. Грибоедовский Молчалин и салтыковский Молчалин – люди разных эпох. Отсюда неизбежно вытекает и известное различие в их художественном отражении.

Однако можно отметить и такого рода отклонения салтыковского Молчалина от грибоедовского, которые обусловлены различным отношением двух писателей к изображаемому ими типу. Удержав и развил те основные свойства типа, которые были с скульптурной рельефностью обрисованы в «Горе от ума», Салтыков дополнил их такими новыми чертами, которые сделали Алексея Степаныча Молчалина фигурой психологически более сложной – более человеческой и отчасти даже симпатичной, внушающей чувство некоторой снисходительности, чего нельзя сказать про грибоедовского героя. Последний был фигурой холодной, слишком примитивной по своему внутреннему складу, ничем не располагающей к себе читателя. Грибоедовский Молчалин представлен скорее как изначально дурной и ограниченный характер, он, так сказать, несет в самом себе вину за свои поступки. Салтыковский Молчалин в основе своей положительный человеческий характер, испорченный, однако, условиями своего зависимого положения в обществе. Глубокая и всесторонняя социальная детерминированность психологии салтыковского персонажа объясняет, а следовательно, и во многом оправдывает его, перенося ответственность на условия, порождающие молчалинство. Осуждение Молчалиных как пособников деспотического строя при снисходительном отношении к ним, как бессознательным жертвам своего времени, составляет специфическую особенность салтыковской трактовки этого типа. В стремлении ярче выделить указанную тенденцию творческого замысла «Господ Молчалиных» Салтыков наделяет своего Алексея Степаныча такими человеческими чертами, относительно которых одноименный герой «Горя от ума» не внушал никаких предположений. Имеем в виду прежде всего «ту изумительную самоотверженность», с которою Алексей Степаныч спасал своих сослуживцев «от начальственного натиска, первый подставляя свою грудь под удары».

Так было, когда Алексей Степаныч служил еще помощником экзекутора. Но и потом, выбившись в ряды «действующей бюрократии», став «счастливым Молчалиным», он сохранил в обращении с людьми то «приветливое, почти сострадательное благодушие, которое характеризует человека, выстрадавшего свое право быть сытым и которого вы никогда не встретите у ликоующего холопа, сознавшего себя силою». Ему постылы такие люди, как Катков, ему неприятно иметь дело с наглыми адвокатами Балалайкиным и Подковырником-Клещом, но он внимателен к своим добрым знакомым, готов в необходимых случаях дать им совет, оказать услугу, проявить тайком заступничество, как это сделал он, выручая из беды знакомого литератора, попавшего под подозрение властей.

Сочувственное отношение Молчалина к гонимому властями литератору или его неприязнь к Каткову продиктованы, конечно, не идейными соображениями, а просто житейским чувством человечности, внушенным опасением за судьбу детей, старший из которых, сын-студент, «знай себе твердит: пострадать хочу!». Хотя доброта Алексея Степаныча имеет такой ограниченный характер и распространяется только на узкий круг его знакомых, она все же свидетельствует о свойственной ему человечности. И когда рассказчик называет Алексея Степаныча «хорошим человеком», то эти слова, несмотря на их ироническую окраску в контексте, следует принимать и в прямом значении.

Помимо отмеченных существенных различий в грибоедовской и салтыковской трактовках Молчалина, у автора «Господ Молчалиных» есть элементы как завуалированной полемики с предшественником, выраженной в замечании о том, что при взгляде на Молчалина было смешно и весело только тому, кто не понимал «трагизма его положения», так и полемики прямой, заявленной в словах о том, что Чацкий в своей резкой отрицательной оценке Молчалина «погорячился немного». Если в комедии Грибоедова говорилось, что Молчалины блаженствуют на свете, то Салтыков, едва ли не полемизируя, говорит о «значительной дозе горечи», которая примешивается в их «чашу блаженства», и указывает на все более растущую трещину в этом примитивном блаженстве. Другими словами: там, где Салтыков сатирически обличает Молчалиных, он продолжает и развивает связанные с этим типом мотивы комедии Грибоедова; когда же Салтыков раскрывает драму существования Молчалиных, он вводит элемент, которого не было у предшественника, дополняет комедию молчалинства трагедией молчалинства. Во всем этом сказались присущие Салтыкову симпатии к людям низших социальных категорий, его принципиальное отрицательное отношение к дворянству вообще и его недоверие к дворянскому либерализму.

Особенно рельефно это проявилось в своеобразной салтыковской интерпретации Чацкого, которая представляет значительную трудность для понимания и потому требует специального пояснения.

Чацкий в «Господах Молчалиных» не выступает непосредственно действующим лицом. О его жизни после того, как он, порвав с фамусовским миром, уехал из Москвы, рассказывает Молчалин. Мы узнаем, что Чацкий женился на Софье, в течение десяти лет был директором департамента «Государственных Умопомрачений», покровительствовал служившему у него в должности помощника экзекутора Молчалину; уходя в отставку, Чацкий рекомендовал на свое место Репетилова; Загорецкого он принимал в своем доме как родного. Либерализм Чацкого, проявившийся особенно во время подготовки отмены крепостного права, сразу же после реформы угас. Когда от него вся дворянства разбежалась, он победствовал и задумываться стал: «Хороша, говорит, свобода, но во благовремени».

Совершенно очевидно, что дистанция между грибоедовскими антиподами – Чацким и фамусовским миром – в сатире Салтыкова полемически сокращена. И, конечно, салтыковский Чацкий не имеет ничего общего, кроме имени, с Чацким грибоедовским. Почему же Салтыков дал столь славное имя своему персонажу, заслуженно осмеянному? Этот вопрос до сих пор остается в щедриноведении камнем преткновения.

Исследователи отмечали, что Салтыков создавал своего Чацкого, «отрешаясь от грибоедовского понимания», [133] что сатирик имел в виду, в сущности, не столько грибоедовского Чацкого, сколько позднейшую политическую судьбу некоторых из декабристов, смирившихся с реакцией, [134] что, наконец, «переосмысление типа Чацкого после «Милльона терзаний» означало глубокое недоверие сатирика <...> к дворянскому либерализму вообще». [135] Все эти суждения вполне уместны, но они недостаточны, так как не объясняют, почему же все-таки Салтыков присвоил заурядному либералу своей сатиры имя бескомпромиссного грибоедовского провозвестника свободы.

З. Т. Прокопенко, отправляясь от только что приведенного беглого замечания Е. И. Покусаева о «переосмыслении типа Чацкого после «Милльона терзаний», в своем еще не опубликованном исследовании «Чацкий в сатире Салтыкова-Щедрина» устанавливает черты полемичности в салтыковском Чацком с тем Чацким, какой представлен в статье И. А. Гончарова «Милльон терзаний» (1872), появившейся незадолго до «Господ Молчалиных», и делает следующий вывод: «Сатирик, не возражая прямо Гончарову, переносит полемику в свое творчество, логически развивает основные черты характера Чацкого, намеченные в статье «Милльон терзаний». Не

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) грибоедовского Чацкого обличает Щедрин и упрекает в ренегатстве; объект его сатиры – Чацкий, претерпевший эволюцию в либеральной трактовке. Спорить ради восстановления первоначального, «грибоедовского» звучания образа не имело смысла. Те, кому был дорог Чацкий, бесстрашный провозвестник новой жизни, не изменили своего к нему отношения. Салтыков, уверенный в том, что русский читатель давно уже научен читать «между строк», и на этот раз дал волю своему воображению и «дорисовал» Чацкого во весь рост, приняв в качестве отправного момента все те изменения в облике грибоедовского героя, какие были привнесены враждебным революционной демократии лагерем». Эти соображения заслуживают внимания и представляются нам убедительными. Напомним некоторые суждения Гончарова о Чацком.

Превосходный анализ комедии «Горе от ума» и ее постановок на сцене был дан в знаменитом критическом этюде Гончарова с позиций либерала, отрицательно относившегося к революционным способам преобразования общества и считавшего «нормальным» тот реформистский путь, на который Россия вступила в 1861 г. Эта позиция автора сказала прежде всего в трактовке Чацкого. Гончаров весьма тонко и последовательно вводит Чацкого, справедливо воспринимавшегося многими в качестве литературного представителя революционных декабристских идей и настроений, в либеральные рамки и именно в таком его качестве высоко оценивает его новаторскую роль в обществе, в «очередной смене эпох и поколений». [136] Борьба Чацкого со стариной дает ему только «миллион терзаний», комедия ничего не говорит о последствиях борьбы. «Теперь нам известны эти последствия», [137] – заявляет Гончаров, имея в виду, конечно, отмену крепостного права.

Чацкий, развивая свой взгляд Гончаров, не теряет земли из-под ног и не верит в призрак, не увлекается неизвестным идеалом, не обольщается мечтой; он трезво остановится «перед бессмысленным отрицанием «законов, совести и веры». Он очень положителен в своих требованиях, его возмущают «безобразные проявления крепостного права», устранение которых составляет его «скромную программу «свободной жизни». [138] Белинского и Герцена Гончаров понимает и принимает также только в пределах той «скромной программы», которую он предписывает Чацкому. Белинский, как и Чацкий, умер, не дождавшись исполнения своих грез, которые «теперь – уже не грезы больше». Что же касается Герцена, то Гончаров видит у него только «политические заблуждения» там, где «он вышел из роли нормального героя, из роли Чацкого». [139]

В статье Гончарова Чацкий, как «нормальный», «трезвый» герой, поборник «скромной программы», противопоставлен сторонникам «неизвестных идей, блестящих гипотез, горячих и дерзких утопий»; тем, кто обольщается мечтой, проявляет «юношескую запальчивость»; всем тем, кто, по формулировке Гончарова, составляет «тип крайних, несозревших передовых личностей, едва намекающих на будущее и потому недолговечных». [140] Нетрудно понять, что здесь Гончаров как либерал выражает свое несогласие с представителями революционного образа мысли и действия.

Напомним еще слова Гончарова о том, что «положение Чацких на общественной лестнице разнообразно, но роль и участь все одна, от крупных государственных и политических личностей, управляющих судьбами масс, до скромной доли в тесном кругу», [141] что они выступают зачинателями «громких, великих дел и скромных кабинетных подвигов». [142]

Мысль о полезности деятельности Чацких-чиновников – на крупных государственных должностях и в скромных канцелярских кабинетах – принадлежит не только Гончарову, она выражает чаяния всех более или менее либеральных деятелей. Одновременно с публикацией «Господ Молчалиных» появилась в печати книга, содержавшая такое поучение: «Если бы триста человек, 14 декабря, из которых большая часть, судя по свидетельствам, были люди истинно благонамеренные, чистые, любившие отечество искренне, умные, способные, избрали себе, взявшись рука за руку, другой образ действия и, нейдя на площадь, поступили бы в канцелярии, департаменты, на службу, с благими своими намерениями, из них через немного лет ведь вышло бы двадцать, тридцать губернаторов, министров, членов Государственного совета». [143]

Подобные, казалось бы запоздалые, либерально-политические нравоучения относительно деятелей декабристского движения и, казалось бы, только литературно-критическая интерпретация Чацкого в либеральном духе, так талантливо осуществленная Гончаровым, имели и в 70-е годы свой актуальный политический смысл. Они отражали и выражали непрекращавшийся и все более обострявшийся спор

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru двух концепций преобразования России – либерально-реформистской и революционно-демократической. Выступая от лица последней, Салтыков своим Чацким полемизировал не с Грибоедовским Чацким, а с Чацким в его позднейшей либеральной интерпретации. Своеобразие щедринской полемики заключалось в том, что сатирик, отрешаясь от грибоедовского понимания Чацкого, обратил против идейных противников их собственное оружие, то есть художественно реализовал такого именно Чацкого, которому сторонники либеральных воззрений предписывали, в меру своего понимания и желания, «скромную программу» деятельности на бюрократическом поприще. Салтыковский Чацкий в роли директора «Департамента Государственных Упомянутых» – это отрицательный ответ сатирика на вопрос об общественной полезности Чацких на службе политическому режиму самодержавия.

Своей трактовкой Чацкого, взятого в его либеральном варианте, как и Рудина, которому в «Господах Молчалиных» отведена роль директора «Департамента распределения богатств», Салтыков высмеял ту разновидность либерализма, которая упорно придерживалась теории возрождения России посредством улучшения администрации. В годы своей служебной деятельности сам Салтыков был не чужд этой иллюзии, но затем он беспощадно преследовал и разоблачал ее под наименованием «теории практикования либерализма в капище антилиберализма», или «теории вождения генерала Дворникова за нос».

Чацкий и Рудин, если в соответствии с либеральной концепцией представить их в роли деятелей царской бюрократии, – это уже не герои-протестанты, известные нам по произведениям Грибоедова и Тургенева; и как соратники помпадуров, они оказываются объектом салтыковской сатиры на молчалинство вообще, сатиры тем более резкой, что на них не могут быть распространены те обстоятельства, которые смягчают вину массовых, заурядных Молчалиных.

#### IV

После Алексея Степаныча Молчалина, воспринятого от Грибоедова, второе место по степени уделенного ему внимания и остроте сатирической обрисовки занимает в «Господах Молчалиных» представитель литературного молчалинства, издатель либеральной газеты «Чего изволите?». Сцена в редакции этой газеты (глава четвертая), где рассказчик и Алексей Степаныч Молчалин помогают Молчалину 2-му в редактировании статей, принадлежит к наиболее ярким во всей салтыковской сатире страницам, разоблачающим беспринципность и пресмыкательство либеральной прессы. [144] Афористически остро звучат слова о Молчалине-литераторе как о человеке, который «впал <...> грешным делом, в либерализм, да и сам не рад», или его формула-мольба, резюмирующая отношение либерального органа к начальству: «мы готовы прийти к вам, – говорю я, – но укажите нам пути и сохраните нам нашу независимость!» Трагикомическая позиция либерала, желающего совместить свободомыслие с верноподданничеством, представлена в действиях Молчалина 2-го с такой определенностью, что не оставляет у читателя никакой неясности. Достаточно лишь заметить, что своими рельефно и остроумно обозначенными чертами образ литературного Молчалина сразу же врезался в сознание общественности, больно уязвил либеральную прессу метким изобличением ее низменных свойств и дал повод к ожесточенным спорам в критике (об этом см. ниже).

Салтыковский Молчалин – это литературный тип, который находит себе индивидуальные соответствия в реальной действительности. Но еще более – это персонифицированные в литературном образе определенные социально-психологические черты, разлитые в целой массе людей. Вот почему мы сталкиваемся в «Господах Молчалиных» с таким, казалось бы, парадоксальным явлением. С одной стороны, сатирик заявляет, что все общественное значение Молчалиных исчерпывается их фамилией, а с другой – выводит целую серию Молчалиных, отличающихся болтливостью. Разгадка этого заключается в том, что молчалинство оказывается у Салтыкова, в сущности, своеобразной сатирической метафорой для обозначения всех тех «средних» людей, которым чуждо чувство политического протеста против царящего зла, так или иначе подавляющего и их самих. Это – приспособленцы, идущие на любой компромисс ради того, чтобы выжить. В грибоедовском Молчалине Салтыков выявляет прежде всего его политический аспект и делает политическое молчание стержневым признаком типа. За пределами этого признака Молчалины могут быть весьма разношерстны.

Алексей Степаныч Молчалин является, так сказать, классическим олицетворением обозначаемого его фамилией социального типа. Он заключает в себе все основные, изначальные признаки данного типа, как восходящие к первоисточнику (к комедии Грибоедова), так и обретенные под пером Салтыкова. Что же касается других

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) Молчалиных, изображенных Салтыковым, то они являются не столько законченными представителями молчалинства, сколько носителями лишь его отдельных характерных свойств. Каждый из них показателен для типа лишь отчасти, сближается с ним в каких-либо одних признаках и расходится в других. Так, Молчалин-журналист своим трепетным страхом перед властями подобен всем Молчалиным, и в то же время он отличается от классического типа тем, что не довольствуется скромной долей безвестного молчальника, а жаждет славы на поприще публичного либерального словоблудия.

Еще более резкие вариации молчалинства представлены в лице чиновников департамента «Возмездий и Воздаяний», изображенных в пятой главе; здесь мы встречаем Молчалина-жуира, который своей приверженностью к эгоистическому животолению и верным служением начальству примыкает к племени Молчалиных, но расходится с ними полным отсутствием какой-либо подавленности духа и непричастностью к молчалинскому принципу «умеренности и аккуратности».

Молчалин-аскет, напротив, совершенно отрешился от каких-либо личных интересов. У него болезненная потребность «послушания» не обусловлена никакими корыстными побуждениями, а только убеждением, что «земля есть юдоль скорбей, в которой люди должны «терпеть». Это Молчалин, окончательно освободившийся от всяких расчетов преднамеренной угодливости и «пламенеющий наголо и беззаветно». Перед нами проникновенно написанный и, при всей своей лаконичности, исчерпывающий психологический портрет личности, человеческие качества которой находятся в полном противоречии с той низкой целью, которая поработила их, подчинила себе и извратила их естество. Трудно назвать этот образ Молчалина-аскета сатирическим. Он возбуждает не негодование, не неприязнь, а чувство жалости, сострадания и глубокого сожаления по поводу того, что его беззаветное самоотвержение силою обстоятельств поставлено на службу дурному делу. Поэтому все негодование читателя переносится с Молчалина-аскета на поработившие его личность условия жизни. Измените последние, приведите их в соответствие с естественными наклонностями личности, и человек, подобный Молчалину-аскету, предстанет перед нами в образе замечательного труженика на пользу общую. Именно такого рода мысли внушал Салтыков читателю своими поисками человечности, прячущейся под «корой молчалинства». И именно потому, что Салтыков так глубоко проник в истоки психологии и трагедии молчалинства, раскрыл их как неизбежное следствие целого строя жизни, – именно поэтому он не мог отнести к Молчалиным только отрицательно и, начав с обличений, все более углублялся в психологические разъяснения.

Характерной особенностью жизни и психологии Молчалиных является «хроническое двоегласие», два рядом идущих существования – казенное и свое собственное, переплетение отрицательного и положительного во всем их поведении. В молчалинском типе Салтыков отделяет «вицмундирные» черты, разоблачаемые сатирически, от черт человеческих, внушающих писателю симпатию и сочувствие. Это «двоегласие» типа обусловило собою и своеобразное к нему отношение Салтыкова. Писатель то обличает, то сострадает, переживает смену настроений, воздерживаясь от прямого приговора и категорических суждений.

В понятие «человека простеца», которого Салтыков стремился просветить, включаются и Молчалины. С них начинается та масса, которой писатель выражает сочувствие. Молчалиных опутала «тина мелочей», извратившая все мотивы их человеческой деятельности, но, говорит сатирик, «я тем охотнее обращаюсь к Алексею Степанычу, что сквозь наносную кору молчалинства мне удастся угадывать в нем черты подлинного человеческого образа». Заметим, что во всем своем творчестве Салтыков только дважды специально предупреждает читателя о необходимости в сатирически изображаемых социальных типах отделять «наносное» от человеческого. В «Истории одного города» он говорит, что его сатира на крестьянство имеет в виду «наносные атомы», то есть рабские черты психологии, и не затрагивает достоинства «природных свойств» мужика. Подобно этому, в Молчалиных он разграничивает «наносную кору молчалинства» и черты подлинного человеческого образа. Это указание чрезвычайно важно. Оно свидетельствует, что в понимании Салтыкова проблема Молчалиных соприкасается с проблемой народа.

Конечно, само заглавное определение «Господа Молчалины», как и «Господа ташкентцы», «Господа Головлевы», означает, что в этих произведениях идет речь о тех слоях общества, которые противостоят угнетенной народной массе и к которым писатель-демократ относится отрицательно. Вместе с тем Молчалины составляют собою именно ту часть господской среды, которая граничит с широкой народной

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru массой. Молчалины, говорит Салтыков, пользуются неполной безвестностью, ниже их начинается среда «человека лебеды», пользующегося «полною и безусловною неизвестностью». Молчалины по своей численности и по своему положению в буржуазно-дворянском обществе стоят сразу же за крестьянством. Это огромная масса мелких и средних чиновников, добывающих себе скромное благополучие исполнительностью и трудолюбием. В Молчалиных хорошее переплетено с плохим. Здесь есть чему сочувствовать, но есть и то, что в человеке, способном взглянуть на дело шире узкого круга личных интересов, вызывает чувство досады, огорчения и негодования. Это смешанное чувство негодования и сочувствия характерно для автора «Господ Молчалиных». Сатирик осудил рабскую психологию, вицмундирные и шкурные поползновения Молчалиных, унижающие человеческое достоинство, и в то же время не оставил в тени их положительные качества – добродушие, трудолюбие, скромность.

Стремление подслушать в молчалинстве человеческое, независимое от профессии, уловить «не вицмундирные, а человеческие струны сердца» заставило сатирика совершить не совсем обычный для него продолжительный экскурс в домашний мир своего героя, или, говоря образным языком рассказчика, охотно отозваться на приглашение Алексея Степаныча Молчалина и посетить его одноэтажный деревянный домик на Песках. Было и еще одно обстоятельство, которое побуждало писателя задержаться на изучении частной жизни Молчалина.

V  
Салтыков был не только революционным сатириком, беспощадным обличителем всех форм угнетения человека человеком, не только самоотверженным защитником и идеологом трудящихся масс. Как великого гуманиста, его глубоко волновали судьбы всех людей общества, судьбы личности вообще. Позиция гуманиста сказалась и в раздумьях Салтыкова «над финалом, которым должно разрешиться молчалинское существование».

Этому целиком посвящена шестая, последняя глава «Господ Молчалиных», носящая публицистический, социально-философский характер.

В состоянии ли Молчалины самостоятельно бороться за изменение своего положения, за восстановление своего попорченного человеческого образа? На этот вопрос Салтыков дает отрицательный ответ, развиваемый на протяжении первых пяти глав «Господ Молчалиных». Защищенные броней бессознательности и рабской привычки послушания, Молчалины на служебной арене неуязвимы, здесь они действуют как автоматы, покорные господствующей силе и недоступные для всяких других влияний. Они прикованы, как к устричной раковине, к своему узкому миру, за пределами которого ничего не желают знать. Равнодушные к гражданским интересам, неподвластные мысли о будущем, Молчалины, однако, очень болезненно реагируют на все, что затрагивает семейный базис их растительного благополучия. Поэтому из состояния духовной спячки может вывести Молчалиных только такая сила, которая коснется их самых чувствительных струн – личной семейной жизни. Этой силой, по мысли Салтыкова, является освободительная борьба, которая, помимо желания Молчалиных, неизбежно вторгнется в лоно их умеренной и аккуратной жизни и сделает их невольными участниками великой социальной драмы.

Вторжение идей освободительной борьбы в традиционное течение жизни всех слоев общества Салтыков на последней странице «Господ Молчалиных» назвал «заправской русской драмой». В чем же, однако, сущность ее применительно к молчалинству? Где таится ее непосредственный реальный источник и кому принадлежит в ней первая роль?

По концепции Салтыкова, социальная драма подкрадывается к молчалинству в виде драмы семейной и только в этом виде может растревожить их. Трагическую развязку существованию Молчалиных принесут их дети. С суровой неумолимостью бесповоротного убеждения они откажутся следовать проторенной колеей отцов, отвернутся от их деятельности и осудят ее.

Проникновение революционных идей в замкнутую молчалинскую среду через подрастающее поколение – вот источник трагедии, которая подстерегает Молчалиных непосредственно в семье и потрясет их самым чувствительным образом. Бессознательность, делавшая Молчалиных равнодушными к суду истории, придаст обрушившейся на них драме характер полной неожиданности и неизбывной мучительности.

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) Эта концепция родилась под впечатлением фактов революционной борьбы. Подъем освободительного движения во второй половине 70-х годов помог Салтыкову уловить в молчалинском существовании «зерно» зарождавшейся «заправской русской драмы» и показать начальный акт этой драмы. Герои развернувшихся в это время революционных схваток с самодержавием были преимущественно выходцами из разночинной среды, [145] то есть именно той среды, в старших поколениях которой болезнь молчалинства имела наибольшее распространение.

Период работы Салтыкова над «Господами Молчалиными» ознаменовался массовыми арестами народнической интеллигенции. Газеты были заполнены отчетами о политических процессах, следовавших один за другим с нарастающей частотой. Количество жертв росло. Семья, говорит Салтыков, «сделалась ареной какой-то сплошной трагедии». Но стенографические отчеты судебных заседаний, продолжает Салтыков, не передают полного внутреннего смысла развивающихся трагедий. Мы видим в этих отчетах только так называемых «зablуждающихся» детей, но не видим их отцов и матерей, которые мечутся, истекают слезами и кровью.

В последней главе «Господ Молчалиных» Салтыков был вынужден цензурными обстоятельствами ограничиться лишь схематическим очерком «трагического сценария», только самым общим изложением смысла назревающей социально-исторической драмы молчалинства. Более конкретно он представил это в рассказе «Чужую беду – руками разведу» [146] (цензурная редакция под названием «Чужой толк»). Беда, которую тревожно предчувствовал Алексей Степаныч Молчалин («А ну, как Павел-то Алексеич мой как ни на есть не доглядит за собой?»), действительно стряслась: сына его Павла арестовали. Сила сосредоточившегося на Молчалине-отце трагизма заставила его метаться в пустоте и истекать слезами, но вместе с тем она как бы и поднимала его самого, принесла ему «минуты прозорливости». «Теперь для него это было совсем ясно: не сын должен был до него подняться, а он до сына». В данном случае «минута прозорливости» была недолгой, история с Павлушей окончилась благополучно, и Алексей Степаныч Молчалин остался таким, каким был прежде. Семейная драма Молчалина в «В среде умеренности и аккуратности» не пошла дальше первого акта, но какова она может быть в финале, это Салтыков показал в написанном годом позже рассказе «Больное место» («Сборник»). Заглавие и тема рассказа были сформулированы в заключительных строках «Господ Молчалиных», где Салтыков назвал «больным местом» Молчалиных их страх за судьбу детей, вовлекавшихся в революционное движение, и указывал на «суд детей» как грядущее возмездие молчалинству. Эта идея развита в «Больном месте» до окончательной трагической развязки. Центральный персонаж рассказа, Гаврило Степаныч Разумов, во многом повторяет историю Алексея Степаныча Молчалина, являясь как бы его духовным братом. Сын Разумова под влиянием новых идей осудил бюрократическую деятельность своего отца, но, не найдя сил порвать с ним, кончил самоубийством.

Сделаем последний вывод о молчалинском цикле в целом («Господа Молчалины», «Чужую беду – руками разведу», «Больное место»). Начав повествование о Молчалиных сатирическим описанием их растительного блаженства, их идиллии, счастливым образом совпадающей с правилами устава о пресечении и предупреждении проступков и преступлений, Салтыков все более приближался к уяснению их трагического положения и закончил размышлениями о назревающей в среде Молчалиных социально-исторической драме, которая несет им страдание и в то же время явится началом их конца, откроет им путь к исцелению. Движение повествования о молчалинстве от комедии к трагедии явилось следствием раздумья писателя над сущностью и судьбами изображаемого социального типа в связи с теми переменами, которые были вызваны в жизни русского общества процессом нарастания революционного протеста.

Идейно-общественный смысл «Господ Молчалиных», как и любого другого крупного произведения Салтыкова, выходит за рамки непосредственно трактуемой темы. Разоблачению молчалинства Салтыков придавал такой аспект и такие масштабы, что и эта его сатира обрушивалась на весь «порядок вещей» буржуазно-дворянского государства и служила утверждению идеи революционного преобразования общества.

#### VI

«Господа Молчалины» вызвали разнообразные отклики в печати сразу же после их появления на страницах «Отечественных записок» под названием «Экскурсии в область умеренности и аккуратности».

Первые две главы, опубликованные за подписью Н. Г., дали повод для целого ряда

Страница 198

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) непреднамеренных или явно умышленных недоумений, заключений, гаданий относительно автора. Смысл отзывов сводился к утверждениям, что «Экскурсии в область умеренности и аккуратности» – это пресная и водянистая «вариация на Щедрину», [147] бездарное подражание Щедрину; [148] автор «забавляется над «манерой» г. Щедрина», [149] он усвоил себе лишь «внешнюю форму» сатирика и выступает представителем «псевдощедринской школы», чтобы «разбавить грибоедовскую ложку меда в бочке дегтя собственной гонки». [150] Консервативный сотрудник «Гражданина» высказал категорическое суждение о том, что будто бы «Молчалин невыносим, в настоящее время в особенности, ни в каком виде, ни в какой должности», но тут же сообщал, что об «Экскурсиях» толкуют многие в Петербурге, что читательские «мнения весьма различны», и, в частности, привел такое суждение: «Молчалина изобразить в наше время да в нашем обществе, – да это, помилуйте, это гениальная мысль!» [151]

По-видимому, спекуляции журналистов на «догадках» относительно авторства и заставили Салтыкова применить, начиная с третьей главы, свой привычный псевдоним – Н. Щедрин.

Из последующих глав многочисленные и разноречивые отзывы вызвала и четвертая, где представлен тип литературного Молчалина, издателя либеральной газеты «Чего изволите?». Некоторые либеральные органы почувствовали себя глубоко уязвленными резкой сатирой и не замедлили высказать свое явное недовольство, свидетельствуя тем самым, что Салтыков метко попал в цель. Они не хотели признать Молчалина 2-го типичным представителем современной прессы, упрекали Салтыкова в карикатурности, шаржировании, преувеличениях, в необоснованном выпаде против печати вообще. По мнению критика «Одесского вестника», «знаменитый сатирик пересолил», замалевал слишком черною краской и без того незавидное положение журналистики. «Не с холодным и бессердечным сарказмом, а с теплым соболезнованием следовало ему <...> отнестись к болезням и немощам русской прессы». [152] Сдержанно отозвалась об очерке правонародническая «Неделя». Анонимный автор писал на ее страницах, что «Щедрин совершенно справедливо навлекает на себя нареkanie в неясности, а подчас и двойственности», что он «без разбору бьет и своих и чужих», что нарисованный им образ Молчалина 2-го требует смягчения. Характеризуя позицию редактора «Чего изволите?», критик заявлял: «...если обратиться к мотивам, которые заставляют Молчалина «трепетать», то положение его окажется не комическим, а драматическим». [153] Однако большинство органов печати отозвались с похвалой об очерке сатирика, хотя и с разных позиций. Обозреватель «С.-Петербургских ведомостей» писал: «Здесь выступают все лучшие качества крупного таланта г. Щедрина: язвительная насмешка, оживленная комическим элементом, сатирическая меткость, бьющая прямо в цель, и блестящее остроумие, рассыпанное щедрою рукою». [154] В другом органе отмечалось, что эскиз о «литературном Молчалине» «полон правды <...> написан он превосходно и как нельзя более своевременно». [155]

Заслуживает внимания статья «Гражданина». Журнал, державшийся крайне консервативных убеждений и обычно враждовавший с Салтыковым, на этот раз выступил с весьма положительным отзывом, решительно не согласившись с теми, кто посчитал образ Молчалина 2-го лишь карикатурой. В данном случае реакционный орган использовал салтыковскую сатиру, нападавшую на либерализм «слева», в качестве острого оружия для нападков на него «справа». Но если оценивать статью консервативного критика «Гражданина» независимо от этого, достаточно умело замаскированного, субъективного намерения автора, то нельзя не признать, что в ней салтыковский этюд о литературном молчалинстве получил удачное освещение. Сатирик, писал критик, «обрисовал лучшими красками своего таланта редакцию газеты «Чего изволите?». Тип литературного Молчалина следует причислить к лучшим щедринским типам <...> Действительно, газета «Чего изволите?» и литературный Молчалин, не будучи фотографическим снимком с какой-нибудь известной существующей газеты и редактора, являются вполне и художественно верным типом, вмещающим в себе всю дрянь, так широко расплодившуюся в нашей печати. Характеристический образ «Чего изволите?» и литературного Молчалина, варьируясь и оттеняясь сообразно с различными обстоятельствами, постоянно является перед нами». [156]

Привлекла внимание прессы и глава пятая своим смелым изображением департамента «Возмездий и Воздаяний». Критик из «Московского обозрения» отмечал «длинноты», но вместе с тем говорил об авторе сатиры: «...он имеет неиссякаемую способность проникать своим воображением во все уголки той трагикомической сферы, которую он еще со времен «Губернских очерков» избрал объектом своей сатиры». [157]

Появление первого отдельного издания цикла «В среде умеренности и аккуратности» (1878), включавшего «Господ Молчалиных» и «Отголоски», не вызвало сколько-нибудь значительных критических отзывов. Внимание обратила на себя лишь статья П. Н. Ткачева «Безобидная сатира», появившаяся за подписью «П. Никитин» в первом номере журнала «Дело» за 1878 г. В статье, написанной в фельетонном стиле, книга «В среде умеренности и аккуратности» не подвергалась серьезному рассмотрению, а была использована в качестве повода для предвзятых суждений о Салтыкове как «безобидном» сатирике, чьи произведения приводят читателя «в то «веселонравное настроение», за которым, почти всегда, неизбежно следует «примирение» и «успокоение».[158] Для читателей журнала «Дело» статья Ткачева не была неожиданной: им была памятна аналогичная статья о «Благонамеренных речах» Н. В. Шелгунова «Горький смех – не легкий смех» («Дело», 1876, № 10). Обе эти статьи в своих основных положениях восходили, о чем прямо заявляли сами авторы, к известной статье Д. И. Писарева «Цветы невинного юмора» и только усугубляли ошибочность высказанных в ней поспешных суждений, несостоятельность которых становилась все более очевидной по мере развития салтыковской сатиры.

Статья Ткачева вызвала справедливые возражения. В полемику с ней вступил на страницах журнала «Слово» известный революционер-народник Д. А. Клеменц, отвергнувший точку зрения Ткачева, как отсталую.[159] На страницах самого «Дела» сатире Салтыкова также была дана позже высокая оценка, отменявшая мнение Ткачева, хотя при этом статья его и не упоминалась. С этой оценкой выступил К. М. Станюкович, утверждавший, что ни один из современных писателей «не обладает таким сатирическим талантом, таким юмором и способностью одним-двумя словами заклеить целый цикл явлений или определить еле зарождающийся тип».[160]

Некоторые критики, особенно на страницах реакционной прессы, считали изображение действительности в новой книге Салтыкова слишком односторонним и мрачным, Анонимному рецензенту «Русского мира» она не понравилась «массой черных красок».[161] Другой критик также утверждал, что книга «В среде умеренности и аккуратности» подавляет и уничтожает нас «мертвящим пессимизмом», хотя при этом многие очерки книги оценил как «неподражаемое сатирическое произведение, поражающее невероятной глубиной психологического анализа».[162] С похвалой отозвался о книге сатирика обозреватель из «Гражданина»: «Ядовитый смех, талантливость изложения, доходящие до высоты художественной картины, дают Г. Щедрина одно из первых мест в нашей литературе».[163]

Интересные соображения о «Господах Молчалиных» были высказаны Н. К. Михайловским в статье «Щедрин. Умеренность и аккуратность», впервые опубликованной в 1889 г. в «Русских ведомостях». Обратив внимание на некоторые «любопытные поправки», внесенные Салтыковым в грибоедовский образ, критик, в частности, отметил, что в «щедринской переделке Молчалин выходит гораздо симпатичнее, чем у Грибоедова <...> Своей переделкой Молчалина Салтыков показал, что он может очень мягко относиться к умеренности и аккуратности, когда они украшаются скромностью».[164]

Глава I  
Впервые – ОЗ, 1874, № 9 (вып. в свет 29 сентября), стр. 209–230, под заглавием «Экскурсии в область умеренности и аккуратности», с порядковым номером «1».  
Подпись: Н. Г.

Рукописи и корректуры не сохранились.

Различия печатных редакций незначительны. Из наиболее существенных вариантов можно указать лишь один:

К стр. 19. В абзаце «Увы! он очень отчетливо...» после слов «жалобному воплю птенцов его!» в журнале было:

«Эти птенцы <...> поведем речь» (полностью приведено на стр. 634).

Появившись на страницах «Отечественных записок», очерк стал предметом пристального внимания цензурных властей. «По-видимому, это – воспроизведение грибоедовского типа Молчалина, перенесенного в социальную сферу, и принадлежит к литературе нравоописательных этюдов, – отмечал в своем донесении цензор. – Но, читая между строк, по некоторым прозрачным намекам, легко понять, что автор имел в виду изобразить грустные условия современного общественного положения России. Автор рисует эпоху полного затишья в истории человеческой общественности, когда

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru человеку ничего не остается желать, кроме тишины и безвестности, когда здоровая жизнь засыпает, а на ее место вступает в права жизнь призраков, миражей и трепетов, когда лучшие умы обуреваются одним страстным желанием бежать и скрыться. Такое время, по мнению автора, благоприятствует особенно располнению людей самого уродливого сорта, олицетворенного в типе Молчалина; в счастливой и безответственной области умеренности и аккуратности они видят возможность осуществления полного благополучия...» [165]

Стр. 7...вступает в права жизнь призраков, миражей и трепетов... – Салтыков имеет в виду исторически изжившие себя, но реально существующие и тормозящие прогресс общественные идеи и социально-политические институты. Подробнее см. статью Салтыкова «Современные призраки» и прим. к ней (т. 6, стр. 381–406, 675–680).

...сплошную борьбу с квартальными надзирателями... – Образ квартального надзирателя в сатире Салтыкова – эзоповское обозначение существующего полицейско-самодержавного режима, который угнетающе действовал не только на весь характер жизни общества, но и на внутренний, духовный облик людей. Возражая Достоевскому, давшему ограничительное истолкование этого образа, Салтыков говорил: «Вот Достоевский написал про меня, что я когда пишу – квартального опасаюсь. Это правда, только добавить нужно: опасаюсь квартального, который во всех людях российских засел внутри. Этого я опасаюсь...» (см. «Салтыков в воспоминаниях», стр. 686–687).

...английского судью Джеффриза... – Судья Джеффриз мог помниться Салтыкову по характеристике, данной в статье Чернышевского о «Губернских очерках»: «Джеффриз, с которым наши читатели знакомы из Маколея, был величайший в мире злодей и негодяй. Каждое его действие было преступно...» (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. IV, стр. 297). Салтыков знал, конечно, и «Рассказы из истории Англии при королях Иакове II и Вильгельме III и королеве Анне» самого Маколея (в переводах Н. Г. Чернышевского, М. П. Веселовского, В. В. Бутузова и др., под редакцией Н. Г. Чернышевского они печатались в «Современнике» в 1856–1857 гг.).

Стр. 8...тайного советника Шешковского... – Имя Шешковского встречается в произведениях Салтыкова и в дальнейшем («Современная идиллия», «Недоконченные беседы», «Пошехонские рассказы»). Упомянутые Салтыковым материалы о С. И. Шешковском, начальнике тайной экспедиции правительства Екатерины II, публиковались в «Русской старине», 1874, X, стр. 781–785 (раздел «Исторические рассказы и анекдоты»). Об отношении Салтыкова к журналам «Русская старина» и «Русский архив» см. т. 10 наст. изд., стр. 679–680.

...перепечатка ревизских сказок... – Ревизские сказки – документы для взимания подушной подати, списки крестьянского населения, составлявшиеся в России с 1719 г. на основании периодически производившихся ревизий.

Стр. 9...Молчалины... суть «излюбленные люди»... –

Излюбленные – выбранные на какую-либо общественную должность (термин русского обычного права). Здесь применено иронически для характеристики Молчалина как порождения деспотической действительности.

...к помощи адвоката Легкомысленного... – Сатирическую характеристику этого беспринципного буржуазного адвоката-«хищника» Салтыков особенно тщательно разработал в «Благонамеренных речах» (см. т. II наст. изд., стр. 151–154, 582, а также незаконченный очерк «XII. Переписка»). Еще раньше Салтыков обратился к этому новому для пореформенной эпохи типу в «Признаках времени» (см. т. 7 наст. изд.).

...«переходные эпохи»... все усилия оправдать жизненный сумбур... по малой мере бесплодны. – Здесь и далее Салтыков полемизирует с либеральными деятелями, оправдывавшими пореформенные разочарования «переходностью времени», необходимостью «погодить», двигаться вперед «постепенно», «не вдруг» (см. т. 6 наст. изд., стр. 589), ждать лучшего «не нынче, так завтра».

Стр. 10...совпадает с правилами устава о пресечении и предупреждении проступков и преступлений... – Имеется в виду «Устав о предупреждении и пресечении преступлений» (см. «Свод законов Российской империи», т. XIV, СПб. 1857).

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) сертификат местного квартала о благонадежности... – Сертификат – здесь: письменное свидетельство; местный квартал – отделение городской полиции (до 1862 г.).

...на Песках... – район Петербурга, прилегающий к нынешнему Суворовскому проспекту... в Москве под Донским... – у Донского монастыря... в Колтовской... – район Колтовских улиц и набережной Малой Невки на Петербургской (ныне Петроградской) стороне. Салтыков называет тогдашние окраины, населенные мелким чиновничеством и мещанством.

Стр. 11...человек лебеды – то есть человек, который вместо хлеба вынужден питаться лебедой, крестьянская трудовая масса; о человеке, питающемся лебедой, см. в очерках «Господа ташкентцы» (т. 10 наст. изд., стр. 23–24, 38–40).

Стр. 13...знаменитого «qu'îl mourût»? – слова старого Горация (в трагедии Корнелия «Гораций») о сыне, вызванные ложным известием о его трусости и бегстве с поля сражения, в котором решался вопрос о свободе и независимости Рима (акт III, явл. 6).

Кто идет? кликнет его у пристани дозорщик. – Здесь используется в вольной передаче античный миф о подземном царстве мертвых, куда через реку Ахерон доставлял души умерших перевозчик Харон.

Стр. 15...место в жизненном пире... – выражение из «Опыта о законе народонаселения» Т. Мальтуса (см. т. 9 наст. изд., стр. 546–547).

...свой мартиролог... – перечень страданий, преследований, невзгод.

Стр. 16...бродяг и непомнящих родства людей... – «Непомнящими родства» именовались лица, не имевшие паспортов, удостоверяющих личность; у Салтыкова – широкое обозначение людей, принадлежавших к имущим и правящим слоям, не дороживших прошлым своей страны и своего народа.

Стр. 18...базар житейской суеты... – так иногда переводили в XIX в. название романа Теккерея «Ярмарка тщеславия». Здесь – фразеологизм.

...помещен где-то далеко, за пределами цивилизации. – Намек на практику административной ссылки, иногда под видом «перевода по службе», в отдаленные районы России.

Стр. 19. Парка – в римской мифологии одна из богинь, прядущих нить человеческой жизни, судьбы.

Стр. 22...принимал Раппо падающие с высоты чугунные ядра. – Раппо – атлет, упоминается у Герцена: «...Раппо, поднимавший карету шестериком, нагруженную свинцом» (А. И. Герцен, Собр. соч., т. XXIX, стр. 405); у Тургенева: «...услыхал балладу, в которой описывалось, как в столицу Московии прибыл геркулес Раппо и, давая представления на театре, всех вызывал и побеждал» (И. С. Тургенев, Полн. собр. соч. и писем. Сочинения, т. XIV, стр. 82).

...стратагема – военная хитрость, действие, вводящее в заблуждение противника.

Стр. 26...где-то в Царевококшайске... – Царевококшайск – уездный город в Казанской губернии. У Салтыкова – обобщенное обозначение глубокой провинции.

## Глава II

Впервые – ОЗ, 1874, № 10 (вып. в свет 23 октября), стр. 461–476, под заглавием «Экскурии в область умеренности и аккуратности», с порядковым номером «II». Подпись: Н. Г.

Сохранившаяся наборная рукопись[166] позволяет установить, что в процессе публикации очерка Салтыков вычеркнул открывавшее очерк пространное рассуждение об особенностях и роли молчалинского типа. Причиной этого было, по-видимому, то обстоятельство, что задачу экспозиции цикла выполнил уже появившийся в печати первый очерк «Экскурий». В дальнейшей работе над «Господами Молчалиными» этот отрывок не использовался и при жизни писателя не публиковался. В настоящем томе см. в разделе «Из других редакций», стр. 535–538.

В журнальной публикации Салтыков, возможно, по цензурным соображениям, сократил

Страница 202

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru или заметно ослабил острые сатирические характеристики Каткова как преследователя прогрессивно настроенной молодежи («Вот и благонамеренный, а кажется, нет его для родительского сердца постылее!», стр. 31, в абзаце «как же! в гимназии...») и особенностей так называемой «внутренней политики» в заключающей очерк реплике Молчалина («Нынче у нас так: сказывать не сказывают, а ты все-таки старайся!», стр. 43). В настоящем издании, как и в изд. 1933–1941, названные купюры устранены.

В отдельных изданиях Салтыков ограничился лишь редактированием и стилистической правкой очерка в 1878 г.

Стр. 28...должность помощника экзекутора. – Экзекутор – чиновник, исполнявший хозяйственные и распорядительные обязанности при канцелярии и присутственном месте.

...дервиш в вицмундире... – Дервиш – нищенствующий мусульманский монах; здесь: человек, находящийся в некоем фанатическом экстазе.

...вынужден был несколько лет прожить в провинции, где познакомился с Сквозником-Дмухановским и Держимордою. – Намек на вятскую ссылку писателя; Сквозник-Дмухановский и Держиморда – городничий и полицейский в «Ревизоре» Гоголя. Эти персонажи фигурируют во многих произведениях Салтыкова («Помпадуры и помпадурши», «Благонамеренные речи», «Сатиры в прозе», «Признаки времени», «За рубежом», «Господа ташкентцы», «Письма к тетеньке». «Недоконченные беседы»).

Стр. 29...«несть власть...» – нет власти (церковнослав.) – выражение из Библии (К римлянам, 13, 1); продолжение фразы с умыслом не договаривается: «несть власть еще не от бога».

Стр. 30...представлением о Макаре и его телятах... – иносказательное обозначение ссылки по политическому обвинению в отдаленные губернии России – туда, «куда Макар телят не гонял».

Стр. 31...офрапировал... – поразил, удивил (от франц. frapper).

...прибегает это из академии... – Имеется в виду Медико-хирургическая академия в Петербурге, известная высоким уровнем преподавания естественнонаучных знаний и активным участием студентов в общественном движении.

...Человек – это... от обезьяны происходит! – Речь идет об учении Дарвина, изложенном в его основных трудах: «Происхождение видов путем естественного отбора, или сохранение усовершенствованных пород в борьбе за жизнь» (1859; русский перевод С. А. Рачинского – СПб., 1864), «Происхождение человека и половой отбор» (1871; русский перевод – СПб. 1872); во втором высказана мысль о происхождении человека от обезьяноподобных предков.

...пострадать хочу! – Намек на стремление передовой молодежи из имущих классов посвятить себя служению народу, уплатить ему «долг» в соответствии с народническим учением, сформулированным в «Исторических письмах» П. Л. Лаврова.

...по классической части – то есть с обучением классическим языкам, латыни и греческому, которые, по мысли идеологов самодержавия (министра народного просвещения Д. А. Толстого, М. Н. Каткова и др.), должны были увести молодежь от увлечения материализмом и «пагубными идеями» революционного изменения действительности (см. также прим. в т. 10 наст. изд., стр. 702).

...господин Катков эту травлю поднял... – Имеются в виду многочисленные выступления на страницах «Московских ведомостей» и «Русского вестника» в защиту классического образования и нападки на сторонников реального обучения в гимназиях.

Стр. 32...к Вольфу... – в ресторан на Невском проспекте.

...мы из Пронскова-города... – Пронск – уездный город Рязанской губернии.

...пять душ временнообязанных... – Согласно «Положениям» от 19 февраля 1861 г., крестьяне после отмены крепостного права были обязаны нести определенные повинности по отношению к помещикам вплоть до выкупа своей земли.

...за наделом! – то есть кроме надела, предоставленного бывшим крепостным в результате реформы.

Соберут, это, «уполномоченных»... – Уполномоченные – помещики, принимавшие участие в выборах предводителя дворянства.

Стр. 34...департамент «Государственных Упомощений»... – Под этим сатирическим наименованием Салтыков понимает Министерство народного просвещения.

Стр. 36...строгий приказ вышел... напередь об масонстве чтоб ни гу-гу! – В 1822 г. был издан рескрипт о закрытии всех масонских лож в России, в 1826 г. Николай I подтвердил это запрещение.

Стр. 38...генерал-майор Отчаянный – образ, фигурирующий в ряде произведений сатирика (например, «Больное место», «За рубежом», «Современная идиллия», «Сказки»); некоторые черты его внушены личностью военного министра князя А. И. Чернышева (см. С. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография, М. 1951, стр. 174).

...департаментом «Побед и Одолений» – сатирическое обозначение Военного министерства.

...небось, помнишь, как вместе горе тяпали! – Намек на службу Салтыкова в Военном министерстве в 1844–1848 гг.

Стр. 40...департамент «Распределения богатств» открылся... – Очевидно, имеется в виду Министерство государственных имуществ, основанное в 1837 г. «В первые два пореформенных десятилетия значительное место к деятельности министерства занимало «устройство» вышедших из ведения министерства крестьян, а также распродажа при министре П. А. Валуеве (1872–1879) государственных имуществ. В некоторых местностях (Приуралье. Башкирия и т. д.) эта распродажа носила характер чиновничьего разграбления» (Н. П. Ершкин, История государственных учреждений дореволюционной России. М. 1903, стр. 223).

...Рудина... который в Дрездене... – Возможный намек на связь образа Рудина с М. А. Бакуниным (см. т. 8 наст. изд., стр. 518). Бакунин был одним из деятельных участников восстания в Дрездене в 1848 г.

Стр. 42...они, молодые–то люди, дела не знают... Реформы у них одни в голове... – Речь идет о бюрократах пореформенного периода, типы которых воспроизведены сатириком в ряде очерков – «Помпадурсы и помпадурши» (Митенька Козелков, Феденька Кротиков), «На досуге» (Левушка Коленцов) и др.

### Глава III

Впервые – ОЗ, 1874, № 11 (вып. в свет 29 ноября), стр. 155–180, под заглавием «Экскурсии в область умеренности и аккуратности», с порядковым номером «III». Подпись: Н. Щедрин.

Рукописи и корректуры не сохранились.

Разночтения печатных редакций незначительны.

Стр. 43. И в Коломне тихо живут... – Коломна – в XIX в. окраина Петербурга, прилегающая к Калинкину мосту и Покровской площади (ныне пл. Тургенева).

Стр. 44. Прежде, бывало, из «Елены Прекрасной», а нынче «Мадам Анго» откуда-то проявилась. – «Прекрасная Елена» – оперетта Ж. Оффенбаха, поставлена в России в 1864 г. (см. т. 7 наст. изд., стр. 53–54); «Дочь мадам Анго» – оперетта Ш. Лекока, поставлена в 1872 г.

Стр. 46. Будь, человек, благороден! // Будь сострадателен, добр! – из стихотворения Гете «Божественное».

Читал, чай, процесс игуменьи Митрофании? – Имеется в виду отчет о процессе игуменьи Митрофании по обвинению в подлоге векселей и других уголовных преступлениях (см. т. 10 наст. изд., стр. 804–805). Защитниками интересов пострадавших были известные адвокаты Ф. Н. Плевако, А. В. Лохвицкий и др., над выпренним красноречием которых иронизирует далее Салтыков.

На Синай всходил! каких-то «разбитых людей вонь» поминал! – Салтыков объединил выступления двух адвокатов в одно. Обращаясь к Митрофании, Плевако в конце речи произнес: «С вершины дымящегося Синая сказано человечеству: «не укради». Вы не могли не знать этого, а что вы творите? Вы обираете до нищеты прибегнувших к вашей помощи. С вершины Синая сказано: «не лжесвидетельствуй», – а вы посылаете вверивших вам свое спасение инокинь говорить неправду...» и т. д. («Дело игуменьи Митрофании. Подробный стенографический отчет, составленный Е. П. Забелиной», М. 1874, вторая пагинация, стр. 115). Второе выражение взято из речи Лохвицкого: «Теперь вам предстоит выслушать, как говорилось в старину, «тех разбитых людей вопь», тех людей, чьих имуществ касались ее преступления» (там же, стр. 80).

Стр. 47...Балалайкин, адвокат. – Образ Балалайкина фигурирует в ряде произведений Салтыкова (в данном цикле – «На досуге», затем в «Круглом годе», «Современной идиллии», «За рубежом», «Недоконченных беседах», «Письмах к тетеньке», «Сказках»).

Стр. 48...пойду по Надеждинской... – На Надеждинской (ныне улица Маяковского) помещался ряд адвокатских контор.

...сам к Елисееву ходил, клубничный пирог у Лабутина купил... – Речь идет о гастрономическом и кондитерском магазинах, названных по фамилиям их владельцев.

...двое шематонов... – Шематон – пустой человек, шалопай, бездельник; шеметать – заниматься безделием, пустяками, суетиться попусту.

...все про конкурсы да про дутые векселя... дисконты... – Конкурсы – здесь: передача кредиторам управления имуществом несостоятельного должника с целью удовлетворения имеющихся к нему материальных претензий; вексель – долговое обязательство об уплате суммы в назначенный срок; дутый вексель – фальшивый, необеспеченный; дисконт – покупка векселей банками или частными лицами до наступления платежа.

Стр. 51...«Попрыгунью стрекозу» прочту – басню И. А. Крылова «Стрекоза и муравей» (1808).

Стр. 52...минодирующая – жеманная (от франц. *minauder*).

Стр. 54...и в банке и в ландскнехте... – названия карточных игр.

Стр. 55...насчет «родов и видов» поговорил бы... – Имеется в виду учение Ч. Дарвина (см. прим. к стр. 31).

Стр. 58. «Мимо идоша и се не бе!» – этого не было (церковнослав.).

Стр. 61...из Венева-то явились сюда... – Венев – уездный город Тульской губернии.

...комитеты-то эти в пятьдесят восьмом году открыли... – Имеются в виду губернские дворянские комитеты, которым была поручена подготовка проектов крестьянской реформы.

...как только рескрипт пришел... – Согласно «Положению об устройстве дворовых людей», принятому в январе 1861 г., дворовые люди получали личные и имущественные права, но в течение двух лет были обязаны служить своим господам или платить им установленный оброк.

Стр. 62. Как же ты... об Адаме и Еве полагаешь? – Здесь и далее речь идет о церковно-христианской версии происхождения жизни на земле и человека, противопоставлявшейся естественнонаучному объяснению мира.

Стр. 63. «Я лиру томну строю...» – из стихотворения В. В. Капниста «На смерть Юлии».

...Ванька Таньку полюбил... – русская народная песня (в обработке Даргомыжского получила широкую известность).

Стр. 64...да воскреснет бог и расточатся врази его! – начальная строка псалма.

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) ...начиная с так называемого «непомнящего», ночующего в стогах сена – то есть бродяг, скитающихся в поисках средств к существованию...кончая так называемым «деятелем», тщетно отыскивающим себе местожительство в кустах. – О деятелях, которые прячутся в кустах, см. также статью «Литературные кусты» (т. 6 наст. изд., стр. 506–517).

Стр. 66. Шаспо – нарезное ружье, названное по фамилии изобретателя.

#### Глава IV

Впервые – ОЗ, 1876, № 9 (вып. в свет 20 сентября), стр. 255–292, под заглавием «Экскурсии в область умеренности и аккуратности», с порядковым номером «IV». Подпись: Н. Щедрин.

Сохранилась наборная рукопись первоначальной редакции очерка. [167]

Очерк написан летом 1875 г. в Баден-Бадене. В письме от 29 августа Салтыков сообщал Некрасову, что очередная глава «Экскурсий», для сентябрьского номера «Отечественных записок», выслана «две недели тому назад».

Еще до представления очерка в цензуру Некрасов пришел к выводу о возможных затруднениях с публикацией, о чем он и писал в несохранившемся письме, полученном Салтыковым в Баден-Бадене 4 сентября. «Очень меня огорчило, что Вы сомневаетесь относительно помещения «Экскурсий», – в тот же день отвечал Салтыков. – Мне статья эта казалась более безопасною, нежели «Сон в летнюю ночь». «Экскурсии» могут быть истолкованы в двух смыслах, и это ограждает их. Но, по моему мнению, необходимо, чтобы читатель хоть смутно понял, в чем суть <...> Я думаю, что Фукс уже в Петербурге; свезите ему эту статью и от меня попросите прочесть и сказать свое мнение». «Я с нетерпением жду корректуры «Экскурсий», – писал Салтыков Некрасову пять дней спустя, еще не зная о том, что опасения Некрасова оправдались, – но, признаюсь Вам, очень мне будет жаль сокращать этот рассказ». В настоящее время невозможно установить, производил ли Салтыков в сентябре – октябре 1875 г. сокращения в тексте произведения.

4 ноября Салтыков вновь обращается к Некрасову: «Ежели есть возможность печатать «Экскурсии», то печатайте в ноябрьской книжке; ежели же нет возможности, то нельзя ли передать его Суворину: пусть в «Биржевых ведомостях» напечатает». «...Ежели <...> будет помещены «Экскурсии», то новый рассказ отложите до декабря», – напоминает он 10 ноября. Однако и на этот раз очерк напечатан не был: при подготовке ноябрьской книжки журнала Некрасов вынужден был послать его на просмотр цензору С. И. Лебедеву, который рекомендовал редакции воздержаться от публикации: «...с «Экскурсиями» случилась опять остановка. Неприятно, но делать нечего. Этот Лебедев, должно быть, глубокий мерзавец», – с раздражением откликнулся 7 декабря Салтыков на сообщение Некрасова о неудачном обращении в цензуру.

Летом 1876 г. Салтыков предпринял переработку четвертой главы. «...«Экскурсии», исправленные, скоро вышлю...» – сообщал он Некрасову 9 июля. Переработка главным образом шла по двум направлениям. Салтыков произвел сокращения в начале очерка, затем заменил передовицу «О числе и качествах городских» вновь написанным эпизодом. Во второй половине очерка Салтыков сделал лишь несколько купюр, продиктованных, вероятно, цензурными опасениями: «Может быть, там и невесть что затевается» (стр. 94, абз. «Да, но все-таки...»), «Молоды они – ну, и трутся в свободное от занятий время» (стр. 95, абз. «– Вероятно...»), «Но Алексей Степаныч <...> чистить осталось!» (стр. 104).

Возвратившись в Петербург в августе, Салтыков просил бывшего своего товарища по Московскому дворянскому институту цензора Н. А. Ратынского высказать мнение относительно возможности публикации новой редакции очерка. Ответ Ратынского был положительным, однако он рекомендовал Салтыкову для окончательного решения вопроса обратиться к начальнику Главного управления по делам печати В. В. Григорьеву. 3 сентября 1876 г. Салтыков встретился с В. В. Григорьевым: «Вот я сегодня и поехал <...> Ждал от часу до трех – и что же? Принял он меня не только холодно, но почти неприязненно, даже не посадил. Хотел ли он поломаться надо мной, но первым его вопросом было следующее: Вы в каком журнале участвуете? Хотя Ратынский и уверял меня, что он уже читал «Экскурсии» в первой редакции, но он и виду не подал, а когда я заикнулся о том, что вот, дескать, цензура встретила год тому назад затруднения, а ныне я переделал, и желал бы, чтоб ваше превосходительство удостоили прочесть, то он прямо объявил: это не мое дело-с,

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru на это есть цензор. Одним словом, свидание вряд ли продолжалось и минуту, но, несмотря на это, мне показалось, что на меня целый час плевали. После я зашел к Петрову и отдал «Экскурсии» ему...» Этот эпизод уже на следующий день стал известен в университетском совете, членом которого был В. В. Григорьев; ему, как писал Салтыков в письме Некрасову 21 сентября, «чуть не сделали скандал, но ограничились тем, что через Градовского потребовали объяснений». Вполне возможно, что именно это обстоятельство и способствовало тому, что отданный цензору Петрову очерк был разрешен и появился в сентябрьской книжке журнала (см. изд. 1933–1941, т. 12, стр. 621–623).

В настоящем томе очерк печатается по тексту издания 1885 г., с исправлением опечаток по рукописи и всем прижизненным изданиям, а также с устранением названных выше цензурных купюр по наборной рукописи. Не вошедшие в печатный текст варианты первоначальной редакции см. в разделе «Из других редакций».

Стр. 68...газету «Чего изволите?» издает. – Создавая обобщающий пародийный образ журналиста-приспособленца, сатирик метил в такие буржуазно-либеральные издания, как «Санкт-Петербургские ведомости», «Голос», «Биржевые ведомости» и др. (см. Е. Покусаев. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, М. 1963, стр. 299). Тогда же имелось в виду и «Новое время», перешедшее в 1876 г. в руки А. С. Суворина. Именно за этой газетой и закрепилась в дальнейшем кличка «Чего изволите?». Первоначально Салтыков относился к «Новому времени» благожелательно и даже обещал сотрудничество (см. письмо к Суворину от 6 (18) марта 1876 г.), но уже в первые месяцы существования газеты для него становится очевидным приспособленчество, а затем и ренегатство Суворина. Нарастание критического отношения к его газете видно из писем Салтыкова к Некрасову. В письме от 11 (23) мая 1876 г. (то есть еще до появления данной главы «Господ Молчалиных» в сентябрьской книжке «Отечественных записок») сатирик заявляет, что «Новое время» – «газета «ерническая», ее девиз – «неуклонно идти вперед, но через задний проход»; в письме от 9 июля 1876 г.: «...ужасно больно читать такие пошлости, как «Новое время», «Биржевые ведомости» и проч.»; наконец, в письме от 13 октября: «Новое время» все продолжает свирепствовать и – приобретать успех. На мое личное замечание, что у него не осталось никаких союзников в литературе, кроме «Московских ведомостей» да «Русского мира», Суворин отвечал: «Что ж, и прекрасно!» Из этого Вы можете судить, до каких пределов этот человек дошел <...> ужасно хочется, чтоб эта гнусная газеточка хлопнулась». Впоследствии В. И. Ленин, характеризуя эволюцию издателя «Нового времени», писал, что Суворин «во время второго демократического подъема в России (конец 70-х годов XIX века) повернул к национализму, к шовинизму, к беспардонному лакейству перед властью имущими. Русско-турецкая война помогла этому карьеристу «найти себя» и найти свою дорожку лакея, награждаемого громадными доходами его газеты «Чего изволите?» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 22, стр. 44). Газета под таким названием фигурирует в ряде произведений Салтыкова («Сборник», «Круглый год», «Недоконченные беседы», «Пестрые письма»).

Литератор – не литератор, а в военно-учебном заведении воспитывался... прежде табачную лавку содержал. – Здесь и далее намек на газету «Русский мир» (1871–1880) и ее издателей В. В. Комарова, генерала М. Г. Чернышева и др., перепродавших издание Л. Кронебергу, бывшему владельцу табачной фабрики.

...все из золотарей. – Золотарь – служащий по золотым промыслам; также чистильщик отхожих мест. В сатирическом словоупотреблении у Салтыкова – игра на разных значениях слова.

...яко тать в нощи – как вор ночью (церковнослав.) – выражение из Евангелия (первое послание к фессалоникийцам, V, 2).

Стр. 69...«безобразия свияжские», «безобразия красноуфимские», «безобразия малоархангельские» и проч. – Имеются в виду обличительные материалы из различных мест России, печатавшиеся в разделах о внутренней жизни страны (в газете «Русский мир» – «Известия из разных мест», в «Новом времени» – «Внутренние известия» и т. п.).

...уйми... моих передовиков – то есть авторов передовых статей в газете.

Стр. 70...покойный Луи-филипп – в годы Великой французской революции лицемерно примыкал к республиканцам, затем организовал контрреволюционный заговор. В результате июньских событий 1830 г. возведен на престол, жестоко расправлялся с

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru демократическим движением.

Стр. 70...води их почаще на большую Садовую гулять да указывая на Управу Благодичиния... – Управа Благодичиния – дореформенное городское полицейское учреждение, возглавлявшееся полицмейстером; существовала в 1782–1862 гг., затем заменена городскими полицейскими управлениями (в уездных городах – уездными полицейскими управлениями); на Большой Садовой в Петербурге находилась столичная Управа Благодичиния.

Стр. 72...шумят... народные витии... – измененная цитата из стихотворения Пушкина «Клеветникам России» (1831).

Стр. 73...читатель необыкновенный... с карандашом в руках... – то есть цензор.

...Вотчинная полиция упразднена; мировые посредники... сочтены излишними. – Институт мировых посредников был учрежден после крестьянской реформы 1861 г. для введения уставных грамот между помещиками и крестьянами и разрешения споров и жалоб в поземельных отношениях; превратившись в орган надзора за крестьянскими сословными учреждениями, они просуществовали до 1874 г., когда функции их были возложены на уездные по крестьянским делам присутствия. Вотчинная полиция помещиков потеряла значение в результате полицейской реформы 25 декабря 1862 г.

...сотские и десятские... – должностные лица, избиравшиеся наряду с сельским старостой сельскими сходами.

...мировые судьи – избирались на три года органами городского и местного самоуправления; имущественный, образовательный и служебный ценз избираемых обеспечивал господство дворян и в этом суде, ведению которого подлежали мелкие уголовные и гражданские дела.

Стр. 74...газета «И шило бреет»... – ироническое название либеральной газеты, встречается и в других произведениях («Сборник», «Убежище Монрепо», «За рубежом»). Оценку Салтыковым либеральной прессы см., в частности, в цикле «Дневник провинциала» (гл. VI, VII) и прим. к нему (т. 10 наст. изд.).

Стр. 75...с словом следует обращаться честно – несколько измененная цитата из статьи Гоголя «О том, что такое слово» (в книге «Выбранные места из переписки с друзьями»).

...ни одним скрупулом... – Скрупул – старинная единица аптекарского веса, равная 1,24 г.

Стр. 76...нагое единоначалие... – эзоповское обозначение самодержавной власти.

Стр. 77...многое зависит от начальников края, а я бы сказал: все! – В связи с усилением революционного движения были осуществлены меры, расширявшие права губернаторов. Так, 13 июля 1876 г. комитет министров дал губернаторам право для «правильного исполнения узаконений о благочинии и безопасности» издавать так называемые «обязательные постановления» (запрет собраний, органов печати и др.).

Стр. 78. «Токвиль говорит...» – Труды французского историка и публициста Токвиля «Демократия в Америке» (1835–1840, русский перевод в 4-х томах, Киев, 1860), «Старый порядок и революция» (1856; русский перевод, СПб. 1861) интересовали Салтыкова еще в период пребывания в Вятке и использовались им затем в творчестве в целях критики самодержавно-бюрократических порядков России (см. т. 10 наст. изд., стр. 743).

«Гнейст, подтверждая это мнение...» – Взгляды Гнейста на государственное устройство изложены в его сочинении «Das heutige englische Verfassungs- und Verwaltungs Recht», Berlin, 1857–1860 («Современное английское конституционное и административное право»); Салтыков упоминает о Гнейсте также в «Сатирах в прозе» (см. т. 3 наст. изд., стр. 265, 598), «Характерах» (т. 4 наст. изд., стр. 199, 544) и др.

Стр. 79...знаменательные слова Тюрго... – Для русских революционных демократов деятельность Тюрго, в течение двух лет занимавшего должность государственного контролера Франции, являлась классическим примером бессилия буржуазной демократии путем реформ противостоять произволу феодально-монархического режима.

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) Чернышевский писал о Тюрго; «Он хотел: отменить феодальные права; уничтожить привилегии дворянства; пересоздать систему налогов и пошлин; ввести свободу совести; переделать гражданские и уголовные законы; уничтожить большую часть монастырей; ввести свободу тиснения; преобразовать всю систему народного просвещения. В довершение всего хотел ввести во Франции нечто очень похожее на конституцию. Можно ли не посмеяться над простаком?» (Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. V, стр. 317). Тюрго был уволен в отставку Людовиком XVI по настоянию придворных правящих кругов. Салтыков, несомненно, разделял точку зрения Чернышевского на деятельность Тюрго и буржуазный либерализм.

...имя Бурбонов... перейдет на главы тех... офицеров, которые выслужились из кантонистов и сдаточных. – Бурбоны – династия французских королей (1589–1792, 1814–1848); наименование «бурбон» стало нарицательным для обозначения грубости, самодурства, солдафонства. Кантонист – солдатский сын, с рождения приписывавшийся к военному ведомству. Сдаточный – лицо, сданное в солдаты; помещиками широко практиковалась сдача крепостных крестьян в солдаты.

...при организации... чижовок... – Чижовка – то же, что и кутузка, в просторечии – камера для заключенных при полицейском участке или волостном правлении.

Стр. 80. Il voit tout... – куплет из оперетты Лекока «Чайный цветок», о которой говорится далее.

...валяй по всем по трем! – у Салтыкова – выражение для обозначения открытого выступления реакции против революционно-демократических сил (см. т. 6 наст. изд., стр. 662).

Стр. 81...наши земства... – Земские органы «самоуправления» созданы по реформе 1 января 1864 г. для руководства хозяйственными делами (строительством и управлением местных дорог, школ, больниц, организацией поземельного кредита и т. д.); органами земства являлись уездные и губернские земские управы, члены которых избирались земскими собраниями. Земские органы не имели сколько-нибудь действительного значения в жизни общества и, по определению В. И. Ленина, были «кусочками конституции», посредством которых русское «общество» отменивали от конституции» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 65).

Стр. 84...с легкой руки Бисмарка... – Бисмарк, допуская в целях демагогии оппозицию в парламенте, в 1878 г. добился принятия исключительного закона против социалистов и жестоко подавлял рабочее движение.

...в штатах департамента этимологии и правописания... – По-видимому, намек на Главное управление по делам печати.

...из чести лишь одной я в доме сем служу – цитата из поэмы В. Л. Пушкина «Опасный сосед» (1811).

Стр. 85...французы распорядились ниццарами, а немцы в последнее время эльзаслотарингцами. – Город Ницца до 1860 г. принадлежал Италии, в 1860 г. по Туринскому договору отошел к Франции. Эльзас-Лотарингия – провинция, отнятые немцами у Франции в результате франко-прусской войны 1870–1871 гг.

Стр. 87. Материалистические учения... увлекают... молодое поколение... – Речь идет о материалистических взглядах, которые находила передовая молодежь в произведениях революционных деятелей 60-х годов, в трудах крупнейших представителей современной естественнонаучной мысли (издание произведений Ч. Дарвина, лекции и труды И. М. Сеченова и др.).

...ввиду теперешних, можно сказать, обстоятельств! – Очевидно, намек на подготовлявшиеся судебные процессы над организаторами и участниками «хождения в народ».

Стр. 88...если бы покойный Памфил Юркевич или... господин Струве... – Повествователь напоминает о деятельности противников философского материализма и полемике, вызванной диссертацией Г. Е. Струве «Самостоятельное начало душевных явлений» (1870); П. Д. Юркевич выступил в ее защиту с обширной статьей «Игра подспудных сил по поводу диспута профессора Струве» (РВ, 1870, апрель). О позиции Юркевича см. также статью Салтыкова «Неблаговонный анекдот о г. Юркевиче» (т. 5 наст. изд.).

Стр. 90...у патагонцев – здесь синоним дикости. Патагония – область на юге Аргентины. См. т. 7 наст. изд., стр. 636, 669.

Стр. 92...наши минерашки и демидроны – заведения искусственных минеральных вод в Новой деревне в Петербурге (см. т. 7 наст. изд., стр. 605). «Демидроном» кутили того времени называли одно из увеселительных заведений – «Демидов сад».

...победа, которую «порфиноносная вдова» одерживает над «юною царицей» – реминисценция из поэмы Пушкина «Медный всадник»:

...И перед младшею столицей  
Померкла старая Москва,  
Как перед новою царицей  
Порфиноносная вдова.

...засаживали бы в Катковский лицей изучать латинскую грамматику... – Лицей открыт в 1868 г. в Москве с целью насаждения классического образования (см. т. 8 наст. изд., стр. 518); основан на средства М. Н. Каткова, его ближайшего соратника по «Русскому вестнику» П. М. Леонтьева и железнодорожного подрядчика С. Полякова.

как экзаменовал «Русский вестник» профессора римского права, Никиту Крылова... – Имеется в виду полемика публицистов «Русского вестника» с Н. И. Крыловым, вызванная его выступлением с критическими замечаниями («Русская беседа», 1857, кн. 1 и 2) о диссертации Б. Н. Чичерина «Областные учреждения России в XVII веке», Крылову возражал и Чичерин (РВ, 1857, т. X, стр. 727–768, т. XI, стр. 174–206), и сам Катков вместе с Леонтьевым в фельетонных заметках на страницах «Современной летописи». Они издевались над Крыловым, упрекая его в незнании латинской грамматики, приводя в качестве примера, в частности, термин «ordo equestris».

Стр. 93. «Московские ведомости»... он на меня... донос... строчит! – В этих словах можно усмотреть намек на полемику газеты с «Вестником Европы» по вопросам классического образования; он – Катков.

Стр. 94...Черное-то море с самого севастопольского погрома...продолжает сиротеть... – В результате поражения в Крымской войне Парижским трактатом 1856 г. России запрещалось держать военный флот на Черном море; хотя это запрещение было в 1871 г. отменено, восстановление флота шло медленно.

Может быть, там и невеста что затевается! – Намек на обострение Восточного вопроса, приведшее к войне России с Турцией.

...мы имеем действительных статских кокодецов – см. т. 10 наст. изд., стр. 287, 737. См. прим. к стр. 390.

Стр. 95...о милой безделице и ее свойствах... – Характеристику людей, поглощенных «безделицей» – животными-низменными увлечениями – и чуждых каких-либо умственных интересов, см. в статье Салтыкова «Новаторы особого рода» (т. 9 наст. изд., стр. 36–47).

...служащим в них касимовским князьям... послала к Борелю... – Касимов – уездный город Рязанской губернии; в XV–XVII вв. был центром удельного княжества, созданного московскими князьями для татарских ханов, перешедших к ним на службу. Касимовский князь – здесь: презрительно-насмешливое прозвище татар-половых в петербургских ресторанах. Борель – петербургский ресторатор.

...«погибшему, но милому созданию»... – женщине легкого поведения, крылатое выражение, цитата из «Пира во время чумы» А. С. Пушкина.

Стр. 96. Поставьте «адвокаты» – будет и правдоподобно, и без риска! – Беспринципность и продажность подавляющей части пореформенной адвокатуры Салтыков заклеймил в ряде сатирических зарисовок (Балалайкины и др. в данном цикле; см. об этом также в т. 10 наст. изд., стр. 681).

...гласные городской думы. – Городские думы учреждены по городскому положению 1870 г., выборы гласных проходили в трех избирательных съездах (крупных, средних и мелких налогоплательщиков); руководящую роль в городских думах получила крупная буржуазия.

Стр. 97. «История Государства Российского» – известный труд Н. М. Карамзина.

...и думает, что все – прокламации! – Многие из участников «хождения в народ» были арестованы за хранение или распространение литературы, в том числе легальной (например, стихотворений Н. А. Некрасова, рассказов Н. И. Наумова, А. И. Левитова и др.).

Стр. 99...давно ты предостережений не получал... – Предостережение – карательная мера цензуры по отношению к журналам и газетам, нарушившим в чем-либо закон о печати; после третьего предостережения следовала приостановка или полное прекращение издания.

...запели перед тобой Лазаря... – Петь Лазаря – прикидываться несчастным, стараться разжалобить (от евангельской притчи о нищем Лазаре – Лука, XVI, 20–25).

Стр. 104. Вот бы я тебе помойные ямы показал, так те уже полтора года лет чистят... – Речь идет о вековой отсталости России в социальном, политическом и культурном отношении, борьбу против которой начал своими преобразованиями Петр I.

#### Глава V

Впервые – ОЗ, 1876, № 10 (вып. в свет 21 октября), стр. 567–597, под заглавием «Экскурсии в область умеренности и аккуратности», с порядковым номером «V». Подпись: Н. Щедрин.

Рукописи и корректуры не сохранились.

В первом отдельном издании (1878) текст главы отличается от журнального незначительными сокращениями, продиктованными, вероятно, цензурными опасениями: «очень даже резконько!» (стр. 123, абз. «Как же!..»), «Ведь он только исполнитель...» (стр. 124, абз. «То есть как же...»), «разумеется, в благонамеренном тоне!» (стр. 124, абз. «Да, и поэт»), «Ведь это только так кажется, что немного, ты только подумай!» (стр. 124, абз. «Ну, вот видишь...»), «Ты стоял бы, как зачумленный, где-нибудь в углу, и никто не подумал бы даже приблизиться к тебе» (стр. 129, абз. «До сих пор...»). В наст. издании, как и в изд. 1933–1941, эти купюры устранены.

Кроме того, в первом отдельном издании Салтыков снял заключительную фразу, очевидно, намечавшую сюжет следующего, оставшегося неосуществленным, очерка:

Выйдя на улицу, я пришел в себя, и первая мысль, которая представилась моему уму, была та, что на мне лежит нравственная обязанность посетить литературную пятницу Ивана Семеныча.

Стр. 107...я так давно не был в департаменте «Возмездий и Воздаяний» (более двадцати лет)... – Здесь и далее («Департамент Вздохов») Салтыков говорит о политической карательной системе самодержавия (полиция, III Отделение и пр.). Салтыков также намекает на собственную ссылку в Вятку в 1848–1855 гг.

Стр. 110...требник... – книга с молитвами для свершения богослужебных обрядов (крестин, венчаний, панихид и др.).

Стр. 111...забрался под арку к площади... – Имеется в виду арка, соединяющая Б. Морскую (ныне ул. Герцена) с Дворцовой площадью; в здании с фасадом на площадь слева и справа от арки находились многочисленные государственные учреждения, в том числе департамент полиции.

Стр. 112...сбирры, как в «Лукреции Борджиа»... – Сбирры в Папской области Италии – полицейские служители; «Лукреция Борджиа» – опера Доницетти.

«...здесь стригут, бреют и кровь отворяют...», «бараний рог...», «Макара, телят не гонящего...» – иронические выражения, в системе эзоповского языка Салтыкова обозначающие полицейские меры по отношению к нарушителям самодержавного правопорядка.

Стр. 113...в театре Берга – помещался на Екатерининском канале, был открыт только в зимний сезон, репертуар состоял из французских шансонет и интермедий.

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Стр. 115...попаду во чрево кита – выражение, восходящее к Библии (книга пророка Ионы, II, 1); на эзоповском языке сатирика означает – попасть в карательное учреждение.

Стр. 118...У Елисеевых да у Эрберов – владельцев магазинов фруктово-колониальных товаров в Петербурге.

Стр. 119...господин Расплюев – персонаж трилогии А. В. Сухова-Кобылина – «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина».

Стр. 121. «Спаси господи» в стихи переложил... – «Спаси господи» – молитва «за царя и отечество».

...от лекций Сеченова. – О значении учения И. М. Сеченова для передовой молодежи см. прим. к стр. 87 и т. 10 наст. изд., прим. к стр. 281.

Стр. 122...пока М. И. Семевский... не украсит ими страниц «Русской старины». – В журнале «Русская старина» публиковались исторические документы, письма, мемуары (см. т. 10 наст. изд., прим. к стр. 17).

Стр. 125...статью «Двадцать лет реформ»... – возможно, напоминание о книге А. А. Головачева «Десять лет реформ (1861–1871)», СПб. 1872, первоначально печатавшейся отдельными статьями в «Вестнике Европы» (1872, № 2–5); иронический отклик на этот труд либерального публициста содержится еще в цикле «Помпадуры и помпадурши» (см. т. 8 наст. изд., стр. 199, 522–523).

...фюить! – в эзоповском языке Салтыкова обозначает внезапную административную ссылку.

Стр. 127...смерть «больного человека»... – Имеется в виду ожидавшееся финансовое банкротство Османской империи (1879), назревавшее с 1854 г. в результате кабальных условий предоставления займов Турции европейскими державами.

Стр. 127...в ожидании этого времени у болгар... – Очевидно, намек на вооруженное восстание в Болгарии в апреле 1876 г., подавленное турками.

Стр. 129...иначе, как в «сопровождении»... – то есть в сопровождении жандарма или полицейского.

Стр. 131. Фаддей иногда... с Волкова ли? не со Смоленского ли? – Булгарин умер в 1859 г. в своем имении Карлово, похоронен в Дерпте.

## Глава VI

Впервые в изд.: М. Е. Салтыков-Щедрин. В среде умеренности и аккуратности, СПб. 1878, стр. 173–176.

Рукописи и корректуры не сохранились.

Написано специально для отдельного издания.

## II. ОТГОЛОСКИ

Очерки, составившие под названием «Отголоски» вторую часть цикла в «Среде умеренности и аккуратности», при всем различии освещаемых тем и характера повествования, многими своими мотивами перекликаются с «Господами Молчалиными».

С последними непосредственно связаны два заключительных очерка – «Дворянские мелодии» и «Чужой толк», возвращающие читателя к идейным мотивам и персонажам «Господ Молчалиных». В первом из этих очерков Салтыков использовал отчасти, а во втором повторил с небольшими изменениями текст запрещенного цензурой очерка «Чужую беду – руками разведу».

Что же касается тех очерков из «Отголосков», которые не имеют с «Господами Молчалиными» непосредственной сюжетной переклички, то и они рядом своих особенностей сближаются с ними. Выражается это прежде всего в том, что действие «Отголосков» вообще разворачивается преимущественно в той же «среде умеренности и аккуратности», что и «Господ Молчалиных», а ряд персонажей очерков по своей социальной психологии и по своему общественному поведению примыкает к «молчалинству».

Характерными выразителями идеологии и психологии «молчалинства» являются муж и жена Положиловы («День прошел – и слава богу!», «На досуге»), заточившие себя в скорлупу смирения и послушания, безусловного повиновения «начальству». Образ Положилова-чиновника – новая, колоритная зарисовка одной из разновидностей Молчалиных.

В «Отголосках» показаны черты психологии приспособленчества и у тех людей «культурного слоя», которым совершенно очевиден постыдный характер уклада жизни Положиловых («Мне стало стыдно», – заявляет повествователь), но которые, при всем своем либерализме, подчиняются господствующей атмосфере и даже наставляют новое поколение в духе молчалинских заповедей (разговор повествователя с Молчалиным-сыном в очерке «Чужой толк»).

«Отголоски» связывают с «Господами Молчалиными» и другие образы и мотивы, характеризующие русскую общественную жизнь 70-х годов: гонение властей на передовую мысль; борьба с «внутренними врагами» в лице демократической молодежи; напоминания о мрачных представителях охранительной идеологии – Шешковском, Булгарине, Грече; разнузданность и беспринципность торгашеской печати («Чего изволите?», «Краса Демидрона»). Общими для обеих частей являются и некоторые творческие приемы, к которым прибегает автор: повествование от первого лица; использование и развитие образов «Горя от ума» Грибоедова, как и других произведений («Мертвые души» Гоголя, «Рудин» Тургенева и др.); пародирование газетных жанров (корреспонденции Подхалимова 1-го, замечания «От редакции»).

При отмеченной общности всего цикла «В среде умеренности и аккуратности», каждая из двух его частей имеет и свои особенности, обусловленные как содержанием, так и задачами, которые осуществлял писатель. В отличие от «Господ Молчалиных», очерки «Отголосков» весьма слабо связаны друг с другом в композиционном отношении. Каждый из них в отдельности был откликом на события русской и отчасти европейской жизни за сравнительно короткий отрезок времени. Важнейшими из этих событий, поставивших различные слои русского общества перед сложными и трудными испытаниями, были: обострение Восточного кризиса, приведшее к русско-турецкой войне 1877–1878 г.; ухудшение положения трудовых масс, прежде всего крестьянства – главного налогоплательщика и основного поставщика многотысячной русской армии, сражавшейся на полях и в горах Болгарии, Турции, Закавказья; нарастание кризиса всего самодержавно-бюрократического и полицейского режима, подтачиваемого как недовольством бедствующих масс, так и самоотверженной борьбой революционных народников. Все эти события и процессы русской жизни были в центре внимания виднейших писателей (Достоевского, Л. Толстого, Тургенева, Гл. Успенского, Гаршина и др.).

Салтыков назвал свои очерки «отголосками». О широких и развернутых откликах на события, о прямой, открытой критике явлений реакции и произвола в условиях цензурной печати не могло быть и речи. Малейшие попытки такого рода сразу же пресекались вмешательством цензуры (так и случилось с очерком «Чужую беду – руками разведу»). Тем не менее писателю, владевшему искуснейшими приемами сатирического повествования, удалось в своих очерках не только запечатлеть картины и образы времени, но и дать им оценку с подлинно революционно-демократических позиций.

Значительное место в «Отголосках» отводится отношениям русского общества к событиям и явлениям, связанным с подготовкой и ходом русско-турецкой войны. Этому посвящены первые три очерка: «День прошел – и слава богу!», «На досуге», «Тряпичкины-очевидцы». Салтыков, как и другие представители передовой мысли России, с сочувствием и пониманием воспринимал самоотверженную борьбу славянских народов за свою национальную независимость. С воодушевлением говорил он и о подвигах русских солдат, пришедших на помощь болгарам и другим братским народам. Как известно, многие из представителей народнической интеллигенции приняли непосредственное участие в освободительной борьбе славян.

Вместе с тем позиция передовых радикально-демократических кругов русского общества в Восточном вопросе в корне отличалась от политики царизма, его идеологов и поборников. Решительным противником этой политики был и Салтыков. Ему не могли не претить великодержавные цели, преследовавшиеся царизмом в войне, стремление правительства под прикрытием военных событий расправиться с революционным движением и передовой мыслью в стране. В письме к Некрасову от 13 октября 1876 г. он сообщал: «Славянский вопрос здесь все еще на первом плане <...>

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) Под шумок его издан, например, закон, разрешающий губернаторам издавать обязательные постановления или, попросту говоря, законы же».

Как редактор Салтыков был недоволен статьями «Воевать или не воевать?» («Отечественные записки», 1876, № 6, 9; автором ее был, видимо, Г. З. Елисеев), «На всемирную свечу» (1876, № 7, автор – Д. Л. Мордовцев). «Не могу себе вообразить, – писал он Михайловскому 4 августа, – что за статья о всенародной свече. «Отечественные записки» встали на покатошь очень сомнительную <...> Еще две-три статьи, подобных сальной свече Мордовцева <...> и репутация, конечно, пошатнется». Действительно, хотя данные статьи не определяли позицию журнала, их запомнили внимательные читатели. Обозреватель «Тифлисского вестника» в начале 1877 г. писал: «...было время, когда «Отечественные записки» превосходили воинственным азартом даже г. Суворина». [168] Это, конечно, преувеличение. Восточный вопрос и русско-турецкая война занимали в «Отечественных записках» значительное место, но освещение их велось с демократических позиций. В 1876–1878 гг. в журнале было опубликовано большое число статей, очерков, корреспонденции на данную тему. Среди них – очерки «Из Белграда (письма невоенного человека)» Гл. Успенского (1876, № 12; 1877, № 1), рассказ Гаршина «Четыре дня» (1877, № 10), статья В. А. Тимирязева «Босния и Герцеговина во время восстания» (1876, № 8), корреспонденции Е. Лихачевой «Из Сербии» (1876, № 9) и Н. Максимова «За Дунай» (1878, № 5, 6), один из очерков А. Н. Энгельгардта «Из деревни» (1878, № 3) и др.

Критическое отношение к позиции правящих кругов и имущих классов определило характер «Отголосков». Особенно ненавистны Салтыкову были демагогическая шумиха, «долгоязычие», в котором упражнялась пресса Каткова и Суворина, славянофильских кругов, чисто спекулятивные листки и газеты, которые он заклеил прозвищем «Краса Демидрона». Фигура Подхалимова-очевидца, запутавшегося в бесконечном пустословии, принадлежит к ярким достижениям Салтыкова, также как и образ Балалайкина, в махинациях которого заклеено «ликующее хищничество», наглые злоупотребления в снабжении действующей армии. Писателя возмущали такие проявления бездарности и надутой претенциозности, как генерал Черняев и ему подобные. Едкие насмешки сатирика вызвала либерально-благотворительная деятельность светских и чиновничье-бюрократических кругов, сделавших из кампании материальной помощи славянам предмет развлечения, средство погони за модной популярностью и выгодной карьерой.

Восточный вопрос и военные события освещаются в «Отголосках» в неразрывной связи с проблемами внутренней жизни страны. Тягостное положение народа, своекорыстные интересы имущих и правящих классов, удручающая обстановка общественно-политической реакции, насаждавшаяся правительством, – все это нашло отражение в очерках «Дворянские мелодии» и «Чужой толк», проникнутых скорбными раздумьями автора по поводу происходящего. Повествователь, за которым нередко угадывается и автор, размышляет о судьбах дворянского либерализма, сформировавшегося в эпоху 40-х годов и оказавшегося совершенно несостоятельным в условиях нового этапа общественного движения. В этих же очерках сказалось глубоко сочувственное отношение Салтыкова к самоотверженной и все более обостряющейся борьбе революционно-народнической молодежи против самодержавия. И в связи с этим здесь впервые у писателя явственно прозвучал тот самокритический мотив, который позднее, в «Приключении с Крамольниковым» и в «Имярек», станет господствующим, – неудовлетворенность чисто литературной формой деятельности, неспособностью к «самоотвержению», то есть непосредственному участию в революционном движении.

Для понимания идейного содержания очерков, их художественного своеобразия большое значение имеют такие персонажи, как повествователь и Глумов. По своим взглядам они сближаются с позицией дворянского либерализма и в этом качестве выступают объектами сатиры. Вместе с тем в эзоповской системе Салтыкова им принадлежит и роль проводников намерений автора. Своим анализом, не щадящим и собственного поведения, они осуществляют резко критическую оценку явлений действительности, срывают маски лицемерия и добропорядочности с охранителей и ревнителей существующего режима. Через образы повествователя и Глумова выражена и такая важная черта художественного повествования, как проникновенный лиризм, появляющийся тогда, когда в произведении возникает тема народа, «новых людей», революционной «самоотвергающейся» молодежи. С этими образами связана также важная для дальнейшего творчества сатирика тема стыда, как фактора, способного сыграть очистительную роль для людей, идейно опустившихся, но еще не утративших способности к возрождению. «...Стыд не только наводит на размышление, – говорится

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru в «Дворянских мелодиях», – но и производит известное практическое действие. Стыд – великое дело, господа!» Хотя здесь же приводятся и жесткие контраргументы, мотив «стыда» займет важное место в размышлениях Салтыкова о путях нравственной перестройки общества. Двудеиная роль повествователя и Глумова получит затем глубокое раскрытие на страницах «Современной идиллии».

«Отголоски», содержание которых носит преимущественно преходящий злободневный характер, не принадлежат к самым выдающимся произведениям Салтыкова, но и в них нашли дальнейшую разработку такие важные приемы его сатиры, как пародия (корреспонденции Подхалимова 1-го), жанровые зарисовки (сцена у Бореля, генеральша у Положиловых и др.), фельетонно-гротескные характеристики (приключения Балалайкина), и наряду с этим – глубокие раздумья, своеобразная исповедь, «скорбь и негодование, причина которого не в Балалайкине, а в совокупности Балалайкиных, в их общедоступности и общепризнанности, в разлитости балалайкинского эфира в воздухе...».

Каждый из очерков «Отголосков» при своем появлении вызывал значительное число откликов, свидетельствовавших о неизменно пристальном внимании широкого читателя к слову великого сатирика (см. примечания к отдельным очеркам).

I. «День прошел – и слава богу!»

Впервые – ОЗ, 1876, № 11 (вып. в свет 22 ноября), стр. 257–280. Подпись: Н. Щедрин.

Рукописи и корректуры не сохранились.

При подготовке отдельного издания из журнальной редакции очерка была исключена фраза:

Стр. 148. после слов «пользоваться всяким удобным случаем»:

(будь это даже кровный вопрос, как нынешний славянский).

В центре первого очерка «Отголосков» – настроения людей «культурного слоя» в пору нарастания Восточного кризиса, отклики различных групп общества на события, предварявшие вступление России в войну с Турцией. Турецкие зверства во время подавления восстания в Болгарии вызвали в России широкую волну сочувствия к борющейся за свою национальную независимость братской стране. Однако подлинно искренним и действенным это сочувствие было среди трудовых масс, у передовой демократической интеллигенции, тогда как в правящей и привилегированной среде бедствия славянских народов в целом мало изменили привычный уклад жизни, с ее довольством, развлечениями, праздными разговорами и т. д. И. С. Аксаков, ратовавший за широкий сбор средств в пользу пострадавших славян, признавал: «Две трети пожертвований внес <...> бедный, обремененный нуждой простой народ». [169] Своекорыстное эгоистическое повеление различных представителей имущих классов, прикрываемое либеральной и никчемной «патриотической» болтовней, и рисуется сатириком. Особенной остроты это обличение достигает в сцене застольных словоизлияний преуспевающего молодого бюрократа Левушки Коленцова во время ресторанного обеда.

Одновременно в произведении воссоздается и обстановка реакции, преследований правящими кругами малейших проявлений честной мысли, атмосфера трусости, царившая в среде, считавшей себя не чуждой либерализма (образ повествователя, семья Положиловых). В очерке намечена также тема хищничества, расцветшего в связи с военными поставками (упоминание о купце Иване Парамоновиче, торгующем сапожным товаром). В заключительной части возникает и тема стыда («Мне сделалось стыдно», – признается повествователь), широкое развитие которой дано затем в очерках «Дворянские мелодии», «Чужой толк».

Очерк «День прошел – и слава богу!» вызвал несколько сочувственных откликов в печати. В газете «Новое время», в ту пору еще не порвавшей окончательно с прогрессивными кругами, В. П. Буренин писал: «Сатира г. Щедрина направлена вовсе не против идеи славянского движения, а против легкомысленного, бездушного и поистине отвратительного разумения его и отношения к нему...» Критик выделил образ Глумова: «Это превосходно задуманная и выработанная сатирическая фигура, представляющая олицетворение глубокой юмористической иронии г. Щедрина, иронии, доводящей иногда отрицание почти до насмешки над самим собою». [170] Критик «Московского обозрения» отметил трудности, с которыми не мог не столкнуться

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru писатель при освещении «славянской борьбы»: «Мотив – очень щекотливый. Тут можно было, как раз, задеть законное чувство нравственной щепетильности читателя». Н. Щедрин сумел преодолеть эти затруднения: «Он клеймит только нравственную распущенность псевдокультурных русских людей...» [171] Смелость и верность изображения «культурного человека» отметил обозреватель «Новороссийского телеграфа». [172]

Стр. 136...друг мой Глумов... – персонаж из комедии А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты» (1868). Перекочевав на страницы произведений Салтыкова-Щедрина: «Помпадуры и помпадурши», «Сборник», «Круглый год», «Современная идиллия», «Письма к тетеньке», «Недоконченные беседы», «Пестрые письма», приобрел особый художественный смысл (см. выше стр. 659, а также т. 8 наст. изд., стр. 524).

Стр. 137...в «дамский кружок». – Имеются в виду благотворительные кружки, собиравшие средства в помощь славянским народам.

Стр. 138...добровольцами можем быть... – В качестве добровольцев для участия в борьбе южных славян направились многие представители радикальной и демократической интеллигенции: революционные народники (Д. А. Клеменц, С. М. Кравчинский, М. П. Сажин и др.), художники В. Д. Поленов, Н. Е. Маковский, санитарные отряды возглавили выдающиеся деятели медицины М. В. Склифосовский и С. П. Боткин. Наряду с этим правящие круги использовали добровольческое движение и в своих корыстных целях.

...самарский голод... – Имеется в виду голод 1873–1874 гг., с особенной остротой разразившийся в Самарской губернии. Яркая картина народного бедствия и своекорыстной политики правящих кругов была дана в статьях П. Л. Лаврова «По поводу самарского голода», печатавшихся на страницах журнала «Вперед!» (1874), затем составивших отдельную книгу, распространявшуюся в России нелегально революционными народническими кружками.

Стр. 140...вздыхнем о герцеговинцах... – Глумов напоминает о восстании в Герцеговине в 1875 г., подавленном турками.

...соммелье (от франц. *sommelier*) – здесь: смотритель винного погреба при ресторане.

...тюрбо (франц.) – сорт рыбы.

...законы <...> сочинять буду... – Речь идет о праве губернаторов издавать «обязательные постановления» (см. прим. к стр. 77).

Стр. 141...не Зеноны мы... – Зенон из Китиона – древнегреческий философ, основатель школы стоиков.

Стр. 142...под сенью «административной автономии». – По проекту реформ, составленному министром иностранных дел А. М. Горчаковым, предусматривалось в результате успешной войны с Турцией предоставление широкой автономии Боснии, Герцеговине и Болгарии. Проект был отрицательно встречен Австро-Венгрией, и в ноте австро-венгерского министра, врученной 31 января 1876 г. Турции от имени великих держав, упоминалось лишь о зачатках административного самоуправления славянских областей.

...храброго добровольца Живновского... – Образ отставного подпоручика Живновского впервые появляется в «Губернских очерках», затем в «Сатирах в прозе», «Невинных рассказах».

...хор господина Славянского... – Славянский – псевдоним Д. А. Агренева, певца и дирижера, выступавшего с хором как в России, так и в славянских странах.

«Иде домув муй» («Где моя родина») – популярная сербская песня.

Стр. 143. Поляков, Варшавский, Кронсберг, Малкиель – известные буржуазные дельцы, нажившиеся на железнодорожных концессиях и различных государственных поставках.

...измена фельетониста Тряпичкина... – персонаж из комедии Гоголя «Ревизор», в

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) сатирической галереи Салтыкова – продажный журналист. См. также в цикле «Помпадуры и помпадурши», в «Современной идиллии». См. далее очерк «Тряпичкины-очевидцы».

Стр. 145...«штык – молодец»... – из афоризма А. В. Суворова: «Пуля – дура, штык – молодец!»

Стр. 146...наша подоплека! – Подоплека – буквально: подкладка крестьянской рубахи, в переносном смысле – задушевная тайна (В. И. Даль). Здесь Салтыков иронически использует терминологию славянофильства, обозначавшего этим словом один из символов «русского духа». См. «Благонамеренные речи» (очерк «В дружеском кругу» и прим. к нему, т. 11 наст. изд. и декабрьский фельетон «Круглого года» в т. 13).

...декламировал «Устав о печении пирогов»... – «Устав о добропорядочном пирогов печении», «сочинен» градоначальником Беневоленским (см. «Историю одного города», т. 8 наст. изд., стр. 362–363).

Стр. 147...назвал страну, которая в годину наших испытаний удивила мир своей неблагодарностью! Этот тонкий намек на коварную Австрию... – Речь идет о «неблагодарности» Австрии по отношению к русскому царизму, который в 1849 г. своим военным вмешательством помог в подавлении венгерской революции и этим спас от развала австрийскую империю. Материалы о «коварстве» правительства Австрии, фактически поддерживавшей Турцию в Восточном вопросе, часто помещала русская пресса.

...нечто вроде пронунсиаменто... – Пронунсиаменто (исп.) – государственный переворот или призыв к перевороту.

...провозгласили генерала Черняева королем Сербии... – Генерал в отставке Черняев, приняв сербское подданство, стал главнокомандующим сербской армией в войне с Турцией, начатой 30 июня и окончившейся поражением Сербии в конце октября 1876 г. Салтыков резко отрицательно относился к Черняеву и его миссии. Он писал П. В. Анненкову 1 ноября 1876 г.: «У нас здесь не то что скучно, а как-то срамно <...> Черняев со своими добровольцами разъясняет перед лицом Европы, что такое господа ташкентцы...» Не менее резко относился к Черняеву Тургенев, называвший его Хлестаковым: «Войну он вел бездарнейшим образом и притом лгал бессовестно в своих бюллетенях...» (Письма, т. XII. кн. 1, стр. 11–12).

...«гирла» оставили за собой... – Имеются в виду протоки, на которые разветвляется Дунай при впадении в Черное море.

Стр. 150...дешевому глумлению «над стриженными девками» – то есть представительницами передовой молодежи (см. т. 10, прим. к стр. 62).

Стр. 154...в тон господам ташкентцам – то есть «хищникам»-цивилизаторам (см. «Господа ташкентцы» в т. 10 наст. изд.).

## II. На досуге

Впервые – ОЗ, 1877, № 9 (вып. в свет 20 сентября), стр. 167–198; № 10 (вып. в свет 23 октября), стр. 435–460. Подпись: Н. Щедрин.

Очерк написан в августе – сентябре 1877 г.

Сохранился фрагмент черновой рукописи первоначальной редакции («Как ни приятно было благоуухание <...> Понимаю, и все-таки...»), значительно отличающийся от окончательного текста. Правда, переработка коснулась главным образом стиля, почти не затронув идейно-художественной концепции очерка. Ниже приводятся наиболее существенные варианты этой редакции, не вошедшие в печатный текст:

К стр. 175. В абзаце «– Как везде, так и у нас...» после слов «...У всех и на уме и на языке одно: война!»:

Одни зря языком чешут, другие... Ну, другим, пожалуй, и до крови больно.

– Народ как относится? народ?

– Насчет народа различать тоже надо. В городах, дворники, извозчики, фабричные –

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) те больше пьют и уру кричат. Пили по случаю взятия Ардагана, пили по случаю перехода через Дунай, пили по случаю занятия Шипкинского прохода. И пили, и уру кричали, и молились, и ругались – все вместе. Теперь, однако, переменялось, как ратников потребовали. И хмель соскочил.

– А в деревнях?

К стр. 179. В абзаце «– Да, – продолжал он...» после слов «а давно ли»:

г. Тебеньков (см. «Благонамеренные речи») в шутливом русском тоне доказывал, что предъявления права со стороны народа именуются скопом, а выполнение обязанностей – круговой порукой? И все мы находили эту шутку очень милою!

Рукопись содержит ряд помет и конспективных замечаний, относящихся к построению и развитию сюжета. Воспроизводим одно из них:

У нас нет нервов для понимания народных страданий. В нас легко уживаются: и отвлеченные понятия о славе, и прогони нас хоть в Саратов.

Печатные редакции главы имеют лишь незначительные различия, главным образом стилистического характера. Только в первом отдельном издании цикла (1878) Салтыков несколько сократил очерк по сравнению с журнальной редакцией. Приводим соответствующие варианты журнального текста:

К стр. 193. В абзаце «Только тогда я вздохнул...» фраза «...Балалайкин, с свойственной легкомыслию неблагодарностью, тотчас прекратил свои посещения ко мне...» в журнале сопровождалась примечанием:

Единственный случай, благодаря которому наши отношения возобновились, описан мною в «Современной идиллии», которая – скажу кстати – будет окончена в самом непродолжительном времени. Авт.

К стр. 199. В абзаце «– Моралист – пожалуй» после слов «был счастлив за вас!»:

Но, к сожалению, в тайне вашего рождения участвовала и Стешка-цыганка, и я боюсь, что Стешкина вороватость и на будущее время возьмет в вас верх над репетилловским легкомыслием!

К стр. 200. В абзаце «– Махорка – это табак...» после слов «Мы с вами, конечно, не будем его курить, ну и господ офицеры...»:

– тоже, исключая, разумеется, тех, которые выслужились из сдаточных – те будут.

К стр. 201. В абзаце «Это было ужасно...» после слов «и кричат не только Балалайкину, но и мне, и Глумову, и всем»:

Вот отчего, быть может, у нас так часто связи, по-видимому, самые прочные, разрешаются дуэлями... не настоящими, разумеется, а на манер наших клубных единоборств. Терпит-терпит человек, год средства изыскивает, другой изыскивает – и вдруг мысль: а попробую, нельзя ли хоть единоборством наглеца урезонить?

К стр. 208. В абзаце «На днях, утром...» к фразе «взор мой упал на корреспонденцию из Махорска» имелось подстрочное примечание:

Само собой разумеется, что всю ответственность за верность сведений, заключающихся в этой корреспонденции, мы оставляем на ее авторе. Примеч. ред. газеты «Чего изволите?».

К стр. 208. В абзаце «Нам пишут из губернского города...» после слов «и тогда борьба с северным колоссом делается совершенно немислимою»:

если б даже вооружение его и заставляло желать многого.

К стр. 209. В абзаце «Никто, в течение...» после слов «Осману-Паше передал будто бы важную государственную тайну»:

открытие которой решило эфемерный успех турок под Плевной.

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru К стр. 211. В абзаце «С четверть часа мы...» вместо слов «а жида, напротив, галдели, что все веры хороши»:

и только при взгляде на махорку убеждались, что существует нейтральная почва, на которой возможно легкое примирение. Жиды всех называли братьями.

В очерке «На досуге», создававшемся и печатавшемся уже в обстановке начавшейся в апреле 1877 г. русско-турецкой войны, было продолжено развитие тем, намеченных в очерке «День прошел – и слава богу!» и приобретающих в новых условиях особую остроту и злободневность. Дешевая и поверхностная благотворительность, в которой упражнялись светские круги, едко заклеяна в образе дамочки-генеральши, «в четырех комитетах» участвующей, а «в одном даже председательницей». Особое возмущение прогрессивной части общества вызвали злоупотребления, хищничество, наглый грабж, вскрывшиеся в снабжении армии продовольствием, обмундированием, фуражом. Откликом сатирика на эту чудовищную практику, за которую народ расплачивался своей кровью и жизнью, явился образ проходимца Балалайкина и его приключения, окончившиеся для него полным успехом по части обогащения. Как показала действительность, это не было преувеличением.

Наряду с сатирическими картинками в произведении важное место занимают размышления Салтыкова об участи народа, его беззаветном героизме и вместе с тем страданиях, жертвах, которые он «терпел не только на полях сражений», но и «дома» в непрерывном труде, голоде, нищенском существовании. Устами Глумова писатель отвергает либеральную и реакционно-охранительную ложь о народе, от которого, как от «упругого кокона», отскакивают «все бедствия»: «Никакого кокона нет, а есть мириады отдельных единиц, из которых каждая за свой собственный счет страдает». В связи с участью народа осмыслиется писателем и роль интеллигенции, искренне сочувствующей народу, однако не имеющей реальных сил и возможностей изменить его положение. Салтыков говорит при этом не только о трудностях борьбы с реакционным режимом самодержавия, но и об измельчании, пассивности дворянского либерализма. Эти мотивы займут затем центральное место в «Дворянских мелодиях» и «Чужом толке».

Очерк «На досуге» вызвал весьма широкий поток откликов в печати. Наиболее содержательной следует признать статью М. Песковского на страницах «Русского обозрения». Отмечая умение Салтыкова откликаться на вопросы современности, критик писал: «На этот раз сатира его оказалась особенно веской, меткой и ядовитой», писатель «дает характерную картину отношения общества к войне». [173] Перечислив ряд тем и образов произведения («патриотизм» высших классов, «долгоязычие» прессы, спекуляции и др.), критик продолжает: «Нужно быть именно таким талантливым наблюдателем и анализатором текущей русской жизни, как Щедрин, для того чтобы так просто, без рисовки и фраз, сказать голую правду в такой простой и сильной форме...» [174] В продолжении статьи, посвященной второй части очерка, М. Песковский характеризует Балалайкина как «тип современного общественного и государственного мошенника». [175] Автор статьи несогласен с теми, кто оценивает произведение только «со стороны смеха»: «Такое отношение слишком мелко <...> Щедрин слишком серьезен, слишком умен для праздного, резвого только смеха...» [176]

В других органах печати также отмечалась точность зарисовок сатирика. Упомянув о «благотворительном патриотизме», обозреватель «Русской газеты» утверждает, что «эти картинки выхвачены из жизни...». [177] Критик «Пчелы» пишет: «Тип молоденькой генеральши схвачен г. Щедриным необыкновенно талантливо». [178] Обобщающее значение фигуры Балалайкина подчеркнул А. М. Скабичевский: «Дело идет <...> о той злой саранче гнусных аферистов, злодеев наживы, которая налетела на театр военных действий...» [179] Рецензент «Северного вестника» считает, что действительность дает типы еще более злое, чем Балалайкин. [180] О том же персонаже рецензент «Сына отечества» пишет: это «сатира на те уродливые и ненормальные явления в среде нашего общества, которые успели обнаружиться по поводу настоящей войны». [181]

Стр. 159. Мы – дети того времени... – Подразумевается эпоха крепостного права и соответствующее привилегированное положение помещичьего класса и других имущих слоев общества.

Я помню... 1853–1855 годы. Помню ликующих жуликов... – Речь идет о периоде Крымской войны (см. об этом очерк «Тяжелый год», т. 11 наст. изд.).

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)  
Признание относительной свободы мнений... – Имеется в виду цензурный устав 1865 г. «О даровании некоторых облегчений и удобств отечественной печати»; однако новый устав практически не помешал царской цензуре в преследовании передовой литературы, Салтыков это хорошо знал на собственном опыте.

Стр. 161...на благословенных берегах Карповки – речка на окраине тогдашнего Петербурга, ныне она – в черте города.

Стр. 162...в виде французских эссов... – то есть в виде буквы S.

...карсель – лампа, снабженная особым приспособлением для подачи масла.

Стр. 166...в Смольном с шифром вышла... – то есть окончила с отличием институт для благородных девиц при Смольном монастыре; шифр-знак отличия в виде вензеля императрицы, выдававшийся отлично окончившим курс институткам.

Стр. 175...наши... жён-жаны... – молодые люди (от франц. *jeunes gens*).

Стр. 177...сначала на Филиппополь – город в южной Болгарии, находившийся под властью турок.

...потом на Адрианополь – турецкий город (Эдирне) северо-западнее Константинополя.

Стр. 180. ни шелега... – Шелег – старинная монета, вышедшая из употребления.

...по окладному листу не уплатил... – В окладном листе указывалась сумма налога, взимаемая с налогоплательщика.

Стр. 181. Ты на какой ленте-то ожидал? – Речь идет об орденах: на ленте с черными полосками по краям – орден св. Владимира, с белыми полосками – св. Станислава.

...обкорми ты армии и флоты гнилыми сухарями... – Здесь и далее речь идет о злоупотреблениях в снабжении армии во время русско-турецкой войны. Тыловые должности зачастую комплектовались «лицами, которые не годились для службы в строю; офицерами, уволенными в запас или отставку за пьянство, воровство и пр. Насыщение учреждений лицами подобного рода неизбежно создавало в тылу условия, в которых процветало воровство и другие преступления» (Н. И. Беляев, Русско-турецкая война 1877–1878 гг., М. 1956, стр. 91).

Стр. 182...говорили о короле Луи-Филиппе... переходили к Мирабо... к декларации прав человека. – Революционная история и современная жизнь Франции всегда привлекали внимание Салтыкова, как олицетворение исторической активности французского народа и передовой общественной мысли. Вместе с тем обсуждение судеб Франции, особенно в связи с торжеством в ней буржуазного строя, неизменно увязывалось с раздумьями о пореформенном развитии России. Широкое освещение эта тема получила в цикле «За рубежом» (см. т. 14 наст. изд.). «Декларация прав человека и гражданина» была принята Национальным собранием Франции в результате победы буржуазной революции в 1789 г.

...говорили о самих себе, о каких-то надеждах, разлетевшихся в прах... – Речь идет о неоправдавшихся ожиданиях, связанных с подготовкой и проведением крестьянской и других реформ 60-х годов; Салтыков, несомненно, имел в виду и собственные иллюзии, которые он питал в первые годы после возвращения из вятской ссылки.

Теперь у них... на чистоту Мак-Магония пойдет! – В мае 1877 г. монархистски настроенный президент Франции Мак-Магон заставил уйти в отставку премьер-министра умеренного республиканца Жюль Симона и поставил во главе нового кабинета министров монархиста герцога де Брولьи.

...Мак-Магон и господин Базин – одно ли и то же это лицо? – Салтыков намеренно сблизает имена маршала Мак-Магона, в качестве главы Франции игнорировавшего ее подлинные национальные интересы, и маршала Базена, предательски сдавшего во время франко-прусской войны 1870 г. крепость Мец. Арестованный в 1872 г. и приговоренный к смертной казни, замененной двадцатилетним заключением, он сумел бежать в 1874 г. О Базене и его бегстве см. также в «Благонамеренных речах» (т. 11 наст. изд.) и «Письмах к тетеньке» (т. 14).

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Стр. 183. Плевна – крепость в Болгарии. Неоднократные бои за овладение Плевной в 1877 г. (20 и 30 июля, 11 сентября) стоили русской армии многих жертв. После длительной осады была взята русскими 28 ноября (10 декабря).

Ловча – крепость южнее Плевны; 14 (26) июня была взята турками.

Шипкинский проход – Шипкинский горный перевал через Балканский хребет. Бои за перевал были особенно длительными; русские передовые войска, взявшие перевал 19 июля 1877 г., были затем оттеснены турками; части, оборонявшие Шипку, будучи отрезаны от русской армии, вместе с болгарскими ополченцами 17 сентября 1877 г. отбили атаки турок и затем выдержали осаду в течение четырех месяцев, неся тяжелые потери как от военных действий, так и от болезней, морозов, голода. Окончательно турки были разбиты под Шипкой в январе 1878 г.

...под Казанлыком, под Ени-Загрой... – города в Забалканье; в результате боев, развернувшихся в конце июля – начале августа 1877 г., русские войска и болгарское ополчение понесли тяжелые потери.

Вот и Гамбетта... в кутузку засажен... – французский буржуазный либеральный деятель Гамбетта в 1877 г. был осужден на три месяца тюремного заключения за выступления против политики Мак-Магона.

Стр. 184...Кимвал бряцающий – библейское выражение (из 1-го послания коринфянам): «Если я говорю языком человеческим и ангельским, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал бряцающий». Кимвал – музыкальный ударный инструмент.

Стр. 188. Апострофа – стилистический оборот, обращение к какому-либо лицу.

Стр. 189...сделаться червонным валетом... – «Клуб червонных валетов» – шайка мошенников из прокутившейся дворянской молодежи, суд над нею происходил в 1876 г. и вызвал широкий отклик в печати и литературе; название «червонный валет» стало с тех пор нарицательным.

Стр. 191. Ипполит Маркелыч – Ипполит Маркелыч Удушьев, персонаж, также «пересаженный» Салтыковым из комедии Грибоедова. См. о нем т. 11, стр. 625.

Стр. 192...ссылался на свой «Взгляд и нечто»... – ср. в «Горе от ума»:

Его отрывок, взгляд и нечто.  
О чем бишь нечто? – обо всем...  
(д. IV, явл. 4)

...из водевилей Репетилова... – о сочинении водевилей Репетиловым говорится у Грибоедова.

...Щепкин... говорит, что...русская сцена пропахла овчинным полушубком! – Сценическое новаторство Островского было принято не всеми актерами старой школы; Щепкину приписывалось мнение, что при Островском театральные подмостки «пропахли дегтем смазных сапог и кислым запахом овчинных полушубков» (см. С. С. Данилов, Очерки по истории русского драматического театра, М. – Л. 1948, стр. 353).

...куплет из «Стряпчего под столом» – водевиль Д. Т. Ленского.

Стр. 193. Изгнанный из лица Каткова... – см. прим. к стр. 92.

...когда был объявлен скорый и правый суд... – Имеются в виду новые судебные порядки, введенные реформой 1864 г.

Стр. 198...даже тех десяти процентов, которые получают Коган, Горвиц, Греггер и компания. – Снабжение Дунайской армии в Румынии мукой, чаем, сахаром и фуражом взяло на себя частное товарищество Греггера, Горвица и Когана, которое получало 10 % комиссионных от суммы закупок по ценам, сложившимся на рынке. Все это создавало почву для массы злоупотреблений и хищничества (см. Н. И. Беляев, Русско-турецкая война 1877–1878 гг., стр. 93–94). Критик «Дела» П. Н. Ткачев в статье об очерках Салтыкова писал: «Спекуляции эти наглядно показали степень морального развития известных классов нашего общества, вызвали хотя и робкое, но тем не менее почти единодушное осуждение со стороны общественного мнения и прессы» («Дело», 1878, № 1). Упоминаемый ранее в очерке Новосельский – одесский городской голова, спекулировавший на военных поставках в 1877–1878 гг.

Стр. 199...дело Московского учетного банка... – Процесс по делу о крахе Московского коммерческого ссудного банка проходил со 2 октября по 2 ноября 1876 г. и выявил чудовищную картину злоупотреблений, прямого мошенничества директоров Ландау, Полянского и др. «Героем» процесса был Струсберг – ловкий железнодорожный делец, прусский подданный, получивший в банке ссуду около 7 млн. рублей. По приговору он отделался высылкой за границу. Весь ход суда широко освещался в русской печати. Суворин опасался, что процесс может уменьшить интерес общества к Восточному вопросу, о самом же деле писал: «Несколько крупных воров попало – вот и весь смысл дела» («Новое время», 1876, № 215, 3 (15) октября).

Стр. 200...бурмицким зерном... – Бурмитское зерно – разновидность жемчуга, «крупная, окатистая жемчужина» (В. И. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, т. 1, стр. 143).

Стр. 202. «Твой смертный час! твой гро-озный час!» – из арии Сусанина в опере «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») М. И. Глинки.

Стр. 203...пойдем к Палкину – в ресторан на углу Невского и Владимирской в Петербурге.

Стр. 204...наши Заманиловки, Погореловки, Проплеванные... – названия деревень; Заманиловка – так назвал Чичиков в «Мертвых душах» Гоголя Маниловку. Деревня Проплеванная фигурирует в произведениях Салтыкова – «Дневник провинциала в Петербурге», «Современная идиллия».

...Струсберги да Овсянниковы... – о Струсберге см. прим. к стр. 199. С. Т. Овсянников – крупный хлеботорговец, купец первой гильдии, в 1874 г. с мошенническими целями совершил поджог арендованной им и его компаньоном паровой мельницы в Петербурге. О судебном процессе по делу Овсянникова см. А. Ф. Кони. Собр. соч., т. 1, М. 1966, стр. 37–45.

...Мстислав да Ростислав... Добрыня да Блуд... – Мстислав и Ростислав – часто встречавшиеся имена древнерусских князей; Добрыня, Блуд – древнерусские языческие имена.

Стр. 207...Моисеев закон... – Моисей (библ.) – судья и законодатель еврейского народа.

Стр. 208...«Чего изволите?», газета ежедневно-либеральная... – см. прим. к стр. 68.

Стр. 209...за чтением «Красы Демидрона». – О «Демидроне» см. прим. к стр. 92.

Стр. 210...носить на спине изображение бубнового туза. – Бубновый туз – здесь: знак осужденного на каторжные работы, красный четырехугольник, нашивавшийся на спину арестантского халата.

### III. Тряпичкины-очевидцы

Впервые – ОЗ, 1877, № 8 (вып. в свет 23 августа), стр. 532–570. Подпись: Н. Щедрин.

Сохранились два фрагмента черновой рукописи: «Не видно ни пармезанов, ни анчоусов <...> Скольких драгоценных и поистине умилительных картин мы лишаемся случая быть свидетелями» и «Да, печальна участь русского корреспондента! <...> вместо Чебоксар возвратиться в Васильсурск!». Отличия этих фрагментов от соответствующих мест печатного текста (стр. 216–221 и 231–242) незначительны. При подготовке рукописи к печати из журнального текста было удалено упоминание в главе «Васильсурск» об А. Ф. Головачеве в качестве малоазиатского корреспондента «Северного вестника», а также о цензурном ведомстве.

В первом отдельном издании (1878) Салтыков произвел ряд изменений в тексте очерка. В частности, было снято (стр. 219, абзац «По рассказам...») подстрочное примечание к фразе «А сверх того <...> дадут солидный урок»:

Мы тоже в этом вполне уверены. Недавно мы имели случай быть свидетелями, как один из тверских либералов сравнивал генерала Черняева с генералом Гарибальди: это – уже несомненное доказательство, что путь заблуждений покинут навсегда. Примеч. редакции газеты «Краса Демидрона».

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)

Кроме того, в издании 1878 г. Салтыков ввел в очерк следующие дополнения:

Стр. 212–213. Да, надо сознаться <...> аресты, приостановки и проч.

Стр. 219. В абзаце «Рыбинск...»:

укрывшиеся после разгрома известного 1862 года <...> решить не берусь, но

Стр. 222. В абзаце «Я объяснил...»:

потому что существует еще седьмая великая держава <...> прекращает их деятельность по усмотрению.

Стр. 243. В абзаце «Однако он усомнился...»:

но не прелюбодейственного.

Эти дополнения свидетельствуют о том, что при подготовке текста отдельного издания Салтыков усилил обличительное звучание очерка, коснувшись главным образом цензурной политики самодержавия.

В дальнейшем текст очерка изменениям не подвергался.

В настоящем томе очерк печатается по тексту издания 1885 г. с восстановлением по рукописи упоминания «цензурное ведомство» (стр. 219, абзац «Рыбинск...»), замененном в журнале безличным «кто-нибудь» (в отдельных изданиях: «кто-либо»).

Во время русско-турецкой войны в действующую армию были впервые допущены специальные корреспонденты русских и иностранных газет. Получать корреспонденции непосредственно с места военных действий стремилась каждая мало-мальски значительная газета. Иметь своего корреспондента значило увеличить число подписчиков, добиться большей популярности. Несомненно, наличие таких корреспондентов улучшило информацию о ходе войны. Однако в целом газетная пресса, освещавшая военные события, давала пеструю и разноречивую картину действительного положения вещей. Буржуазно-либеральная и реакционная печать отличалась беспринципностью и угодливостью перед правящими кругами, соответственным был и облик значительной части корреспондентов. Салтыков, превосходно зная текущую газетную прессу и искусно использовав лишь намеченную Гоголем в «Ревизоре» эпизодическую фигуру мелкого петербургского литератора, приятеля Хлестакова, дал в очерке «Тряпичкины-очевидцы» собирательный образ газетчика, отправившегося на театр военных действий, но так до него и не добравшегося.

Уже в современных откликах на очерк делались попытки указать реальные источники очерка, в частности, прототипы корреспондентов Подхалимовых 1-го и 2-го. Действительно, Салтыков мог иметь в виду вполне конкретный материал. На страницах «С.-Петербургских ведомостей» длительное время печатались корреспонденции П. Трофимова «С дороги на Дунай». Эти корреспонденции так затянулись, что автор их был вынужден дать в конце концов специальное объяснение читателям: «Думаю, что это мое последнее письмо с дороги, рассчитываю очень скоро быть в действующей армии и тогда начну мой дневник специального корреспондента, который буду отсылать при первой возможности». [182] Сама эта корреспонденция, помеченная «Из Букарешта, 20 августа», повествует... о Петербурге! «Причина же заключалась в том, – сообщает автор, – что необходимо было мое присутствие в Петербурге, и я, проехав в оба конца более 5000 верст, посмотрел в Ботаническом саду на распутившуюся *Victoria regia*, прозяб дня четыре в Северной Пальмире и опять вернулся в благодатный климат Румынии...» Все это во многом перекликается с содержанием «дневника» Подхалимова 1-го. Недаром «С.-Петербургские ведомости» особенно запальчиво отвечали на очерк о «Тряпичкиных-очевидцах»: «Может быть, имеются такие корреспонденты, которых описывает Щедрин; но мы, по крайней мере, о таких не слыхали, и вообще не наши корреспонденты виноваты, что они доставляют сведения несвоевременно, а виноваты те же обстоятельства (намек на цензуру. – Н. С.), которые из почтенного сатирика делают карикатуриста и пасквильанта». [183] Можно полагать, что именно эту газету имел в виду рецензент «Новостей», когда писал о «Тряпичкиных-очевидцах»: «Краса Демидрона» является «весьма прозрачным псевдонимом одного очень распространенного органа...» [184] В самом очерке Салтыкова упоминаются также Вас.

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)  
Ив. Немирович-Данченко, бывший корреспондентом ряда газет, и – в черновой рукописи – А. Ф. Головачев – корреспондент «Северного вестника».

Несмотря на фельетонный и шаржированный характер «корреспонденции» Подхалимова, в них затронуты серьезные вопросы, связанные с настроением русского общества во время русско-турецкой войны. Таковы страницы, посвященные самодуру-купцу, рассуждения священника Николая, картины, характеризующие положение народа.

Очерк «Тряпичкины-очевидцы» вызвал большое количество откликов. Одни органы печати спешили отвести удар от себя, другие – пытались оспорить нарисованную сатириком картину. С пространной рецензией на страницах «Нового времени» выступил В. Буренин. Отношение Салтыкова к «Новому времени» в этот период было уже резко отрицательное (см. прим. к стр. 68). Позиция писателя вряд ли была секретом для Суворина и Буренина, сатира о Тряпичкиных метила и в руководителей «Нового времени». В этих условиях они сочли за лучшее присоединиться к похвалам сатирику. Его очерк Буренин назвал «выдающейся вещью» и не согласился с А. М. Скабичевским, который полагал, что Щедрин «дал промаха». [185] Писатель, заявляет рецензент «Нового времени», «прямо попал в цель, обобщив свою сатиру и тем придав ей настоящий вес и серьезное значение, при всей забавности и шаловливости ее формы. Сатирический фельетон даровитого автора направлен вовсе не на корреспондентов с театра войны – его сатирическое значение гораздо шире, – он рассматривает вообще то положение русской прессы и даже, если хотите, русского общества, в каком оно находится по отношению к событиям борьбы на Востоке...». [186] В подтверждение своей мысли рецензент приводит рассуждения священника («Духом мы высоко парим, но немощная плоть паренью нашему немало препон представляет»), характеристику «кутузки», суждения купца, «жертвующего» на славян из общественных сумм. В упоминавшейся статье М. Песковского (в связи с очерком «На досуге») новая сатира Щедрина используется для характеристики всей реакционной прессы: «Это воинственно-охранительная печать, это клика беспардонных шовинистов, извращающих и развращающих общественное внимание и понимание». [187] К этой прессе критик относит и «Новое время». Корреспонденции самого Буренина он характеризует как «одно из проявлений литературного молчалинства...». [188] Весьма расширенно истолковывает очерк Салтыкова и С. А. Венгеров, выступавший тогда на страницах «Русского мира». «Предмет сатиры, – пишет он, – общая физиономия журналистики... схваченная с самой невыгодной ее стороны – именно, со стороны навязчивого стремления сойти в толпу, захватить улицу, овладеть погребными и полпивными...» [189] Положительную рецензию (без подписи) поместил «Сын отечества». «...В очерке г. Щедрина, – пишет рецензент, – юмора много, а жизненной правды еще больше. Здесь газетный дух, здесь газетным духом пахнет. Разве не узнаете наших «корреспондентов», способных дать Хлестакову сорок очков вперед?» [190] Рецензент «Современных известий» Г. А. Ларош указывает на особенности формы сатиры Салтыкова: «Как и всегда, форма этой сатиры страшно преувеличена. Щедрин <...> нисколько не заботится о правдоподобности и отосительной верности, которые он выставляет на сцену. Он старается главным образом схватить смысл специального явления и выяснить причины, от которых оно произошло». [191] Положительно отозвались об очерке, обращая внимание на различные моменты его содержания, «Новороссийский телеграф» (1877, №№ 769, 811, 8 сентября и 30 октября), «Вечерняя почта» (1877, № 61, 1 сентября), «Северный вестник» (1877, № 128, 6 сентября).

Ряд органов печати вступил с Салтыковым в полемику. Как упоминалось выше, Скабичевский (псевдоним – «Заурядный читатель») считал, что «выстрел попал в двух-трех паршивеньких воробышков, а коршуны остались сидеть на дереве...». В конце отзыва критик уточняет, кого он имел в виду: «Что же касается до корреспондентов больших газет, до всех этих гг. Бурениных, Каразиных, Немировичей-Данченко и tutti quanti, представляющих безобразнейшую амальгаму чичиковщины, хлестаковщины, ноздревщины и маниловщины, то все эти господа остаются в стороне...» [192] Эту оценку подхватил, не ссылаясь на источник, «Кронштадтский вестник». [193] Недоброжелательно отозвался об очерке В. П. Чуйко:

«...очерк г. Щедрина неудачен по замыслу <...> общий тон – слишком фантастический, шутки мешают общему впечатлению...» [194] Не понравилась сатира Салтыкова рецензенту газеты «Волга»: «Все это очень забавно и остроумно, но далеко не бьет в цель. В лице Подхалимовых караются здесь какие-то жалкие пропойцы без роду, без племени <...> они заслуживают скорее горького сожаления, чем сатирического смеха». [195] По мнению С. И. Сычевского, сатирик впал в шарж, преувеличение: «...г. Щедрин продал право великого художника за чечевичную похлебку блестящей, но эфемерной сатиры...» [196]

Многочисленные, разнообразные и разноречивые отклики на очерк «Тряпичкины-очевидцы» отразили широкий читательский интерес к произведению, подчеркнули его большое общественное значение.

Стр. 212...на Дунай... и в Малую Азию... – Здесь говорится о двух главных театрах военных действий во время русско-турецкой войны: на Балканах, южнее и вдоль течения Дуная, и на Кавказе, вблизи и южнее русско-турецкой границы.

Главное управление по делам книгопечатания... – Речь идет о Главном управлении по делам печати при Министерстве внутренних дел, осуществлявшем руководство цензурой и надзор за типографиями, книжной торговлей и библиотеками.

...меттерниховскую пентархию... – Имеется в виду «Священный союз» пяти великих держав (России, Пруссии, Австрии, Англии, Франции), созданный в 1815 г. в результате победы над Наполеоном; большую роль в создании и в политике Священного союза играл австрийский канцлер Меттерних.

...еще покойный Ансильон (а у нас Иван Петрович Шульгин)... – Салтыков иронизирует над примитивными взглядами монархически настроенных историков, наставников будущих монархов Германии и России.

Стр. 213...душистым мока – сорт кофе.

Стр. 216...нужно иметь перо Немировича-Данченко... – Вас. И. Немирович-Данченко, плодовитый беллетрист, во время русско-турецкой войны был корреспондентом ряда газет, затем его корреспонденции составили книгу «Год войны» (тт. I–III, СПб. 1878–1879). Эти корреспонденции, отличаясь свежестью и живостью зарисовок, страдали подчас преувеличениями и погоней за внешними эффектами, чем и обусловлено ироническое отношение к ним Салтыкова.

...ни пармезанов... ни гомаров... – Пармезан – сыр из снятого молока, употребляющийся преимущественно как приправа к макаронам; гомары – омары, вид морских раков.

Стр. 218...что я содержателю вологодского буфета? что он мне? – пародирование высокопарной формы при ничтожности и банальности содержания корреспонденции Подхалимова 1-го. Ср. в «Гамлете» Шекспира об актере:

что ему Гекуба,  
что он Гекубе, чтоб о ней рыдать?  
(Акт II, сцена 2)

Стр. 219...остатки тверских либералов, укывшиеся после известного разгрома 1862 года... – Имеются в виду гонения, которым подверглись представители либерального тверского дворянства за адрес (2 февраля 1862 г.), в котором было высказано недовольство Положением 19 февраля (см. прим. к очеркам «Наша общественная жизнь» в т. 6 наст. изд., стр. 594).

...занимаются молочными скопами – то есть молочным скотоводством.

Стр. 220...к моему амфитриону (греч.) – гостеприимному хозяину.

Стр. 221. Кутузок уже нет... – ироническое замечание по поводу преобразования полицейских органов согласно «Временным правилам» об устройстве полиции, принятым 25 декабря 1862 г.

Стр. 222. существует еще седьмая <...> держава... – Подразумевается Главное управление по делам печати и вся система цензурных ограничений, направленная против малейшего свободомыслия в литературе и печати.

Стр. 223. Настоящими ли деньгами-то платят вам? Не гуслицкими ли? – Имеются в виду фальшивые деньги, изготовлявшиеся в селениях, расположенных по р. Гуслице в Богородском и Бронницком уездах Московской губернии. П. И. Мельников (Андрей Печерский) в «Очерках поповщины» пишет: «...Гуслицы и Вохна исстари носят заслуженную ими репутацию по части делания фальшивой монеты» (П. И. Мельников (Андрей Печерский). Полн. собр. соч., т. VII, СПб., стр. 209).

Стр. 224. Отчего наш рубль, теперича, шесть гивен на бирже стоит? – Денежное

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru обращение России было расстроено уже в результате Крымской войны. «Во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. правительство выпускало в обращение значительное количество кредитных билетов, вследствие чего курс кредитного рубля сильно упал. В 1879 г. он равнялся 63 коп. золотом» («История СССР», Первая серия, т. V, «Наука», М. 1968, стр. 143).

Стр. 226...завести общественные кассы... – Имеются в виду городские общественные банки, получившие широкое развитие в 70–80-х годах; в этих банках были часты случаи злоупотреблений деньгами вкладчиков (растраты, банкротства и т. д.).

Стр. 227...мы перешли через Дунай... – Основная переправа русских войск через Дунай была совершена 27 июля 1877 г. в районе Зимница – Систово; ранее, 22 июля, была осуществлена переправа на Нижнем Дунае, около Мачина.

Стр. 228...в Александрополь... (б. Гулери) – уездный город и крепость в Эриванской губернии в Закавказье.

Стр. 230...по случаю взятия Баязета... – Турецкая крепость Баязет была взята русскими войсками 30 апреля, однако русский гарнизон крепости в июле был осажден частями турецкой армии и лишь после двадцатитрехдневной тяжелой осады и больших потерь был освобожден эриванским отрядом 10 июля. Крепость Ардаган была взята русскими войсками 16 мая.

Стр. 232...с своими акколитами – так в древности назывались в римской церкви прислужники епископов и пресвитеров.

Стр. 237. Наши войска перешли за Балканы. Ура генералу Гурко! – Передовой отряд под командованием генерал-лейтенанта Гурко в результате боев 17–19 июля овладел Шипкинским горным перевалом через Балканы.

...незадолго перед тем прочитал роман Печерского «В лесах»... – Роман Мельникова (Печерского) «В лесах» первоначально публиковался в «Русском вестнике» (1871–1874), в 1875 г. вышел отдельным изданием. Далее в пародийном тоне излагаются некоторые детали повествования в романе.

...на меня напала «стрека» – овод.

Стр. 238...еще про покойного П. И. Якушкина рассказывали, что он целых два года ходил по Ветлуге... – Писатель-демократ, этнограф и фольклорист Якушкин начал путешествие по России с целью изучения народного творчества еще в 40-е годы. «При содействии и по указанию киреевского он отправился путешествовать в глухой Ветлужский уезд Костромской губернии...» (В. Базанов, Павел Иванович Якушкин, Орел, 1950, стр. 9).

...наша русская Лета... – Лета – в древнегреческой мифологии река забвения, воды которой заставляли умерших забывать земные страдания.

...по календарю Суворина... – Календарь, составленный А. С. Сувориным, издавался ежегодно с 1871 г. В нем даны справочные сведения о России, ее городах, главнейших правительственных и культурных учреждениях столицы и др.; сведения о Васильурске взяты из календаря на 1876 г.

Стр. 239. Инвалидные команды – существовали с 1796 г. для охраны внутреннего порядка в уездных городах, в 1864 г. переформированы в этапные и госпитальные команды, в 1875 г. упразднены.

Стр. 240...на пример малоазиатского корреспондента «Северного вестника» <...> о радушном приеме, оказанном ему кутаисским бомондом. – Имеется в виду корреспонденция А. Головачева от 22 июня 1876 г. из Кутаиси, в которой, в частности, речь идет о приемах в доме губернского предводителя князя Нестора Церетели: «Этот дом открыт для всего кутаисского общества во всякое время, и во всякое время князь и его супруга с одинаковым радушием встречают своих посетителей. Это – единственный пункт, где сходятся все партии, самые неприязненные, где непримиримые враги подают друг другу руки, играют в карты, ужинают и весело разговаривают. Я имел удовольствие два или три раза быть в доме князя» («Северный вестник», 1877, № 66, 5 (17) июля).

Стр. 243...отправлялся под Карс-то... – Карс – турецкая крепость. В результате осады

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) и штурма взята русскими войсками 6 (18) ноября 1877 г.

Стр. 245...«пленной мысли раздраженье» – из стихотворения Лермонтова «Не верь себе...» (1839).

...града неведомого взыскуем – библейское выражение (Послание к евреям, 13, 14).

«Lasciate ogni speranza» – из «Божественной комедии» Данте («Ад», III, 9).

Стр. 246...*alea jacta est* – слова Юлия Цезаря при переходе через р. Рубикон на границе Италии с Галлией.

Стр. 248...партесному церковному пению... – Партесный – многоголосный.

#### IV. Дворянские мелодии

Впервые – ОЗ, 1877, № 11 (вып. в свет 23 ноября), стр. 259–282. Подпись: Н. Щедрин.

Написаны «Дворянские мелодии», видимо, незадолго до публикации в журнале. В процессе работы Салтыков обратился к запрещенному цензурой очерку «Чужую беду – руками разведу», используя его начало в качестве первой главки «Дворянских мелодий».

Рукописи и корректуры не сохранились.

Готовя издание 1878 г., Салтыков сделал ряд сокращений в журнальном тексте. Приводим эти соответствующие варианты:

Стр. 251. В абзаце «Я принадлежу к поколению...» после слов «как и следовало ожидать – вымирают»:

ибо набег в область униженных и оскорбленных, несмотря на свою платоничность, все-таки не прошли для них даром. К числу вымирающих принадлежу и я.

Стр. 253. В абзаце «Очевидно, что не только об деле...» после слов «застала меня врасплох»:

что я не знаю даже, с какой стороны к ней подойти.

Стр. 256. В абзаце «Отыщите дилемму...» после слов «в обоих случаях – исчезнуть!»:

не оставив после себя ни следа, ни даже пустого пространства.

Стр. 257. В абзаце «Но увы!..» после слов «в четырех стенах»:

Да и это, пожалуй, еще слишком много: не сознает ли каждый из нас, что он, в сущности, уже давно умер и только забыли его похоронить?

Стр. 258. В абзаце «– И все-таки...» после слов «умирать надо – вот что!»:

На это четвертый возражает: «Ну, нет, с этим я не согласен. В нашем забытом существовании есть смысл, которого не могут видеть только люди, преднамеренно ходящие с закрытыми глазами. Мы – ходячий укор. В нас имеется брезгливость, в нас нашли убежище последние остатки стыда. А стыд не только наводит на размышления, но и производит известное практическое действие. Стыд – великое дело, господа!

Великое-то великое, да черта ли в том, что мы будем стыдиться один на один с самим собой. Кружимся мы целое столетие в четырех стенах, суесловим, сквернословим, – и ничего из этого не выходит!

Стр. 264. В абзаце «– Послушай, однако...» после слов «чувствуется надобность?»:

Или, быть может, это, с твоей стороны, – только мгновенное «пленной мысли раздраженье»?

Стр. 266. В абзаце «Глумов, очевидно, был доволен...» после слов «наверное огорчился бы ею»:

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)

и я хорошо сделал, потому что материя о стыде была еще далеко не исчерпана.

Стр. 267. В абзаце «– Да и не это одно...» после слов «ее ликований и торжеств!»:

Мы могли черпать полными руками и ничего не взяли...

Стр. 269. В абзаце «Братие! перед вами...» после слов «не устраивал из него водевиля с переодеванием»:

Он слышал новые песни и, ежели не имел умения вторить им, то, во всяком случае, соглашался, что его собственная песня спета.

В последующих изданиях изменений в текст не вносилось.

Главным в содержании очерка «Дворянские мелодии» является характеристика передовой дворянской интеллигенции, сформировавшейся еще в 40-е годы, в условиях крепостнической действительности и в обстановке общественного движения того времени.

Вопрос о месте человека 40-х годов в новых исторических условиях – в 60-е годы, а затем в 70-е годы – занял значительное место в литературе (в творчестве Некрасова, Тургенева, Достоевского и ряда других писателей). Не раз к данной теме обращался и Салтыков. Положительно оценивая те черты мировоззрения деятелей 40-х годов, которые связаны с проповедью идей Белинского, социалистов-утопистов, с развитием демократической мысли, Салтыков вместе с тем сурово осуждает ограниченность дворянского либерализма, его несостоятельность перед новыми запросами жизни, неспособность к активным практическим действиям. Облик представителей дворянского либерализма особенно проигрывал в сопоставлении с деятелями разночинского этапа в общественном движении – с революционными демократами 60-х годов, с участниками революционного народнического движения в 70-е годы. По убеждению Салтыкова, даже лучшие представители либеральной мысли 40-х годов не в силах и даже не имеют права судить о новом поколении революционной молодежи – и ввиду несоответствия своих воззрений требованиям времени, и потому, что мало практически представляют стремления и самоотверженную борьбу «новых людей». В связи с этим Салтыков осудил попытку Тургенева в «Нови» изобразить народническую молодежь (см. об этом в комментариях к очерку «Чужой толк», отзвуки этого осуждения есть и в «Дворянских мелодиях»).

«Дворянские мелодии» проникнуты пафосом неприятия современной социально-политической действительности, протестом против «ликующего хищничества». Они преисполнены вместе с тем сетованиями на бессилие и беспомощность этого протеста, исходящего от представителей честной, но в целом пассивной общественной мысли, связанной своими истоками с прекраснодушным дворянским либерализмом. Написанный с огромной искренностью и задушевностью, очерк Салтыкова был воспринят частью современников как своеобразная «авторская исповедь». Автобиографические мотивы в очерке несомненны. Однако было бы односторонним отождествлять революционно-демократическую позицию руководителя «Отечественных записок» с обликом повествователя в «Дворянских мелодиях», как и других произведениях цикла «В среде умеренности и аккуратности». Вместе с тем глубоко искренни и по-своему трагичны самокритические признания писателя в том, что он не в силах принять участие в практической деятельности нового революционного поколения: «...Не могу и не умею самоотвергаться. Не могу! Не умею! Это не претензия на оправдание, а факт». Эти горькие сетования займут значительное место в последующем творчестве писателя, вплоть до «сказки» «Приключение с Крамольниковым» и «Имярек» (в «Мелочах жизни»).

Сложные по своей идейно-философской и общественно-исторической основе, по эзоповским приемам повествования, «Дворянские мелодии» не получили должного истолкования в критических откликах современников, хотя в целом эти отклики были одобрительными. Некоторые из рецензентов видели в очерке автобиографическое произведение. Так, В. П. Горленко писал: «Это не рассказ и даже не очерк, а если можно назвать – исповедь...» [197] Рецензент «С.-Петербургских ведомостей» сетовал: «...Трудно понять, о себе ли лично или о лучших представителях дворянства говорит Щедрин в своей элегии». [198] На «непонятность» очерка жалуется и другой обозреватель: «Свою сатиру г. Щедрин закутывает в такие туманные фразы <...> что в конце концов сатира исчезает и остаются какие-то обрывки юмора, какие-то намеки, которых обыкновенно никто не понимает». [199] Некоторые критики выделяли в очерке

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) тему человека 40-х годов. «Щедрин рисует, – пишет В. П. Чуйко, – состояние барства и барской души в очень интересный период русской общественной жизни». [200] Этот же мотив очерка отмечает рецензент «Новороссийского телеграфа». [201] На тему «стыда» обратил внимание обозреватель «Сына отечества»: «В этом небольшом очерке Щедрин указывает то место и роль, которую играет в современном обществе человек, не потерявший еще способность стыдиться». [202]

Стр. 251...набеги... в область «униженных и оскорбленных». – Имеется в виду развитие демократических настроений в русском обществе и литературе 40-х годов (творчество Гоголя, «Бедные люди» Достоевского, «Деревня» и «Антон Горемыка» Григоровича, «Записки охотника» Тургенева и др.). В творчестве самого Салтыкова-Щедрина – это «Противоречие» и «Запутанное дело», участие в кружке петрашевцев, следование заветам Белинского.

Стр. 252...что-то такое было... Устремления, порывы, слезы, зубовой скрежет и проч. – Салтыков напоминает о периоде 60-х годов, о противоборствующих общественных настроениях, о своих идейных и творческих исканиях, отразившихся и в его произведениях того времени (ср., например, выражение «зубовой скрежет» с названием очерка «Скрежет зубовой», вошедшего затем в цикл «Сатиры в прозе» – т. 3 наст. изд.).

Стр. 254...вместо действительной драмы, родится нелепый фарс с переодеваниями... – Намек на изображение народнического движения в романе Тургенева «Новь», в котором Салтыков не находил верного отражения настроений и деятельности революционной молодежи (ср. эти и дальнейшие слова с письмом Салтыкова к П. В. Анненкову от 17 февраля 1877 г.). См. об этом также в прим. к очерку «Чужой толк».

...жизненных peregrinations. – Peregrination (от франц. *pérégrination*) – дальнее странствие.

...героям ревизских сказок и окладных листов – то есть трудовой, прежде всего крестьянской массе. См. прим. к стр. 8.

Стр. 258...древняя Лаиса – прославившаяся в Древней Греции гетера.

Стр. 259...лучшие умы Запада, и в особенности Франции... – Имеются в виду Сен-Симон, Фурье, Оуэн и другие выдающиеся мыслители, развивавшие в своих трудах идеи утопического социализма.

...охраняли крепостное логовище... – Речь идет о самодержавно-крепостнической реакции, принявшей особенно жестокий характер в связи с революцией 1848 г.

...от хладных финских скал до пламенной Колхиды... – неточная цитата из стихотворения Пушкина «Клеветникам России» (1831).

Стр. 261. Наш общий товарищ Сеня Бирюков... – персонаж, фигурирующий также в «Сатирах в прозе», «Помпадурах и помпадуршах», «Дневнике провинциала в Петербурге».

...Как мальчик кудрявый, резва... – начальная строка стихотворения М. Ю. Лермонтова «К портрету» (1840).

V. Чужой толк

Впервые – ОЗ, 1880, № 12 (вып. в свет 18 декабря), стр. 267–290. Подпись: Н. Щедрин.

«Чужой толк» – переработанная редакция очерка «Чужую беду – руками разведу», запрещенного цензурой (см. прим. к этому очерку).

Очерк «Чужой толк» был включен во второе издание книги «В среде умеренности и аккуратности» (1881) и с тех пор неизменно печатался в составе этого цикла. Лишь в изд. 1933–1941 он был выведен из основного корпуса произведения, а на его месте помещен очерк «Чужую беду – руками разведу», печатавшийся по тексту женеvских изданий Элпидина. Это решение представляется необоснованным. Во-первых, следует учитывать, что краткое изложение очерка, запрещенного цензурой, все-таки увидело свет в отдельных изданиях в виде шестой главы «Господ Молчалиных»; во-вторых, значительная часть текста очерка была использована в

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru других произведениях, также вошедших в состав цикла «В среде умеренности и аккуратности»; в-третьих, основное содержание и идея очерка «Чужую беду – руками разведу» были таким образом все же донесены до читателя, хотя и в несколько иной форме, чем предполагалось сначала. Учитывая эти обстоятельства, не представляется возможным нарушать сложившуюся в прижизненных изданиях композицию книги, внутреннюю взаимосвязь ее глав в той редакции, какую оставил нам автор.

Центральная проблема очерка – революционное движение 70-х годов: подавление его полицейскими силами самодержавия, семейные драмы пострадавших в борьбе с царизмом и вопрос об отношении к исканиям и борьбе нового революционного поколения представителей старого дворянского либерализма.

Из переписки Салтыкова ясно, что очерк во многом продиктован полемикой с романом Тургенева «Новь», вызвавшим острую борьбу мнений при своем появлении. Из писем Салтыкова к А. Н. Энгельгардту от 20 января 1877 г. и к П. В. Анненкову от 17 февраля, 2 и 15 марта того же года известно, что у Салтыкова, революционного демократа, вызвал протест тот «суд» над революционерами 70-х годов, который он усмотрел в романе. «В февральской книжке <...>, – сообщал Салтыков 17 февраля Анненкову, имея в виду публикацию очерка «Чужую беду – руками разведу», – Вы найдете (ежели найдете) изложение моих мыслей и чувств не по поводу «Нови» – сохрани меня бог! – а вообще об отношениях, в которых мы, люди отживающие, должны находиться к современности. Я думаю, что единственная наша роль – опрятность. В сочувствии нашем никто не нуждается <...> а от глумления не мешает воздерживаться». В этом письме ясно определены тон и содержание очерка. В письме от 15 марта писатель сделал новое пояснение: «Вы, пожалуйста, не думайте, что я хотел критику на «Новь» писать. Нет, я просто хотел изобразить, какое должно возбуждать чувство в человеке сороковых годов, воспитанном на лоне эстетики и крепостного права, но по-своему честном, зрелище людей, идущих в народ. Сознаю откровенно, что мои мысли на этот счет – совершенно противоположные тому положению, которое избрал для себя Тургенев. Но об «Нови» я ни одним словом не упомянул <...> свой рассказ я назвал так: «Чужую беду – руками разведу» – это единственное, что может представлять собой некоторый намек». Некоторые «намек», однако, нашли позднейшие комментаторы в ряде деталей рассказа: фигура Сени Бирюкова, эпизод с наставлениями Павлу Молчалину, переключки с первым письмом к Анненкову и др. [203] Тургеневу было известно об отношении Салтыкова к «Нови». В письме к М. М. Стасюлевичу от 1 (13) февраля 1877 г. говорится: «Мне жаль, что Салтыков тоже ругает меня; но ведь тут ничего не поделаешь». [204]

Салтыков с глубоким вниманием и сочувствием следил за революционным движением народников. 15 марта Анненкову он писал о «Процессе 50-ти»: «Я на процессе не был, а, говорят, были замечательные речи подсудимых. В особенности одного крестьянина Алексеева и акушерки Бардиной. По-видимому, дело идет совсем не о водевиле с переодеванием, как полагает Иван Сергеевич <Тургенев>». Сочувственное отношение к народническому движению можно обнаружить во многих произведениях Салтыкова. Вместе с тем, не являясь непосредственным участником движения и не зная со всей полнотой взглядов и настроений революционной молодежи, он не считал возможным судить о ней и подсказывать ей какие-либо решения. Герой очерка оказывается беспомощным перед молодым Молчалиным, его либеральные наставления ничем не отличаются, оказывается, от поучений Молчалина-старшего и даже напоминают увещевания «церковных наставников».

Огромную полемическую силу очерка, даже в его подцензурной редакции, почувствовали как идейные противники Салтыкова, так и единомышленники.

Остро враждебно встретила очерк газета «Новое время». Для Буренина 80-х годов была неприемлема позиция, с которой сатирик обрушивался на дворянский либерализм. Ему не нравится и «преклонение» перед молодым поколением: «Дешево же продает себя и всех маститых и солидных либералов г. Салтыков!» [205] Для опровержения взглядов Салтыкова на молодое поколение Буренин демагогически использует высказывания Герцена из статьи «Журналисты и террористы» («Колокол», 1862, 15 августа), вырывая их из контекста и игнорируя конкретную историческую обстановку. [206]

А. И. Введенский очерк «Чужой толк» поставил в связь с рассказом А. О. Осиповича-Новодворского «Тетушка», где речь идет о полицейских гонениях на революционную молодежь. В сатире Щедрина, пишет критик, «тот же вопрос, поставленный в широких рамках и освоенный до глубины». [207] Рецензент «Русского курьера» отмечает: «Поистине роковой вопрос затрагивает Щедрин в своем очерке

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) «Чужой толк». [208] Яркую и сильную характеристику очерку дал К. М. Станюкович на страницах журнала «Дело»: «Это произведение <...> одно из лучших произведений нашего писателя. Это какой-то скорбный крик, вылетевший из наболевшей, измученной души невольного свидетеля недавнего времени, это – правдивая исповедь, звучащая безотрадными нотами отчаяния, охватившего среди удушливого маразма, когда мысль о смерти является все чаще и чаще, как единственный исход <...> Это трогательное признание лучшего представителя сороковых годов». [209] Касаясь отношения писателя к «новым людям», Станюкович пишет: «Щедрин не претендует на истолкование стремлений молодого поколения. Он прямо говорит, что он его не знает и протестует против всяких «этюдов о новых людях». [210] В заключение об очерке сказано: «Такая вещь, как «Чужой толк», останется историческим документом, поясняющим трагедию, переживаемую нами, и не скоро умрет в памяти людей как высоко талантливый скорбный протест среди кликов беззастенчивого хищничества». [211]

Следует иметь в виду, что в откликах на «Чужой толк» передовая печать была стеснена цензурными ограничениями, но и приведенные суждения свидетельствуют, что глубокий и во многом скрытый смысл произведения был понят и по достоинству оценен передовыми читателями.

Стр. 272...не могу и не умею самоотвергаться... – Под «самоотвержением» Салтыков понимал непосредственное участие в революционном движении.

Стр. 273...на факты самоотвержения... – Речь идет о героической борьбе революционеров-народников, ставшей особенно широко известной во время политических процессов 1876–1877 гг.

Стр. 276...насчет высылки Митхада-Паши... – Турецкий визирь Митхад-паша, как сообщали русские газеты, в январе 1877 г. был отстранен от власти и выслан из Константинополя.

Стр. 277. Стенографические отчеты газет знакомят нас с этими драмами... – В 1877 г. в «Правительственном вестнике» печатались отчеты о процессах над участниками народнического движения: в феврале – марте происходил «Процесс 50-ти», в октябре начался «Процесс 193-х» (окончен в январе 1878 г.).

Стр. 279. Фома неверующий – выражение, возникшее из евангельской легенды об апостоле Фоме, который усомнился в воскресении распятого Христа.

Стр. 284...мальчишка! негодяй! – бранные слова, которыми реакционная пресса и охранительный лагерь называли участников революционного движения. О «мальчишках», под которыми подразумевались деятели революционной демократии 60-х годов, см. цикл «Наша общественная жизнь» (т. 6 наст. изд.).

Владимира вторья... короной на Анны – ордена, которыми в царской России награждались чиновники.

Стр. 285...Какую-то Дизраэли новую ловушку сочинит? – Английский премьер-министр Б. Дизраэли во время русско-турецкой войны поддержал Турцию и Австро-Венгрию против России.

Стр. 287...«Звезда от звезды» да «ему же честь – честь...» – Здесь и далее («ина слава луне, ина слава звездам», «звезда же от звезды разнствует во славе») – цитаты из приветственной речи архиепископа Г. Кониского Екатерине II (1787), считавшейся образцом ораторского искусства. У Салтыкова – эзоповское обозначение верноподданнической политики «мудрости» (см. т. 11, стр. 602).

Стр. 288. Господина Черняева с Гарибальди сравнивали?... – Сравнение реакционного царского генерала Черняева, потерпевшего позорное поражение на посту командующего сербской армией, с вождем национально-освободительного движения в Италии Гарибальди явно иронично по отношению к политике царизма, использовавшего освободительную борьбу славянских народов в своих целях.

Стр. 291...по образу смерти Тразеи Пета... – Римский сенатор Луций Тразея Пет, глава стоической оппозиции при Нероне, был осужден на смерть и покончил с собой, вскрыв себе вены в присутствии друзей.

ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
В СРЕДЕ УМЕРЕННОСТИ И АККУРАТНОСТИ

<1>

Настоящий фрагмент рукописной редакции второй главы цикла опубликован Н. В. Яковлевым в кн.: Салтыков-Щедрин М. Е., Полн. собр. соч., т. XII, ГИХЛ, М. 1938, стр. 571–574.

Печатается по наборной рукописи, являющейся единственным источником текста. См. стр. 642 наст. тома.

Стр. 536...*motu proprio* – латинское выражение, многократно употреблявшееся Салтыковым («Благонамеренные речи», «За рубежом», «Верный Трезор» и др.). Источник выражения – папские буллы, где оно свидетельствует, что решение принято самим папой.

Стр. 537...я знал человека (он был наш сосед по имени), который по всем документам числился умершим? – Сюжет о помещике, сказавшемся умершим, разработан Салтыковым в восьмой главе «Пошехонской старины» («Тетенька Анфиса Порфирьевна»).

Стр. 538...с Молчалиным мира промышленного, с Молчалиным мира литературного и т. д. – Намеченный план дальнейшей разработки молчалинского типа не был осуществлен.

<2>

Впервые этот фрагмент четвертой главы цикла опубликован Н. В. Яковлевым – «Петроград», 1923, № 5, 25 июля, стр. 13–16 (публикация извлечений из передовицы «О числе и качествах городских»); «Язык и литература», т. 1, вып. 1–2, Научно-исследовательский институт сравнительного изучения литератур и языков Запада и Востока при Ленинградском гос. университете, Л. 1926, отд. IV, стр. 387–408 (полная публикация первой части и важнейших вариантов второй части главы).

Сохранилась наборная рукопись рукою Е. А. Салтыковой с исправлениями, дополнениями и подписью Салтыкова. По этой рукописи в разделе «Из других редакций» воспроизводится первая половина очерка в его первоначальной редакции, летом 1876 года подвергшаяся коренной переработке и редактированию (см. стр. 647).

Стр. 547...в надежде славы и добра... – начальная строка стихотворения А. С. Пушкина «Стансы» (1828).

Стр. 548...деспоты, как говорит Монтескье, охотно пренебрегают публичным мнением... – Суждения Монтескье, направленные против деспотизма, изложены в его сочинении «О духе законов» (1748).

Стр. 549...уж не национальной ли гвардии он хочет... – Национальная гвардия – отряды гражданской добровольческой милиции – впервые была введена в июле 1789 г., во время буржуазной французской революции.

Примечания

1

Ему следовало умереть!

2

ловкий трюк.

3

Фамусов. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

4

Фамусову. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

5

Чацкий. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

6

Чацкий. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

7

Время – деньги.

8

Хочешь – бери, хочешь – нет.

9

простите.

10

До свиданья.

11

Бедная Франция! Бедный король!

12

Оно все видит, оно все знает, оно повсюду нос сует!

13

Непременное условие.

14

непосредственное убеждение.

15

всеобщее голосование.

16

Конный строй.

17

Конский порядок.

18

щеголь.

19

соус по-нормандски.

20

настоящий каракуль.

21

Не правда ли?

22

честное слово, мне это грезилось всю ночь!

23  
как говорил великий Суворов...

24  
Мерзавцы!

25  
Не правда ли?

26  
кому ты это говоришь?

27  
прихлебатель.

28  
мой милый.

29  
В Провене, тру-ля-ля, собирают розы и жасмин, тру-ля-ля, и еще много кое-чего другого...

30  
Не правда ли, милая.

31  
нечто.

32  
«Уроков морали и литературы».

33  
болтовня.

34  
господа негоцианты.

35  
Ну, не правда ли, милая.

36  
эти имена принадлежат истории.

37  
И, наконец, Овсянников.

38  
вот настоящее слово!

39

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Корпия, мази, простыни...

40  
пуховая перина.

41  
но, наконец... на войне, как на войне!

42  
это мечта – не правда ли?

43  
наконец организовать что-нибудь...

44  
Тяжесть работы ложится, конечно, на мужчин.

45  
золотое сердце.

46  
человек с золотым сердцем!

47  
я больше не могу.

48  
мы кое-что знаем об этом!

49  
мази, корпия...

50  
В конце концов.

51  
милая.

52  
долга.

53  
вот я и взялась за дело!

54  
но что вы хотите?

55  
хорошие жены, прекрасные матери семейства.

56

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)  
и все мужчины нашего комитета.

57  
золотое сердце!

58  
мази, корпия, простыни...

59  
ах, простите!

60  
все... все! Мази, корпия...

61  
в своем кружке.

62  
это решено.

63  
милая.

64  
Болтают, смеются...

65  
Если это и неправда, то хорошо придумано.

66  
третье сословие.

67  
Хочешь – бери, хочешь – нет!

68  
программа.

69  
«Вот это вещь».

70  
«за» и «против».

71  
на войне, как на войне.

72  
низким басом.

73

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru  
высшее общество.

74

в стиле Домона.

75

умному достаточно.

76

Блан – содержатель игорного дома в Монте-Карло. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

77

Чтоб удовлетворить справедливым требованиям наших читателей, мы отправили корреспондентов на оба театра войны: на Дунай – г. Подхалимова 1-го и в Малую Азию – г. Подхалимова 2-го. Оба нам известны как молодые люди чрезвычайно талантливые, добросовестные и, главное, непьющие. Надеемся, что читатели не посетуют на нас за это новое доказательство наших забот об их интересах, которое стоит нам, при этом, довольно значительных издержек. Примеч. редакции газеты «Краса Демидрона». (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

78

Действительно, мы всегда утверждали это и очень рады, что живые наблюдения нашего корреспондента подтверждают наше мнение. Примеч. той же редакции. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

79

Хотя, с другой стороны, воздержание от употребления ввозных товаров должно иметь неминуемым последствием уменьшение таможенного дохода. Это тоже не мешает иметь в виду. Примеч. той же редакции. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

80

Дай-то бог! Примеч. той же редакции. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

81

Г-н Тряпичкин чересчур скромн. Он был не половым, а маркером, что предполагает уже значительно высшую степень развития. Примеч. той же редакции. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

82

Напротив того. Чем больше подобных фактов, тем лучше, и мы просим нашего корреспондента не стесняться себя. Но в то же время присовокупляем и другую покорнейшую просьбу: поспешить на Дунай. Примеч. той же редакции. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

83

Таким образом, помещенная нами в одном из предыдущих номеров телеграмма г. Подхалимова 1-го разъясняется. Он, действительно, телеграфировал из Кинешмы, а не из Кишинева, и мы глубоко извиняемся перед полевым телеграфным ведомством в той неосмотрительности, с какою поспешили обвинить его в неисправности, в которой оно оказывается совершенно невиновным. Впрочем, с одной стороны, это нас отчасти и радует, так как, по всем вероятностям, и те обвинения против телеграфного ведомства, которые проникли в иностранную печать, окажутся столь же неосновательными, как и наше, и таким образом означенное ведомство выйдет совершенно чистым в глазах просвещенной Европы. Затем, чтоб сложить с себя хотя часть ответственности перед читателями за поступки наших корреспондентов, мы заявляем: 1) что мы не только не одобряем странного образа действий г. Подхалимова 1-го, но даже строго порицаем его; 2) что мы не видим ничего любопытного, ни даже забавного в его корреспонденциях; напротив того, находим их

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru вполне неуместными, и если за всем тем печатаем их, то потому только, чтоб хотя отчасти восполнить издержки, употребленные нами на посылку корреспондентов; 3) что вместе с сим мы вторично и с строжайшею настоятельностью предлагаем г. Подхалимову 1-му прекратить свои блуждания и отправиться на театр военных действий – немедленно; и 4) что в этих же видах нами отправлено письмо к г. варнавинскому уездному исправнику, которого мы просим подействовать на г. Подхалимова 1-го путем убеждения, а буде это окажется недействительным, то подыскать на место его кого-либо из местных жителей, оказывающего склонность к правописанию, и немедленно отправить на Дунай, а нам телеграфировать об издержках, которые мы, без упущения времени, с благодарностью возвратим. Примеч. редакции «Краса Демидрона». (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

84

Это – наглая ложь, за которую мы, по окончании военных действий, непременно призовем г. Подхалимова к суду. Мы платим не по копейке, и по три копейки за каждую строку; сверх того, приняли на себя все путевые издержки, по расчету за место в вагоне 2-го класса, и кормовых по пяти рублей в сутки, за каждый проведенный в пути на месте военных действий день. Примеч. редакции той же газеты. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

85

Печальна, правда, но вместе с тем и вполне заслужена. Если мы желаем, чтобы нас уважали, необходимо, во-первых, чтоб мы сами выполняли принятые нами добровольно обязанности честно и добросовестно, не ставя лиц ни в чем не виновных в затруднительное положение пред подписчиками, а во-вторых, чтоб мы даже для выражения чувств восторга приискивали более приличные формы, а не впадали в крайности, которые позволяют, без нашего ведома, высаживать нас на пустынный берег Волги! Примеч. редакции газеты «Краса Демидрона». (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

86

Сотрудник наш приложил при этом даже план дома, в котором происходило сражение, с обозначением расположения враждующих сторон. Мы, однако ж, не воспроизводим этой карты на страницах нашей газеты и вновь убеждаем г. Подхалимова 1-го, не увлекаясь посторонними предметами, немедленно следовать к месту назначения. Примеч. той же редакции. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

87

На этом письмо обрывается. Оно не подписано г. Подхалимовым 1-м, но почерк его слишком хорошо знаком нам, чтоб мы могли хотя на минуту усомниться в принадлежности письма именно ему. Примеч. той же редакции. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

88

На сей раз мы даже не сопровождаем письма нашего корреспондента никакими комментариями, предоставляя читателям самим рассудить, с каким чувством мы его помещаем. Письма г. Подхалимова становятся, впрочем, короче и короче, что отчасти утешает нас. Примеч. той же редакции. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

89

Но пьяного. Примеч. той же редакции. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

90

И это письмо не дописано... вероятно, тоже по случаю паспорта?! Примеч. той же редакции. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

91

Отчего же не подольше? Примеч. той же редакции. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru  
92

Вот до чего велико невежество нашего корреспондента: он не знает даже, что инвалидные команды давно упразднены. Впрочем, для нас это дело ясное; вероятно, г. Подхалимов 1-й опять попал в гости к новому Ивану Ивановичу Тр., и тот показал ему, под видом инвалидной команды, своих переодетых приказчиков! То же. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

93

Так и есть, приказчики. Слышанное ли дело, чтобы инвалидная команда состояла всего-навсего из пяти человек? То же. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

94

То есть васильсурский Иван Иванович Тр., и не в манеже, конечно, а в каком-нибудь порожнем сараишке. То же. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

95

Уж давно там... пьяница! То же. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

96

Не десять ли? То же. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

97

Отроду, кроме квасу, ничего не пивали! То же. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

98

Не двадцать ли две, и притом не шампанского, а ерофеича? То же. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

99

А мы так крепко в этом сомневаемся, хотя, конечно, шутки васильурского Ивана Ивановича носят более гуманный характер, нежели шутки Ивана Ивановича – рыбинского. То же. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

100

Поехал в Нижний, а попал в Козьмодемьянск, как доказывает вчерашняя телеграмма, извещающая о переходе через Балканы. Посмотрим, чем-то кончится эта новая Одиссея?! То же. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

101

Мы беспрерывно получаем письма от наших подписчиков, в которых последние укоряют нас за то, что мы, вместо действительных известий с театра войны, печатаем какую-то фантастическую дребедень. Просим, однако ж, войти в наше положение. В свое время мы сделали все зависящие распоряжения, чтоб получать самые свежие и точные сведения с обоих театров войны, и, положа руку на сердце, можем сказать, что не щадили при этом ни трудов, ни издержек. Предприятие это нам не удалось – это правда; но нужно же нам вознаградить себя хотя за понесенные издержки, ни говоря уже о трудах!! То же. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

102

недоразумения.

103

Вот до чего может довести неумеренное употребление алкоголя! То же. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

104

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
И нас в том удостоверил, а на поверку выходит, что имел в предмете  
прелюбодеяние!! То же. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

105

И откажем! И не только Подхалимову 1-му, но и Подхалимову 2-му! В этом читатели  
наши и сомневаться не должны! То же. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

106

Да-с, вон оно куда! Мы не щадим ни трудов, ни издержек, имея в виду полезные  
цели, а вместо того наши деньги оказываются косвенным орудием для приведения в  
исполнение постыдных предприятий! То же. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

107

Непрененно! после дождичка в четверг! То же. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

108

Не трудитесь, сделайте милость! Лучше в Кинешму съездите да паспорт выручите! То  
же. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

109

Так непременно и будет. То же. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

110

Веселые люди! даже в столь несомненно критических обстоятельствах – и то находят  
повод для смеха! То же. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

111

Никогда! *Lasciate ogni speranza!* То же. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

112

жребий брошен!

113

Ах, господа, господа! Не в том дело, что вы при свидании выпили. И выпить и  
закусить можно, да в меру, в меру, в меру! То же. (Прим. М. Е.  
Салтыкова-Щедрина.)

114

Насилу-то догадались! То же. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

115

А кто виноват? То же. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

116

А мы так думаем, что вы преспокойно останетесь в Чебоксарах, влекомые страстью к  
женскому полу, а ежели и попадете куда-нибудь, то не ни Дунай, а в укромное  
место, чем ваша Одиссея и кончится. То же. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

117

Пусть тебе земля будет пухом.

118

Рассказ этот был написан еще в 1877 году, но по обстоятельствам не мог быть в то  
время напечатан. Началом его я, однако ж, воспользовался, то есть положил его в

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
основание другого моего рассказа: «Дворянские мелодии». Ныне считаю нелишним  
напечатать предлагаемый рассказ в его первоначальном виде, причем извиняюсь  
перед читателями, что часть его им уже известна. (Прим. М. Е.  
Салтыкова-Щедрина.)

119  
на первых ролях.

120  
мой милый.

121  
собственным движением.

122  
непременное условие.

123  
да здравствует Мак-Магон.

124  
бедная Франция! бедный король!

125  
образ жизни.

126  
равными себе.

127  
Городская дума.

128  
делай, что должен, достигнешь того, что сможешь.

129  
Н. К. Михайловский, Литературно-критические статьи, Гослитиздат, М. 1957, стр.  
527.

130  
Е. Покусаев, Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, Гослитиздат, М. 1963, стр.  
301.

131  
Исключение составляет сатира «Проект современного балета» (1868; «Признаки  
времени»), где Хлестаков олицетворяет «Отечественный либерализм».

132  
Ф. М. Достоевский, Полн. собр. художественных произведений т. 11, ГИЗ, М. – Л.  
1929, стр. 422–423.

133  
Н. Пиксанов, Литературное наследие Салтыкова. – В кн.: М. Е. Салтыков (Щедрин),  
Страница 241

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Сочинения, ГИХЛ, М. – Л. 1933, стр. 25.

134

Я. Эльсберг, Салтыков-Щедрин, Гослитиздат, М. 1953, стр. 333–334.

135

Е. Покусаев, Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, Гослитиздат, М. 1963, стр. 293.

136

И. А. Гончаров, Собрание сочинений в 8-ми томах, т. 8, Гослитиздат, М. 1955, стр. 33.

137

Там же, стр. 18.

138

Там же, стр. 30–31.

139

Там же, стр. 33.

140

Там же, стр. 30–33.

141

Там же, стр. 32.

142

Там же, стр. 33.

143

М. П. Погодин, Простая речь о мудреных вещах, изд. 3-е, испр. и умноженное, М. 1875, стр. 16. (См. также: Е. Покусаев, Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, М. 1963, стр. 293).

144

Четвертая глава была сатирой не только на либеральную журналистику; косвенным образом она высмеивала и цензуру и потому была запрещена в сентябрьской книжке «Отечественных записок» 1875 г. Появилась в печати в измененной редакции только через год.

145

Отметим интересный факт влияния революционного движения молодежи на работу Салтыкова над «Господами Молчалиными». В журнальном тексте первой главы было такое место о Молчалиных-детях: «Эти птенцы – их участь уже определена заранее. Это опять Молчалины, которым предстоят те же камни преткновения, те же классификации и та же нечеловеческая работа приручения, о которой сейчас поведем речь» (ОЗ, 1874, № 9, стр. 221). События внесли поправку в суждения сатирика, он отбросил это место в отдельных изданиях. Вообще в «Господах Молчалиных» сатира вовсе не касается молчалинских детей, напротив, о них говорится с большой симпатией.

146

Рассказ, написанный в 1877 г. (для № 2 «Отечественных записок»), по своему

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) содержанию является финалом «Господ Молчалиных», но он не был пропущен цензурой. Последняя, шестая глава «Господ Молчалиных», появившаяся в первом отдельном издании цикла «В среде умеренности и аккуратности» (1878), представляет собою вынужденное цензурными обстоятельствами конспективное изложение запрещенного рассказа. Поэтому последний следует рассматривать как органическое звено салтыковской концепции молчалинства. См. также: Е. Покусаев, Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, М. 1963, стр. 287, 304 и след.

147

Экс. <А. П. Чебышев-Дмитриев>, Письма о текущей литературе. – «Биржевые ведомости», 1874, № 267, 1 октября.

148

А. О. <В. Г. Авсеенко>, Очерки текущей литературы, – «Русский мир», 1874, № 277, 9 октября.

149

2. <В. П. Буренин>, Журналистика... Новый очерк г. Щедрина... – Санкт-Петербургские ведомости, 1874, № 281, 12 октября.

150

М., В. <В. И. Модестов>, Новости русской литературы... – «Новости», 1874, № 231, 24 октября.

151

Павел Павлов, Заметки досужего читателя. – «Гражданин», 1874, № 52, 31 декабря, стр. 1330, 1333.

152

С. С. <С. И. Сычевский>, Русская печать в сатире Щедрина. – «Одесский вестник», 1876, № 219, 7 октября.

153

Журнальная хроника. «Экскурсии в область умеренности и аккуратности. IV» Н. Щедрина. – «Отечественные записки», сентябрь. – «Неделя», 1876, № 39, 24 октября, стлб. 1273–1275.

154

В. М. <В. В. Марков>, Литературная летопись... – «Санкт-Петербургские ведомости», 1876, № 265, 25 сентября (7 октября).

155

Его <А. В. Круглов>, Журнальная хроника... Литературный Молчалин... – «Пчела», 1876, № 39, 10 октября, стр. 147.

156

В. Оль, Новая сатира Щедрина и наша журналистика. – «Гражданин», 1876, № 39–40, 8 ноября, стр. 960–961.

157

Б., За две педели (Журнальная заметка)... «Экскурсии в область умеренности и аккуратности» Н. Щедрина... – «Московское обозрение», 1876, № 6, 7 ноября, стр. 85.

158

П. Никитин <П. Н. Ткачев>, Безобидная сатира, – «Дело», 1878, № 1, отд. II,

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Современное обозрение, стр. 14.

159

П. Топорнин <Д. А. Клеменц>, Из русской журнальной летописи. – «Слово», 1878, № 4, отд. II, стр. 130–133.

160

Ф. Решимов <К. М. Станюкович>, Журнальные заметки... «Чужой толк» Щедрина («Отечественные записки», № 12). – «Дело», 1881, № 1, отд. II, стр. 91.

161

«В среде умеренности и аккуратности» М. Е. Салтыкова (Щедрина), СПб. 1877. – Еженедельное литературное прибавление газеты «Русский мир», 1878, № 1, 1 января, стр. 89.

162

S. S. <С. И. Сычевский>, Журнальные очерки. – «Правда» (Одесса), 1878, № 97, 29 апреля.

163

Н. П., Русская литература в 1877 г. – «Гражданин», 1877, № 45–48, 30 декабря, стр. 934.

164

Н. К. Михайловский, Литературно-критические статьи, Гослитиздат, М. 1957, стр. 531.

165

В. Е. Евгеньев-Максимов, В тисках реакции, ГИЗ, М. – Л. 1926, стр. 47.

166

Л. М. Добровольский и М. И. Малова, Рукописи литературных произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина. – В кн.: «Бюллетени Рукописного отдела Пушкинского дома», вып. IX, л. 1960, стр. 42, № 135.

167

Л. М. Добровольский и М. И. Малова, Рукописи литературных произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина. – В кн.: «Бюллетени Рукописного отдела Пушкинского дома», вып. IX, л. 1960, стр. 42, № 136.

168

<Без подписи>, Письма из Петербурга. – «Тифлисский вестник», 1877, № 11, 18 января.

169

См. в статье: С. А. Никитин, Русское общество и национально-освободительная борьба южных славян в 1875–1876 гг. – Сб.: Общественно-политические и культурные связи народов СССР и Югославии, М. 1957, стр. 55.

170

Тор <В. П. Буренин>, Литературные очерки. – «Новое время», 1876, № 276, 3 (15) декабря.

171

Б., За две недели. – «Московское обозрение», 1876, № 10, 5 декабря.

172

Z. Z. – Z. <С. Т. Герцо-Виноградский>, Не в бровь, а в глаз. – «Новороссийский телеграф», 1876, № 555, 9 (21) декабря.

173

М. Песковский, Наш патриотизм, самообман, долгоязычие и прожектерство. – «Русское обозрение», 1877, № 15, стр. 12, 14.

174

Там же, стр. 17.

175

«Русское обозрение», 1877, № 17, стр. 16.

176

Там же, стр. 18.

177

«Русская газета», 1877, № 74, 19 октября.

178

В. В., Литературное обозрение. – «Пчела», 1877, № 40, стр. 627.

179

Заурядный читатель <А. М. Скабичевский>. «На досуге» Н. Щедрина. – «Биржевые ведомости», 1877, № 274, 28 октября.

180

К., Щедрин и экзекуция прожектеров. – «Северный вестник», 1877, № 206, 23 октября.

181

«Сын отечества», 1877, № 270, 19 ноября.

182

«Санкт-Петербургские ведомости», 1877, № 239, 30 августа (11 сентября).

183

П. <П. Усов?>, «Литературное обозрение». – «Санкт-Петербургские ведомости», 1877, № 243, 3 (15) сентября.

184

<Без подписи>, Тряпичкины-очевидцы. – «Новости», 1877, № 223, 26 августа.

185

«Биржевые ведомости», 1877, № 211, 26 августа.

186

В. Буренин, Новый сатирический фельетон. – «Новое время», 1877, № 543, 2 сентября.

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru  
187  
«Русское обозрение», 1877, № 15, стр. 12.

188  
Там же, стр. 14.

189  
W. <С. А. Венгеров>, Тряпичкины-очевидцы. Сатирический очерк г. Щедрина. – «Русский мир», 1877, № 245, 9 сентября.

190  
«Сын отечества», 1877, № 204, 3 сентября.

191  
«Современные известия», 1877, № 255, 16 сентября.

192  
«Биржевые ведомости», 1877, № 211, 26 августа.

193  
Некто из толпы <Е. П. Свешникова>, Тряпичкины-очевидцы. – «Кронштадтский вестник», 1877, № 109, 11 сентября.

194  
«Новости», 1877, № 252, 28 сентября.

195  
<Без подписи>, Корреспонденты газеты «Краса Демидрона». – «Волга», 1877, № 4, 4 сентября.

196  
С. С. <С. И. Сычевский>, Новая сатира Щедрина. – «Одесский вестник», 1877, № 207, 25 сентября.

197  
Вс. Горл – ко <В. П. Горленко>, Наша пресса. – «Московское обозрение», 1877, № 47, 48, стр. 132.

198  
П., Элегия Щедрина. – «Санкт-Петербургские ведомости», 1877, № 332, 1 декабря.

199  
Z. W., Журнальные заметки. – «Русская газета», 1877, № 74, 19 октября.

200  
Ч. В. <В. П. Чуйко>, Резонеры сороковых годов. Характеристика их, сделанная г. Щедриным. – «Новости», 1877, № 325, 14 декабря.

201  
Z. W. <С. Т. Герцо-Виноградский>, Журналистика. – «Новороссийский телеграф», 1877, № 849, 14 (26) декабря.

202

В среде умеренности и аккуратности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) <Без подписи>, «Дворянские мелодии» Н. Щедрина. – «Сын отечества», 1877, № 282, 3 декабря.

203

См. примечания Р. В. Иванова-Разумника в издании: «Неизданный Щедрин», л. 1931, стр. 9–10, 319–321.

204

И. С. Тургенев, Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. XII, кн. I, стр. 83. Подробнее об отношении Салтыкова к «Нови» см. в работе: Л. А. Николаева. Тургенев и Щедрин в 70-е годы. – «Ученые записки» Орловского пед. ин-та, 1963, т. 17, стр. 180–217.

205

В. Буренин, Сатира г. Салтыкова «Чужой толк». – «Новое время», 1881, № 1762, 23 января.

206

См.: А. И. Герцен, Полн. собр. соч., т. XVI, М. 1959, стр. 220–226.

207

«Страна», 1881, № 1, стр. 7.

208

«Русский курьер», 1881, № 12, 13 января.

209

Ф. Решимов <К. М. Станюкович>, Журнальные заметки. – «дело», 1881, № 1. Совр. об., стр. 92.

210

Там же.

211 Там же, стр. 95.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке <http://saltykov-shchedrin.ru/> Приятного чтения!  
<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.  
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин  
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.  
<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография  
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>  
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!